



**Дружба  
народов**

**2/2021**





# В номере:

## Экзистенциальная ретроспекция

В небольшом городе на юге Казахстана двенадцатилетний мальчик проводит ночь с погибшим отцом. Тело приготовили к погребению, завернули в саван, но не успели похоронить до захода солнца. Прощание с отцом происходит на фоне панихиды по стране, от которой не осталось ничего, кроме людей. Роман Алины ГАТИНОЙ «Саван. Второе дыхание» — о том, что можно приспособиться к жизни без электричества, но какой она будет, если источник света погас внутри тебя?

Рассказы Юлии КУЛЕШОВОЙ из Бишкека — тоже о вечном: о детстве, о мучительном взрослении — и о преодолении семейного проклятия: пьянство отца, который, не сумев встроиться в изменившуюся жизнь, никуда не собирается уходить.

## В наступающем былом

«В юности я написала книгу «На корабле зимы». / Так и плыву с тех пор мимо сумы, тюрьмы, / мимо людей испуганных, срывающихся на крик, / мимо подростков, коверкающих язык. // Мимо женоподобных мальчиков, бой-баб, героинь... / <...> Мимо собственной жизни, оставшейся на берегу / и отправляющей мне послания — все в мокром снегу», — вспоминает Олеся НИКОЛАЕВА и признается: «Я это подменяю собой. / Словно прорехи заделываю и, впав в забытьё, / выдаю потом за своё». Вслед за Ахматовой ту же «подмену» неизбежно совершают все поэты этого номера «ДН»: Сергей ЗОЛОТАРЁВ, Сергей КАЛАШНИКОВ, Иван КУПРЕЯНОВ.

«Крык бінтую маўчаннем лістоў / і жыву / найспавіцейшай з мумій...» Участники студии сравнительного поэтического перевода «ШКЕРЕБЕРТЬ» представляют переводы стихотворений молодой белорусской поэтессы Насты КУДАСОВОЙ.

## Поднебесная допандемической эры

В этом номере мы отправляемся в путешествие по китайской «глубинке».

Деревенский быт и устройство сельской школы, народные мастера и промышленники, нефтяные вышки на рисовых полях и заповедники, куда прилетают с Байкала белые журавли, схвачены наблюдательным и дотошным взглядом ученого и педагога Анатолия ЦИРУЛЬНИКОВА.

Еще один наш «гид» — писатель Кирилл КОБРИН провел месяц во Внутреннем Китае, где не говорят на иных языках, кроме мандаринского, где Великая Стена Цензуры отрезает от внешнего мира, айпэд становится бесполезным, и европеец начинает мнить себя древним поэтом...

Кстати о литературе: в разделе «Критика» Александр ЛЮСЫЙ и ЧЖОУ Лу — два профессора-филолога из Москвы и Ханьчжоу станут нашими проводниками на пути к «китайскому тексту» русской культуры от средневековья до нынешних дней.

## Другая задача искусства

«Что толкает самого обыкновенного, в сущности, человека вдруг откладывать в сторону рабочий инструмент и петь песнь, как выражались древние?» Писатель Геннадий ПРАШКЕВИЧ и физик Алексей БУРОВ продолжают разговор о «вечных темах» в эссе «О массовом искусстве».



# Дружба народов



**Независимый  
литературно-художественный  
и общественно-политический журнал**

**Основан  
в марте 1939 года**

Адрес редакции:  
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,  
журнал «Дружба народов»  
Телефон (многоканальный):  
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,  
Сайт журнала:  
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:  
Congress Consulting.  
Свидетельство о регистрации  
№ 73 от 14.09.1990 г.  
в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.  
Свидетельство о регистрации  
товарного знака № 288681.  
Зарегистрировано в  
Государственном реестре  
товарных знаков и знаков  
обслуживания РФ  
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский  
полиграфический комбинат»,  
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;  
[www.oaomprk.pf](http://www.oaomprk.pf) тел.: (495)745-84-28;  
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности  
рецензировать и возвращать  
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического  
брака в экземплярах журнала  
обращаться в типографию, указанную  
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов  
ссылка на журнал «Дружба народов»  
обязательна.**

Сдано в набор 20.12.2020.  
Подписано в печать 28.01.2021.  
Формат бумаги 70 x 108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.  
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.  
Заказ 7389. Цена свободная.

## Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей  
НАДЕЕВ  
Ольга  
БРЕЙНИНГЕР  
Ирина  
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена  
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья  
ИГРУНОВА

Галина  
КЛИМОВА

Владимир  
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр  
СНЕГИРЕВ

## Редакционный совет

Сухбат  
АФЛАТУНИ

Муса  
АХМАДОВ

Ольга  
БАЛЛА

Дмитрий  
БИРМАН

Денис  
ГУЦКО

Иван  
ДЗЮБА

Валентин  
КУРБАТОВ

Ольга  
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид  
НАГИМ

Илья  
ОДЕГОВ

Кнут  
СКУЕНИЕКС

Сергей  
ФИЛАТОВ

Ренат  
ХАРИС

Вячеслав  
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Олеся НИКОЛАЕВА. «На корабле зимы». Стихи .....                 | 3   |
| Алина ГАТИНА. Саван. Второе дыхание. Роман .....                | 8   |
| Сергей ЗОЛОТАРЁВ. Стрекоза и глассада. Стихи .....              | 92  |
| Лидия ГРИГОРЬЕВА. Термитник new. Роман в штрихах .....          | 96  |
| Юлия КУЛЕШОВА. Два разных рассказа .....                        | 110 |
| Александр ГАЛЫПЕР. Побег из зимы. Рассказ .....                 | 129 |
| Иван КУПРЕЯНОВ. Хороший год, хороший год, хороший. Стихи .....  | 138 |
| Анна ШИПИЛОВА. Пересортица. Рассказ .....                       | 142 |
| Женя ДЕКИНА. Баг. Рассказ .....                                 | 147 |
| Сергей КАЛАШНИКОВ. Эхолов. Стихи .....                          | 153 |
| Алёна ЖУКОВА. Смертные грехи вещей. Притчи эпохи пандемии ..... | 155 |

**ЧЕРТА ГОРИЗОНТА**

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Обыденная виртуальность. Размышления белгородских школьников ..... | 168 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|

**МИНСКАЯ ИНИЦИАТИВА**

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Наста КУДАСОВА. «Крык бінтую маўчаннем лістоў».               |     |
| Студия сравнительного поэтического перевода «Шкереберть»:     |     |
| Дмитрий АРТИС, Евгения Джен БАРАНОВА, Инга КУЗНЕЦОВА,         |     |
| Яна-Мария КУРМАНГАЛИНА, Анна МАРКИНА, Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ ..... | 182 |

**ПУБЛИЦИСТИКА**

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Геннадий ПРАШКЕВИЧ, Алексей БУРОВ. О массовом искусстве. |     |
| Два письма на одну тему .....                            | 190 |

**НАЦИЯ И МИР**

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Белые журавли на серой земле.                          |     |
| Взгляд из России на китайскую деревню .....                                  | 200 |
| Кирилл КОБРИН. Второй китайский дневник. Из будущей книги                    |     |
| «На пути к изоляции. Дневник предвирусных лет, 2018 — февраль 2020 года» ... | 222 |

**КРИТИКА**

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Александр ЛЮСЫЙ, ЧЖОУ Лу. Сам себе китаист: исследовательское шоу.     |     |
| Путь к «китайскому тексту» русской культуры с точки зрения внутреннего |     |
| и внешнего диалога .....                                               | 239 |
| Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась.                |     |
| Литературные итоги 2020 года подводят:                                 |     |
| Николай АЛЕКСАНДРОВ, Ольга БРЕЙНИНГЕР, Константин КОМАРОВ,             |     |
| Елена ЛЕПИШЕВА, Алексей САЛОМАТИН .....                                | 252 |

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР**

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Евгений АБДУЛЛАЕВ. Просто такой постмодернизм ..... | 263 |
|-----------------------------------------------------|-----|

**ПРАВИЛА ИГРЫ**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Борис МИНАЕВ. Большой маленький Успенский ..... | 267 |
|-------------------------------------------------|-----|

*Олеся Николаева*

## «На корабле зимы»

### *Диптих*

#### *1*

Иногда — хоть локоть себе кусай или кол теши,  
не дается дело твоей души.  
Хоть тут землю рой, хоть огниво три,  
все слова-то здесь, да мертвы внутри.

Ничего не трогают, не зовут,  
а лежат расслабленно там и тут.  
Не дрожит струна, не горит Восток.  
Никогда не напишешь ты оду «Бог»!

#### *2*

Или это не я, а кто-то — наперекор —  
входит как главный: «Пишем! Мотор! Мотор!»  
Зажигает светильники, развешивая меж туч.  
Есть у него басовый, есть и скрипичный ключ.

И заводит и треплет заспавшиеся слова,  
мнет их, как глину, лепит: вот уже голова.  
Вот уже целый образ вписан в наши края.  
Странно, страшно, чудесно: кажется, это я!

\* \* \*

Странные истории происходят с вещами.  
 Некоторые приручаются, словно срастаясь с нами.  
 А есть и такие — не любят, не чтят, не чтут  
 своего хозяина, бунтуют и даже бьют.  
 С полки книга летит на голову, со шкафа — баул,  
 лопается в руке стакан, ставит подножку стул...  
 Но есть и верные слуги: ботинки приводят меня домой,  
 и со мною сливается старенький свитер мой.

Оттого для меня драгоценны бусы мамы моей,  
 папины шахматы, друга — мозаика из камней.  
 Трогаю эти вещицы с нежностью, так дивясь,  
 словно между дарителем и подарком осталась связь.  
 Словно папа почувствует, как тоскую о нём,  
 когда я чёрную королеву — смерть — бью белым конём.

\* \* \*

Грустно, как ни крути,  
 когда сидишь взаперти  
 И время, кажется, около  
 часов двадцати пяти.  
 Нынче родился Блок.  
 Скоро родится Бог.  
 Все эпохи сместились  
 времени поперёк.

Все у меня вот тут  
 в доме моём живут:  
 страсти, козни и казни  
 псалмы по ночам поют.  
 Всякий дух вековой —  
 тёмный, слепой, хромой.  
 А всё же псалом проклятья  
 не о них сто восьмой.

Ловят все на лету  
 вздох этот — в высоту.  
 Вырезали по сердцу  
 русскую эту черту.  
 На подозренье труд  
 брать, презирать иуд,  
 в небе искать Отечество:  
 а на земле — приют.

Дням здесь потерян счёт.  
 Время здесь не течёт,  
 разве что делят столетья  
 только на нечет-чёт.  
 Разве что час лихой  
 впишут красной строкой.  
 Левой грозят, но правой  
 благословят рукой.

## Город

### 1

Иногда забавно издалека  
 понимать, возвращаясь вспять,  
 как обида была когда-то мелка,  
 а ведь жгла, не давая спать.

Незаметно зажил синяк и порез.  
 ...Был один — хорошо знаком —

попросил займы, и тут же исчез  
 он, как только стал должником.

Иль подруга, полная куража,  
 с ходу, только зайти успев,  
 начала бессвязно кричать, дрожа,  
 выплескивая свой гнев.

2

Словно пойманный вор теперь у меня  
всё дурное — здесь, на цепи.  
А былое — как город при свете дня,  
строившийся в степи.

Здесь сохранны преданья книг родовых,  
не иссякнут хлеб и вино.  
Здесь и мёртвые живы — среди живых  
не стареют они давно.

И Никола-Угодник, и князь Андрей  
Боголюбский — в сердце простом.  
И архангелы грозные у дверей  
держат жезл и зеркало с крестом.

И страна моя — в горестях и трудах —  
лишь одной ногой на земле:  
вся — в таких невидимых городах,  
с белой птицею на кремле.

*«На корабле зимы»*

«И выдать потом за своё...»

*Анна Ахматова*

Это море снегов вокруг, волны, брызги, блёстки окрест  
моего затворничества, напоминающего домашний арест...  
А я словно на корабле плыву, не зная куда,  
не оставляя следа.

В юности я написала книгу «На корабле зимы».  
Так и плыву с тех пор мимо сумы, тюрьмы,  
мимо людей испуганных, срывающихся на крик,  
мимо подростков, коверкающих язык.

Мимо женоподобных мальчиков, бой-баб, героинь...  
На горизонте сливаются ян и инь.  
И ледяная корка вот-вот сомкнётся кольцом,  
а я всё плыву мимо дворника с сарацинским лицом.  
мимо хромой старухи, как пред концом:  
беседующей с чернецом.

...Мимо собственной жизни, оставшейся на берегу  
и отправляющей мне послания — все в мокром снегу.  
Буквы их расплываются, рвётся бумага — тонка,  
где-то совсем не понятно, что это за строка.  
Где-то рифма утеряна, где-то в размере сбой.  
Я это подменяю собой.  
Словно прорехи заделываю и, впав в забытье,  
выдаю потом за своё.

## Тысяча девятьсот двадцать первый

Остаётся только вздыхать да зубами клацать.  
Ходит слух — уплотнению подлежит Блок.  
Гиппиус язвит:  
— Хорошо бы ему *двенадцать*  
подселили под самый бок.

Гнусно шипит пластинка, скрипит шарманка.  
Кто-то вздыхает:  
— Повезло Гуро,  
успела уйти в тринадцатом, будетлянка!  
Нырнула в своё зеро.

Кто-то подхватывает:  
— Врубель вообще в десятом —  
вовремя перешагнул порог:  
летящего демона изобразил крылатым,  
не знал, что тот коренаст, приземист и кривоног.  
...А я в тот год был беспечным, юным, богатым,  
влюбленным, верящим: с нами Бог!

— А Чехов ушёл в четвертом, напустил дыма,  
отравленных набрызгал чернил,  
чтоб каждый стал думать: в России невыносимо,  
такая пошлость! — словно приговорил.  
...В тот год я дивился красотам Рима, —  
начал кто-то,  
но дрогнул и закурил.

## Месть

Ох и мстителен человек! Свой пыл  
он вложил в мечту об одном:  
чтобы труп врага по реке проплыл,  
чтоб проплыл под его окном.

Предвкушая, он час роковой зовёт.  
Смотрит — чёрной волной гоним,  
труп врага по воздушной реке плывёт  
да вмерзает в лёд перед ним.

Ледяною глыбой мертвец, чужак,  
застывает в его крови.  
А теперь хоть кричи, разрывая мрак:  
— Оживи его, оживи!



## *Карантин*

«Я на дне...»

*Иннокентий Анненский*

Я на дне. Я как будто обмылок:  
всюду пена, вверху — пузыри.  
Кто был молод, и ярок, и пылок,  
цепенеет и блекнет внутри.

...Помню небо. Зигзаги полёта.  
Тело — легкий в шагу пилигрим.  
А глаза — золотые ворота.  
А душа — Божий сон, Вечный Рим...

И уже на пороге забвенья  
мне бессонница делает знак,  
что тоскуют по мне сновиденья,  
да в чумной их загнали барак.

*Алина Гатина*

## Саван. Второе дыхание

*Роман*

### *1*

Мальчик не видит, кто первым бросает землю. Он стоит во второй шеренге, и темные спины загораживают ему свет. Большие смуглые руки держат его за плечи и не пускают вперед. Он знает, что, если и подойдет близко к могиле, ни за что не станет смотреть вниз. И про себя молится так, чтобы большие руки держали его сильнее.

Это он представляет завтрашний день. А сейчас ночь, и комната, где на четырех сдвинутых стульях лежит отец.

Всю ночь, пока отец лежит в комнате, он сидит рядом с ним.

В круге занавешенных зеркал и помутневшего хрусталя, запертого в серванте, он пристально вглядывается в его лицо — белое и вытянутое, ставшее как будто длиннее после смерти.

Подбородок подвязан марлей, так что мертвый отец похож на человека из детских книг, у которого разболелся зуб.

С того момента, как отца занесли в дом, он ни разу не заплакал, а только ходил и повторял про себя одну фразу, будто пытаясь свыкнуться с ней и все никак не решаясь в нее поверить: «Папа умер».

— Умер, — говорит он почти про себя, едва заметно шевеля губами. И, глядя на тени в складках савана, настойчиво повторяет: — Надо привыкать. Надо привыкать. Надо заставить себя смотреть на его лицо и больше уже не спать. Это не может быть конец света. Это не может быть, чтоб мне всегда было плохо, как сейчас. *Он* сам говорил: есть ночи как ночи, а есть рubeжи.

И в первую такую ночь мальчик думает о смерти и о жизни так, как если бы стоял между ними и свет от одной видел в тени другой.

И только теперь, рядом с мертвым телом, чувствует, как хочется ему быть живым. И даже стукнуться о пианино у стенки или ладонью накрыть свечу. И не сознанием только, а телом, уколотым болью, ощутить свою живость.

---

*Алина Гатина* родилась в Чимкенте в 1984 году. Окончила Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби и Литинститут им. А.М.Горького (2018; семинар Олега Павлова). Лауреат литературной премии «Алтын тобылғы» (Фонд Первого Президента РК) за роман «Саван. Второе дыхание». Живет в Алма-Ате.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 2.

И еще — что отцы загадочней матерей, потому что многие из них не умеют ни пользоваться силой, ни признаваться в слабости.

И что поэтому так сложно в мире мужчин и так невыносимо душно в мире женщин.

Еще до темноты, прячась за шторкой, отделяющей кухню от коридора, ловил голоса:

— Да есть ли разница, когда умирать?

— Кто умер, тому нет. А кому хоронить — большая. Зимой тяжело копать. А летом жарко готовить.

— И тело портится.

— Не сиди с ним, — мать тронула его за плечо.

Она выглядела сейчас как всякая женщина, которая легла, переделав кучу дел, и, засыпая, думала об этих делах. И утром вставала уставшая, разбитая, заранее ненавидя наступивший день и то, чем ей предстояло заниматься.

Ее заспанное лицо не выражало ни боли, ни безутешности. Оно было до того обыденно, и так по-обыденному прозвучал ее недовольный голос, что мальчик удивленно взглянул на нее: понимает ли она, что завтра хоронят отца, что, мертвый, сейчас он лежит перед ними, и что это не просто ночь, и не просто так он сидит рядом с ним.

И тут мать назвала его Роликом, чего уж, конечно, никогда не делала.

Так звал его только *он*, а она, как по документу, звала Ролланом, негромко, но настойчиво повторяя: «Роллан, Роллан».

Он был уверен: она не любит его так, как любил отец, потому и придумала звать его этим странным чужим именем.

— Ну и чего тебе не нравится? Имя с прицелом на будущее. А что такое Ролик? Ролик-алкоголик.

Выходя из комнаты, она обернулась, закрыла лицо руками и потерла глаза:

— Ложись. Завтра много дел.

— А он как?

Мальчик не взглянул на отца, но кивнул в его сторону:

— Кто-то должен сидеть.

Он хотел сказать «с ним», но, помедлив, произнес «здесь».

— С ним не обязательно.

## 2

Никогда еще Ролик не видел покойников. В прошлом году в их классе учился мальчик. Его звали Шатов Иван. Он болел астмой и на уроках почти не бывал. А когда бывал, то садился прямо перед Роликом. И Ролик видел его сгорбленную худую спину в застиранной синей футболке.

Иван шумно дышал, и по светлому уютному классу носились свистящие звуки его короткого обрывистого дыхания. Как рыба, брошенная на песок, он жадно вдыхал воздух, и этот глоток громко и явственно повисал над головами учеников.

Ваня краснел и смущался, и втягивал в плечи большую угловатую голову, посаженную на тоненькую шею, а его острые лопатки, как обрезанные крылышки, выпирали из-под выцветшей футболки.



Когда учительница давала Ване прочитать отрывок из книги, чтобы нарисовать ему хоть какую-то оценку, Ролик мечтал, чтобы это поскорее кончилось.

Ему было жалко Ваню, как и всем остальным ребятам.

И даже Рубен Пинхасов, который вообще не любил читать вслух и делал это плохо, как бы невзначай говорил:

— Хватит, Иван, дальше читаю я. Эту книгу я люблю больше.

А на весенних каникулах, когда деревья только-только набирали почки, их классная обзвонила всех и сказала, что Ваня Шатов умер и надо собраться у его родителей, чтобы посочувствовать и отдать деньги.

Ролик и тогда не видел покойника, потому что дома его не было, а был он в морге, да и заходить в квартиру всем классом они бы не решились.

Тогда поднимались по старой скрипучей лестнице двухэтажной хрущевки. Они не хотели шуметь, но лестница отдавала гулом, будто стоном, вместо похоронного марша.

Классная шла впереди и, не дойдя до Ваниной площадки одной ступеньки, остановилась:

— Тише, ребята. Шумим... нехорошо.

И настойчиво повторила:

— Тише.

В тесноте подступили обшарпанные стены с истертыми надписями и маленькое посеревшее окно. За ним висела такая же серая туча, большая и неподвижная, как черно-белая фотография.

На подоконнике лежали мертвые мухи, и тонкий серый паук на длинных лапах пробирался меж ними к своей паутине. Вязаные края ее снизу были разорваны и покрыты пылью, отчего она походила на истлевший бархат.

Классная поднялась выше, с полминуты поколебалась у двери и коротко нажала на звонок.

Ванина мама вышла на лестничную клетку, молча приняла конверт и позволила классной себя обнять. Потом взялась за дверную ручку и, глядя на свои тапки, сказала:

— Хорошо им, живым.

И классная заплакала. Девочки заплакали тоже. А Рубен толкнул Ролика в бок и сказал, что это она от обиды.

Ролик думает о том, что такое счастье, и о том, был ли он когда-нибудь счастлив. В школе они писали сочинение на эту тему. Большинство ребят написали, что счастье — это когда в семье все живы и здоровы, а в мире нет войны.

Учительница хвалила такие сочинения за правильность мыслей, но ругала за то, что никто не подошел к заданию творчески. Не рассказал что-то личное и важное о себе самом.

Ролик тоже написал что-то подобное. А пока сочинял про счастье, думал об отце, который пьет, и об Алке-парикмахерше из дома напротив.

И только Рубен Пинхасов написал так: «Счастье — это когда пришел на контрольную, а Коробейникова Ира не заболела и пришла тоже, и Петренко не успел сесть рядом с ней, а сел я и все списал».

Учительница зачитала его сочинение вслух, а в конце приписала: «Честно и оригинально». И поставила двойку.

— А говорите, что нужен творческий подход. Ну вот же, написал я вам о личном, и сам же еще поплатился.

— Одно предложение, Пинхасов? По-твоему, это сочинение? Коробейникова, я запрещаю тебе садиться рядом с Пинхасовым.

— Я не виноват, что мыслю кратко и оригинально. Сами ведь написали.

— Я поставила тебе двойку не за это. А за то, что ты дурачишься. Фомченко, ты почему сдал пустую тетрадь? Где твоё сочинение?

— Нету.

— Опять двойку захотел? Сегодня же вызову твою мать.

— Да пожалуйста. Она все равно не придет.

— Это почему?

— Некогда ей языком чесать.

Учительница задохнулась:

— Вы! Вы почему такие? Вы для чего в школу ходите? Я для кого стараюсь? Я же хочу, чтоб вы стали нормальными людьми! Вам же еще жить и жить!

— Да проживем мы без ваших сочинений. Я-то уж точно проживу.

Она ударила ладонью по раскрытому журналу:

— Не проживешь! Не проживешь, я тебе говорю!

Это был открытый урок. На задней парте, в длинном растянутом свитере, уткнув мальчишечью голову в раскрытые ладони, сидела худая математичка и ничего никуда не писала.

— Как-то ведь живу до сих пор.

— Как? Перебиваешься с двойки на тройку, дерзишь старшим, позоришь мать. А дальше что? Дурная компания, алкоголь, сигареты, наркотики?

— А вы задайте нам другое сочинение: «Что такое несчастье?» Тогда увидите, как мы раскроемся. За себя уж ручаюсь.

— Это почему?

— Да потому что про несчастье можно столько написать! В тетрадку не влезет! А ваше счастье — мир, дружба, жвачка — вранье. Вот и пишут вам вранье.

— Фомченко! Александр! Саша...

— Саша. Да. Я Саша. И я не верю в ваше счастье. И писать мне об этом нечего. Еще раз зададите — еще раз сдам пустую тетрадь.

Выходя из класса, математичка подмигнула Рубену, а в учительской, вытянув ноги на диване, сказала:

— Вы меня, конечно, извините, Елена... Николаевна, но, по-моему, это не ваше призвание. Вам не нужно работать с детьми. И что это за реплика к Фомченко: «Дурная компания, алкоголь, сигареты, наркотики». Вы это серьезно всё?

— Я двадцать лет в педагогике. О чем вы говорите?

— Я весь урок слушала, как вы их отчитываете. Вы не учитель. Вы — надзиратель в колонии строгого режима.

Она закинула руки за голову и уставилась в потолок:

— Дети не слышат, когда на них орут. К тому же с вами элементарно скучно. Вы устарели, как наша методичка по дидактике. «Алкоголь, сигареты, наркотики...»

— Да что вы знаете о детях? У вас даже своих нет.

— Ха! Когда это вредило нашей профессии? И когда ей помогало их наличие?

— Вы курите при них!

— В форточку.

— Это, по-вашему, педагогично?

— Непедагогично задевать их личности.

— Но вы подаете им дурной пример.

— Дурных примеров им хватает и без меня. Я же учу их быть свободными. Не лицемерить и ничего не бояться.

— Свободными их учат быть знания! Сочинения, собственные мысли.

— Что ж вы им лепите двойки за свободу мысли? После вашего сегодняшнего разноса они будут думать, что мыслить не как все — плохо. А что плохого, если для кого-то счастье — это сесть с нужным человеком, чтобы списать.

— По-вашему, в этом счастье?

— Нет, по-моему — в другом. Но это по-моему. А для вашего ученика в том, о чем он написал.

После урока Рубен потащил Ролика к себе, расспрашивать о счастье бабушку.

— Математичка из старших, конечно, не Мэрилин Монро.

— Да, не королева красоты.

— Худая, как селедка, и губы не красит. Зато соображает она по-нашему. Ролик, слушай, что я сочинил. Если нам зададут писать про несчастье, я напишу такое:

«Несчастье — это когда пришел на контрольную, а Коробейникова Ира заболела и осталась дома, и списать мне было не у кого, потому что сидеть с Петренко — всё равно что ни с кем не сидеть».

*Большая желтая луна уже налилась цветом, уже достигла своей зрелости и теперь начинала убывать. Маленький неправильный кусок отломился от ее края, но свет был ярким и ровным и густо заливал комнату, в которой мальчик сторожил последнюю ночь своего умершего отца.*

*Потом задул ветер и пригнал откуда-то разорванную стайку облаков, и они забегали по луне, как тени и отсветы далеких миров.*

*Тени эти проникли в комнату, прошились по завернутому в белый саван отцовскому телу, и мальчик подумал, что где-то на свете наверняка есть такие же дети, как он, которые сидят со своими умершими отцами и думают о том, с чего все началось.*

*С чего начались их несчастья, он точно не знал. Как не знал и того, почему некоторые отцы пьют, а некоторые — нет, и почему некоторые живут в семьях, а некоторые из них уходят. Но что-то тревожное поднималось в его душе, когда он думал о доме, расположенном по соседству. И образ отца, и этот дом будто умещались в его голове на одной общей полке.*

*А было так, что летом, когда они только-только переехали на эту улицу и ни с кем еще не познакомились, женщина из соседнего дома, развешивая на веревке белье, окликнула через сетку его мать и хриплым, нарочно веселым голосом проорала:*

*— Наконец-то хоть одна приличная семья поселилась!*

*А мать, которая тоже развешивала белье, спросила:*

*— Это вы мне?*

*— Ну а кому? Тебе.*

*Мать улыбнулась:*

*— А другие что, неприличные?*

*— А другие неприличные, другие вынужденные.*

*И тоже улыбнулась. Как оскалилась.*

## 3

Этот дом и не жил вовсе, а просто стоял. Стоял неровно, заваливаясь набок, оседая на ветхий уже фундамент. Жизнь в нем, конечно, была, но какая-то своя — немая и черная.

Много старых перекошенных домов было на той улице. Жили в них и осиротевшие старики, и еще сумасшедшие — не из буйных, каких и стороной обходить не требовалось.

А в этом, угловом, утонувшем в зарослях шиповника, с поблекшей от времени зеленой крышей, прятались от солнечной и полнокровной жизни наркоманы.

Наркоманами были не все, а только хозяйка дома, которая боролась с этой страстью по-своему, временами переходя на алкоголь. Только «Алка-наркоманка» для языка общественности звучало легче и потому прижилось быстрее.

Остальные же звались наркоманами за компанию, из-за своей принадлежности к этому дому.

Старшей, Руфине, исполнилось шестнадцать. Лицо ее, с пронзительными зелеными глазами, было усеяно, частыми, как гречневая крупа, веснушками. И кроме этого и длинных пшеничных волос, ничего бы не смог сказать Ролик о ее внешности.

Он и потом не знал, красивой она была или нет. И много лет спустя часто думал: что он открыл в ней такого, смутного для себя и невнятного, почему, впуская в свою жизнь разных женщин, безотчетно искал в них сходство с ней. И сам не знал, где, в каких телесных или голосовых интонациях нужно искать это сходство.

Алка была высокой худой женщиной неопределенного возраста. Говорили, что ей нет и сорока: в сумерках ей можно было дать и тридцать, а при свете дня — и все пятьдесят.

У нее были тонкие губы, высокие скулы и темно-карие глубоко посаженные глаза. Что-то азиатское, степное скрывалось в ее лице. Была в нем и злость, но не потаенная, а открытая и бесхитростная. Только нос, аккуратный и маленький, с тонкой ровной переносицей, среди всех этих черт был чужим и оттого казался неправильным.

Алка стригла на дому. На работу ее давно не брали, но ремесло она выбрала правильное, и раз или два в неделю, когда могла держать инструменты, принимала клиентов — всё соседей или знакомых.

Ее среднего сына по имени никогда не называли. И Алка, и люди звали его «дурачком». Но Алка говорила ему «дурачок» в глаза, а люди, в которых много жалости, говорить ему это стеснялись. Хотя «дурачок» бы на них не обиделся. Было ему десять лет, но в школу он не ходил, потому что не разговаривал.

Матери он помогал в работе. Не в домашней — хозяйство было заброшено давно. Он помогал ей, когда она стригла.

— Ну что, дурачок, вскипятим ножницы? — подмигивает она ему. — Сегодня зарабатываем на «горючее».

Дурачок проворно кивает и складывает ножницы и гребень в алюминиевый ковшик. Потом заливает водой и ждет, пока закипит.

Он любит смотреть, как мать отдергивает короткие серые занавески и впускает в комнату свет, затем усаживает кого-нибудь в центре маленькой их комнатки на деревянную табуретку и начинает стричь.



Тогда дурачок забивается в угол между просевшим диваном и большим пустым ящиком, служащим мебелью, и оттуда заворуженно наблюдает.

Свет туда не доходит — дурачок чувствует себя в безопасности. И глаза его смотрят ясно и внимательно.

Силуэт матери отсюда выглядит тоненьким и хрупким. И свет окаймляет его.

Он смотрит на струйку пыли, что тянется от окна, и не может оторвать глаз от этих крохотных танцующих частиц.

Когда материнская спина и эта пыль соединяются в одну картину — он засыпает. И во сне превращается в обыкновенного мальчика. Такого, каким он и был до большой кастрюли с кипятком.

Он говорит настоящими словами. Теперь они не застревают в горле, а изливаются из него легко и красиво. И это кажется ему удивительным и прекрасным.

Он даже внимательно вглядывается в этих людей: не помнят ли они, что он был дурачком? Но они не помнят и говорят с ним так, как говорят со всеми, не опуская глаз.

Когда он просыпается, в комнате уже никого нет. Только табурет так и стоит посередине. Занавески снова задернуты плотно. Нет ни материнской спины, ни пыли, мерцающей на свету. Дурачок знает, что мать вернется с «горючим», и следующего раза еще ждать и ждать. Он выбирается из своего убежища и подметает остриженные волосы.

В соседней комнатке, похожей на клетушку, — детской, как с завидным упорством называет ее Алка, на железной кровати с накиданными поверх сетки дрыхлыми одеялами, сидит пятилетняя Анечка и держит в руках старую безрукую куклу.

Девочка играет, мелодично рассказывая ей что-то на самое ушко, через каждое слово переходя на вопросительный тон. Потом легонько наклоняет куклу. Кукла кивает, и довольная, что та соглашается, Анечка радостно продолжает игру.

С аккуратной правильной головы ее струятся длинные русые волосы, распадаясь на тонкие ручейки от плавных движений рук. Эти руки качают куклу в воздухе, медленно рисуя волну, и густые ресницы с выгоревшими на солнце кончиками скрывают ее будущее женское горе.

Анечка поднимает глаза. Они никуда не смотрят. Врожденное косоглазие придает ее лицу какую-то разобщенность между детскими чертами и странным искривленным взглядом.

Анечка знает об этом. Понимает, когда люди, подходя к ней ближе, в растерянности своей слишком уж бесцеремонно заглядывают, как в самую душу, — то в один глаз, то в другой. Потом же, так и не решив, в какой смотреть лучше, глядят поверх них: выше бровей, лба, а то и вовсе выше головы.

#### 4

Ролик не знакомился с ними специально, но они были единственными детьми на их общей улице и притягивались друг к другу, как намагниченные частицы одного целого. И вещи, и пространство вокруг них преследовали ту же идею — столкнуть, сблизить, соединить.

Сине-белый мяч Ролика уже перелетал через расчерченный сеткой воздух, когда он увидел Аню и дурачка.

Водрузив босые ступни на перекладину, как маленькое живое пугало, она сидела

на рыжей табуретке в самом центре огорода, под большой яблоней. Рядом стоял помятый алюминиевый таз с чистой водой. И дурачок с пластмассовым ковшом наперевес.

Проделав несколько вращений, мяч плюхнулся в таз, обрызгав Аню с головы до ног. Она коротко вскрикнула, качнулась и повалилась на землю, разметав по ней свои длинные мокрые волосы.

Ролик, вцепившись пальцами в рабицу, смотрел как суетится дурачок, как одной рукой он поднимает сестру, а второй придерживает ее волосы. Пальцами он водил по ним на манер расчески, пытаясь очистить от налипшего мусора. Спутанные волосы отрывались от головы, и, вцепившись в края табуретки, она плакала, вздрагивая плечами. Но плач ее заглушал переливчатый хохот, который, проделав несколько ругад, все еще не смолкал, а уходил на новый виток взрыва.

Хохот доносился из ветхого сарая, и когда совсем выдохся, в подвернутых до колен широких штанах, в бесцветной широкой рубашке, с зажатой меж узловатых пальцев догорающей сигаретой, как из темноты на свет, — а так оно и было: из темноты на свет, — вышла Руфина и, глянув на сморщенное лицо сестры и бессмысленную возню брата, захохотала снова.

— О, да тут просто конкурс парикмахеров!

Смех был уже низким, грудным, и на последней фразе вышел совсем.

Впрочем, злым он тоже не был, и дурачок виновато улыбнулся обеим сестрам. Затем шумно и с облегчением вздохнул, вложив в этот вздох всё, что силился и не мог сказать: «Что с меня взять. Дурак, он и есть дурак».

Руфина распоряжалась быстро. Голос у нее был громкий, уверенный, словно приглашавший всех успокоиться и довериться ей.

— Сгинь уж, — примирительно сказала она дурачку, а сестре — уже строже, но легонько постучав по кончику носа: — Не реви.

И тут же, не делая никакой паузы и не смотря по сторонам, а только лишь на соринки в Анечкиных волосах, бойко крикнула:

— Ну, чего ты? Иди к нам! Устроил тут!

Ролик повернулся было к воротам. Руфина с досадой покачала головой:

— Боже мой. Ты дурак? Лезь тут!

— Как?

— Как? Как... Как твой мяч. Дурачок, у тебя появился тезка!

Дурачок ничего не понял, но посветлел: внимание надлежало собирать по капелькам, не уронив ни одну. И хоть не все они были о любви, он растянул улыбку настолько широко, насколько позволяло его лицо. И так застыл, готовый служить.

Ролик примерялся к сетке — не перелезть, слишком мягкая. И понемногу краснел, чувствуя, как жар, поднимаясь от подошв, бежит вверх и с шумом бьет в голову. Руфина цыкнула. Затем кивнула дурачку:

— Покажи.

Дурачок задрал подол сетки — ничем не закрепленный снизу, он скрывался в густой безымянной траве. Дождевые черви нанизались на оторванные от земли края и продолжали шевелиться.

Дурачок не знал, больно им или нет, но на всякий случай, пока держал сетку и Ролик протискивался на их участок, отцеплял по одному и складывал обратно в траву.

Ролик, выкроив пару секунд, принялся отряхиваться. Не для того, чтобы стать чище, а чтобы дать себе время и выбрать роль перед новыми людьми.

Он поднял глаза не слишком высоко — и Руфино лицо не вошло в фокус, но была там Анечкина рука с указательным пальцем, направленным на него.

— Оцарапался, — беспокойно сказала она и покачала головой. — И рубашку порвал. Влетит тебе от мамы.

И уже с надеждой:

— Ведь влетит?

Вокруг летали стрекозы и майские жуки, похожие на грузные шпанки. Огород был пуст и не вскопан. По краям его реденько торчали ромашки, плавно раскачиваясь под мягкими ворсистыми телами шмелей и музыкантиков.

А может, то были пчелы. И пчелы, наверное, были. Но уносить желтоватую пергу им было не с чего, и они облетали этот участок быстро, передавая тревожные сигналы следующим, шедшим за ними группкам.

Дурачок покончил с червями и оглядывал Ролика со спины. Он боялся новых людей, но присутствие Руфины успокаивало, а кроме того, он глядел на какую-то важную игру не из-за спинки дивана, не в щелку трухлявой шторки, но с самой что ни на есть сцены, на которую его приглашали нечасто. А сам он никогда не напрашивался.

Треугольник в евклидовом пространстве зиял пустотой, и дурачок занял этот угол. Вершиной его обозначилась Руфина, углы достались Ролику и дурачку. Анечка же, совсем повеселевшая, сидела на линии медианы, робко и беззубо улыбаясь всем по очереди.

— Он моет мне волосы, — прошепелявила она Ролику и в доказательство перекинула их на плечо. — Каждую субботу по утрам. Потом я сижу здесь, и они сушатся. А зимой здесь сидеть нельзя. Холодно, и будет *мингит*. Это когда простынешь, и голова становится дурная. Я им ни разу не болела, потому что зимой я купаюсь дома. А зимой...

— Сплюнь, дуреха, — сказала Руфина. — Нефиг такие вещи болтать.

Анечка старательно поплевала и постучала по табуретке.

— А зимой мы ходим на кладбище и там катаемся с горки. Я лечу и кричу! И мне так страшно, что санки в небо полетят, что я кричу и не могу остановиться! А потом иду и опять скатываюсь. Но все равно я лето больше всего люблю. Руфин, долго еще лето будет?

— Долго. Сто раз надоест.

— Мне не надоест.

— Осы накусают — надоест.

— Где? — она недоверчиво оглянулась, выискивая ос.

Руфина закатила глаза и ответила матом и в рифму. Анечка засмеялась и принялась увлеченно перебирать волосы, напевая что-то себе под нос.

От спутанных мокрых прядей уже отделялись сухие льняные локоны и аккуратно укладывались кольцами.

Ролик молчал, осторожно разглядывая всех троих. Они казались ему странными и дикими, внешне не похожими друг на друга. Но от них веяло каким-то родством. Будто родила их одна общая недобрая сила.

Себя же рядом с ними он ощущал чужим и одиноким и уже жалел, что стоит здесь, посреди убогого замершего огорода, где из живого только эта троица да насекомые.

Руфина зажгла сигарету:

— Ну? Имя у тебя есть?

— Рол... — и он запнулся.

Все в нем было против того, чтобы называть свое полное имя. А скажешь Ролик — ведь переспросят, и все равно придется сознаться.

Он никогда не верил в то, что настанет день и он дорастет до Роллана, заполнив это имя по ширине, высоте и важности. Он хотел навсегда остаться Роликом. Безо всяких прицелов на будущее.

— Ролик.

— Ролик?

— Ролик.

— Ну, Ролик так Ролик.

Руфина преследовала большого огненного муравья, ползущего по дереву. Спасаясь от сигареты, он проворно работал лапками, не зная, что не быстрый бег отделяет его от смерти, а вздорная человеческая воля.

— Умри уж, — сказала Руфина. И приггла его окурком.

— А ему не больно? — деловито спросила Анечка.

Руфина ухмыльнулась:

— Всем бы так. Раз — и отмучился.

*Ролик смотрит на отца:*

— Папа, ведь ты не мучился?

## 5

Он ушел не сразу. Иногда после нескольких дней отсутствия возвращался как ни в чем не бывало.

Ролик не получал ответа от матери, и вопрос, который он задавал, преследовал его повсюду. А потом уже и ее:

— Где папа?

— Работает.

И все чаще ей приходила мысль, что и она могла бы ударить ребенка. И даже делать это методично, без лишней жестокости.

Ремней вокруг было расставлено много, и при уборке они удобно ложились в ладони. И едва перед ней возникало навязчивое лицо Ролика, который не уставал спрашивать: «Где папа?» — она представляла, как.

Но продолжения не случилось, потому что, подойдя к ней однажды, он спросил другое. И с того дня всегда спрашивал другое. А об отце — ни разу.

Свое непонимание Ролик передавал механике рук и тем успокаивался. Он отпирал шкаф, двигал взад-вперед деревянные вешалки с металлическими крючками, которые тонко скрипели в ответ, подходил к отцовским книгам — машинально листал страницы, менял их порядок на полке или разом вытаскивал все и высокими стопками укладывал на столе.

В три ряда на нем вырастали башни, отрезая оконный свет до половины. День или два они стояли нетронутые. Затем появлялись первые, едва заметные, частицы пыли. Они оседали на книжные обложки, постепенно обволакивая всю конструкцию.

Последнюю башню Ролик не разбирал долго. Прошла неделя, за ней выходные. Он считал дни, и время казалось ему бесконечным упругим канатом, который, сжимаясь за ночь, добавляет к утру две длины. Отец не шел.

— Сегодня же разбери эту кучу.

Мать хлопала дверцами кухонных шкафчиков. Казалось, будто она что-то ищет и никак не может найти. Но она открывала по второму, по третьему кругу даже те, в которых — уже видела не раз — не было ничего.

— Не разберешь — сожгу в печке. Хотя польза будет.

Мать хлопнула последней дверцей.

Ролик вышел во двор. Утро уже наступило, но еще не раскрылось. Не проникло всюду. Оно повисло прямо над головой, просвечивая сквозь рыхлую бурю туч, а до края неба на дальнем конце двора еще не дошло. Там оно висело плотным непроглядным куском черной материи, и странно было думать, как небо под ним может посветлеть.

Было тихо. Грядущий, еще не наступивший день, вобравший в себя вчерашние звуки, будто ждал нужной минуты.

Ролик оглядывался по сторонам. Ему хотелось зацепиться за любой малейший шум, еле заметное движение. Птиц не было. Погруженные в немоту утра, молчали соседские дома. Ни ветерка.

Ролик опустил на деревянные ступеньки веранды, из которых торчали высохшие стружья краски.

Скрипнула дверь. Он успел зажмурить глаза — и это как будто смягчило для него грохот. Мать толкнула ее с силой и ненавистью. И ненависть, как выпущенное наружу электричество, побежала по квадрату большого окна, разделенного мелкими деревянными рамками.

Тут же надрывно зазвенело в одной из них треснутое мутное стекло, но, пропустив через себя дрожь, быстро затихло.

Ролик слегка отодвинулся в сторону. Мать шагнула мимо него, но, не успев найти опору, споткнулась, вскинула руки и, подавшись всем корпусом вперед, упала на колени.

Ролик вскочил, подхватил ее под мышки и стал тянуть вверх. Мать была невысокого роста, немногим выше него, тонкой, как высохшее на солнце деревце, но руки не слушались его, он тащил натужно — мешала ее тяжелая одежда.

Мать заплакала и отмахнулась от него детским беспомощным жестом. Неуклюже поднялась, поправила платок на голове и, отряхиваясь, обиженно сказала:

— Если-не-разберешь-вечером-я-уйду-из-дома.

Произнесла скороговоркой, не делая паузы. *Если не разберешь*, вечером я уйду из дома? Или: — *если не разберешь вечером*, тогда я уйду?

Ролик повторил это про себя, но решил мысленно поставить запятую после слова *вечером*.

До вечера еще можно подождать. Еще много часов поживет его надежда, а когда он придет из школы, — сразу поймет, вернулся отец или нет.

Отец не пройдет мимо такого книжного беспорядка. Уж он обязательно его заметит. Расставит по местам или усядется в кресло, возьмет какую-нибудь из верхних и начнет читать.

Мать уже вышла за калитку, и ему вдруг стало нестерпимо жаль ее. Он выбежал следом, надеясь еще увидеть ее в конце их длинной тихой улочки. Но она уже дошла до поворота и стала совсем маленькой.

Пошел крупный редкий снег. Кругом сделалось еще тише. Ролик увидел, что и на том краю, где начинался поворот, небо тоже черно, как переспелая слива.

К обеду пошел в школу. Был ноябрь. Холодный и непроглядный, когда снег еще не лежит, но то и дело идет вперемешку с дождем.



День медленно набирал свет, а умирал быстро, и меланхоличная тетя Тома говорила, что после пяти, когда вечерело, к ней приходили вязкие непролазные мысли о том, что все тленно и смысл имеет надуманный.

Со второй четверти учились мало, не досиживая до конца одного, а часто и двух уроков. В городе не было электричества.

Его давали на несколько часов и выключали снова. Не было ни газа, ни горячей воды. И во дворах многоквартирных домов, у отсыревших песочниц и блеклых железных грибков, жгли костры и запекали в них все, что можно было запечь; подвешивали и кастрюли, в которых варили одно и то же — картошку, макароны, яйца.

Пока готовилась еда, сходились вместе и какое-то время стояли молча, слушая потрескивание костров, постукивание алюминиевых крышек о края котелков. Перемотанные шарфами, в одинаковых болоньевых куртках, стояли, придавленные чернеющим небом, и всё смотрели туда по старой человеческой привычке.

И кто-то первый — то ли вожак по природе, то ли попросту нетерпеливый, — задавал тему. Ее и задавать было нетрудно — она была одна и та же несколько лет и теперь уж, как казалось многим, на все времена. Куда идем, зачем идем?

— Странный вопрос: куда? Направление наше верное и заученное. К светлому будущему, к свободе. Зачем? Чтобы жить.

— А сейчас не живем?

— Теоретически живем. Практически выживаем. Ну, судя по этим кострам, — чья-то безвестная рука подняла крышку и начала медленно помешивать варево.

— Да ладно вам. Представьте, что это «Зарница». Помните хоть, как играли? По-настоящему все было.

— Как не помнить. Это, слава богу, бесплатно — помнить. Только в «Зарнице» было по-другому. Там противник нужен, чтобы погоны срывать. А здесь, — рука обвела полукруг в воздухе, — пепелище какое-то. Прошла «Зарница». Пропустили мы ее. Да и мы — кто? И за кого?

— За наших.

— Какая чушь — за наших. Где эти «наши»? Одни «наши» делали колхозы, другие «наши» — реформы. Третьи «наши» приехали на железных гусеницах и всё этим предыдущим «нашим» на пальцах объяснили.

— Наши — это народ, который воевал с фашистами. Вот это уж точно наши. А остальные — черт ногу сломит.

Пошел снег. Медленный, участливый к коллективной трапезе, он таял от дыхания вечерних костров и терпеливо ждал, когда люди соберут свои котелки и унесут их в темные остывшие жилища, чтобы повалить уже наверняка. Без угрызений совести за потушенные уголья.

Всех, кто учился во вторую смену, отпускали пораньше, чтобы успевали засветло добраться до дому.

Вдоль дорог, аккуратно прижавшись к обочинам и понуро свесив тонкие рога, стояли ненужные теперь троллейбусы. Год назад Ролик ездил на них каждый день — из дома в школу, из школы домой.

Потом квартиру продали, переехали в дом — теперь до школы вели засаженные яблонями переулки с разбитым асфальтом и диким разросшимся шиповником. По пути вырастал дом, в котором жил Рубен: высокая серая этажка-бобыль. Чужая среди частного сектора.

Рубен Пинхасов был его другом. У него была только бабушка, а у бабушки его —

кучерявой и тучной тети Тома с орлиными глазами и крючковатым носом — только он.

Ролику она иногда говорила «вы» и называла его «Ромочка», а иногда, как и Рубена, — «деточка».

— Возьмите, Ромочка, конфетку, а то Рубену нельзя, у него зуб сломан.

Маленький двор с задней и боковой сторон был огорожен бетонными блоками, исписанными и разрисованными на все лады.

Среди прочих художеств ярко и жирно проступала надпись: *Цой жив*. А рядом с ней как постскрипtum: *Рэн — это кал, рок — это кул*.

В конце слова «кул» были зачеркнуты две буквы — «ь» и «т».

Когда надпись была еще свежей, тетя Тома встала перед ней, как перед картиной в музее. Ей хотелось обсудить это с кем-нибудь. Она огляделась — неподалеку играли дети. Из взрослых никого.

Возле железной скамейки, окрашенной когда-то в цвета радуги, примостилась ничейная серая кошка. И тетя Тома решила объясниться с ней.

— На каждый термин по три буквы, а в сумме, исключая местоимение «это», — двенадцать. Дюжина. Со словом «кул» действительно лучше. А культ мы уже проходили. Ничего в нем хорошего нет. Теперь культ бескультурья, так говорят. А я не согласна. Посмотри, фраза-то стройная. Природная тяга к стилю и фонетике. Так что культуру из нас еще не скоро выбьют.

Кошка сидела неподвижно, подобрав под себя лапы. От ветра она нахохлилась и напоминала чайную бабу. Казалось, подними ее сейчас — под ней окажется теплый заварочный чайник.

Тетя Тома тоже озябла. Ветер трепал ее самодельные рыжие кудри, и ей стало жаль, что она промучилась на бигуди всю ночь, а кудри распадаются на глазах.

Ей хотелось поговорить перед этой стеной еще, в голове было много мыслей. Они роились, перебивали друг друга и требовали, чтобы их высказали. Но кому? — не животному ведь.

Она прочитала надпись еще раз, махнула кошке и пошла к подъезду.

До дома минут десять — совсем ничего. Стоит идти медленнее. Время перейдет в шаги и кончится быстрее.

Еще немного, и совсем стемнеет. А включают свет — еще с поворота замигает окно. Как маяк в черных водах океана.

Должно быть, отец уже вернулся и ждет его, сидя на веранде. Курит в открытую дверь. Ноги у него в шерстяных носках, а поверх них — калоши. Дует.

Внутри он не заходит — вот-вот появится Ролик, и он встретит его здесь. А если электричества не будет, отец, конечно, зажжет керосинку — не станет сидеть в темноте. Сквозь дымчатый свет покажется его фигура. Не вся, лишь очертания. Тогда Ролик шагнет к нему навстречу — и отец проступит весь.

## 6

Мать Ролика работала кондитером. Женщиной она была не старой, но на лицо озадаченной и потускневшей. Тусклыми были ее русые волосы, глаза и даже походка. Всё одно — лампочка без спирали.

Он любил мать, как любил бы свою всякий ребенок, и это было неизбежным, прочным, как пуповина, чувством.

Отец же был для него горой, взобраться на которую он страстно желал и к этому стремился, но приступить к той горе не знал и найти не мог.

Перед самым концом второй четверти школа запестрела гирляндами и самодельными снежинками, за которые отвечали девочки, мастера их на уроках труда. Снежинки украшали классные и коридорные окна и с улицы казались белыми шариками.

В фойе школы, над входом в зимний сад, повесили бумажную ленту: «С Новым 1996-м годом!» На двух языках — казахском и русском.

Так и запомнил его Ролик — как год, в который ушел отец.

Под самый вечер тридцать первого декабря запорошило. Он сидел напротив округлой серебристой печи, подпирающей потолок, как колонна. На столе заветривалась еда и белели две одинаковые тарелки.

В темной кухне, соединенной с верандой, сквозило, и мать, притулившись в уголке, куталась в шаль.

Ролик удивился такому будничному ее наряду и потянулся за третьей тарелкой.

— Не надо, — сказала она. — Он не придет.

И, нервно поведя плечами, добавила:

— Он ушел. Совсем.

*Мальчик выходит во двор. Он шумно, с надеждой втягивает воздух и замирает на секунду, напрягая обоняние. Но морщится, подходит к сараю, возле которого все годы, что живет этот дом, стоит маленькая детская ванна.*

*В ней вода — проточная и дождевая, а в воде осы, жуки-плавунки и другие насекомые, которые хотели напиться, но намочили крылья и не смогли улететь. Мальчику всё равно. Он зачерпывает воду и прикладывает ладони к лицу. На секунду только ему кажется, что всё прошло, он улавливает терпкий, тягучий аромат розового куста. Но облегчение длится недолго — мучительный, внезапный, такой же сладковатый, как этот аромат, запах формалина уже вьется, проник в его одежду, кожу, голову настолько, что теперь возникал как наваждение при одной только мысли об отце.*

*Исполняя свой последний долг перед усопшим, южные люди не поспевали за солнцем, и оно катилось по небу, проваливаясь все глубже и глубже за горизонт. Хоронить было нельзя. И как только отец перестал быть отцом, а стал человеком в саване, запах формалина повис в комнате бесплотным ядовитым облачком.*

*Мальчик смотрит на небо. Ночь еще не перевалила за середину, и желтая луна, бывшая такой огромной вначале, поднялась на самую верхотуру неба, осветив их неприбранный уснувший двор.*

*В плавных линиях ночных предметов, в тихом убаюкивающем шелесте высоких тополей он стоит без движения, и кажется ему, что в эту минуту жизнь становится полнее, и он ощущает покой и свое место в ней.*

*Это чувство как будто было знакомо ему и раньше. Оно приходило на реке, куда отец водил его рыбачить. Приходило, когда мальчик смотрел на его профиль — спокойный, твердый, будто нарисованный в воздухе.*

*Отец ничему не учил на берегу. Губы его бормотали не то стихи, не то песни, и рыба, застывшая перед наживкой, как перед идолом, не волновала его.*

## 7

В темной квартире Рубена, зажатые между раздавшейся на половину коридора вешалкой и длинным прямоугольным зеркалом без оправы, они говорили вполголоса.

— У тебя носки теплые? — прошептал Рубен, стягивая ботинки. — У нас тапок нет.

Потом замер, прислушался и тут же громко бросил в тишину:

— Бабушка, ты дома?

Ответа не было. И они пошли по длинному коридору, минуя первую дверь направо, где была кухня. Остановились на пороге в гостиную.

— Куда ж я пойду, деточка? Темень такая.

— А почему телевизор не смотришь?

Рубен улыбнулся и ткнул Ролика в бок.

— А тебе нравится издеваться над старой женщиной? Три месяца ты изводишь меня этим вопросом, — голос ее нарастал и звучал без пауз, — каждый день, зная, что света нет, и черт его знает, когда он будет, — каждый день я должна раздражаться и отвечать на него!

— А ты не раздражайся.

— Да где ты видел муху, которая бы не возвращалась после того, как от нее отмахнулись? Оставь меня одну! Ты злой, упущенный ребенок!

— Бабушка, я не один. Здесь Ролик. Помнишь Ролика? Тебе будет стыдно за свои слова.

— Черта с два. Пусть слушает, пусть знает, сколько я от тебя терплю!

Она помолчала, но вдруг переменила голос и с нежными заискивающими интонациями спросила:

— Ромочка, ты правда здесь?

— Правда, тетя Тома.

Голос ее зазвучал по-прежнему:

— Ну так идите отсюда. Займите себя чем-нибудь. Вам что, уроков не задали?

— Бабушка, что такое счастье? Мы пришли спросить твоего старого — тыфу ты! — мудрого мнения.

— А-а, давай! Оскорбляй одинокую женщину.

— Какая же ты одинокая? У тебя внук есть.

— Внук. Что внук? Внук означает, что я не одинокая бабушка. А женщина я одинокая.

— Короче говоря, счастье означает не быть одинокой женщиной?

Она вздохнула и как будто заулыбалась.

Глаза Ролика понемногу привыкли к темноте. Тетя Тома сидела в кресле перед телевизором. Высокое, с большими подлокотниками, оно скрывало ее могучее тело, так что виднелись только кисти, сложенные на них, и неясный в темноте крючковатый профиль.

— Бабушка, не спи. Мы ждем твоего ответа.

— Рубенчик, ты понимаешь, что этот холод и эта темень парализуют меня стопроцентно. И когда я слышу такие неприличные слова, как «счастье», то мне начинает казаться, что я глухая и что, конечно, ослышалась. В общем, мне надо подумать.

— Бабушка, некогда думать. Это блиц. Что такое счастье?

Тетя Тома снова вздохнула. Ролик потянул его в коридор, но Рубен отмахнулся.

Она отвернулась от телевизора в сторону окна, в котором была пустота. Без жизни, без цвета и без времени.

И когда они пошли в комнату Рубена, слышали за спиной:

— Желтый теплый день. Фонтаны. Так много солнца, что свет от него везде... Я в платье креп-жоржет, и оно мне как раз — не жмет и не велико, и цвет — как томленные сливки. А сверху цветы, цветы. И вокруг фонтанов тоже цветы, и в руках у меня цветы. А я жутко красивая, молодая, и он ведет меня под руку...

— Кто — он? — крикнул Рубен.

Тетя Тома открыла глаза: пустота в окне.

— Да какая разница? — поморщилась она. — Важно, что в платье, что под руку, что *он*.

Потом они опрашивали и других взрослых и, возмущаясь, Рубен всем корпусом напирал на Ролика:

— Ты видел? Они взрослые — и ни один из них не смог сказать нормально: «Я счастлив», — так, чтоб в это верилось безо всяких. И ответы, как у наших одноклассников: «Ну, счастье — это когда все живы-здоровы». Правильно Фома сказал — сами не знают, что такое счастье, а нас же учат. Чего у них лица-то такие несчастные становятся, когда про счастье спрашиваешь? «Вы счастливы?» — «Ну, да, наверное. Ну, то есть да, конечно». Вот это их «ну» всё портит. Они врут. Это же видно. Я с детства по лицам читаю.

— По лицам?

— Ты же видел мою Тамару. Актриса. Играет так, что никогда не догадаешься, о чем она думает. Она сейчас может улыбаться, а через секунду запустить в тебя чем-нибудь. Но я ее не боюсь. Я эту школу с детства прошел.

Ходили с этим вопросом и к Руфине. Ходил больше Рубен, а Ролик — за компанию и на правах соседства — стоял рядом.

— Руфина, что такое счастье?

— Чё? Чё еще за туфта?

— Ну, ответь, что такое счастье?

— Зачем?

— Надо.

— Нафига?

— Ну, ответь.

— Слушай, беззубый, не беси меня.

— Ну, ответь.

— Да не знаю я! Отвяжись.

Щелчком она отбросила окурок в шиповник:

— Что-нибудь полегче.

— Куда уж легче! Что такое счастье? Проще простого.

— Еще вопросы есть?

— Есть. Ты счастлива?

Она прыснула и закатилась смехом:

— Конечно, блин! Счастливей не придумаешь!

— Я серьезно.

— Да нет же, идиоты! У меня что, по-вашему, красивый дом, добрая мама, красивый папа на красивой машине, сестра с нормальными глазами, брат, как у всех? У меня что, по-вашему, красивая одежда и куча денег в кармане?

— Значит, ты несчастна?

— Не знаю! — рявкнула она. — Что за вопросы? Заняться нечем?

— Так счастлива или нет?

— Не счастлива и не несчастна. Всё?

— И что такое счастье — не знаешь?

— Еще как знаю. Куча денег — вот и всё счастье!

— Не в деньгах же счастье.

— А в чем? Ха-ха! В чем тогда? Для меня — в деньгах! Есть деньги — есть дом, жратва, шмотки, врачи там всякие, чтоб этих увечных лечить, а кого надо и закодировать. Да всё есть, когда есть деньги! И работать не надо! А кто это придумал, что счастье не в деньгах, — короче, придурок он. Или сам нищий, или у него их такая куча, что думать разучился.

Из калитки показалась Алкина голова. Моргнув два раза, Алка нашла среди троицы Руфенино лицо.

— Руфин, ну ты скоро? Я жду же, блин!

Руфина процедила с отвращением:

— О, вылупилась. Иди назад! Скоро!

— Ну только скоро, да?

Алка изобразила улыбку и облизнула сухие губы.

— Скоро-скоро. Иди уже! И вы идите отсюда, журналисты хреновы!

Она посидела еще немного, потом встала с корточек, с хрустом разогнула колени, достала из кармана джинсов грязную смятую купюру и крикнула им вслед:

— Эй, зубастик! Предлагаю ввести меру счастья. Например, у кого миллион — тот счастлив на миллион, у кого тыща — на тыщу. У меня двадцатка! — она помахала ею, высоко подняв над головой. — Правда, сейчас я ее спущу, но пока не спустила — я счастлива на двадцатку!

Рубен повернулся к Ролику:

— Ну хоть один из всех говорит то, что думает.

Ролик остановился:

— А сам-то ты знаешь, что такое счастье?

Рубен поднял брови и запустил руку в свои кудри.

— Ну и?

Он пожал плечами и растерянно улыбнулся, потом протянул:

— Да-а-а... Ты делаешь успехи, Роллан. Дружба с таким незаурядным умом, как у меня, пошла тебе на пользу.

— Так что?

— Короче говоря, — он вытянул губы и снова потрогал волосы. — Сапожник без сапог, да? Ну нет, подожди, например, я так понимаю, что если ты с кем-то живешь и он несчастлив, значит, и тебе не светит, а если он счастлив, значит, и тебе радостно. Так ведь?

Он оживился, и Ролик видел, что Рубен был готов выдать целую речь, и больше его не перебивал, думая о матери, которую давно не видел радостной и уже забыл, как это бывало хорошо, когда она сидела напротив него за столом и улыбалась, глядя на то, как он ест.

А отец? Его улыбку он видел неясно, словно в тумане, и только сосредоточившись на темно-оранжевой ягоде шиповника — сейчас она близко раскачивалась перед ним, — пристраивал к этой улыбке себя и мать с полотенцем через плечо, и шум от кипящей кастрюли на плите.

— ...и если бы как-то вернуть те фонтаны, и чтобы бабушка была худая и молодая, и влезла бы в свой *жиржет* с цветочками, и тот дед, который тогда был еще не дед, а мужчина, вел бы ее под руку в том желтом дне, тогда бы я тоже чувствовал себя счастливым. Наверно. Ну, если бы видел всё это, как она. Правда, меня бы еще не было... А может, и вообще бы не было. Слушай, пойдем, а? Нам еще математику делать. Завтра контрольная, и Коробейникова куда-то уехала. Хорошо бы никогда не было этой математики. Хорошо же вот так ходить, задавать людям вопросы. Они рассказывают, ты слушаешь. И никакой математики.

Он потряс ветку шиповника:

— Может, мне вообще журналистом стать?

— Давай.

— Ну, только я с ошибками буду писать.

— А ты иди в такие, которые только с микрофонами репортажи делают.

— О! Это идея! Буду брать интервью у знаменитостей! Здравствуйте! Виктория Руффо? Сколько серий еще осталось в «Просто Марии»? Скажите, вы там в конце разбогатеете и будете счастливой? А вы знаете, что такое счастье? Что? Счастье — сниматься в сериалах? Спасибо. А вот у нас несчастье, да. У нас нет света, чтобы смотреть, как вы там счастливы в своей Мексике. Вам очень приятно? А нам нет. У нас же нет света — и мы не можем смотреть на вас круглые сутки. Конечно, хочется, что за вопрос. Моя бабушка караулит вас каждый день. Да все наши бабушки и их дочери и внуки караулят вас каждый день. Вы не могли бы сказать там кому-нибудь, чтобы свет горел подольше, а то кроме вас еще столько дел — школа, например, и уроки, а мы, как кроты, пишем с керосинками, от которых воняет и болит голова. Со свечками? Нет, не болит, но, говорят, от них портится зрение, и воск вечно капает на страницы. В общем, не знаю, как у вас там, в Мексике, а у нас счастье измеряется электричеством. Да, счастье — это свет. А еще газ и горячая вода. Спасибо, автограф не надо. С вами был Пинхасов Рубен.

## 8

Когда ушел отец, Ролик перестал понимать ход вещей и бродил до темноты по улицам, вышагивая свое одиночество. В одиночестве рождались мысли и образы, и Ролик растягивал шаг и увеличивал одиночество.

Сохраняя молчание от людей, он рисовал их себе такими, какими хотел видеть. Он знал, что дурачок — это дурачок. А про Руфину слышал, что она проститутка. Но он не хотел, чтобы она уезжала по вечерам, ему было жаль ее несвоевременной улыбки всем и каждому.

Руфина не знала стихов, и имя у нее было глупое, но она бросала в Ролика камушки через сетку-рабицу, и камушки иногда падали рядом с ним, а иногда стучались о его спину легко и не больно. Ролик оборачивался, и они смеялись. Тогда она казалась ему красивой, и он забывал о вечерних машинах, и о том, что она дерется с матерью и подолгу сидит на корточках, вытянув вперед загорелые руки.

Зима для Ролика шла не медленно и не быстро. Он шел вместе с ней по адресам и улицам, где бывал вместе с отцом.

Иногда она останавливалась, затихала, и по битым асфальтовым переулкам бежали талые воды, Ролик же не останавливался и шел дальше, перешагивая через них аккуратно, чтобы не забрызгать брюки грязью.

Ему казалось, что мать обижается на него за все. Даже за эту грязь. И он становился



осторожным, и сам не заметил, как научился держать перед ней лицо, запретив себе быть настоящим и чувствовать то, что чувствовалось глубоко-глубоко внутри.

— Если бы ты был ему нужен, он бы пришел сам.

Она бросала очищенные картофелины в миску с водой. Миска стояла на полу, а мать сидела на стуле, согнув спину и не показывая лица.

Локти она держала на коленях и быстро вращала маленький ножик крепкой широкой кистью.

— Думаешь, я ничего не знаю? Я мать, я знаю все. Иди, унижай себя, ищи того, кто не пришел.

Она подняла голову. Кое-где из узла выбились волосы и мешали ей видеть сына. Он сидел за столом, боком к ней, и что-то писал. На тщательно вытертой клеенке лежали раскрытые учебники.

— Сначала ты и правда будешь искать его. Но учти, он уходил не для того, чтобы его мог найти кто угодно. Даже ты. Ты будешь искать его везде, но не найдешь. Будешь ходить, заворачивать за новые углы, встретишь каких-то новых людей, встретишь и старых, — но только не его. Ты будешь ходить столько, сколько захотят твои ноги и дурная голова. Пройдешь этот город вдоль и поперек, а потом еще столько же по несколько раз. Но не найдешь его. Он не для этого уходил.

Ролик перелистнул страницу.

— Ты не найдешь его, а привычка ходить останется. Ты будешь ходить и ходить, и ходить, и ходить, и ходить, — она швыряла неочищенные картофелины в миску к очищенным, не целясь. Они насакивали друг на друга, и их отбрасывало в стороны. Вода смешалась с комьями земли, налипшей на кожуре, и мать, наклонившись к самому полу, вылавливала ее пальцами. Земля размокала и отваливалась в воду. — Ты будешь ходить, будешь искать и, в конце концов, что-нибудь да найдешь. Ты найдешь дурную компанию и будешь, как эти...

Она подняла к нему раскрасневшееся лицо и тыльной стороной ладони отерла лоб. Затем кивнула на дом, утопавший в зарослях шиповника:

— Ты еще не знаком с их семейкой? Обязательно познакомься. Это такие экспонаты. Проститутка, наркоманка и дурачок. Да, и еще эта девочка — жертва ошибки.

Ролик не сказал ни слова, но когда мать замолчала, он увидел, что и его чертеж закончен. На большом альбомном листе разноцветными карандашами были выведены стрелки, обозначены указатели, знаки, дома. Сбоку, в отдельном столбце, пронумерованы названия пунктов.

Это казалось ему так просто — нарисовать план, маршрут, по которому он двинется дальше.

Он представил Руфину. Вспомнил и Алку, и дурачка. Он хотел бы видеть Руфину каждый день. Как и отца.

И Руфина, и отец были плохими людьми. Получалось так. Но он хотел бы видеть их каждый день. Каждый день из каждых дней его жизни.

## 9

И даже случилось так, что однажды Ролик видел их вместе в одной комнате, но Руфина из нее выходила, а отец только-только заходил.

Алка встречала радушно, упрятав высохшее тело в платье-кимоно с драконом на спине. Оно было ей велико, и дракон притаился в складках, как порезанный на части угорь или змееголов.

Как-то с отцом они привезли с рыбалки целое семейство таких. Отец оставил их Ролику. Тот бросил их у сарая и ушел в дом, а утром подскочил при виде пустого мешка — это была не просто рыба. Она расползлась по всему двору в поисках потерянного водоема. Он настиг одну в густом сорняке у дырявой стены летнего душа, но, взяв в руки скользкое изгибающееся тело, тут же бросил: змееголов огрызнулся острыми редкими зубами.

Ролика в дом позвала Аня. Взяв его за руку холодной ладошкой, повела в свою комнату показывать куклу. На полу, облокотившись на грудку пустых ящиков, сидел дурачок и спичками выкладывал примитивный рисунок из домика, солнца и речки. Покончив с пейзажем, он принялся выводить имя сестры, но последняя буква была повернута не в ту сторону, и Ролик, заметив это, ничего исправлять не стал.

Она усадила его на пол рядом с дурачком, сама же влезла на кровать и стала расчесывать спутанные волосы одноглазой куклы. Пластмассовый гребешок с поредевшими зубцами наткался на куклины колтуны, и голова ее все время слетала с шеи, тогда Аня протягивала куклу дурачку и после починки начинала снова.

Не скука охватила Ролика, который молча оглядывал темные, изъеденные паутиной трещинок стены, — тоска. С тоской он представил себя частью этой семьи, каким-нибудь по счету ребенком, где-то между Руфиной и дурачком, и, посмотрев на безумного новоиспеченного брата, рассчитал, что если вытянуться всем телом от кровати и до стены, то ноги все равно придется подогнуть.

Ему захотелось на воздух. И тут через открытую вполтину дверь в центральной квадратной комнате показалась Алка, а следом вошла Руфина. Платье, доходившее ей до колен, свободно колыбалось в такт шагам, и крепкие продольные мышцы уплотняли ее веснушчатые голени.

Они прошли вглубь комнаты, и Ролик услышал голоса:

— На. Много не пей. И их покорми.

— Смотрите, какие мы строгие!

Алка кружила вокруг стола, заглядывая внутрь вспученной сумки:

— Дочь! Дочь! Вот ты — моя настоящая дочь!

Она схватила ее за голову, силясь поцеловать. Руфина отмахнулась:

— Да отстань ты! Опаздываю я.

— Всё. Не лезу!

Алка пританцовывала на месте, раскладывая на столе покупки.

— Покормить, говорю, не забудь.

— Ну я, чё, ведьма совсем?

Она достигла клеенчатого дна:

— Эй, а сигареты где?

Промелькнули крепкие голени, на секунду замешкались на пороге, и Ролик услышал негромкое отцовское «здравствуй».

— Ну, привет! И ста лет... не прошло.

— А ты, значит, так и живешь здесь?

— А я думаю: и кто тут поселился? Тебя не узнать!

«Тебя тоже», — подумал он, а велух сказал:

— Дом-то ваш каким большим казался!

— Я сама себе казалась большой. А сейчас кажусь старухой.

Она замолчала, потом хихикнула:

— Совсем я страшная теперь?

Ролик тут же вышел к ним и спас отца от грубой и неприкрытой лжи.

Отец смотрел на него рассеянно, будто соображая: привиделся или нет. Потом встал из-за стола и подвел его ближе.

— А это вот сын мой. Ролик.

Он прокашлялся:

— Роллан, ты как здесь?

— С моими играл, что ли? — Алка откинула голову назад и громко крикнула:

— Анька, дочь, вы там? Идите к столу!

В то лето отец перестал ходить на работу, и Ролик поначалу обрадовался, думая, что его каникулы совпали с отцовским отпуском. Не сегодня, так завтра, и уж точно не через месяц, они поедут на рыбалку, и он, Ролик, сядет за руль, как только они перемахнут городскую черту, и миражи на раскаленном асфальте станут совсем как живые.

Они даже подъедут к дому Рубена, и тетя Тома, конечно, его не пустит, потому что там туалет в чистом поле, бактерии, раки и комары. А может, возьмет да и пустит: человек она или кто!

Хоть раз в жизни наплюет на все свои еврейские страхи и отпустит Рубена на все четыре стороны.

И никакую диарею он не подхватит, и клопы не оставят на нем ни одного тайного укуса, а комары облетят его, как окропленного святой водой.

— Всего лишь одна ночевка!

— Ни за что!

Рубен только вздохнет, выглянув из-за пюпитра, а грозная Тамара вратет между ними всем своим царственным туловищем и под манерный кивок захлопнет дверь.

И отъезжать со двора они будут под бойкий «Танец» Дженкинсона — Рубен не станет нагнетать.

У известной бетонной стены отец промажет с передачей, и три-четыре такта они потеряют. «Рэп — это кал».

— Он что, без конца на ней играет?

— Ты же видел его бабушку.

— Ага.

— Но друг он хороший.

— А он не трус?

— Не знаю. А как это сразу поймешь?

Через три светофора дорога перестанет петлять и побежит прямо, защищаясь от ветра стройными рядами карагачей. Солнце ударит во все зеркала, и желтая дымка смягчит уходящий день. У источника с колодцем они поменяются. Отец поставит подбородок на руку, руку на подлокотник и с минуту повыбирает радио: «Эй, а кто будет петь...» — переключит и тут же вернет волну — «...все будут спать? Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать».

## 10

Ролик не любил тот дом, в котором они жили теперь, и где теперь лежит его отец. И, глядя на большие сумки, набитые вещами, книгами, посудой, занимавшие все пространство жилища, он чувствует облегчение и не чувствует жалости к тому, что прошло.

В этом доме, обжитом совсем недавно, они появлялись и раньше. Отцу он достался от покойной бездетной тетки, не сумевшей в женском своем бессилии сохранить его от времени.

На стенах небольших комнатух еще держалась посеревшая штукатурка, которая все больше осыпалась на углах. И сникшая солома торчала из них пучками.

Потолки здесь были низкие, и высокий живой отец, когда еще ходил по этим комнатам, непривычно после панельной пятиэтажки пригибал красивую черную голову.

Даже лежа на стульях, теперь уже мертвый, растянувшись по комнате во весь рост, он теснился этими стенами, и комната напоминала нильскую ладью, заполненную саркофагом фараона с посмертным его имуществом.

Сжатый, как маленькая сфера, саманный домик держал тепло, и янтарные пугливые скорпионы никогда не переводились в нем полностью.

Отец, желавший уберечь сына от их укусов, настаивал скорпионов в банке с маслом.

*Мальчик отодвигает занавеску — никому не пригodiвшаяся банка с двумя желтыми скорпионами до сих пор стоит на подоконнике. Луна подсвечивает их красивые тела, утопшие в масле, как в невесомости, и он невольно цепенеет, разглядывая их плетеные хвосты, загнутые к сильным клешням.*

Одной из летних ночей Ролику снилось, что на кровати его сидит скорпион, и, проснувшись испуганным, он нашел его прямо перед собой. Яркий жгущий свет южного утра застиг скорпиона врасплох: часы охоты были упущены, — и на скомканной белой простыне он замер, как на пустынном плато, а может, просто дремал.

Ролик же, обездвиженный страхом, не закричал и не заметил, как отец, смахнув на пол, придавил скорпиона ботинком, а потом соскреб в двухлитровую банку.

Это и был тот, первый из пары, оставленной для спасения укушенных, — вроде как на память сыну, которого ни разу не жалил скорпион.

*На подоконнике банка, как музейный экспонат на постаменте, — доньшком на деревянной подставке. Там же надпись — шариковой черной в несколько нажимов: Инсталляция «Ядовитое время». 1995.*

*Отцу говорили, что он человек с юмором, но он поправлял:*

*— С видением.*

*Мальчик разглядывает жало. Плоская изогнутая капля с иголкой на конце. Ему хочется дотронуться до него. Должно быть, на ощупь эта острота совсем другая, чем на глаз.*

*Мальчик поворачивается к отцу — с тех пор, как он умер, прикасался ли он к нему? Нет. Ему не хочется ощущать холодную пустую оболочку: там уже нет отца.*

*Сейчас, в саване, он, как эти скорпионы в масле, — застыл в моменте. Застыл телом, лишенным воли.*

*Скорпионы больше не ужалят, отец больше не уйдет. Нет, не так. Отец больше не вернется. Инсталляция «Прошедшее время».*

*Мальчик подходит к зеркалу. Отражение засвечено солнцем, как негатив, неумело извлеченный на свет. Мама в отражении без лица, а угадывается легко — хрупкость в золотом свечении. Она бесстрашная, как лев, и волевая, как обточенный кусок гранита, лишенный чувств.*

*Она разбирала старый сарай и вышла за калитку с ужом в руке.*

*Старушки на улице медленно готовились к смерти, и ручеек семечек сопровождал их неспешный разговор. Разгрызая то, что им осталось перед самым концом, они были почти*

счастливые, но мама вышла к ним чересчур быстро, опережая мерное течение ручейка. Вышла шумно, как если б из чащи Диана, и рука с добычей победоносно взмыла вверх.

Одна из старушек ахнула, разжала мраморную ладонь — и семечки побежали вниз, как утраченное навеки время. Из обморока она перешла в конечное состояние покоя — и плакали по ней негромко.

Солнце бликует в зрачках, и мальчик жмурится. Он думает о несовпадении. Хрупкость не имеет ничего общего с кротостью — он понимает это по ее рукам. Мать умеет ненавидеть всем телом.

— Друзей своих бальзамирует. Чего же он от себя противоядия не придумал? — она чуть поворачивает к мальчику лицо. — Такой же скорпион, как они. Убери эту мерзость, или я разобью.

## 11

Куда он отлучался, Ролик не знал, а спрашивая, слышал то, что взрослые обычно отвечают детям или тем взрослым, с которыми не хотят продолжать беседу: «Дела».

И он ждал его, вглядываясь в силуэты на том конце улицы. Отец? Не отец. «Неотцы» проходили мимо, и Ролик вновь напрягал зрение.

Какая-то из следующих за ними темная точка приобретала узнаваемые черты, и вот уже Ролик вставал навстречу, но отец заходил в соседний дом и там растворялся до темноты.

К Алке он ходил стричься чаще, чем отрастали волосы, и Ролик околачивался возле сетки, выглядывая его сквозь металлические соты.

По ту сторону был виден дом и дерево в огороде с блаженным дурачком в тени. Иногда появлялась Аня и увлекала дурачка внутрь. Он упирался, но шел, отставая от нее на несколько шагов.

И будто все это писалось на пленку, и щелкал проигрыватель, раскручивая известные кадры по очередности. И снова точка вырастала до силуэта, ныряла в соседний дом, и Ролик, любопытный и тревожный, неслышно приближался к сетке, и дерево — всё с тенью заодно — баюкало дурачка, а дальше Анечка, рука и чуть прикрытая дверь дома.

Ролик не прятался, но его и не видели, будто моменты своей и чужой жизни он смотрел в кинозале.

В тот день эпизод с садом удлинился на кадр. И как в первое субботнее купание Анечки, внезапно появилась из сарая Руфина. Дежавю Ролик не почувствовал — не хватало ее смеха.

В тех же штанах, так же с неизменной сигаретой, из темноты на свет, а так оно и было — из темноты на свет, только к штанам и сигарете прибавила еще перебинтованный изолентой топор.

Крепко сжимая топориче обеими руками, лезвием она постучала по дереву, проверяя: плотно ли оно сидит в проушине, готово ли к точной рубке.

— Опять подглядываешь?

Ролик смотрел на топор. Над головой у него две недели как перезревал виноград: ну и что с того, что гроздья были одеты в старые материнские чулки — свисали замаскированные, как лица грабителей. Осы жадно угадывали их томный аромат и крепко лепились на кисти. Их ворчливое жужжание доносилось до Ролика как будто издалека. Он смотрел на топор и думал о топоре. Слишком большой для рубки мяса. Да и какое мясо в этом доме — оттуда сроду не доносится запах еды. Вообще никаких

запахов. Зато внутри — целый букет. Но с едой ничего общего. Запах перегара, гнили. Запах жизни, которая начинается с конца, — почти уже клонится к земле, соединяется с ней, а после превратится в удобрение и даст новые плоды — гнилые, как их прародители.

Дурачок уже разучился говорить, когда другие дети только-только начинают говорить осмысленно. Аня уже закатывает зрачки к внутренним уголкам глаз, когда другие, удивляясь новым предметам, широко их распахивают.

Сильная Руфина, плотно сомкнув губы, держала топор почти как кайло. И будь рядом дрова, и будь на дворе зима, Ролик понял бы — зачем.

— Зачем тебе топор?

— Убью ее, к черту.

Осы заворчали сильнее. Он поднял голову и увидел в полуметре от себя свисающую гроздь, на которой свирепо дрались две осы.

«Это шутка, — подумал он. — Винограда кругом столько, что драться из-за него можно только в шутку».

И сам услышал, как спросил:

— Шутка, да?

Но Руфина уже шла к дому, держа топор так, чтоб не задеть колени.

— Шутка, да? — крикнул Ролик.

Рывком она швырнула топор в сторону и подошла к сетке.

— Шутка, да? — злобно передразнила она Ролика. — Аньке она разбила очки, а дурачка отделала тапком.

Она растерянно улыбнулась:

— Господи, но он же и так тупой. По голове-то зачем? В шутку, да?

И вдруг заплакала.

Ролик ощутил огромность, непомерность этой жизни, которая внезапно вышла за вбитый намертво колышек. Флажок, что колыхался от ветра, воткнутый в разделительную полосу между его собственным миром и миром остальных людей, был как предупредительный сигнал, запрещающий выход за эту полосу, — и Ролик через него перешагнул. И сделался сильным и беспомощным одновременно.

Он ждал отца — и только это имело для него настоящий смысл. О жизни других людей он никогда не думал всерьез, и теперь, глядя на слезы Руфины, чувствовал себя шпионом, подглядевшим чужое горе.

Опустив соломенную макушку, Руфина громко всхлипывала, и Ролик подумал: «Глупая сетка». Но уже через минуту грубо, не жалея свое раскрашенное солнцем лицо, она вытерла слезы:

— Ладно. Разнылась. Отрублю ей руку. А лучше две. И мужика заодно.

— Что мужика?

— Прикончу.

Ролик опешил. Она поймала его взгляд и примирительно сказала:

— Это отец твой. Я знаю.

И тут же скулы ее налились гневом:

— Но мне плевать. И на тебя, и на него, и на всех вас.

Как хорошо бы им лежать сейчас у речки. Смеркается. И стрекот в траве становится громче. Отец закидывает руки под голову и делается мечтательным. Самое время просить его рассказать что-нибудь. Ролик лежит и боится шевельнуть рукой, чтоб не спугнуть отцовского настроения. Картинки диафильма Ролик крутит сам, отец

же читает текст. Может, просто врет на ходу, сверяясь в памяти с деталями, чтоб не подловили, но ведь и он врет, когда мать спрашивает об Алке.

До осени рукой подать — больше ничего этим летом не будет. Он сделал над собой усилие и тихо произнес:

— Подержи, я перелезу.

— Кому ты нужен? Держать ему еще.

Руфина повернулась и пошла в дом.

Ролик побежал к воротам, выскочил на улицу и уже через мгновение с силой толкал калитку соседей.

Квадратная некрашенная деревяшка с фигурными прорезями накренилась и взбухла по нижнему краю. Ролик дергал ее за ручку, толкая вперед. Калитка терпеливо держалась на заржавевшем язычке и упрямо упиралась в землю. Он бросил ее, устав от бессмысленной борьбы, и, вставив ступню в отверстие с узором, бросил и себя на соседний участок.

Сцены убийства Ролик не застал. И сейчас вспомнил, как заскочил в дом и только там задышал полной грудью.

В школе на стометровке он никогда не приходил первым — слишком много думал о дыхании. Бежал и все путался: что там говорилось про рот? Закрытым его держать или открытым? А нужно-то было всего ничего — поставить у финиша отца и против него Руфину с топором.

Сердце еще колотилось, когда увидел со спины отца: вон он, живой, невредимый, пьет с Алкой просто так, а может, и за чье-нибудь здоровье. А на душе стало досадно и следом смешно: поверил в Руфину с топором и такого напридумывал, болван.

— Думаешь, я ничего не знаю? Болван. Одного не пойму: почему ты все время его защищаешь?! Заботаешься о нем, выгораживаешь! А как же я? Пустое место? К черту нужны такие дети! И мужья заодно!

Ролик знал, она не выпустит его из-за стола, пока не скажет все. И безучастно пропалывал гречку. Камешка в тарелке ни одного: и в гневе, и в работе, и в хозяйстве — она во всем такая. Въедливо и аккуратно бьет прямо в цель.

— Это его одноклассница или соседка. Кто уж там, я не знаю. Первая любовь, одним словом. И главное, то на игле, то на стакане. А страшная какая! Удивляюсь просто.

Ролик сделал честную попытку:

— Мам, а ты красивая.

На этой фразе можно было споткнуться и перестать. Не сработало. Она яростно взглянула на него.

— Все ясно. Такой же, как отец. И это всего в двенадцать!

Ролик улыбнулся:

— Значит, еще цветочки.

Хрустнул на зубах камешек. Она вскинула бровь и скрестила руки.

— Вот. Мало тебе. Ничего просто так не пройдет.

Отец повернулся на шум. Глупый затуманенный взгляд. Ролик узнавал его и не узнавал. Отшатнулся.

«Ничего просто так не пройдет?» «Да». «И больше ничего этим летом».

Алка улыбнулась развязно, раскинула руки, как для сердечных объятий, и позвала присоединиться.

Не здороваясь и уже не глядя на них, Ролик повернул в детскую.

Аня и дурачок сидели тихо, как маленькие зверьки. Алка не всегда расходилась до битья, и детское чутье не раз подводило их. В иные минуты таких застолий она могла быть и добра к ним: могла приобнять или, усадив на колени, по-матерински нежно расщедриться на щекотку. И хоть видели они в этом непритворном веселье что-то неправильное, запретное, но по вере, не растраченной за не случившимся еще взрослением, по-детски робко продолжали надеяться: может, с этого дня так у них и поведется.

Тогда, расслабившись к следующей попойке, позволяли себе лишнее и, как котята, лезли за лаской. С улыбками — неловкими, осторожными, несуразными, которые получили не от рождения, но приобрели, усвоили, впитали как привычку, заглядывали в ее мутные залитые глаза — и ничего в них не видели. А объяснить того не могли. Страшились. И перед самими собой делали вид, что видели.

Захватанная беспросветными годами Алка, как захватанная гладкость стекла, что ходит меж общими ртами по кругу, любила и была их тоже по усвоенной привычке, и среди всей этой смертной боли так спасала себя для будущих дней.

Ролик не знал, что бежал в этот дом напрасно. Напрасно цеплял занозу. Напрасно увидел край простершейся перед ним жизни — Руфина делала это не раз. Но только раз на глазах у кого-то. Ролик жил в этом доме недавно, а Алка пила давно, и всякий раз топор извлекался, чтобы карать, но, потрясая им перед матерью, Руфина быстро слабела, будто из нее выпускали воздух, — и топор, оставаясь без работы, летел на пол. Чуткий дурачок, выбравшись из укрытия, бесшумно ступал между забывшихся человеческих тел и прятал его обратно.

Он спросил их обоих, но Анечка сделала вид, что не слышала, и громче зашпорила с куклой:

— Надо расчесываться! Надо ходить красивой!

Он повторил:

— Где Руфина?

Дурачок замычал в ответ и через спину указал на занавешенное окно.

*Луна все висит, но нити ее ослабли. Она уходит с неба дальше и дальше и, чтобы увидеть, куда она уходит, Ролик наполовину высовывается из окна.*

*Соседский шиповник в темноте выглядит зловещим, а днем в его тени легко спрятаться от лишних глаз или жары.*

Руфина стояла к окну спиной, облокотившись о пыльный подоконник. Второго Ролик не видел — он был там, сидел на маленьком выступе фундамента. День уходил, и ягоды шиповника горели закатным солнцем.

— Денег не дам. Денег нет. Даже когда будут, все равно не дам.

Второй молчал.

Аня свесилась из окна и тронула второго за волосы:

— Эльдар, у нас денег нет, мы все истратили в магазинах. Мне взяли куклу, а дурачку — машину.

Эльдар вопросительно посмотрел на Руфину, потом наверх — в Анечкино лицо, ее скошенные глаза смотрели на него.

— Нашел, кого слушать. Скройся, — это уже Ане.



— Нашел, кого слушать. Скройся, — передразнила она Руфину.

Дурачок беззвучно засмеялся и зашевелил губами.

В комнате грохнуло. Ролик выбежал из детской. Отец лежал на полу и, опираясь на руки, безуспешно пытался встать. Ролик перехватил его сзади и что есть силы тянул на себя — куда там, отец уже подогнул ноги и теперь, стоя на четвереньках, приобрел обратную тягу. Но Ролик не сдавался и продолжал тянуть, чувствуя всем телом, что пытается сдвинуть с места упавшее дерево.

От этой унижительной позы, от того, что оба они торчат над полом вровень с ростом пятилетнего ребенка, а голова дурачка так и вовсе возвышается над ними, Ролик увидел себя экспонатом в зоологическом саду, над которым дотошный экскурсовод объясняет его животную возню любознательному посетителю. Громким шепотом Анечка терпеливо втолковывала дурачку, словно боясь нарушить естественное поведение двух приматов:

— Его папа, как наша мама, — алкаш. Поэтому они дружат. У алкашей сплетаются ноги, и они не могут ходить.

И он вдруг обессилел — не руками, а всеми своими внутренностями, которые вначале скорезились от этого вкрадчивого заинтересованного шепота, а потом и от Алкиного смеха.

Ролик подавил подступивший к горлу комок и тихо сказал:

— Папа, вставай.

И тут отец жалобно заревел, как будто теперь вслед за Роликом осмыслил происходящее:

— Сам! Я сам!

Вот так же ревел он и год назад, протягивая руки вверх и шаря ими по воздуху, там, где, как ему казалось, должны быть перила. Они и были, но гораздо правее, обсиженные, как синичками, детьми из соседских квартир.

Их смех отличался от Алкиного — безумного, булькающего икотой. Они хихикали тихо, в грудь, настороженно следя за движениями отца, готовые при любой опасности вспорхнуть на следующий пролет.

К вечеру пятницы мать собиралась на дачу. Аккуратно прорисовывая губы, увидела Ролика в зеркале, совсем неготового к поездке.

— Что за номер?

— Я с папой.

Она не разозлилась. Задумчиво, даже мягко сказала, глядя в его отражение:

— Знаешь, я, наверное, разведусь. А ты как хочешь.

И вышла, бесшумно притворив за собой дверь.

Этот странный, нетипичный для нее тон, испугал Ролика. Пропавший в нем, словно в густом тумане, он не мог пошевелиться и долго смотрел из своего угла на повисшую пустоту в зеркале, где еще мгновение назад стояла мать. Теперь там была только тумбочка с разбросанными на ней бумажками, записками, ручками, красный телефон и, выше, родительская фотография — еще без него, в рамке, выцветшая почти до сепии.

К отцу он с этой фразой не пошел. И принял ее как вызов. Ночью засыпал ненадолго, но постоянно вздрагивал: падающие на пол предметы хватали его цепкими звуками и тащили наверх, когда и он, отдаваясь бессознательному, падал в бездну.

Он находил его у какой-нибудь стенки, куда отец настойчиво стучался, как в дверь, иногда молчаливо, иногда требуя, чтобы его пустили, и всё с закрытыми

глазами. И Ролик брал его за руку и долго вел к постели, потому что уходить от той двери отец не хотел.

Или, погружаясь в какие-то тревожные рваные видения, Ролик внезапно подсказывал от того, что отец сидит на его кровати и что-то жалобно рассказывает ему, о чем-то просит или долго и тихо повторяет, что заболел, что устал и просит Ролика спать, укрывает его, а сам раскачивается из стороны в сторону, будто камлает, и снова повторяет: «Я заболел-заболел» или «Я устал-устал», — а Ролик садится на кровати и утешает его, как маленького, и тоже говорит с повторами, как лодку волна качает: «Ничего-ничего», «Ты поправишься-поправишься». И потом, когда отец стихает, берет его за руку и снова отводит спать.

В субботу вечером он вызвал «скорую», рассчитал, что успеет: мать возвращалась только через сутки.

«Скорая» ехала долго, а уехала быстро.

— Мальчик, ты же сказал, ему плохо, а ему хорошо.

— Ему плохо.

— Мы без согласия никого не увозим. Он согласен?

И Ролик сказал что-то отцу, сейчас уже и не помнил, *что*. Сказал что-то правильное, разумное, и при этом сказал необыкновенно мягко, так что отец уверенно закивал. И даже когда Ролик накинул на него кофту и за руку вывел в подъезд, продолжал кивать, глядя куда-то мимо всего движущегося и статичного, мимо стен и перил, мимо хмурых негромких врачей, которые топтались в углу без освещения, и только огоньки, зажатые меж пальцев, — вверх-вниз-вверх-вниз.

Их было всего двое, но как бы они помогли Ролику. Двое, то есть по паре рук с каждой стороны — и отца не то чтоб завести, а даже и занести в квартиру было бы легко. И люди участливые, понимающие, окажись они внутри такого момента, — не стали бы ждать просьбы: «Вы не поможете его завести?»

А этот момент уже наступал, потому что, утратив ритм кивания, отец посмотрел на Ролика ясно. И стены, и перила, и врачи с огоньками, и ступни, вдетые в домашние тапочки, но почему-то топчущие ступени, все это теперь и само глядело на отца ясно. И Ролик даже улыбнулся, увидев, как огорчился отец: ненатурально, по-детски тот поднял брови, как бы собираясь плакать, а потом понял: он и правда огорчился, расстроился и через минуту будет убит горем, как крохотный, беззащитный, обманутый взрослым ребенок.

И тут отец отчаянно замотал головой, будто спешил отвергнуть наперед все вопросы. Потом медленно сложился пополам, как делают старики, и сел на ступеньку. Врачи раздраженно вздохнули:

— Ну что это такое...

— Папа, вставай.

— Отвел бы ты его назад. Ясно же, никуда он не поедет. К тому же «скорая» пьяных не забирает.

— Но вы же приехали.

Врачам стало скучно, и отцу стало скучно. Ночь проходила мимо, и жизнь проходила мимо, но не заканчивалась, повторялась минутами и часами, скученными в одном бесконечном дне.

— А я бы, может, и поменялся с ним местами. Ушел в запой — и ни о чем не думай.

— Так иди.

— Сына такого нет.

Ролик спешил. Он тянул уже просто так, чтобы совершать хоть какие-то действия. Тормошил, уговаривал, дергал.

Врачи умолкли и мрачно следили за ним, втаптывая окурки в серую плитку. Но вот один уже подался вперед — и фора кончилась.

Ролик взмок и тяжело дышал. Врачи пошли, а отец — как есть — вырос у них за спиной и встал прямо, не качнувшись даже.

Ролик вскричал:

— Я же говорил — поедет!

— Вы согласны?

Они не могли видеть его глаза в темноте, в подъезде с выкрученной лампочкой. Но язык его не подвел. Он произнес отдельно, громко и трезво:

— Я... не согласен.

И упал.

«Вы не поможете его завести?»

Ролик мог попросить, но не попросил. Врачи могли помочь, но не помогли. От ступеней тянуло холодом, но он сидел и смотрел на отцовские тапки с открытыми носами. Шел дождь. До машины шагов пятнадцать через две огромные лужи.

Втроем они справились с ним быстро. Могли бы еще быстрее, но Алка затосковала от приближения ночи и ненадолго сделалась буйной.

Руфина толкала ее на диван, Алка заваливалась деревянным телом, но тут же подсказывала, как неваляшка. Потом силы оставили ее, и половиной тела она осталась лежать, а другой — свесилась вниз.

Ролик и тот, которого звали Эльдар, тащили отца под руки, Руфина поддерживала сзади. Не разуваясь, вошли внутрь и уложили его на кровать. Ролик на мгновение вспомнил врачей, но тут же постарался забыть. И вроде ничего не изменилось, а он был рад, что не придется сторожить отца на холодной лестнице и втискивать ему одеяло под поясницу, чтобы сберечь почки.

Он не знал, чему так радуется Эльдар, и просто смотрел на его рассеянную странную улыбку.

Эльдар ничего не говорил. Он тихо благодарил этот умерший день за то, что сам-то он еще поживет, — в любом деле нужно выбирать правильную сторону. Он вел отца справа и честно старался не уронить его на землю — отец оплатил его усилия с горкой: полным правым карманом.

## 12

Они шли клином. Пятеро, а впереди вожак. Так ходят стаи бродячих собак. Иногда у них получается клин, иногда цепочка, но вожак всегда впереди. Впереди шел Эльдар. Алке он доводился родственником и по злой похожести судьбы, как будто одной на двоих, тоже был наркоманом.

Ролик смотрел на них сквозь листву, прорезанную душным весенним воздухом. Он слышал о них и раньше. Слышал многое, путаное и нехорошее, и выходить не хотел.

Рубен, держа футляр со скрипкой, смотрел Ролику в затылок и тоже не хотел выходить. Тетя Тома с детского сада пугала его плохими компаниями и заронила в Рубене зерно суеверного страха перед всеми, кто собирался в группы на улицах и во дворах.

Эльдар повернул большую лохматую голову. На смуглом лице его горели светлые глаза и будто таяли от теплоты загорелой кожи. Руки он держал в карманах протертых джинсов, а плечи сутулил и медленно, но в каком-то одном заданном ритме шевелил губами.

Он увидел сначала, что между листьев не проходит свет. Взгляд его стал острее и нащупал лицо, застывшее по ту сторону листвы. Он подошел ближе и отодвинул ветку.

— А, это ты, — протянул он медленно. — Тот самый Алкин сосед?

— Да.

— Я тебе помог тогда. Теперь твоя очередь помогать. Меня Эльдар зовут.

— Ролик. А это Рубен, мой друг.

Он указал на него рукой и коротко задумался, надо ли подавать руку Эльдару. Он старше лет на пять. Это много. Но Эльдар руки не подал, и Ролик не подал тоже.

— Идем.

Эльдар отпустил ветку и пошел обратно. Сделав несколько шагов, прислушался, идут или нет. Потом сказал пятерым, которые ждали молча и даже между собой ни о чем не говорили:

— С нами пойдут. Тот — Алкин сосед, а кучерявый его друг.

Пятеро, не дожидаясь новеньких, пошли вперед. Жара плавилась воздух, деревья, асфальт. Она мерцала в воздухе, и он дрожал и становился видимым, а Ролик нес в себе смутную тревогу, оттого что чувствовал: идти с ними не нужно, но шел, повинувшись старшему, которого следовало бояться.

По дороге смотрел на пыль, которую вымели к бордюрам. От проезжающих машин пыль змеилась понизу, а самые легкие ее частицы поднимались вверх.

У старого иссохшего урюка лежали бродячие собаки. Пасти их были открыты, и животы тяжело вздымались. Даже когда один из пятерых, хромым в распахнутой рубашке, бросил в них камнем, они не встрепенулись, а только лениво подняли головы и опустили снова.

Ролик посмотрел на их густую шерсть, и дышать ему стало еще тяжелее. Потом взглянул на Рубена и постарался улыбнуться, но Рубен сделал вид, что не замечает и так же, как остальные, глядя только под ноги, шел вперед.

Они собирались в заброшенной пятиэтажке, которую называли Коробкой. Ролик огибал ее по дороге в школу. Коробка уродливо чернела одинаковыми отверстиями окон, и иногда он представлял людей, которые смотрели бы из них на улицу. Представлял он и свет, который бы горел внутри, освещая одинаковые прозрачные занавески и мебель, расставленную у всех тоже одинаково. Диван, сервант с посудой, кресла, телевизор на тумбочке. Должно быть, так и живут все люди.

Теперь уже сложно было представить свет. Не представлялись и люди в оконных проемах. Ролик почувствовал скуку, тоску, ему захотелось оказаться дома, в прохладном темном зале, увидеть себя, растянувшегося по всему дивану, в экране выключенного телевизора. Но вместо этого он увидел свои разметавшиеся шнурки и, управившись с ними, понял, что отстал.

Когда подошел к дому, появилась тень. Немного помешкав, шагнул вперед и скрылся от палящего солнца за щербатой железной дверью.

— Раньше Коробка была жилой, потом признали аварийной. А нам только на руку.

Чей это голос? Он силился разглядеть, что было вокруг, но после яркого дневного света перед глазами прыгали мушки. Из-за черноты, что лезла отовсюду,

он почти не шевелился, ему казалось, что здесь очень тесно, и остальные прижаты друг к другу вплотную. Тогда он выставил вперед обе ладони и стал ощупывать пространство вокруг.

— Спиликай чего-нибудь, Моцарт, — насмешливо прозвучал голос вдалеке.

Ролик опустил руки и пошел на него.

В помещении, куда он попал, очевидно, из предыдущего подъезда, было сумеречно. Заваленные картонными коробками окна пропускали дневной свет по тонким скудным полоскам.

— Я еще не умею. Только учусь.

Ролик улыбнулся. Рубен играл хорошо: тетя Тома занималась с ним каждый день и раз в месяц устраивала концерты, куда приглашала детей и внуков своих подруг. Но Ролик подумал, что и сам бы соврал, окажись он на его месте.

— Ладно заливать, ты же бренчишь на всех школьных праздниках. Моя сестра учится в твоём классе.

— Я еще не умею. Только учусь, — тихо повторил Рубен.

— Тогда и скрипка тебе не нужна. Рыжий, забирай у него скрипку. Сами сыграем, — скомандовал Эльдар.

Голос его звучал спокойно и добродушно, но Рубен, обхватив футляр сильнее, сделал неуверенный шаг назад. Кольцо из спин, окружавших его, сдвинулось тоже.

— А вообще, — сказал Эльдар еще более добродушно, — не расстраивайся так сильно. Честно говоря, здесь никто не умеет играть. Так что и скрипка твоя никому не нужна. Сегодня жарко, и неужели ты не хочешь мороженого? Точно хочешь. Так мы твою скрипку продадим и купим тебе мороженого.

Он рассмеялся и протянул руку к футляру.

Ролик не видел, а скорее почувствовал, понял, что кто-то сбил Рубена с ног. Потом услышал звук шаркающих подошв и шелест мусора под ними.

Он наступил на осколок стекла — оно послушно раскрошилось под ногой — и подумал, что это была зеленая бутылка из-под лимонада. Он был уверен — даже через обувь, — бутылка была зеленая.

Много лет назад, когда еще ни Рубена, ни Эльдара, ни этого дома не было в его жизни, а был только отец, он со всего маху наскочил в подъезде на брошенную кем-то бутылку и разрезал себе ступню огромным зеленым осколком. Потом на одной ноге скакал вверх, держась за перила, и видел, как кровь фонтаном заливала ступеньки. Отец сразу подхватил его на руки, а он не плакал. Отец шел быстро и крепко прижимал его к себе. И так же принес его из больницы домой. Торжественно и гордо Ролик миновал дворовых друзей, демонстрируя перебинтованную ногу, которую как бы невзначай выставил вперед, восседая с каменным лицом воителя, как в походном шатре, на отцовских руках.

Друзья смотрели на него, разинув маленькие рты, измазанные повидлом, и, бросив играть в казаков, бежали в придорожный лесок разбивать военный штаб.

Он налетел на темный полукруг, но его отбросило. Потом услышал яростное негромкое растянутое: «Отдай», — и следом жалобное, почти просящее: «Отдай скрипку, дурак!» Рубена он не слышал, воздух вокруг исчез и звуки тоже — ему казалось, что он слышит только свое прерывистое дыхание, как будто это не он, а Ванька Шатов лежал здесь на холодном бетоне, устланном, как листьями по осени, мусором из оберток, бутылок и сигаретных пачек.

— Валите отсюда, — сказал Эльдар. — Мы скоро вернемся, и чтобы вас тут не было. Валите, — повторил он тихим уставшим голосом.

Скрипку держал хромой в распахнутой рубашке. Он держал ее неуклюже, неправильно, как держит куклу маленький ребенок, обхватив ее тело поперек. Одна нога его была короче другой и стояла на самом носке, и когда он заковылял, скрипку у него отобрали. Руки нужны были ему свободными, он держал их врасстырку, сберегая хрупкое равновесие.

— Махай, махай, Хром. Хоть кто-то у нас орел, — подбадривал его чей-то голос.

Потом уже вдалеке раздался другой:

— А вообще, орлы бывают хромыми?

Домой шли вместе, но молча и чуть поодаль друг от друга. Срезая путь, проходили старое заброшенное кладбище. Здесь давно уже никого не хоронили, и видно было, что могилы не навещают.

Кладбище больше походило на огромное поле, испещренное неровными бугорками с металлическими надгробиями в изжожи. Без оград, скамеек и цветов. На некоторых из них были изображены кресты, на некоторых — красные звезды. Надгробия поедом ела ржавчина и будто бы уже остановилась, насытилась, оставив им немного цвета: каким-то — синего, каким-то — серебристого.

Небо затянуло серыми клубами, и тени исчезли. Невысокие скрюченные деревья плоско и неправдоподобно торчали вверх, как на детском неумелом рисунке.

Шли осторожно, медленно ступая, — дорожки между могилами давно истерлись, будто их и не было никогда, и Ролик, всё так же глядя под ноги, спросил Рубена:

— Неужели сюда никто не ходит?

Рубен не оборачивался. Он думал о скрипке, которую надо было вернуть во что бы то ни стало. Думал о бабушке, которая заметит пропажу сразу, еще с порога. Он должен будет четко ответить на все ее вопросы: где, во сколько, при каких обстоятельствах. Оставался еще один важный вопрос, не временной, не обстоятельный, скорее риторический. Почему он такой болван? И как мог он потерять дедушкину скрипку. Этой скрипке бог знает сколько лет — она их семейная реликвия. Он еще не выговаривал все буквы, а слово «реликвия» знал хорошо. Не понимал до конца его значения, но чувствовал: это что-то жизненно важное, а скорее, даже смертельно важное, и потому, потеряв реликвию, — или верни, или умри.

Она не станет кричать и не накажет его ремнем. Наказание, которое его ожидает, будет искуснее, тоньше, незаметнее — его нельзя будет принять на себя сразу, откупившись за вину в короткий срок. Оно растянется надолго, а может, и навсегда.

Это внезапное открытие поразило настолько, что он не сразу понял, о чем говорит ему Ролик:

— В другую сторону, говорю, там дальше есть проход.

Ролик куда-то указывал и тянул его за рукав.

— Она разлюбит меня. Вот что она сделает. Сначала она разочаруется во мне, потом не простит, а потом разлюбит.

Ролик смотрел на него непонимающим взглядом:

— Ты о чем?

— За семейную реликвию другого наказания нет. Бить она не станет. Бьют только неумные, необразованные. А умные разочаровываются, то есть перестают любить. Она умная, она разлюбит.

Ролику стало смешно. Разлюбить за скрипку — пусть даже за старую, но разлюбить. За предмет, за вещь.

— Дурак. Она же бабушка, а ты внук. Она не сможет разлюбить тебя, даже если захочет.

— Ты не понимаешь. Это реликвия. Семейная ценность.

— Это реликвия. А это, — Ролик встряхнул его за плечи, — внук. Соображаешь? Рубен не слушал. Он качал головой, и пыльные кудри его шевелил ветер.

Ролику хотелось уйти отсюда. Откуда-то сверху медленно наплывали сумерки, как медленно наплывал на лицо Рубена фиолетовый цвет.

— Она обычно говорит так: «Деточка, у меня пошла черная меланхолия. Ты будешь когда-нибудь человеком?»

Ролик подумал, за какую вещь он смог бы разлюбить отца, ну, если б, к примеру, отец потерял какую-то вещь. Еще не дойдя до конца в своем воображении, вернулся назад: нет такой вещи на свете. Он вообще бы не смог разлюбить отца.

Вот отец уже пьет, уже не приходит к нему совсем, и все говорят, он плохой отец, а кто-то говорит: «Ну и папаша у тебя». Ролику это обидно до слез, но не от того, что он с ними соглашается. Ему обидно, что они обсуждают, говорят вслух об отце, которого никто из них на самом деле не знает.

Он один знает это лицо, которое каждый день видит перед сном. Лицо выплывает к нему из темноты, улыбается, молчит. Ролик хочет попросить его, чтобы он не уходил, посидел с ним рядом, но тоже молчит. А почему молчит — и сам не знает.

Ему хочется думать об этом еще, но что-то вмешивается в мысли, и он опускает его образ. Взамен появляется другой. В воздухе прямо перед ним висит, маячит скрипка, а рядом с ней голова тети Тома, похожая на большую хищную птицу.

Она причитала потом, вцепившись короткими артритными пальцами в разбитую физиономию Рубена.

— Думаешь, это ты сирота? Это я сирота!

И горько плакала:

— Ты молодой, кудрявый, у тебя вся жизнь впереди! А я старая, больная, у меня лысина на голове!

Она резко наклонила голову:

— Здесь, здесь и здесь — как там все редко, видишь?!

Поворачивалась к Ролику, крича уже ему:

— А ты видишь?

И энергично раздвигала волосы на проборы.

— Бабушка, не плачь, ты красивая! Никакой лысины мы разглядеть не успели.

— Как это не успели? — тетя Тома содрогнулась, и крылья ее орлиного носа задвигались в гневе. — Так она все-таки есть? Все-таки есть?! Неблагодарный еврейский ребенок!

### 13

Пройденные адреса, по которым отец не находился, Ролик зачеркивал ручкой. Зачеркнутого было много, гораздо больше тех мест, что оставалось проверить.

Иногда по ночам он плакал. Если ему везло и шел дождь, — ветки ореха громко скрежетали о крышу, — тогда он плакал громко.

— Слышишь, как воет?

Мать заходила в комнату.

— Жутко на душе.

Ветки с грохотом шлепали о раму соседней комнаты и на мгновение прилипали к стеклу.

— Жутко мне. В воскресенье срежем их к чертовой матери.

Ролик задерживал дыхание, чтобы случайно не всхлипнуть при матери.

— А чем срезать? Секатором не возьмется. У нас пила есть? Посмотри в сарае, есть ли пила.

Она поглаживала одеяло поверх него и подтыкала ему под ступни. Ветка размахивалась и с новой силой обрушивалась на окно.

— До чего противно. Слышишь? Жутко мне.

Ролик делал короткий вдох и ничего не отвечал.

Но дождь шел не всегда, и не всегда гроыхало стекло. Он привык плакать тихо, почти беззвучно, уткнувшись в руки, сложенные по-школьному на подушке.

А утром, когда вставало солнце и все предметы в комнате выглядели так, как они должны были выглядеть, ясность жизни понималась им через надежду, и вера возвращалась снова.

И что отец любит его, и что он любит отца, и то, что на каком-то условном обозначении в своей самодельной карте он поставит крест или галочку, становилось для него не надуманным, а очевидным и само собой разумеющимся.

В середине зимы, когда карта была еще свежей, когда на ней еще не было ни одного перечеркнутого квадрата, Рубен сидел у него на кухне и размачивал маковую сушку в чае, глядя, как Ролик что-то в ней дорисовывал.

— Как будто мушиные дети отправились в плавание по чайному морю.

— Я скоро, — сказал Ролик, не поднимая головы.

— Бабушка говорит, что любопытство — грех.

— Значит, ты грешник.

Рубен сложил руки на животе, деловито откинулся на спинку стула и уставился в потолок:

— Как говорится, кто не без греха. Покажи карту.

— Потом.

— Мы будем искать клад?

Он перегнулся через локоть Ролика, пытаясь заглянуть внутрь.

Ролик подтянул карту к себе и кивнул в сторону его чашки:

— Твои мухи все утонули.

Прошло еще полчаса, прежде чем он решился развернуть ее перед Рубеном. В голове, как маленькая змейка, юркнул вопрос: ты нарисовал карту, чтобы найти отца, сколько тебе лет, мальчик? Но не страх быть осмеянным останавливал его, а глубокая непрожитая тайна.

Карта была сакральна просто потому, что касалась только двух человек в целом огромном мире. Но в целом огромном мире был только один настоящий живой человек, которому он не раскрыл бы ее под страхом смерти. И это был не Рубен. Это была женщина, настолько близкая Ролику, что ей полагалось доверять. Ее полагалось любить просто по факту своего рождения.

И в эти последние минуты перед тем, как он впустит сюда постороннего, Ролик держался за белый жесткий угол бумаги, ненавидя ее за слова, которые она сказала бы, открой он перед ней свою тайну. Пусть лучше он, пусть лучше этот, макающий сушки в чай. Он просто друг. Он редко видел моего отца. Он никогда не видел своего. Ему всё



равно. Он так и сказал однажды: «Мне всё равно, есть у человека отец или нет, я и своего-то никогда не видел».

Это будет всего лишь игра. Я покажу, а Рубен даже не засмеется. Он ничего не спросит.

Ролик посмотрел на дверь, — спокойно и недвижимо она стояла на своем месте. Рабочий день еще не окончен. Бояться нечего. Ткнув пальцем в центр карты, он прокрутил ее от себя в сторону Рубена.

— Я буду искать отца. Здесь все места, которые нужно пройти.

Густые ровные брови Рубена поползли вверх, и он, пытаясь охватить взглядом все поле одновременно, завороченно сказал:

— Я с тобой.

Ролик ничего не ответил. Он сделал вид, что не расслышал, и встал, чтобы убрать со стола. Ему ничего не было жалко для Рубена. Только минуты, когда он найдет отца, а Рубен окажется рядом, ему было жаль по-настоящему.

## 14

*Когда от плеч и до поясницы спина затекает свинцом, мальчик распрямляется и, сгибая руки в локтях, тянет лопатки друг к другу. «Да неужели же это не сон», — он украдкой глядит на отца. Щеки того провалились еще глубже, и мальчику кажется, что с начала ночи отец постарел лет на двадцать.*

*С какого бы угла он теперь ни смотрел на него, серые, ровно очерченные круги под глазами никуда не исчезали, а если ракурс выбирался совсем неудачный, то глаза и вовсе пропадали — словно лицо у отца еще есть, а они уже стерты до пустых углублений с просевшей земистой кожей.*

Одного с ней цвета была зола, что осталась от карты, брошенной в костер. Они жгли ее вместе с Руфиной. Огонь стелился от ветра низко, затравленно глотая бумажные края, но, чуть заступив на расчерченное поле, тут же поворачивал обратно, и Ролик подбадривал его длинным прутом.

В последнюю неделю марта, на Наурыз<sup>1</sup>, показались слабые белесые почки, и с общим вздохом облегчения зима отступила под бетонные козырьки, вжалась в торцовые стены гаражей и домов, в узкие непроходимые щели между постройками.

Ее гнали с запруженных мусором арыков, выходя на городские субботники. Школьники, дворники, медики, учителя, студенты несли из домов укутанные в целлофан веники. Из бюджетного инвентаря получали лопаты и грабли — и чистили, долбили, выметали зимний сор отовсюду, куда проникали инструменты.

Люди смеялись и проклинали холод, и говорили это даже при детях, не считаясь с их возрастом и хлипкой еще душой, потому что в тот год раскрыли перед ними все секреты выживания без электричества, газа и горячей воды.

Дети не должны были любить яблочную шарлотку или мясо по-французски. Детей никто не берег от слов. Ни для кого из взрослых их детство уже не было сокровищем: сокровищем была только физическая жизнь — телесная тяжесть, которая прекрасно держалась картошкой, макаронами, ковшками, тазами и плитками с раскаленной спиралью.

---

<sup>1</sup> Праздник весны, обновления природы у иранских и тюркских народов.

— Ой, да неужели всё?

В синем завхозном халате, потягиваясь прямо к солнцу и улыбаясь ему, как человеку, студентка из медучилища тянула обе руки вверх.

— Неужели всё?

И, щурясь от удовольствия, махала никому, как будто играла крыльями — в одном веник, в другом — совок, — и повторяла громче и радостней до тех пор, пока не рассмеялась сама, и пока другие, смеясь, не отвечали ей так же.

— Неужели и правда? Как долго! А мне казалось — никогда! А теперь точно ведь всё?

— Всё! Всё! Весна!

И так, от Роликовой школы, через дорогу, до центрального стадиона, и вправо, под арку, к старому медучилищу, и снова через дорогу, к музыкальной школе, и там, в обход чахлого забора, к школе искусств, а от нее уже к корпусам университета, — гуськом, с согнутыми спинами двигались люди, каждый на своем участке, и там, куда поднималась пыль от веников и метелок, на невысоком уровне неба, участки смешивались и смешивались слова.

— Попробовали бы они в Алма-Ате всё поотключать. Семьсот километров, а такая разница.

— Что ты хочешь, столица.

— Хочу свет, газ, воду! И чтобы всё разом! Не по отдельности. Разом хочу! Чтобы горели конфорки, свет, и чтобы в кране горячая вода. Не каменный век, как-никак.

— Да уж хотя бы свет. Со светом — и вода, и еда, и кино.

— Ну не хочу я «хотя бы». Всю жизнь «хотя бы». Хотя бы то, хотя бы сё. Я хочу, чтобы разом. Я один раз живу. Мне надо сразу, чтоб лилось отовсюду.

— Ага, и счетчик мотал, как бешеный.

— Пускай мотает, плевать. Дайте мне свет, газ и горячую воду — со счетчиком сам разберусь. Хоть каждый раз пусть на субботники гонят, но чтобы пришел вечером — и в полную ванну. А потом курицу в духовку, майонезом обмазанную, — и руками ее, не вилкой. С кожи-то больше не льдом смывать. А ночью чтоб ноги от жары сводило, и без носков одеяло отбрасывать.

— И после курицы салаты, блины, пироги, и после пирогов в банном халате телик смотреть.

— А свечи с керосинками?

— На помойку выбросить!

— Ни черта я выбрасывать не буду! Полгода без удобств посидели — и все мечты о курице. Можно подумать, вам жрать нечего! Да и зима здесь такая — захочешь, не отморожишь ни хрена. Вас Бог, идиотов, любит: не в Сибирь поселил. Или кто там есть вместо Него. Ну, скушали вы пироги, блины скушали, дальше-то что? Помню, году в девяносто третьем в баню охапку журналов собрал. Пока рвал по одному, наткнулся на повесть «Это мы, Господи». Фамилия у него птичья. Сейчас и не вспомню. А что помню, так это живую клячу на трех ногах. Раненую, но живую. Значит, сырую. Ее загнали в лагерь к пленным, а те на ходу отрывали от нее куски. Их расстреливали, а они отрывали. Вот вам и курица с пирогами.

— Ну, это, знаете, запрещенный прием. Что ж нам теперь, всю жизнь во всем себе отказывать? Мы-то в чем виноваты?

Рубен тоже подбивался на праздник огня<sup>1</sup> — они сговорились сжигать мусор у Ролика во дворе, но тут из поблекшего от пыли воздуха, нагнетая скорость и выбрасывая в атмосферу невидимые пары, выплыл локомотив «Тамара» и, растолкав собою неповоротливых школьников, уволок за угол классную.

— Ну вот, пожгли мусор.

Носком ботинка Рубен подцепил остаток консервной банки и от досады сбросил его обратно в арык.

— Ты куда?

— На иврит.

— Чего?

— Еврейский учить.

Размахивая руками, как огромная рыжая наседка крыльями, тетя Тома накрыла их тенью.

— Всё, всё, Рубенчик, сворачиваемся. Выпросила тебя у Ягодки. Ромочка, ты свой веник где раздобыл, дома? И наш с собой захвати. А вечером придешь, занеси. Не забудь.

До сумерек было далеко, но пыль, поднятая в небо, прикрыла собою солнце и, грязное, посеревшее, оно не двигалось с места и уже как будто не припекало. Ролик плотнее сбил края собранного мусора и пошел на колонку отмывать обувь.

Ледяная прозрачная вода шумно заливала алюминиевое ведро. Красными вспухшими пальцами Ира Коробейникова держала его за тонкий обод, чуть наклонив, чтобы вызвать, не расплескав, из-под крана.

— Отойди. Я возьму.

Ролик закрутил кран и вытащил ведро.

Ира, словно оправдываясь, залепетала:

— Нас там четверо девочек наверху, остальные в столовой. У меня руки замерзли и пальцы не гнутся, а в понедельник на музыку.

— До понедельника еще день.

— До понедельника мне Грига разучивать.

Ролик улыбнулся:

— Я, кроме Бетховена, никого не знаю.

— Как? А Моцарта с Бахом?

— Ну и Моцарта с Бахом.

По гладкой выскобленной лестнице они поднимались на третий этаж. Ступеньки лоснились от чистоты, и там, где еще с утра, вдавленные в камень подошвами школьников, чернели жвачки, теперь белели крапинки пустот, словно выщербленная мозаика.

— А друг твой где?

— Ушел.

Она обогнала его на последнем пролете и через перила свесилась вниз:

— Хорошо, когда в школе никого! Только грустно, если все уедут. Как же мы без них?

В классе мерцал слабый сиреневый свет, пробиваясь с улицы сквозь отмытые окна и влажные еще занавески, и суетный звонок на перемену, который заорет здесь с понедельника, представлялся Ролику чем-то лишним, отжившим и неправильным,

---

<sup>1</sup> Праздник огня — наурыз — праздник зооастризма; последователей зооастризма принято считать огнепоклонниками.

как неправильно звучала и ложка, бьющая по пустой кастрюле в те дни, когда, лишенный электричества, молчал звонок.

Ролик сел на место, где в прошлом году сидел Ваня Шатов. Отсюда до всех классных стен — четыре одинаковые длины. Стратегически правильное место, как в самом центре земли, где-нибудь у кромки железного ядра.

Зарываясь в этот центр, Ваня окружал себя телами, и свист его легких должен был гаситься о них, но не гасился, а с каждым разом только добавлял громкость, и тогда Ваню самого в землю зарыли, поближе к ядру, и место за его партой пустовало до первого сентября.

— И кто эти все, которые уедут?

— Тейзиди Афина, Штейн Таня, Земляничная Света, Аракелян Саша, Дмитриева Лена, Шварц Дима, Швец Соня, Сумелиди Костас, Дудаева Вика, Пинхасов Рубен. Ну, про Рубена-то знаешь.

Про Рубена Ролик знал всё. Всё, что можно было узнать за годы их дружбы, кроме того, что услышал секунду назад.

— Конечно, знаю. А что из Грига?

— Из Грига?

Она замолчала на секунду.

— А, «Шествие гномов». Григ всё про гномов писал.

Ира Коробейникова уехала первой, доучившись последнюю четверть на одни пятерки. В июне их согнали в школьный лагерь — как рассудила тетя Тома, чтобы не валять дурака дома, а валять его в школе, — и Ира, улучив момент, вручила Ролику свою фотографию.

— Это тебе. Я не знала, что подарить. Ну, в общем, тогда никто не хотел таскать нам воду.

Рубен налетел на них сзади и, обняв сразу обоих, выхватил у Ролика фотографию. Ира раскраснелась, беспомощно глянула на них и, поморгав круглыми серыми глазами, выбежала из класса.

Рубен с показным выражением прочитал: «На добрую память однокласснику Роллану от Коробейниковой Ирины. Не поминай лихом. 4 июня 1996 года».

— Она что, помирать собралась?

Он еще раз перечитал с деланым воодушевлением: «Не поминай лихом!»

Ролик не выдержал и рассмеялся:

— Придурок ты. Придурок и клоун. Завидуй молча.

— Чему? Ей там лет шесть. Еще бы фото из роддома подарила.

— Ты лучше подумай, у кого теперь списывать будешь?

— У Тейзиди буду.

— Она тоже уезжает.

— Тогда у Дмитриевой.

Они переглянулись и замолчали. Ролик не выдержал первым:

— А ты когда?

Рубен опустил глаза, уставясь на свои сандалии:

— Не знаю. Скоро. Мы приглашение ждем.

Огонь обглодал длинный прут, но заниматься на бумаге не хотел, и Ролик изводил спички, которые гасли тут же, хоть Руфина и складывала ладони домиком, чтобы спасти их тонкое пламя.

Потом стало еще ветреней, и карта уверенно затлела с краев, скручиваясь в черное кружево пепла.

Вывернув шею и поводя глазами по строчкам, Руфина читала, не пропуская ни слова:

— Места, которые нужно пройти: работа, дядя Ильяс, дядя Игорь, — у тебя почерк, как у художника прям, — гараж, тетя Гуля, Бозарык (дача), Фархад. Дальше не вижу.

— Ну хватит. Не обязательно вслух.

— Тебе жалко? Сто лет ничего не читала.

Стало темно и холодно, но ветер сник. Ролик подбросил в костер ломких иссушенных веток, и пламя с прожорливым треском взметнулось вверх. Остатки карты исчезли в огне и, не мигая, Ролик смотрел на него. Руфина сидела на бревне, глаза ее были прикрыты, вытянув руки к костру, она тихо и монотонно повторяла:

— Работа, дача, дядя Ильяс, дядя Игорь, — что там еще было?

— Гараж, тетя Гуля, Фархад.

— Гараж, тетя Гуля, Фархад. И всё мимо?

— Мимо.

Она резко открыла глаза:

— Да пошли ты его! Захочет, сам найдется. Я вообще без отца выросла.

— И Рубен так же. Но я-то с отцом.

— Да у Рубена твоего куча родственников в этом его Израиле.

— Рубен сирота. У него даже матери нет.

— Ой, ну у меня есть. Толку-то... Ладно, доставай.

На острые металлические шпажки они нанизали по картошке и медленно вертели их над огнем.

— А ее давно не слышно.

— Алку-то?

— Ага. Она где?

— Дома. Лежит. Третий день не встает. А, — она обреченно махнула рукой, — лишь бы не пила.

— И ты не пей.

— Тебя не спросила, — огрызнулась Руфина.

И помолчав, добавила:

— Я этот запах не выношу.

Картошка у них не получилась. Когда сняли обугленный кокон, явился сырой и подгнивший овощ. С размаху Руфина запустила им в дерево, шкворча матами, как раскаленная сковородка.

— Ну, тише вы! Так и убить можно!

Рубен вырос перед ними внезапно, как из-под земли. Костер полыхал высоко, раскачивая картинку вокруг себя, а дальше воздух сгущался в черноту, как если бы они сидели на краю земли. Как если бы у земли был край.

— И как же тебя одного в наши волчьи кушары отпустили?

Руфина сдвинулась к Ролику, и Рубен сел рядом с ней. Он вздрогнул от озноба, как от короткого замыкания, и вытянул руки к костру:

— Бабушка в гостях, а я самоотпустился.

— Да ты отчаянный.

— Конечно, я же троечник.

Она шикнула:

— Тоже мне достижение! Я вообще школу бросила.  
— Троечник, — он почтительно склонил голову, словно из уважения к самому себе. — При моей нации, с моей-то бабушкой.  
— Слушай, а что ты там делать будешь, это тебе заново со всеми знакомиться надо?  
— Открою ресторан бухарской кухни.  
— А нас позовешь?  
— Конечно! Но, может, и вы к тому времени куда-нибудь уедете.  
— Да куда ехать-то? Ты глобус видел? Он же наполовину желтый, наполовину голубой. Везде одно и то же. Я не верю, чтоб где-то было лучше. Мне вообще без разницы, где жить, были бы деньги.

Вдвоем они посмотрели на Ролика. Руфина толкнула его локтем:

— Ну?

— Я тоже никуда не поеду.

— А ты-то чего, тоже из-за глобуса? — ухмыльнулся Рубен.

— Не хочу заново со всеми знакомиться.

Ластился к ногам бродячий кот с подранным ухом.

И принимая тепло от костра, он делился им с Руфиной.

Запустив коту руки под брюхо, отчего они смотрелись как вдетые в живую, истерзанную помойкой муфту, она положила голову на Роликово плечо — и время обтекало их, как капсулу.

В молчании они долго сидели перед костром — не счастливые и не несчастные, но одинаково неотличимые в своем настроении друг от друга, и на этот короткий миг в вечности — одинаково неразлучные.

Дядя Ильяс не был последним пунктом на карте, Ролик пошел к нему по номеру заданной очередности. Ничего. Результат в поимке отцовской тени был крепкий и безнадежно несокрушимый: *ничего* переходило в *нигде*.

И, однако, чуть только Ролик по-взрослому сказал себе: «Кончено», а потом, схватясь за голову, но ничего не придумав, еще более по-взрослому решил: «Будь что будет», сдвинулись налетевшие друг на друга часовые колеса и выплыл из ниоткуда пройденный первым дядя Ильяс, чтобы затем, отстучав новый бой, как отживший свое жакемар<sup>1</sup>, уплыть в никуда.

— А, Ролик, пакуй чемодан, он в Алма-Ате.

## 15

Ролик никогда не уезжал далеко за пределы города. Пределы иногда расширялись до огромных, никем не занятых степных пустошей с речушками и камышами, куда по весне добирались через яркие маковые поля, с неслышным хрустом прокатываясь шинами по спинам медлительных черепах.

Иногда, выходя из машины, пока отец курил, облокотясь на капот, Ролик поднимал их с земли, оттирая рукавом окровавленные панцири, и чувствовал перед ними вину и, удивляясь их немоте и замершим безучастным глазам, спрашивал отца:

---

<sup>1</sup> Жакемары — миниатюрные фигурки людей или животных на часовом циферблате, которые начинают перемещаться в определенное время.

почему животные не кричат от боли? И отец отвечал, что кричат, только внутрь себя, потому что у них душа нечеловеческая и терпят они по-другому.

Ильяс бежал прямо на Ролика, прячась в куртку, накинутую поверх головы. Под вывеской с опавшими электрическими буквами, приделанной на длинный балконный выступ, что широко нависал над тротуаром, торговли, нахихлившись от сырости и влаги, были, скорее, не старушками, а состарившимися женщинами без признаков надежды на что-то большее, чем их теперешняя жизнь.

Они берегли драгоценное тепло, ухваченное пуховыми платками, завязанными поверх шапок, и потому лишний раз не вертели шеями, а перекрикивались друг с другом без личных обращений, адресуя свои вопросы и ответы сразу ко всем.

На опрокинутых картонных коробках, поверх истершихся на сгибах скатерок, разложенные рядками, лежали одинаковые товары: семечки, жвачки, сигареты, курт<sup>1</sup>, шоколадные батончики, чупа-чупсы, пакетики с конфетной крошкой, которая взрывалась на языке, насвай<sup>2</sup>, — и прохожие выбирали не товары, а продавщиц. И останавливались возле тех, у кого лица поприятнее.

Ильяс заскочил под козырек вовремя. Дождь припустил с новой силой, и гулко побегал по дороге бурый каменистый поток. Увидев Ролика, как будто не удивился:

— А, Ролик, пакуй чемоданы, он в Алма-Ате.

Потом отдернул куртку и пригладил волосы.

— Как? Он уехал? — спросил Ролик.

Ильяс подышал на ладони, растирая их друг о дружку:

— Ну и ливень. А ты почему здесь? Прогуливаешь?

— Да нет, я друга жду. Сегодня отпустили пораньше.

— Ну, смотри, — Ильяс затопал ботинками, в которых хлопало, — а то пополнишь ряды товарищества передвижной уличной торговли.

— Почему?

— Да это я так. Играю словами. Репина не проходили, что ли?

— Нет.

Он сделал указующий жест в сторону торговых:

— Женщины-передвижницы оказались сильнее нас, мужчин эпохи Возрождения.

— Как мне доехать до Алма-Аты?

— Не дури. Я пошутил насчет чемоданов.

— Как мне туда доехать?

— Никак. Сидеть дома и ждать его там.

Деньги на автобус до Алма-Аты Ролик украл у матери. Потом, захлопывая учебники, тетради с ненаписанными сочинениями, нерешенными задачами, говорил себе громко, почти уже вслух, — ему казалось, что вслух, — но стены звука не отражали, и долгие запутанные лабиринты из слов он возводил внутри и пробирался по ним к выходу, и уже видел для себя этот выход, но каждый раз забредал все дальше. Выхода не было. Не одолжил, не взял, а просто украл. Признавался на тысячные доли секунды, вскользь, чтобы не укоренить себя в этом окончательно, чтобы, если начнет засасывать глубже, вырваться из вязкой чавкающей тины реальности — и бежать, бежать, бежать.

---

<sup>1</sup> Курт — сухой кисломолочный продукт, широко распространенный в Средней Азии.

<sup>2</sup> Насвай — вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являются табак и щелочь (гашеная известь).

Нет, не украл. Ведь невозможно украсть у родного человека, с которым всё что ни есть — всё общее. И дом общий, и деньги. И вот отец даже общий.

И не «украл» потому-то, а «взял», «одолжил», чтобы на общее вернуть общее.

Они и пришли-то в руки как будто сами, как будто сами же и намекали: «Ролик, возьми нас, это везение. Это не воровство».

Развернув пакет из-под кефира, он долго держал их в руках мягким веером. С купюр, как разномастные короли и молчаливые свидетели его преступления, прямым немигающим взглядом смотрели на него поэт, ученый и хан<sup>1</sup>. Он вывел формулу: двое против одного. Абай его осуждал, хан грозился убить, Чокан же хранил нейтралитет.

Был еще один голос, заглушающий всех троих, за ним и пошел Ролик, на глаз отделяя от пачки по несколько поэтов, ученых и ханов. «Ты думаешь, у тебя был выбор, Ролик? Если бы выбор был, ты не сорвал бы с пиджака пуговицу утром, а сорвал бы вечером, когда мама вернулась домой. Она бы ее и пришила. Но пуговица оторвалась утром, и ты пошел за нитками, потому что ждать до вечера не мог, ты ведь не мог пойти в школу без пуговицы. И вот ты полез за нитками в тумбочку: они всегда там и лежат в плоской жестяной коробке из-под печенья — все в доме знают, где лежат нитки с иглками. Полез за нитками, а нашел деньги, которые нужны тебе больше, чем нитки, больше, чем пуговицы, больше, чем чья-то мораль про воровство. Потому что это везение. Это не воровство. Сейчас все нужно поставить на карту, чтобы найти отца. А уладить то, что напортил, можно потом, когда добьешься результата, который покроет все эти мелкие ходы. И потому глупо, очень глупо не видеть, что пуговицы просто так не отрываются и что только дураки не идут за везением».

Ролик еще раз посмотрел на королей: «Нет слов, — говорит Абай, — стыдно», «Если для путешествия, то можно, — говорит Чокан. — Но... да, всё равно стыдно», «Казнил бы вора, — говорит Абулхаир и крепче сжимает посох». И пока он не сказал еще чего-нибудь, Ролик перевернул его рубашкой вверх, а следом и тех двоих со всеми их двойниками.

Музыку при покойниках не слушают. Громко говорить не разрешается тоже. Когда отца обертывали в саван, Ролик наблюдал за людьми, что ходили по дому. Иногда они заговаривали громко, роняли несмелые шутки: не про покойника, конечно, про другое — про жизнь, которой безразлично количество покойников вокруг. И улыбки появлялись не из жестокости, а потому что горе это было не их, чужое, а жизнь, которая свершалась даже в присутствии покойника, принадлежала всем поровну. Натываясь глазами на Ролика, они, правда, стыдливо их опускали и зачем-то вздыхали, будто старались приобщиться, но Ролик не думал о них, он думал о кладбище.

*И теперь, трогая стекло, за которым, раскинув твердые клешни, дремали скорпионы, он думает о кладбище, где завтра останется отец. Будет ли оно таким, по которому они шли с Рубеном, когда возвращались из Коробки? И через сколько лет исчезнут дорожки между могилами?*

Выдернув Рубена из угрызений совести перед бабушкой, Ролик потащил его к самодельному проходу, в котором виднелся живой засыпающий город.

---

<sup>1</sup> Бумажные деньги Казахстана образца 1993 года, с изображениями исторических личностей: Абая, Чокана Валиханова и Абулхаир-хана.



- Шевелись быстрее, скоро совсем стемнеет.
- Ты рожу мою видел? Ты думаешь, я хочу появиться такой при свете?
- Какая разница, она всё равно увидит.

Рубен застонал:

- Надо что-то придумать, надо что-то срочно придумать, иначе конец!
- Нечего думать, скажешь, упал.
- А-а-а, нашел дуру.

— Ну, можно же упасть? Можно! Идти, поскользнуться и упасть. Главное, говорить спокойно и убедительно.

- А скрипку я куда дел?! Об рожу себе сточил?

Ролик вздохнул, Рубен заверещал:

- Сам же видишь: или рожа, или скрипка! А тут всё вместе! Тут и козе понятно!
- Значит, расскажем, как есть, только не скажем, кто и где.
- Ты больной?! Она заберет меня из школы и посадит учиться дома.

Ролик остановился как вкопанный:

- У меня идея... Врежь мне! Скажем, подрались сами.
- А скрипка?

— Ну бросили, пока дрались. Потом помирились да забыли про нее, а когда вернулись, то кто-то спер.

Рубен поджал губы и недоверчиво поморщился:

- Думаешь, поверит?
- Ну, если поставишь мне натуральный фингал, может, и поверит.
- Тебе? Я? — брезгливо спросил он.
- Нет, я! Ирке Коробейниковой! Думай быстрее! Пришли почти.

Рубен качнул головой:

- Выкупит. Я врать не умею.

Дежурные по скамейке были на месте. Тетя Тома обходила их стороной, презирая семечки и старушечьи разговоры. Ненависть между ними велась взаимная, но не явная. Проходя мимо них, тетя Тома вежливо кивала, они отвечали тем же, но, оказавшись в подъезде, негромко цедила:

- Старые кошелки, сплетницы, мещанки.
- Они сплевывали шелуху и осторожно шептали:
- Старая стерва, рыжая корова.

Дом светился всеми окнами сразу. Светились узкие подвальные бойницы, горел высокий дворовый фонарь, распыляя щедрый свет на дорожку к подъезду.

- Сидят.
- Иди как ни в чем.

Рубен ускорил шаг, выставив Ролика вперед. На ходу он ерошил волосы, накручивая кудри на пальцы, и какое-то мгновение колебался — здороваться или нет. Поздоровался в сторону и юркнул в подъезд.

Пока поднимались по лестнице, Ролик нащупал карман. Потеряться они не могли, молния закрывалась надежно. И все-таки с тех пор, как он украл деньги, ему постоянно казалось, что они пропадут.

Иногда он просыпался среди ночи, холодный, напуганный, как младенец, и, чувствуя невыносимый ужас, подскакивал с постели и бросался проверять заначку. Они всегда были там, где он их оставлял, но Ролик проверял снова и снова, а потом снова и снова боялся потерять.

Автобусы на Алма-Ату уходят каждый день — в шесть вечера с центрального

вокзала, но это ничего не значит. Деньги он взял в первый и в последний раз. И никакие они не общие, они материны, а пропавший отец — только его.

И теперь он шел наверх, чуть отстав от Рубена, и ему казалось, что в правой руке он сжимает всю свою жизнь, свое счастье, до которого вскоре мог добраться наяву. Голова его закружилась, на секунду он прислонился к холодной блестящей стене, заново выкрашенной в глубокий синий цвет.

Подъездные старушки воевали против nepотpeбцины по-настоящему, так, что брызги изо рта. Все матерные слова, которые всегда появлялись без свидетелей, бесславно исчезали при людях. Они с Рубеном ходили на это смотреть.

Старушки умилялись, глядя на стены, а глядя на них, скалили зубы:

— Вот именно, смотрите! Хорошо смотрите! В следующий раз рты вам позамажут!

Рубен обижался, он в жизни не сказал ни одного непристойного слова. Он говорил:

— Не идут. Не выходят. Я пробовал. Застревают прямо в горле.

Тетя Тома внушала с детства:

— Учти, я-то помру раньше, и намного раньше увижусь с Богом, и там уж обо всех твоих свинствах в мелочах расспрошу.

— Бабушка, не богохульничай. Бог ничего тебе не расскажет, — храбрился Рубен. Но на всякий случай материться не начинал.

Ролик провел ладонью по стене:

— Скучно тут. Во всех подъездах одно и то же. Хоть картину бы нарисовать. Пейзаж там какой-нибудь или корабли.

— Жить вообще, по-моему, скучно, — сказал Рубен. — Особенно, когда надо играть на скрипке. Или ходить в школу.

Ролик еще раз коснулся денег в кармане — теперь ничего не может случиться. А взять бы и нацарапать здесь какое-нибудь слово. Хотя бы и матерное. И пусть старухи гавкают дальше. Пусть даже видят, как он стоит и старательно шлет их на те самые, три заветные.

Он вспомнил сочинение Рубена про контрольную и Коробейникову и тут же придумал свое. Как это было бы просто теперь — написать про счастье вместо той белиберды, что он выдумывал полночи про живы-здоровы и голубое небо. Голубое небо так далеко, и есть ли оно вообще? Не потрогать. Это же просто воздух. Слой за слоем — один лишь воздух. Да, с земли оно выглядит наподобие океана без волн, но в океан можно макнуть руку. А в небо? Мираж. И если не мудрить и подойти к заданию творчески, написав откровенно, как того требовала Елена (какое у нее было отчество?): счастье — это когда пришел домой, а папа пришел тоже, и сколько бы ни проходило времени, он никуда никогда не уходил.

*Ролик дотрагивается до савана. Ночь идет. Оба они дома. Отец никуда никогда не уйдет.*

Когда оказался у двери, с горечью вздохнул, потому что секунду назад понял новое, очевидное для себя: ничего не будет, пока не будет скрипки. Он, правда, хотел быть счастливым и даже почти ухватился за него. Только какое это счастье, если в одиночку? И он крепко сжал деньги, как жмут на прощание чью-то руку.

Рубен ошибся и напугал себя раньше срока. Ролик видел, как он замер и на мгновение перестал дышать. Но тетя Тома не явилась встречать его у порога. Ее вообще не было дома. Рубик разулыбался, небрежно бросив рюкзак на пол.

— Говорю же, не жизнь, а скука.

— Ну да, а кто там тряся на кладбище: она меня разлюбит, разлюбит. Еще чуть-чуть, и занял бы, наверно.

— А кто попёрся с ними в Коробку? Я, что ли?!

— Ну, я! Но и ты пёрся!

— Да потому что за тобой!

— А я просил?!

— Ты что? Ты вообще знаешь, кто ты?!

— Знаю.

Он круто развернулся и большими, размашистыми шагами, отсекая ступеньки, полетел вниз, но перед самой дверью остановился и так же стремительно взлетел обратно. Потом что есть силы затарабанил в дверь.

Горящий ее глазок затемнился и вновь сверкнул желтым. Дверь открылась наполовину. Ролик схватился за круглую ручку, распахнул ее до конца и спокойно сказал:

— А знаешь, кто ты, Пинхасов Рубен? Ты... трус. Трус и обманщик. И я хочу, чтоб ты знал — я именно так о тебе и думаю.

Прикусив нижнюю губу, Рубен смотрел мимо него и ничего не говорил. И Ролику не хотелось, чтобы он говорил.

Он пошел через дворы — так было короче. Электричество уже выключили, и не было разницы, где идти — по людным улицам или пустыми проулками, — везде было темно.

Изредка он невольно оказывался в круге света, отбрасываемого автомобильными фарами. Потом снова вползал в темноту.

Когда подходил к дому Эльдара, придумал так: если не найдет его ни дома, ни в Коробке, оставит деньги себе. Завтра же купит билет и поедет к отцу.

Но стучать было нужно, и стучал он громко. Сначала по ветхой деревянной калитке, потом по стеклу темного окна.

Уже поняв, что задача, которую он пытается решить, лежит в Коробке, а Коробка — темное и страшное место, куда ночью он ни за что не пошел бы один. Но он шел, заговоренный собственным обещанием, согнув плечи и опустив голову.

Коробка стояла на возвышенности, и небо, каким бы черным оно ни было, высвечивало ее полутонами со всех сторон.

Ролик огляделся: земля и прямоугольные конструкции домов, и машины, оставленные рядом, и две неторопливые фигуры, показавшиеся вдалеке, — всё было словно нарисовано графитным карандашом. И как бы пристально ни вглядывался он в темноту — нигде не встретил ни одного желтого пятнышка. Быстро проходили по небу рваные сгустки тумана, обнажая маленькие стылые звезды.

Ролик подошел к Коробке и сел на большой, вытесанный, как под человека, камень. Он смотрел на вытопанную дорожку, ведущую к ней, и изо всех сил прислушивался, что происходит внутри. Но звуки или гасли по пути, или их не было вовсе.

Он почувствовал внезапную усталость и прикрыл глаза. За закрытыми глазами его плавали точно такие же серо-черные предметы, какие он только что видел вокруг. Они принимали форму друг друга, и вскоре он перестал различать их названия и то, зачем они существовали в человеческой жизни.

Голова его становилась то квадратной, то круглой, и он ощущал ее тяжесть и не хотел противиться ей.

Луны не было, и Ролик, уснувший на камне, слился с ним в одно большое черное пятно. Из Коробки вышел Эльдар. За ним семенил Хромой.

Ролику снился длинный двухэтажный автобус. Автобус тянулся вдоль всей улицы, на которой он жил, и мог уместить в себе полгорода, но стоял уже заведенный. И контролер кричал во всю глотку, что они отправляются.

Ролик подбежал к нему и протянул деньги.

— Мест нет, — отрезал контролер и захлопнул перед ним дверь.

В панике Ролик подпрыгивал и заглядывал внутрь: автобус был совершенно пустой. Тогда он снова подскочил к двери и что есть силы замолотил по ней. Контролер не отпирал. Он колотил все сильнее и сильнее. Потом громко, так, что слышали бы даже на луне, заорал:

— У меня есть деньги! У меня есть деньги!

Эльдар и Хромой переглянулись и пошли на его крик.

— У мальчика есть деньги, — сказал Хромой. — Но мальчик еще не человек. Зачем мальчику деньги? Что ты купишь на них, мальчик? Вату и чупа-чупс? Или пойдешь в парк кататься на «ромашке», пока не сблудешь на чью-то башку весь съеденный обед? Деньги — это такое зло, от которого нужно спасать детей. Но я тоже хочу быть, как ты, и спускать всё на «ромашку». Я не хочу быть, как он. Мы злые голодные псы. Мы, как собаки с помойки, подбираем огрызки. Но их не хватает. Их постоянно не хватает. И мы бежим на новую помойку и ищем новые огрызки. Ох, мальчик, лучше бы тебе никогда не расти и мечтать только о «ромашке». Я вижу маму — вон она стоит в конце улицы. Ты тоже видишь ее? Это моя мама. Чего она забыла здесь в такое время? Она ведь давно спит. Мы сами уложили ее спать. Она никогда не спала по ночам, а я был тогда, как ты сейчас. Маленький каменный мальчик с деньгами в кармане. И в ту ночь она не спала, а все кричала на кого-то. Я не запоминал их имена, они всегда были разные, как и положено, если твоя мать шлюха. Я это знал и не запоминал их, иначе в голове не хватило бы места для уроков. У меня голова, как орех. Потрогай, какая маленькая. С такой головой тебе ничего не светит. С такой головой не станешь профессором или директором. Но я был маленький мальчик — я не думал про размер головы. Я просто не хотел называть их по именам. Я хотел спать. Я встал и попросил ее не кричать. Я тогда не мог спать, когда кто-то кричал рядом. И ты бы не смог. Я подумал: если она не заткнется сейчас, я возьму топор и отрублю ей голову. Я уже тогда знал, что не смогу этого сделать — ведь надо ударить сильно. Я ссался под себя во сне — я бы не смог ударить сильно. Я просто встал и попросил ее не кричать. И ты знаешь, что она сделала? Она взяла и послушалась. Легла и уснула. Утром я не смог ее разбудить — я и не будил. Подошел вечером — спит. Маленькая синяя женщина. Как школьница. Моя мать. Синий цветок догорел в колонке. Синий цветок ее и забрал. Он не забрал меня — у меня девять жизней. И теперь мне нужны деньги, потому что вон там стоит она. И если я не приму, она будет ходить по пятам и тянуть ко мне синие руки. Синие руки синей женщины. Мне очень-очень плохо. Ты веришь мне, мальчик...

Ролик слушал его. И ночь вставала перед ним — черная, густая.

Он погладил камень, на котором уснул. От камня тянуло холодом, и, чувствуя, как отяжелел во сне, он с трудом встал на ноги.

Хромой замолчал, словно внезапно задремал, опустив гриву, как лошадь.

Эльдар смотрел на Ролика — и ни вопроса, ни удивления не было в его глазах.

— Где скрипка? — спросил Ролик и нащупал в кармане смятые деньги.

Эльдар молчал.

— Мне нужна скрипка. Ты знаешь, где она?

Он не хотел спрашивать. Он хотел сказать утвердительно. Но голос его дрогнул, и в конце фразы повис вопрос.

Эльдар подошел ближе, и Ролик увидел, как коротко блеснули его глаза.

— Скрипка, — медленно произнес Эльдар, — продается за деньги.

Он протянул раскрытую ладонь. Ролик протянул свою.

Эльдар кивнул и локтем толкнул Хромого. Тот, встрепенувшись, ударил себя по бокам и пошел вперед.

Он размахивал руками изо всех сил, но с каждым шагом только отставал от них еще больше. Затем всхлипнул тихо и отрывисто, и они не знали, что в просвете меж их фигур он видел уже плотный сизый свет, а в нем — неясную еще, не дошедшую до него мать.

— Я не пойду, не пойду, — сказал Хромой. И слезы, свободные и крупные, потекли по его лицу.

Лицо его стало детским и виноватым. Он остановился и воткнул здоровую свою ногу в землю, а вторую, укороченную, поставил на носок.

Не сговариваясь, они встали по обе стороны от него, надежно вцепившись в его тощие руки. Он больше не кричал и не плакал, но с силой, какая рождается из обиды и злости, отталкивался скрюченной ногой от опоры, выдергивая то правую, то левую руку и прикрывая ладонью кусочек видимой им перспективы. Там было материнское лицо. Живое или мертвое — не различить, потому что цвета оно было мертвого, а висело в воздухе, как живое. И, как живое, посылало ему бессловесные знаки.

Ролик шел слева, и Хромой будто нарочно заваливался всем телом в его сторону, так что приходилось отпихивать его коленом.

Вскоре вышли к дому в зарослях шиповника и увидели сгорбленную, оттого маленькую, как пятиклассницу, Руфину, сидящую на корточках у забора.

Он не сразу распознал ее голос и смысл фразы, ударившей ему в спину: «К тебе отец приходил». И птичий пронзительный хохот: «А ты шляется, и он ушел».

Услышав это, Ролик отпустил Хромого и повернул назад, а Эльдар, освобожденный от ноши, благодарный, пошел вперед.

Хромой падал и раньше и к внезапным падениям был привыкший с детства. Мать иногда подставляла ему ножку. Не специально, а будучи распластанной по полу в жиге собственной рвоты.

Этой боли он не чувствовал давно и давно не готовился к ней заранее, так что, упав на землю, остался лежать, как обреченное полено.

Не желтело ни одно окно. Не мелькал даже крохотный зыбкий огонек керосиновой лампы или свечи. И сердце его билось так, как билось оно многие разы до этого, когда ожидание увидеть отца захлестывало все его существо. И все эти многие разы ничем не кончались. И не было нужды теперь вбегать в темный прямоугольник двери вместо того, чтобы спокойно пройти веранду и с тихим пустым сердцем оказаться внутри. Но он бежал, и сердце его колотилось громкими неровными толчками. И было в этом столько жизни и веры, что никакая безнадежность не могла бы поселиться в нем.

Руфина не обманула. К Ролику и правда приходил отец. Он спешил и дом обходил быстро, оглядывая мельком привычные вещи. Видел и сваленные в кучу книги, но долго возле них не стоял. Взял верхнюю, открыл наугад страницу:

У меня на луне  
Голубые рыбы,  
Но они на луне  
Плавать не могли бы, —  
Нет воды на луне  
И летают рыбы!  
У меня на луне  
Вафли ежедневно,  
Приезжайте ко мне,  
Милая царевна!  
Хлеба нет на луне, —  
Вафли ежедневно.

Не найдя сына, он собрал небольшую сумку и вышел на веранду. Подождал еще немного и, убедившись, что уж точно пришел напрасно, зашагал к калитке.

Был смутный подавленный страх — встретить жену. Фразы нарезались заранее. Пришел к сыну. Навестить. Давно не видел. Много работаю. Потому — поздно. Но это на всякий, маловероятный случай, если жена вдруг вернется не ко времени. Почему он все еще зовет ее женой? Про себя он называет ее по имени, а чаще всего — «она». При других говорит — «жена». Потом уж как бы второпях хочет поправиться и добавить *бывшая*. Но ни разу еще не поправился, не произнес этого вслух.

Уже ухватив ручку калитки, усмехнулся своему страху: он знал, что жена дежурит. Несколько лет подряд она выходит в ночную по одним и тем же дням. Что они там выпекали — праздничные торты, хлеб?

Хлеба нет на луне — вафли ежедневно.

Ролик вспомнил, что бросил Хромого прямо на дороге у дома.

Хромой никуда не делся. Они с Руфиной привалились друг к другу и сидели тихо, как смиренные волчата, освещенные молочным светом луны.

Ролик подумал, что они похожи как брат и сестра, а что в них общего — сказать не мог. Но, оказавшись с ними рядом, и в себе ощутил их кровь, просто из тягучего и яростного одиночества, которое видел повсюду. Внутри и вне себя. Трое волчат под луной. Одинокие волчата под одинокой луной. Одинокой круглой и холодной луной. Кто-нибудь смотрит на них сверху? Кто-нибудь видит оттуда их одиночество? Кто-нибудь придет за ними?

Утром, еще лежа в постели, он напряженно вслушивался в звуки — вернулась ли мать. Он не хотел встречаться с ней сейчас. Не хотел рассказывать ей про отца и тянул время, чтобы она легла.

Мать, если только взглянет ему в глаза, поймет все. А что не поймет — выведает расспросами. И он расколется, сознается, выложит ей на блюдечке и про Рубенову скрипку, и про ночные гулянья, и про отца.

Про отца говорить с ней не хотелось совсем. Да и ни с кем не хотелось.

Отца хотелось ощущать, видеть, слышать. Но только не говорить о нем.

Во всех разговорах с матерью о нем звучало одно и то же: лучше бы он никогда не родился.

И сейчас Ролик представил это — и не поверил матери.

Он представил, что отец его никогда не родился, что жил вместо него какой-то другой обычный человек. Не плохой и не хороший. Другой, безразличный Ролику человек.

Нерожденный отец никуда не уходил. Нерожденный Ролик никогда не искал его. Ничего этого не было.

Не было этих ветхих саманных стен, из которых сыпалось по ночам от мышиной возни. Не было этих скорпионов: крученых, янтарных, горделиво сидящих в сухости старой добротной глины.

Не было ни Рубена, ни Руфины. Ни луны, ни солнца.

Был тот, другой, ненужный Ролику человек. И может, он был мужем его матери. И жили они по-другому. Долго и счастливо.

Ролик попытался представить их жизнь — и не смог. Он с силой отдернул одеяло и встал голыми ступнями на холодный дощатый пол. Он долго и внимательно смотрел на них, а потом, ощущая медленный вкрадчивый холод, замолотил ими со всей мочи, будто пытаясь доказать себе, что он существует, он живой.

Давно остыла отваренная картошка, и яичница сморщилась под кухонным полотенцем. Ролик завтракать не стал. Он осторожно заглянул в комнату матери. Она спала, завернувшись в одеяло с головой. И голова ее касалась стенки.

От стенки тянуло холодом, и Ролик хотел было отодвинуть мать, но побоялся разбудить, и тихо прикрыл за собой дверь.

Выйдя за калитку, он посмотрел на бордюр, на котором еще ночью сидели Хромой и Руфина. И он зачем-то сидел с ними рядом.

Без луны все выглядело уныло и обыденно. И вернуть вчерашние чувства он не смог. И подумал, что половина всей жизни — это сон, который то ли был, то ли не был, и скорее, даже не был, чем был.

Навстречу ему вышел заспанный дурачок. Он часто моргал и закатывал рукава материнского байкового халата.

Ролик сказал ему «привет» — и ответа ждать не собирался. Он всегда говорил ему «привет» — и в этом было все их общение. Дурачок опускал глаза и отходил в сторону.

Но теперь он просто стоял и плакал. И не гримаса немоты была на его лице, а детская неспрятанная улыбка. Слезы бежали по щекам быстрыми ровными струйками и на пути к подбородку растекались по очертаниям его большого молчаливого рта.

— Ты чего? — спросил Ролик.

Дурачок сильнее заплакал и разулыбался. Мертвый дом за его плечами не издавал никаких звуков. Через вырванные доски забора зияло отверстие двери, как черная квадратная пасть застывшего во времени дракона.

Дурачок был для него гнусным надоедливым камешком. И он выплюнул его вместе с его улыбкой и слезами, которые переварить не мог.

— Тебя обидел дракон? — Ролик подошел к нему ближе.

Дурачок радостно и быстро закивал. Он повернулся и замычал на своем языке в сторону квадратной пасти.

— Не ходи туда, — сказал Ролик. — Пошли жить к нам.

Дурачок перестал плакать и ошалело посмотрел на Ролика. Он никогда не видел, что дурачок умеет делать такое лицо. Ему казалось, что дурачок не умеет удивляться. Но дурачок перестал моргать, улыбаться и плакать. Он был изумлен. Он стоял изумленный, с изумленным лицом. И если бы не Алкин байковый халат, доходивший ему до самых щиколоток, вид его не был бы таким комичным.

— Пошли жить к нам, — повторил Ролик. — У нас тебя никто не обидит.

Дурачок посмотрел на Ролика просто, как смотрят на друга, одноклассника или прохожего. Он был ниже его ростом, но смотрел ему прямо в глаза — смотрел не как дурачок и не по-собачьи. Смотрел, как человек смотрит в глаза человеку. Ролик выдержал его взгляд и не улыбнулся. А дурачок сделал к нему шаг и обнял его неуклюже, отведя голову в сторону.

Потом Ролик смотрел, как он бежит назад, и полы халата развеваются на ветру, как плащ маленького волшебника. И как он делает резкий короткий прыжок перед ступенькой, ведущей в пасть дракона. И не оглядывается. И заскакивает внутрь.

Вечером он спросил Руфину:

— Поедешь со мной в Алма-Ату?

— Зачем?

— За отцом.

Она фыркнула:

— Совсем тронулся? Лично меня уже тошнит от твоего отца! Такое ощущение, что весь мир уже тошнит от него! С тех пор, как ты здесь поселился, я только и слышу: отец, отец, отец. Слушай, а я поняла, почему ты никак не можешь его найти. Ты, наверное, так его достал, что он сбежал от тебя на луну!

Ролик молча пошел в дом. Она крикнула ему вдогонку:

— Ну и что! Ну и обижайся! А меня все равно тошнит! Да всех уже тошнит! Всех, кроме тебя!

С наступлением весны звезды растеряли ледяное мерцание и слабо горели в маревом небе, прячась за быстрыми грозowymi тучами. За новым дыханием жизни выползали из укрытий насекомые, осторожно поверяя ночи осипшие за зиму голоса.

Бодрым, привыкшим к ночным дежурствам голосом мать отправила Ролика спать, и он, не споря и не соглашаясь с ней, повесил трубку, чтобы выйти под небо и, будучи маленьким в сравнении с ним человеком, принять большое решение.

Сесть в автобус можно в любой из вечеров — перед матерью он все равно будет преступником. Но на какой из вечеров он найдет отца, если даже здесь, держа в голове весь жизненный отцовский путь с номерами и адресами, не приблизился к нему ни разу?

Затихали повсюду уставшие люди, и в этой еще неполной тишине остановилась на улице машина. Громко хлопнула железная дверь, и Руфина, не умеющая сбавлять голоса, когда все вокруг погружалось в сон, надрывно крикнула, чтобы ее выпустили.

Ролик торопливо вошел в дом и вылез к воротам через окно. Фары не горели. Рядом с машиной в неясной борьбе, как в сюжетном танце, мельтешили два силуэта. Потом Руфина упала, и танец замер. Силуэт, оставшийся на ногах, без движения темнел рядом.

Ролик схватил камень и бросил его со всей дури, целясь ему в голову. Камень угодил в лобовое стекло.

Дрогнули черные городские вены, набухая сокрушительной силой тока, и долговязым поникшим цветком вспыхнул высокий чугунный фонарь.

Руфина повернулась в его сторону — теперь Ролик хорошо видел ее удивленное лицо, выхваченное светом из темноты. А рядом с ней, нагнувшись над умершим стеклом, скорбела фигура того, кто ее привез.

И вот он уже разворачивался, и тоже был еще не взбешен, пока только ошарашен. Но рассудок возвращался к нему быстро: он поймал точную траекторию, откуда летел камень, и сам уже летит по ней. И вскорости поймает его самого, и, конечно, убьет.

Ролик юркнул в лигустру. Но вдруг увидел, что, как вкопанный маленький истукан, стоит на этой траектории дурачок. И вот уже, сбитого с ног, его волоком волокут к машине без единого звука, а он только прикрывается и прикрывается



руками. Но руки его маленькие и на все тело их не хватает — он пропускает удары один за другим, и слышатся короткие всхлипы и вздохи. А крика по-прежнему никакого.

На секунду ему подумалось: может, и у дурачка что-то с душой, раз и он, как задавленная черепаха, не кричит от боли?

Потом раздался такой крик, от которого все мысли в голове Ролика улетучились. И пока Руфина, не разбирая, колотила силуэт руками и ногами по всему, до чего могла достать, Ролик летел ей на помощь, и голова его была пуста и чиста, как промытое стекло.

Дурачок упал из разжатых рук и спиной прижался к воротам. Они не слышали, даже не смотрели на него. Они избивали его обидчика до тех пор, пока тот не побежал к машине под градом мелких камней, что попадались им под руку. Когда не осталось камней, они хватали горсти земли, которые не долетали даже, а только забивались под ногти.

Саднила сбита ударами кожа, и вспухшие грязные пальцы кровили. Прибавившись к дурачку, они долго еще сидели, заслоненные от мира дождем, обнимая дурачка так, как им хотелось бы, чтобы обнимали их. Они и защищали его так, как им хотелось бы, чтобы кто-нибудь защитил их.

— До чего некрасиво вокруг, Ролик.

Концом свитера Руфина промакивала разбитый уголок рта:

— Какое-то уродство, а не дома.

— Да вроде ничего. Когда деревья зеленые и видно звезды — тогда вообще терпимо.

— У тебя всегда так? — она развернула его к себе. — То ничего, то терпимо. Ты как тухлое болото. Ни заорать, ни заматериться во всю глотку не можешь.

Она заглянула ему в глаза:

— Или можешь?

Ролик молчал.

Руфина посмотрела вверх и потрясла в воздухе раскрытой ладонью:

— Где твои звезды, где? Сдохнешь — не долетишь. А уродство, оно вот — куда ни потянись.

— Дождь пройдет, и будут тебе звезды.

Она устало махнула на него.

— Посмотри на наш дом. Иногда я Алку понимаю — как тут не забухать. Хотя... все равно сама виновата.

— Тебе ее не жалко?

— Чего ее жалеть.

— Ну хоть немного, хоть иногда. Совсем не бывает?

Дурачок замычал и, медленно кивая Ролику, заулыбался.

Нахмурившись, Руфина покусывала губы и спичкой водила по земле.

Потом лицо ее разгладилось. Она посмотрела на Ролика, и он посмотрел на нее, уже готовый слушать. Но она опустила голову и снова принялась за спичку.

— А самый уродский из всех домов на свете — наш. Да, дурачок?

Руфина толкнула брата плечом.

Дурачок слушал ее голос и не слушал слова. Он согревался теплом человеческих тел, которые плотно прижались к нему с боков и не хотели ни ударить, ни накричать. Он был счастлив абсолютным счастьем и, как умел, изображал его на своем лице с такой открытостью и прямоотой, которая дается только собакам. И только детям. И только дурачкам.

— У нас в сарае куча всякой краски. Какой только нет! Хочешь, возьмем и разрисуем ваш дом.

— В смысле «разрисуем»?

— Ну, не знаю, нарисуем на нем что-нибудь веселое, чтоб даже осенью или зимой он был яркий.

— Ты спятил? Да по нему бульдозером надо пройти и снести его к чертовой матери!

Ролик развел руками:

— Другого-то нет. Какой есть, на том и нарисуем.

Он повернулся к дурачку:

— Ну что?

Дурачок энергично закивал.

— А рисовать ты умеешь? — спросила Руфина.

— Вообще-то, не очень. А ты?

— Да так, немного. Ходила в художку. Бросила, правда.

И потом собирался еще дождь, только вместо войны при нем разворачивался мир. И к тому моменту, когда он пошел в полную силу, мир установился окончательно.

— Вот что ты за друг? — спросил Рубен.

Они сидели у школы на постаменте перед бюстом Кирова, под большой бледной ивой.

— Если я, предатель, трус и обманщик, — не сказал тебе, что переезжаю, зачем ты общался со мной? Зачем делал вид, что все хорошо, если ты обиделся?

— Не знаю. Я думал, смогу. Но не смог. Почему ты молчал?

Рубен пожал плечами:

— Не знал, как сказать. Думал, как-нибудь само. Ты и так отца ищешь, а тут я со своим переездом.

— Коробейникова знает. Все знают. А я нет. Разве честно?

— Я не хотел. Не думал, что так. В общем, прости. Мир?

— Мир.

— Мы с тобой навсегда друзья?

— Да.

— Даже через сто лет, когда у меня будет ресторан, и мы встретимся там?

— Даже через двести. И даже если у тебя не будет ресторана.

— Только давай уговор!

Рубен поднялся, навалился на колонну с бюстом и заговорил громче:

— Давай сразу не признаваться, что мы — это мы! Ну, то есть меня-то ты сразу узнаешь. Спросишь хозяина ресторана, и тебе сразу покажут — вон тот высокий кудрявый дядька в бордовом пиджаке.

Ролик поморщился:

— Почему в бордовом-то?

— Для эффекта и от богатства! Но, чур, сразу себя не выдавай, чтобы интересней было, идет?

Ролик улыбнулся и тоже встал:

— Тогда нам надо придумать какой-то пароль. К примеру, приду я в твой ресторан, на заказываю кучу еды, а в конце не буду платить. Скажу, еда, мол, невкусная и вообще у меня денег нет. Официант, конечно, побежит за тобой. И ты придешь. Красный толстый и злой.

— Но только в бордовом пиджаке!

— Пусть в бордовом. Подойдешь ко мне, начнешь разбираться, и я немного подостаю тебя. А потом скажу что-то вроде: «Привет от Ирки Коробейниковой!»

— Точно!

— Нет! Даже лучше! Я скажу тебе: «Рэп — это кал!»

— А я отвечу: «Рок — это кул!» Да! Вот эту фразу я точно никогда не забуду!

Он помолчал немного.

— Мне кажется, из этой жизни я ничего не забуду. И Ирку не забуду. И Ягодку. И как боялся, что скажет бабушка про скрипку.

— А Ваньку Шатова?

— И Ваньку Шатова. А больше всех — тебя.

Вверху зашумело, и тонкие ивовые ветви распластались в воздухе.

Они спрыгнули с постамента и пошли по аллее, огибая клумбы с ровными, подстриженными как по линейке, розами и взбухшими шарами бело-зеленых гортензий.

— Слушай, а если в Израиле, как у нас: ни света, ни газа? Как ты там будешь готовить? Ты же разоришься.

— Да нет, там такого не может быть. Это же заграница. Там все богатые.

— Но это же не Америка.

Рубен остановился:

— Не знаю. Ну, если так, тогда накоплю кучу газбаллонов и плиток. Или на костре можно, на заднем дворе ресторана.

— Макароны с картошкой? — засмеялся Ролик. — Что вообще в Израиле готовят?

— Ну, курицу там, рыбу. Не знаю я. Рано об этом думать. Ресторан я открою только в следующем веке. А в следующем веке уже все богатые будут. И вкалывать вместо людей будут роботы.

## 16

*Последний короткий отрезок остался от ночи. Выли бродячие псы, обиженные на маленькую луну, что каждую ночь смотрит на них и молчит. Словно тосковали по жизни на другой планете, лишенной земного притяжения и строгости бытия. К вою их цеплялись домашние собаки, которые длинным своим стоном и коротким повизгиванием отвечали им, что никакой другой планеты, кроме этой, нет, и что луна будет и дальше приходить на небо каждую ночь и за весь годичный круговорот не проронит и слова. И что летать по воздуху, перебирая лапами, невозможно. А все, что было дано им при рождении, — это непрерывный бег.*

*Ролик не ждет, что наутро, когда понесут отца — из коридора через дверь и дальше, под виноградник, во двор, — он увидит Метиса. Он должен появиться так же внезапно, как появился отец. Не найденный, не обретенный: поиски — глупое нулевое время, — но явленный глазам по собственному крепкому желанию появиться:*

— Папа!

— Привет! Я подожду тебя до звонка.

Пригретая отцом собака, тогда еще просто щенок, — помесь болонки с какой-то поджарой длинноногой дворнягой, как было объявлено Ролику, — появился в их доме сразу по переезде из квартиры.

Год назад, когда родители уже не стеснялись присутствия Ролика и проводили целые вечера, сидя друг против друга в полном ледящем молчании, не исторгнув ни

единого предсмертного стога, с вытянутыми поверх разглаженного одеяла руками, навсегда осталась во сне бездетная отцовская тетка. И родители, продав квартиру для облегчения будущего их единственного сына, поселились в опустевшем доме, продолжая молчать вечерами и ждать радостей для маленькой своей семьи — неизвестно каких неизвестно откуда.

Ролик, оглядывая неуютную квадратную комнату, которую отвели под детскую, отпускал прежних друзей по одному. И, отсидев все уроки, вдвое удлинял дорогу к новому дому, забредая в свой старый двор как бывший уже адресат. Потом и это забылось.

Комната перестала казаться ему гнетущей, а превратилась в обжитый и удобный угол с прибитой на рейку политической картой мира, длинной и узкой кроватью, двумя подвесными книжными полками и не подходящим для мальчишеской спальни цветастым торшером.

Прошлая жизнь понемногу становилась для него чужой и как будто выдуманной, но в новой еще ничего не происходило, еще ничего не свершалось, и она протекала тихо и потому тоскливо, без потрясений и особых тревог.

Одна радостная мысль мелькала в голове Ролика, а когда примелькалась, засела в ней основательно. Эту мысль он укладывал рядом с собою ночью и будил ее по утрам. С этой мыслью он выходил побродить по улицам. И мысль эта стала его другом, его надеждой на новую настоящую жизнь.

Созрев до обладания собакой, Ролик запутался в породах, а спрашивать Рубена было бессмысленно.

— Заведу тройку доберманов, а бабушке куплю шпица, чтобы она стала бабушкой с собачкой и не мучила моих детей скрипкой.

— Вчера ты заводил ротвейлеров.

— Ротвейлеры много едят. А я пока не знаю, как пойдет мое дело.

— А позавчера были овчарки.

— Овчарки уже не в моде. Проси сенбернара или эрделя, а лучше дога — на нем можно кататься, как на пони. Но учти, что пудель умнее всех. С ним можно выступать в цирке. А с кокером ходить на охоту.

Ролик надеялся на отца и, составив список из нескольких пород, не мог усидеть на месте.

Высоко над головой прокатывался гром, словно соскальзывающая колесами с булыжников и ухающая в пропасть гигантская телега.

Отец Ролика возвращался с работы через пустырь, где было пусто и тогда, когда, рассевшись в круг возле двух тополей, — а Алка всегда садилась напротив, — рассказывали друг другу страшилки и, наспех затапывая угольки, кричали ушедшим вперед, чтобы те говорили громче, а лучше бы пели или смеялись во весь голос.

И отец радостно думал, что из двух тополей остался хотя бы один, — второй торчал из земли невысоким обугленным пнем, а вот воздух перед дождем всегда одинаковый и пахнет так же, как и двадцать с лишним лет назад. Только страшилки теперь рассказывают не у костра, а все больше на кухне. И не под лампочкой Ильича, а под неслышным исход восковых капель.

Метис прыгал по зеленой траве, дербаня одуванчики. Блохи, прижившиеся на его кучерявой шерсти, прыгали вместе с ним. Разлетаясь на клочья белых пушинок, головки одуванчиков отрывались от несильных своих стебельков и медленно улетали от земли. И Метис старался выделить из этого облака какую-то одну и слопать ее.

Но облако кружилось, голова его кружилась тоже и, подхваченный этим хороводом, он кружился вместе с ним.

Сверкнула молния, за ней вторая, отец стоял и смотрел на Метиса.

— Веселись, дурачок, пока веселится, а у меня сегодня виселица.

Хлынул дождь. Отец перепрыгнул через арык и побежал к дому. Щенок бросился следом. Добежав до калитки, отец прижался к воротам, стараясь уместиться под маленьким козырьком и, хлопая себя по карманам, отыскивал ключи. Вымокший насквозь пес задорно лаял и, как козлик, подпрыгивал на месте.

— Поверь, это худшее место, куда ты только можешь прибиться.

Словно не соглашаясь, тот залаял громче.

— Здесь людей-то не особо, не то что животных.

Лай.

— В каком-то смысле я тебя понимаю. Сегодня меня тоже попёрли с работы.

Звякнули ключи.

Щенок замолчал и только скалился заросшей улыбкой, и как заведенный вилял коротким хвостом.

— Ладно, может, ты какой-нибудь далекий терьер. На утку сгодишься.

Они постояли с минуту, глядя друг другу в глаза.

— Времени теперь много. Будем добывать натуральную пищу.

*Проси сенбернара. А лучше дога. А лучше эрделя. А лучше — никого.*

Список полетел в ведро.

— Опять дворняга, — недовольно сказала мать.

— Конечно, дворняга, но... с потенциалом, — ответил отец и, ни минуты не мучаясь выбором, объявил его Метисом.

— Жрать по помойкам ее потенциал. И там же ей дом, — буркнула мать.

— Поздно. Я уже пригрел его и назад не выброшу, — ответил отец.

— На улице плюс тридцать, а в ее шубе — все сорок. Она не расстроится, — сказала мать.

— Пригреть — значит подарить надежду. А с этого момента совершить обратное — подлость.

— Она тебя простит, — сказала мать.

— Но я себя нет, — ответил отец.

Когда-то у них уже была собака — маленькая несуразная дворняга с большими ушами, круглым оплывшим телом и тонкими, как стебли, ногами.

Мать отправили на повышение, и две недели отец и сын жили вдвоем. И в эти две недели отец позволял себе все, что позволял раньше, а Ролик позволил то, чего раньше никогда не позволял.

На огороженной площадке соседские дети горланят и машут руками — тонкие голоса резонируют от домов по кругу. У входа в подъезд окрестные старушки вздыхают, шамкая своими, а кто-то уже не своими зубами:

— Натурально митингуют.

— Цепляют заразу.

— Несчастные дети.

— Абортированное время.

— Всё можно — а ничего нет.

— У тебя, что ли, было?

— В их малолетстве не было, а посередке — пожила.

— Все посередке пожил.

- Земля — кругляшок. В бедности начали. В бедности помер.
  - Всю жизнь пропахала, и ради чего?
  - А потому что дура.
  - А ты не дура? Или не пахала?
  - И я дура. И я пахала. А Бога вот забыла.
  - Так вспомни. Он же у вас всё прощает.
  - Вспоминаю теперь. Умирать-то страшно. Что-то там есть?
  - Молочные реки и шоколадные батончики «Милкивэй» там есть.
  - И «Дикую Розу» крутят по выходным.
  - А а бы на месте вашего Бога таких палками гнала.
  - Ну, потому ты и не Бог. И слава Богу, как говорится.
  - Мой Бог — моя совесть. А в ваших церквях и мечетях лицемеры и переодевальщики.
  - Ой, ударит в тебя молния, сгоришь ведь на месте.
  - Как великая грешница.
  - Да молчите вы все. Какие мои грехи? Всю жизнь в труде.
  - А восемь абортотв?
  - Семь.
  - И не боишься?
  - Боюсь я только одного: что меня похоронить не на что будет. И что вы, дуры темные, так прополощите меня на поминках, что я из ночнушки выпрыгну.
- Толпа стоит полукругом и, наклонившись, смотрит вниз. Кто-то сидит на корточках, а высокая девочка в круглых очках говорит степенным и решительным голосом:
- Лена, ты должна его взять.
- Лена мотает головой:
- Я не могу. У мамы аллергия.
  - Булат, тогда ты.
  - К нам аташка<sup>1</sup> переехал. Собаку он не разрешит.
- Высокая поджимает губы и театрально разводит руками:
- Аселя, покажи им пример, а я устала от их трусости.
  - Спасибо. С меня и глухого Мамай хватило.
  - Он что, и правда глухой?
  - Был. Начисто.
- Глухой Мамай пожил и у Ролика. Он прошмыгнул в квартиру вслед за отцом и молча пристроился у тумбочки.
- Они прятали его сутки. Потом все раскрылось. Отец тогда сказал, что доброта — не женское качество, а сила противостоять им — не мужское.
- Кому им?
  - Да вам, женщинам.
  - У меня ребенок в доме. Это не шутки. Собака чужая и блохастая. И потом: у него что-то с головой. Он ни на что не реагирует.
  - Ему просто повезло родиться глухим.
  - Можешь особенно не стараться. Я тоже не реагирую на твой сарказм. Роллан, вынеси его на улицу.
  - Мама, пусть он останется.

---

<sup>1</sup> Аташка — дедушка (каз. разг.).

— Только через мой труп.

— Трупов не надо, — сказал отец. — Ролик, отнеси его во двор.

Было темно, и Ролик долго блуждал с щенком на руках, выискивая для него место среди покореженных горок и клумб, как обычно выискивают место для вазы, которую некуда приткнуть в серванте. Оставленный на траве Мамай, несогласный на свое одиночество, молча разевал щенячью пасть и косолапо спешил за Роликом. Тогда Ролик поднял его на руки, обогнул дом и, перейдя через дорогу, добрал до магазина. Из картонок, сваленных у входа, он соорудил будку и, просунув щенка в круглое отверстие, побежал назад.

Вяло тащился по дороге длинный «Икарус» и, низко прогудев, плавно вильнул в сторону, а ослепленный желтым светом Мамай только пригнулся ниже и потом еще коротко дернулся, оставшись в полной темноте.

— Тогда ты, — высокая переводит взгляд на конопатого толстяка. — Уже второй раз уклоняешься. Третий будет последним, и тебя исключат.

Она поднимает с земли белый комок и вручает ему.

За глаза ее зовут Очка. То бишь, очковая кобра. Она председатель ДОБЛАГЖОРЖа — «Дворового общества по благоустройству жизни одиноких и раненых животных». У общества есть эмблема в виде перечеркнутого щенка с перевязанной лапой и девиз: «Он одинок и ранен, только если ты аморален».

И девиз, и эмблему Очка на правах самой умной и главной придумала сама. Ролик в это общество не входил, так как в благоустройство такое не верил. Не раз он видел этих удачливых щенков и котят, которых брали, а потом снова выбрасывали.

— Петренко (*это толстому*), иди и докажи всем, что ты не зря состоишь в нашем обществе. До сих пор ты был простым толстым мальчиком Петренко Василием, которого никто всерьез не уважал...

— Но...

— А теперь мы уважаем тебя, и если ты...

— Но я не могу, не могу... Правда... — Василий Петренко все краснеет и краснеет и протягивает щенка обратно Кобре. Голос его звучит плаксиво и жалобно: — Я возьму, но только не в этот раз, пожалуйста.

Очка смотрит на него с отвращением и убирает руки за спину. Петренко понимает, что щенка надо отдавать в руки, что опускать его на землю ни в коем случае нельзя, невозможно, что это действие уничтожит его. Но полукруг молчит, и Петренко, обливаясь потом, опускает руки. Почти у самой земли Ролик подхватывает щенка и неожиданно для самого себя говорит:

— Я могу. На какое-то время...

Щенок пробыл у них недолго. Ровно столько, сколько и прожил. Ровно столько, чтобы мать никогда не узнала о нем.

В один из дней Ролик вошел в квартиру, и чем больше углублялся внутрь нее, тем больше делал открытий. Был отец, который сидел на кухне в одних трусах и полуспал-полупил; был запах уксуса и сигарет; были бутылки, сваленные, как кегли, у батареи; был стол, на котором стояло надломленное, лежало надкусанное, стыло липкое; и был пол, на который капало и стекало. Собаки не было нигде.

— Папа, зачем опять? — упавшим голосом спросил Ролик.

Отец пошатнулся и разлепил затекший глаз. Второй остался закрытым.

— Я циклоп, — сказал он и поплыл в улыбке.

— Зачем ты снова?

— Я циклоп и я буду пить, — проорал он.

Ролик взял тряпку и начал стирать со стола.

— Не надо, посиди со мной.

— Здесь грязно.

— Просто так посиди.

— Папа, где собака?

Отец молчал и, казалось, не слушал.

— Неужели нельзя по-другому?

— По-какому?

— Не знаю. Не пить. Совсем. Никогда.

— Мне страшно, Ролик.

— Так жить нельзя.

— Да брось ты. Смотри, уже не пью, — он перевернул бутылку и вытряхнул из нее последние капли прямо на стол. — Смотри, больше нету совсем.

Ролик сел на пол у противоположной стены.

— Я весь — продукт распада. У меня два ядра и мне с обоими нехорошо.

— И что дальше? Так и будет теперь? Так жить нельзя. Так можно умереть. И мама скоро вернется.

Отец оперся ладонями о ребро столешницы, с трудом приподнялся и, скривив лицо, поерзал на стуле. Потом осторожно, словно боясь причинить себе боль, сложил ногу на ногу и медленно заговорил:

— Так жить нельзя, сак жить нельзя. Кто знает, как можно? По-моему, жить никак нельзя. Мне умирать не страшно, потому что жить не интересно. Иногда думаю: а было ли интересно?

Он помолчал немного.

— Да, наверное, было. Чего уж врать совсем? Было. Пока стоял на линейке, когда принимали в пионеры, — было. А сейчас так и хочется крикнуть: к смерти готов! Всегда готов! Только к жизни не готов. Да я даже счастлив был там, на линейке. Не за себя одного, а за всех вообще. Вот она — моя ошибка. Такой вот я идиот. Думать надо за себя одного.

Он ухмыльнулся, помолчал.

— А пью я от скуки. Чеховский синдром. Ты не подумай, что я злюсь на кого-то или обижен. Ну, разве что на себя. И про маму ничего такого не думай. Мне просто скучно — хоть с ней, хоть без нее. Пусто всё как-то. Я ничего не хочу. Вообще ничего. А ты знай, что всегда надо хотеть. Всегда. Велосипед, собаку, женщину, карьеру. Надо хотеть. Надо, наверно, быть жадным до денег, потому что тогда ты жадный до жизни. А я ничего. Я весь уже в прошлом. Переработанный материал. А жить еще черт знает сколько. Но долго. Чувствую, что долго. И это-то никак не могу вынести. Как представляю...

Лицо его стало таким, будто бы он и правда представил, как каждый день живет, а из настроения только скука. И, широко раскрыв глаза, он медленно моргал, уставившись в какую-то точку. Но вот тряхнул головой, как одернул себя:

— Ну нет, как представляю! Что я там буду делать?

И вразяжку повторил еще раз:

— Не-е-ет, как представляю...

— Папа, где собака?

— Там, — отец махнул рукой в сторону окна и разлепил второй глаз.

Ролик вышел из кухни и побрел по коридору и комнатам квартиры, как по хоженным много раз кварталам. Когда они успели стать такими, что Ролик будто родился со знанием — по-другому не бывает. По-другому нельзя. Или можно?



У кого из его одноклассников или соседей за закрытыми дверьми происходит другая жизнь?

Ролику хотелось знать этих людей лично. Таких, которые умели по-другому.

Полкласса без отцов. Но в классе все улыбались. И он улыбался тоже.

Разве им не было весело друг с другом, когда даже Фомченко, месяц назад сбитый машиной, вернулся в школу, а сам подстрижен под ноль. И голова вся, почерканная шрамиками, ходит ходуном от смеха. Напирает локтями на парту, болтает ступнями, обутыми в кроссовки, и в полете они разевают подошвы, как рты. Январь на дворе.

На родительских собраниях сидят не раздеваясь, и позы у всех — встань и беги. Мама Фомченко выбирает то же место, где сын болтает рваной кроссовкой. И так же, как сын, садится одна. Последняя парта в центральном ряду.

Собирают деньги на шторы. Классная Ягодка тщательно ведет учет. Деньги собирают не только на шторы: у класса есть общая касса, тревожный сундучок, который отпирается на случай «если».

На случай, если придет весна и горы обрастут зеленым пушком и дикой несочной бояркой, все тридцать два человека, включая саму Ягодку и пару компанийских родителей, набившись спозаранку в арендованный автобус, покатают, гремя рюкзаками, за город.

На случай, если однажды Ваня Шатов не придет на уроки ни через месяц, ни через два и, оставшись дома один, не сумеет отвоевать себе воздуха для одного только жадного крохотного вдоха. Потянется за ингалятором в ящик, а ящик окажется пустой.

— А без штор они что, ослепнут?

— Но это ведь ваши дети.

— А с этими что? Висят и висят.

— Они старые. С них сыпется.

— С меня тоже скоро посыпется.

— Почему школа не купит?

— У школы не хватает средств.

— Думаете, у нас хватает?

— Третий месяц без зарплаты.

— Послушайте, но мы ведь живем не в самое плохое время. У нас тетради, учебники. У нас, извините, ручки и компьютеры в зале информатики. Мы, наконец, не пишем угольками на газетках. Пойдите и вы нам навстречу. Ведь я же не первый год веду ваших детей. Вы меня знаете. Я, если нужно, отчитаюсь за каждую копейку.

Ягодка краснеет и промокает лицо сложенным вчетверо носовым платком:

— Вы думаете, мне доставляет удовольствие заниматься этой бухгалтерией? Я историк. Мой предмет — история Древнего мира.

Она отбрасывает со лба обесцвеченную прядь и уточняет темы, как торговка на станции, отбрасывая с корзинки засаленное полотенце, перечисляет товары: рыба, курица, пирожки. Египет, Греция, Месопотамия.

— Если это всё, я пойду.

— А вы кто?

— Мама Фомченко. Александра.

Ягодка оживает:

— Вот вам бы как раз задержаться. У Фомченко куча проблем.

— У меня тоже. И я пойду.

— Я родила скучного ребенка.

Мать разматывает шарф и, опустившись на стул, осторожно водит молнией. Замок расходится на сапоге, и, придерживая половинки голенища, она проталкивает собачку назад. Вместо собачки — погнутая скрепка, точь-в-точь подобранная по цвету.

— Если бы не это голосование, Ягодка тебя бы вообще не вспомнила. Ни похвалы, ни претензий. Вообще ничего. Она зачитала нам ваши сочинения: «Кого бы из класса я взял с собой на необитаемый остров?» Фантазия, да? Когда вы успели?

— На внеклассном уроке.

— И знаешь, кто лидирует?

— Догадываюсь.

— Коробейникова, Сейдуллаев, твой закадычный дружок Пинхасов и, не поверишь, ты. То есть в это уже не поверю я. Честно сказать, я ахнула. Господи, ну хоть кому-то мой сын пригодился. И вот спроси у меня: за какие заслуги тебя бы взяли с собой? И за какие заслуги их?

— Давай ужинать.

— Свет был?

— Часа полтора.

— Ты что-нибудь успел?

— Сварил картошку.

— Так вот. Коробейникову — как ее имя?

— Ирина.

— ...взяли бы, потому что она добрая и учится на пятерки. Нужный человек — все знает, всем помогает и вкусно готовит. Это правда?

— Правда.

— Откуда ты знаешь?

— Мы пробуем у них на трудах.

— Странные они, эти Коробейниковы. На собрания всей семьей. Мама, папа и младший ребенок. И главное, все трое на одно лицо.

— Это странно?

— Что на одно лицо?

— Что вместе на собрания.

— Да глупость какая-то... Ролик, помоги, опять этот замок.

Она протянула ему тонкую, как у школьницы, ногу, придерживая ее за колено, и он стащил сапог, не расстегивая.

— Сейдуллаева бы взяли, потому что он шахматист и быстро соображает.

Ролик зажег керосинку, потушил свечу, открыл завернутую в полотенце кастрюлю и достал из пакета нарезанные куски хлеба, которые от долгого лежания съезжились по краям.

— Мой руки, дальше я сама.

В ванной за стенкой он слышал ее ровный, монотонный голос.

— Ты знаешь, у меня ощущение, что мы пошли в какой-то поход и все никак из него не вернемся. Это ужасно, вот так постоянно есть холодную еду и запивать холодным чаем. Хорошо хоть на работе успела сварить окорочка. Слушай, как правильно: окорочка или окорочки? Все говорят: окорочка. Но меня почему-то смущает. В такие минуты мне даже жалко, что он ушел. Ходячая энциклопедия. Теперь и спросить не у кого.

Мать стояла над столом, и лампа освещала ее лицо снизу, так что серые тени, блуждая и прыгая по складкам и морщинкам, делали ее старше и строже. Она

поставила керосинку на подоконник и села к ней спиной — огоньки исчезли, и теперь вся она сверху донизу покрылась тенью.

— А третьим был, угадай, кто?

— Мой закадычный дружок.

— И знаешь, почему большинство из вашего класса выбрало этого троечника?

Она выдержала паузу. Ролик промолчал.

— Потому что с ним весело, а кто-то должен развлекать их на острове. Телевизора там нет, радио нет, зато есть клоун Пинхасов. Представь себе: Коробейникова готовит, Сейдуллаев проектирует шалаши, Пинхасов смешит. Государство готово. И спрашивается, зачем мы всё время переживаем за вас? Вы же нигде без нас не пропадете. Быстрее пропадем мы — стареющие, облапошенные и разочарованные.

Она закуталась в шаль.

— А теперь самое интересное и самое странное: почему бы на остров взяли тебя. Как ты думаешь?

— Не знаю.

— Ты не отличник, не играешь в шахматы, не умеешь смешить, как Пинхасов.

Почему?

Ролик молчал.

— Они написали, что ты надежный и на тебя можно положиться. На тебя можно положиться... Это правда?

Ролик набрал ведро воды, бросил туда тряпку и вернулся на кухню.

— *Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был.*

Прикрыв глаза, отец стучал кулаком по столу. Стучал ровно, как метроном, обрушивая ритм перед началом новой строки:

— *И что я презирал, ненавидел, любил.*

Начинается новая жизнь для меня,

И прощаюсь я с кожей вчерашнего дня.

Я читаю страницы неписанных книг,

Слышу круглого яблока круглый язык,

Слышу белого облака белую речь,

Но ни слова для вас не умею сберечь,

Потому что сосудом скудельным я был.

Отец открыл глаза, увидел Ролика и перешел на шепот:

— *И не знаю, зачем сам себя я разбил.*

Закрыв лицо руками и заплакал.

Ролик много раз ненавидел отца. И никогда этой ненависти не хватало даже на сутки. Он отставил ведро и подошел к нему.

*Спокойные и странно прямые, будто ссохшиеся ветки, сейчас руки отца аккуратно прижаты к телу. Как у заснувшего пионера, обернутого в полинявшее знамя.*

— *К смерти готов?*

— *Всегда готов!*

— Папа, давай помоем руки. У тебя царапины.

Он обнял его седеющую голову и положил на нее свою. Отец прижался к нему и сказал:

— Я не хотел. Я просто не рассчитал с мячом. Ты мне веришь? А она, дура, прямо за ним. В окно.

## 17

Бледное утро вставало над городом тихо, неясно. Мазками ложился на улицы теплый неровный свет.

Поиски они начали одновременно. Мать искала деньги, Ролик — собаку. Ролик искал во дворе, мать — в тумбочке.

Метис уходил до завтрака, как бы совершая утренний помоечный моцион. Он шел через двор спокойно, и не было в его круглых глазах никакой вины. Но, проходя мимо двери на веранду, всегда останавливался и носом прижимался к расщелине, проверяя, идут ли запахи. Они не шли, и он не задерживался. Беспородная кровь играла внутри него веселые марши и гнала прочь со двора.

Завязать настоящую преданную любовь с хозяином у него не получилось. Любви в его сердце скопилось много — по капле со всего их бродячего рода. Но он никогда не берег ее для кого-то в отдельности, а щедро расточал на каждого, кто мог его накормить. По этой же самой причине не помнил зла и обидчиков своих легко принимал за друзей.

После помойки навещал соседей, потом выбирался в продуктовый, где Ролик покупал хлеб. К обеду заходил на рынок к знакомому шашлычнику, которого помнил еще щенком, но к ночи всегда возвращался домой.

Ролик обошел всех. После зашел к Руфине.

Упираясь коленями в газетные листы, она водила кистью по фундаменту. Теперь на нижней линии дома, проходя по неровностям и углублениям, поблескивая свежим маслом, сохла нарисованная зеленая оградка, за которой прорастала трава и мелкие красные цветы с желтыми серединками.

Рядом канючила Аня, требуя нарисовать за цветами принцесс в натуральную человеческую величину, а дурачок, подносящий Руфине краски, жестами выпрашивал у нее кисть и, не получив ничего, радостно отбегал от рисунка и долго примерялся к нему глазами, широко раскрывая рот.

Эльдара Ролик не заметил. Тот сидел на перевернутой кастрюле, запрокинув кудлатую голову и массируя ее пальцами с желтыми ногтями.

— Нашел?

Руфина повернулась к Ролику и отложила кисть.

— Нет.

— Че он ищет? — спросил Эльдар, не открывая глаз.

— Собаку, — ответила Руфина.

— Кудрявую?

— Да.

— Я видел ее.

— Где? — спросил Ролик.

— Пойдем, покажу. Но это не бесплатно.

— Врет. Ни фига он не видел, — сказала Руфина.

— Кудрявый пес в красном ошейнике. Нет? — ухмыльнулся Эльдар.

— Пошли, — сказал Ролик.

— Давай деньги.

— Я быстро. Только домой схожу.

Эльдару было все равно, существует ли Метис на самом деле или возникает внезапно, как пятно, видимое боковым зрением. Таких метисов он видел раз двадцать

на дню, когда трусил бесконечными дорогами, рисуя стоптанными кедами гигантские кривые под небом, с которого ему не падало ничего, а всё, что добывал он, приходилось доставать словно из-под земли, вопреки небесному провидению.

Руфина стянула с головы косынку и встала с колен:

— Зачем приперся? Алки нет.

— Это че вы? Типа как в дурдоме оформляете?

— Ты видел, как в дурдоме?

— Ну да, как у вас. Травка, цветочки. Чтоб психов веселить. Твой псих вон тоже радуется.

— Проваливай.

— Алка где?

— У тебя минута. Или я звоню твоей матери.

Ролик столкнулся с матерью на веранде.

— Где ты шатаешься?

— Метиса ишу.

Она бросила в мусорку полинявший пакет от кефира. Ролик сжался и понял всё.

— Ты разве не уяснил, что следопыт из тебя хреновый! Сбежал — и черт с ним!

Туда ему и дорога!

Она села за стол и в бешенстве застучала по нему солонкой:

— И я хороша! Ведь с самого начала всё было ясно! Со всеми этими псами, стихами, высокими материями! Дура! Мало того, что сам ушел, так он еще и деньги с собой прихватил. Мои деньги! Наши с тобой деньги! Как тебе?! Всё не взял. Думал, сделает так, чтоб незаметно было.

И Ролик не стерпел:

— Их я прихватил.

Она отставила солонку и, скорчив гримасу, отмахнулась от него.

И тогда он повторил:

— Их я прихватил.

— Зачем? — спросила она.

— Чтобы найти папу.

*Сначала она разочаруется во мне, а потом разлюбит.*

Мать долго смотрела на него, а он смотрел в пол. Потом она медленно покачала головой и шумно вздохнула, а Ролик шагнул к столу и громко затараторил — без интонаций и знаков препинания. Словно боялся не вспомнить вызубренные нескладные стихи:

— Я вел его домой он не хотел идти то есть ему было трудно он упал потом мы его подняли! Я не мог поднять его один! Я никогда не мог поднять его один потому что он был сильно тяжелый! Я не хотел чтобы он так оставался лежать у них и в тот раз не хотел чтобы он ночевал один в подъезде я хотел чтобы врачи помогли ему думал у него плохо с сердцем он постоянно за него держался а они не хотели его брать и он не хотел с ними ехать и когда я не смог его поднять мне помогла Руфина и еще один парень которого ты не знаешь его зовут Эльдар! И на следующий день мы встретили их на улице и он сказал нам пошли — я пошел и Рубен со мной а потом они забрали у него скрипку и разбили ему лицо а его бабушке мы наврали что он с горки упал! И потом я узнал что он ходит на иврит потому что уже ждет приглашения и скоро они уедут! Они все уедут отсюда! Навсегда! И я никогда их больше не увижу! И папу тоже не увижу потому что я должен остаться с тобой! Я хотел поехать с ним но я не хотел чтобы ты осталась одна и я испугался что всё равно не найду его там даже если поеду

а деньги я хотел Рубену отдать чтобы он выкупил назад свою скрипку чтобы тетя Тамара его не разлюбила за семейную реликвию но у меня ничего не получилось потому что у меня ничего никогда не получается! И теперь я не знаю что мне делать и Метис куда-то сбежал и мне кажется что он умер и никогда ко мне не вернется. Мама ты меня слышишь? Это я украл деньги! Он ничего не брал! Это я их украл!

Мать схватила его за руки выше локтей и тут же отпрянула. Он весь горел.

Она отвела его в комнату и уложила в постель. И слышала, как стучат его зубы. И вот уже накрыла его вторым одеялом, а он колотился под ним, как в лихорадке, и все повторял про какую-то карту и пуговицу и звал отца.

Ему казалось, что зимнее сморщенное солнце висит прямо над ним вместо лампочки и только режет сухие глаза, а всё его тепло забирает себе. И жалобно просил, чтоб задернули шторы.

Мать проводила врача и просидела с ним до ночи, держа за руку. Несколько раз она поднимала его голову и давала лекарства.

Ролик тяжело отрывался от подушки и ни разу не открыл глаза. Мать свернулась клубком в кресле и ненадолго проваливалась в сон. Потом вскакивала и наклонялась над ним, чтобы послушать его дыхание.

На следующий день было так же, как в предыдущий, и мать звонила на работу и долго выпрашивала отгулы.

Несколько раз приходил врач. И Ролик видел его как через дождевую завесу, потому что лампочку-солнце заслонили тучи, и Ролику лилось прямо на голову. Он метался по подушке, то прижимаясь к стене, то свешиваясь с кровати, но дождь все равно хлестал по лицу, и он не мог выговорить, что ехать в больницу не хочет, а врач строго ответил ему, что скорая пьяных не забирает и ночевать придется в подъезде.

На третий день тучи ушли, а солнце, вернувшееся на место лампочки, стало еще холодней. Скулы его заострились, и истонченная кожа на лице светилась серым. Солнце вяло мигнуло с потолка и медленно начало угасать.

Время как будто встало у порога его комнаты, но внутрь не шло. И потом, открывая горячие веки, он видел сидящих полукругом Хромого, Руфину, Рубена, отца, Эльдара и Шатова Ваню.

Отвернувшись от него, они шептались между собой, и кто-нибудь из них всё время оглядывался, будто проверял, подслушивает он или нет.

Тогда они смыкали полукруг и, наклоняясь друг к другу, шептались еще тише.

И Ролик увидел, что пришла осень и комнату его завалило листьями, и решил, что в восьмой класс его так и не взяли, потому что они остались вдвоем с Ягодкой, а остальные уехали. Пыль от листьев попадала в нос и в рот и забивалась в глаза, и оседала на одеяле.

Он пытался услышать, о чем они говорят, и отодвигал подушку от уха. Но в этот момент кто-нибудь из них поворачивался и гневно смотрел на него.

У Хромого была голова Метиса, и, поднявшись, он заковылял к окну. Ролик крикнул ему, будто внутрь себя:

— Ты куда, Метис?

А Метис с телом Хромого повернулся и ответил:

— На помойку, мальчик. Ты же всё потратил на карусели.

Потом опустил на четвереньки и выпрыгнул вслед за Эльдаром на улицу.

Следующим встал отец и, махнув остальным, быстро пошел к двери.

— Ты куда, папа? — спросил он его.

— В Алма-Ату.

- Автобусом?
- Пешком.
- Далеко ведь!
- Далеко? Это здесь, напротив, где Алка живет.
- Можно с тобой?
- Да нет... Ты скучный, Роллан. Ты всем надоел, а не только мне.

В огромном бордовом пиджаке, доходившем ему до колен, не оглядываясь на Ролика, уходил Рубен. Ролик потянулся к нему, но схватил только пустой рукав:

- Ты куда?
- В Бухару. Я уже и бухарский выучил.
- Я не хочу, чтобы ты уезжал! Останься со мной! — завопил Ролик.
- Не могу. Здесь больше никого.
- А где все?
- Уехали на необитаемый остров.

Из кресла сосредоточенно смотрела на него Руфина, как будто видела его в первый раз и разглядывала, чтобы получше узнать. Он хотел спросить, почему она так смотрит и молчит, но внезапно она рассмеялась и достала топор.

— Убью их всех к черту. И тебя заодно. Ты никогда никуда не поедешь, потому что тебя поймают с ворованными деньгами. Везде про тебя знают. Ты глобус видел? Некуда ехать. Ты вор.

Но тут, виляя длинным хвостом, в комнату забежал Метис и, встав напротив подушки, уперся передними лапами в кровать. От радости Ролик затаил дыхание: нашелся, значит! Живой! Ты живой!

Он гладил его по голове, осторожно вынимая из шерсти репейник:

— Грустно мне, Метис. Если б ты знал, как мне грустно. Только тебе не понять. Жаль, что ты не умеешь говорить. А если б умел, ты бы сказал: «А чего тебе грустно? У меня тоже отца нет». А я бы ответил: «Что значит тоже? У меня-то он есть. Просто он немного потерялся». А ты бы сказал: «Ну вот, спроси дурака...» А я бы ответил: «И все равно мне грустно. Он же *где-то* есть, а не здесь со мной». А ты бы спросил: «Чем я тебе плох? Он *зачем* меня тебе подарил? Чтоб тебе не было грустно. Дурак. Живи и радуйся». А я: «Чему мне радоваться, если мне нужен отец, а не собака? А ты: «Ну мало ли чего тебе нужно. Живи и терпи».

Ролик потянул за клочок шерсти, но колючка не поддавалась, и Метис пронзительно взвизгнул, мотнув головой.

— И все-таки жалко, что ты не умеешь говорить.

— Еще как умею, — сказал Метис. — У кого оно сейчас есть — то, что нужно? У кого ни спроси — у всех чего-то нет. И не просто чего-то, а того, что нужно, именно того и нет.

— Ингалятора нет, — сказал Ваня Шатов.

И тоже ушел.

На третий день Ролик заговорил с матерью. А на четвертый вышел во двор.

Утром мать распахнула окно, и жаркий, пропитанный жужжанием насекомых, ворвался в комнату воздух.

Ролик вылез из-под одеяла и, опираясь на спинку стула, подошел к столу. Из ящика вынул дневник, из дневника деньги — и протянул их матери.

— Похвально, — сказал Абай. — Тут и добавить нечего.

Мать взяла его за руку:

— Я даже не знаю, что сказать.

Ролика качнуло, и она уложила его в кровать.

— Но ты, — она взяла паузу и, будто вынырнув из глубины на поверхность, глотнула воздух, — ты ни в чем не виноват. Я с этими тортами, знаешь, запеклась совсем. Иди ко мне, я тебя обниму. Я даже не знаю, за что мне достался такой сын.

Ролик молчал.

— То есть я вижу, что у такой матери, как я, должен быть другой сын. Противный, нехороший, другой. Не такой, как ты. Ну, как Руфина хотя бы.

— Зря ты про Руфину. Она хорошая.

— Ладно. Бог с ней. А ты... Я смотрю на тебя — и ты лучше меня. Понятно, что ты лучше своего отца... Это для меня большое утешение. Это комплимент для меня. Но ты и лучше меня. Я ведь не очень хорошая мать. Да? — Она нервно засмеялась: — Да нет. Я даже скверная мать. Да? Но ты скажи мне одну вещь. Больше ничего, кроме этой вещи, не говори. Не жалей меня сейчас, не защищай. Только очень-очень честно скажи. Я пойму, если скажешь как есть. Хотя, — она опять глотнула воздуха, — я и не рассчитываю там на что-то. Но скажи, вот если бы я ушла от вас с папой... Ну, то есть, как он от нас с тобой. Ты бы меня искал? Ну, то есть, как его? Ты бы искал меня так же?

Она села на пол у кровати и положила голову ему на грудь.

Ролик погладил ее по волосам, как гладят маленького ребенка. И она взяла его руку и поцеловала ладонь.

Она и смотрела на него, как ребенок, и все ждала, что он скажет. Он показался ей взрослым и важным — таким человеком, от которого она зависит. И Ролик сказал то, что вначале она будто и не расслышала, будто отвергла его слова. И он, думая, что она не слышит или не понимает его, повторил еще раз:

— Мама, ты бы никуда от нас не ушла.

Вечер тянулся долго. И долго темнело небо. Мать зажгла во дворе свет, забралась на стремянку напротив Роликова окна и натягивала на виноградные грозди старые чулки. Стоя на стремянке, заглянула в комнату — Ролик лежал головой к окну, укрытый до подбородка.

Вскоре появилась босая Руфина и, потоптавшись на мокрой тряпке, расстеленной у порога, вошла на веранду. Туфли на шпильках она держала в руках.

Мать отмывала тарелки в большой эмалированной чашке.

— Если ты к Ролику, то он спит.

— Не хотите пускать, так и скажите.

Мать устало опустилась на стул:

— Иди домой. Он заболел.

— Давно?

— Не знаю. Два дня было сорок. Думала, умрет.

— Вы чего говорите такое?

Руфина поставила туфли на пол и села напротив.

— Хотите, я посижу с ним?

— Посидишь? — она недоверчиво посмотрела на ее ступни. — Хотя... и правда, посиди. А я пока в магазин схожу. Там суп, — она кивнула на кастрюлю. — Если проснется, покорми его. И сама поешь.

— Ладно.

На четвертый день мать вышла на работу. У калитки столкнулась с Руфиной.

— Заходи. Он будет рад.

Уже через двор соседей, сквозь сетку, Руфина увидела свой раскрашенный дом. И снова подумала про бульдозер.



— Ну что, оклемался?

Она остановилась на пороге комнаты, спрятав руки в карманы.

— Вроде да.

— А я вначале хотела через окно, но подумала, что ты обделаешься с перепугу, и не стала.

— Зря. Было бы весело.

Она подошла к книжным полкам:

— Ты их все прочитал?

— Нет, конечно.

— У нас тоже были. Мать всё сдала. Захочешь подзаработать, их можно сдать. Имей в виду. О чем? — она кивнула на книгу, раскрытую перед ним.

— Об индейцах и белых.

— Я за индейцев. А ты?

— По-разному.

— Какой ты дохлый стал. Кошмар... Ладно, пошли во двор, погода такая. А то воняет, как в больнице.

— Я сейчас.

Стоя под невысокой яблоней, Руфина трясла ее за ветку, и цветы, что уже заворачивались лепестками от жары, осыпали ее с ног до головы. Она смеялась, опустошая ветку за веткой, и принималась за следующие.

— Ну что, красиво?

— Да. Только зря ты пчел злишь. Потом не отделаешься.

Руфина не слушала. Она смотрела вверх и перед каждым рывком жмурила глаза.

Солнце играло с тенями, и земля, разлинованная их нечеткими фигурами, пахла прелым и крепким цветением. Ролик сел на крыльцо, и Руфина, бросив дрожашую яблоню, уселась рядом.

— Я тебя видел, когда заболел.

— Твоя мать расчувствовалась. Разрешила прийти.

— Нет. Я видел тебя по-другому. Как в бреду.

— Так у тебя температура сорок была.

— Ты собиралась меня убить и всё говорила, что я вор.

— Сбрендил, что ли?

— Говорю же, в бреду.

— Наркоманы тоже много чего видят в бреду.

Она замолчала. Потом сказала без выражения:

— Хромой умер.

— Как?!

— Вышел в окно и не вернулся.

Ролик посмотрел на нее в упор и всё ждал, что она засмеется или скажет, что это шутка. Но она продолжала так же спокойно, таким же ровным бесцветным голосом:

— Без дураков. С пятого этажа. Знаешь Коробку? Там.

— Да, бывал как-то.

— Не ходи туда. Трупное место.

Она встала.

— А у меня весной второе дыхание открывается. Как знаешь, когда всё осточертеет и ненавидишь всех так, что дальше некуда. Всё ненавидишь. Весь мир. Не только людей. А потом выйдешь после такой ночи, — а всё другое. Вроде и то же самое, — а другое. Цветы, запахи, деревья, даже небо. И главное, очень быстро: одна

ночь — и всё другое. Я давно думаю, вот бы и нам так: раз — и мы другие. Почему так не бывает?

— Не знаю. Но мы же не деревья и не цветы.

— Да плохо это. Плохо. Плохо. Плохо.

— А мне нравится, что ты — это ты.

— А мне нет.

— Где его похоронили?

— Не знаю. Я не ходила. Не люблю я похороны. Не люблю ни свадьбы, ни похороны. На одних радуются как ужаленные, на других рыдают. Смотреть противно.

— И что теперь?

— Правильней было бы спросить: кто следующий?

Ролик смотрел на нее снизу вверх. Руфина загораживала собой солнце. Лицо ее было темным и сосредоточенным, а плечи светились по контуру, и светлые волосы, как наэлектризованные, топорщились на оголенных руках.

— Ну, сначала умрут все наркоманы, — сказала она. — Потом все алкаши. Потом все просто больные. Потом все плохие люди. Потом все хорошие. Короче, умрут все.

— И что потом?

— Да ничего.

— А хорошие обязательно умрут после плохих?

— Да. Сначала я. Потом ты.

## 18

С раннего утра томилось в воздухе, но дождь всё не шел, и, грузные от бело-розового цвета, качались ветки тутовника и урюка. Качнулись еще, и Ролик вдруг отчетливо увидел за ними отцовский профиль и дальше — плечи с руками. Отец расхаживал между деревьев, то оглядываясь по сторонам, то оглядывая здание школы, особенно задерживаясь на верхних окнах.

И Ролик, будто подброшенный с места, не смущаясь громкости собственного крика: «Можно?» — и, не дожидаясь разрешения, уже огибал парты.

Он не видел ничего удивления, а видел высокую, с потеками краски, молочную дверь и одновременно с этим — отца, который топчется по другую ее сторону.

Но отца в коридоре не было, а с лестницы с суровым лицом уже сходила директриса, направляясь в его сторону. Она осторожно поднимала ноги, придерживая подол летящей юбки, и острые каблуки, проваливаясь в мягкий линолеум, издавали тоненький скрип.

Ролик повернул назад и стремглав помчался в противоположную сторону, проскочив мимо класса, откуда выглядывало ошарашенное лицо учительницы. Затем он взбежал на третий этаж и, одолев длинный пустой коридор, едва касаясь широких перил, слетел вниз по другой лестнице и замер у выхода в вестибюль. Дежурного на посту не было и, выскочив из школы незамеченным, он помчался к боковой пристройке, где деревья уже ждали плодов, а его ждал отец.

Отец стоял, облокотившись о дерево, и по одному срывал с веток цветы.

— Папа! — не вскрикнул, скорее, закричал Ролик. И больше уже ничего не смог произнести, пока отец, улынувшись растерянно и широко, не подскочил к нему и не поднял его с земли, крепко сцепив руки у него за спиной.

Больше никогда не держал он Ролика так. И Ролик больше никогда не видел его живым.

— Я подожду тебя до звонка!

Ролик отчаянно замотал головой.

На перемене, забравшись на выступ цоколя, выкрикивал Рубена, но вызвал Фомченко и, поймав выброшенный на свободу рюкзак, побежал догонять отца.

Коробейникова сказала, что это нехорошо, и промолчать об отсутствии Ахметова на внеклассном уроке ей будет сложно — Ягодка потребует отчета. Но Фомченко, Сейдуллаев и Пинхасов, рассевшись на подоконнике, обещали ей взять это на себя. Заточённые в раму окна, они еще долго смотрели им с отцом вслед, — а за окном, во всю ширь городских улиц, проходила весна, и мелкие птицы иссушенными без дождя глотками скандалили в низком полете.

Потом отswerкали грозы — и наступило лето. Жаркое, засушливое, и для таких мест — самое обыкновенное.

Но Ролик возвращался к нему и через год, и через два. И перед самым своим концом, через множество лет, вспоминал его в мельчайших подробностях.

И кто-то в то лето много плакал, а кто-то смеялся. А кто-то перестал быть совсем.

Это случилось не потому, что чужая девочка, не знавшая в жизни любви, по немощи детских своих лет и скудости зрения оставила на столе утюг подошвой вниз. Видела Аня хорошо. Но и там, где утверждаются человеческие дела — мелкие и крупные, — слышали человека, который в мрачной трезвости видел пустоты собственной жизни, а в пьяном забытии призывал смерть, обещая ей, что готов. Он уснул, как уснул дурачок. И минуты определили часы, отведенные для жизни.

А до того, как это случилось, и до того еще, как началась эта поминальная ночь, и до того, как дурачок, разомлев от жары, распластался под деревом, а Аня достала откуда-то старую материнскую куклу в измятом платье, отец заходил к Ильяс, чтобы поздороваться с ним после декадной разлуки и чтобы сразу же проститься.

И, отвечая на вопрос Ильаса о жизни, говорил, что она у него не хорошая и не плохая, вроде и новая, а вроде и нет, и как это очень похоже на него самого, потому что по паспорту он еще не старый, а всё как будто бы уже решено. И потом еще сказал:

— Что-то, конечно, происходит, но как-то само по себе. Как будто без моего участия.

— Главное, что происходит, — ответил Ильяс. — Это уже неплохо.

Они прошли на кухню, где, нарушая тишину воскресного утра, шумно работал холодильник. Отец встал к окну и скрестил руки:

— Удивляюсь тебе. Тебя хоть что-то может сбить с толку?

— Ну, знаешь, когда привыкаешь хоронить — перестаешь метаться.

Ильяс раскрутил газовый баллон, зажег конфорку и поставил на плиту закоптелую сковородку:

— Жизнь становится четкой и понятной. Она либо есть, либо нет. И пока ты жив — с этим можно что-то делать. Помнишь банкира у меня на вечере?

— Айбара?

— Позавчера повесился у себя в подвале.

Отец качнул головой:

— Грустные новости. Что-то еще?

— Шмидт звонил из Германии, говорит, всё никак не начнет работать. Всё сдает какие-то тесты на профпригодность. Они вроде как сомневаются в нашем дипломе. Говорит, очень хочет домой, но точно знает, что не вернется.

На раскаленной чугунной поверхности завертелся прямоугольник масла и тут же замер, растаяв до точки. Ильяс залил ее омлетом и накрыл крышкой.

— Даже если не сможет работать врачом?

— Я думаю, у него все получится. Он очень верит в себя. Всегда верил. И у него холодный ум.

— Да уж, вся жизнь — экзамен на профпригодность.

— И Айбар его провалил.

— И я тоже.

Он поставил сковородку на стол, разломал лепешку и нарезал сыр.

— Ким закрыл кафешку и подался в Москву. Вот и все новости. Ты-то как?

— Я поскитался в столице и подался на запад. Поближе к Каспию.

— Ты рад?

— По крайней мере, надоесть еще не успело.

Он подошел к стене:

— Что за картина?

— Шурик подарил. Сказал, вдохновился прощальным вечером и нашей беседой.

— Не очень оптимистично, по-моему. Пьющие огурцы и помидоры за столом. Ильяс потянул ее за правый край, и картина выровнялась.

— Он настаивал, что это люди с огурцами и помидорами вместо голов.

— Интересно, который из огурцов там я? Тебя-то среди нас там точно нет.

— Я, наверное, где-то за кадром, — улыбнулся Ильяс. — Вывожу формулу жизни, замещающая свою трезвость.

Какое-то время они молча ели. Потом отец спросил:

— А формулу счастья не вывел?

— Для формулы счастья у меня многовато опыта. Ты не пьешь?

— Сегодня нет. Я выйду на балкон?

— Кури здесь. Я поставлю чайник.

Он чиркнул спичкой:

— Ладно, про остальных всё более-менее ясно. Кто-то страдает алкоголизмом, кто-то делает деньги, кто-то вешается, кто-то бежит, кто-то пишет странные картины. Ну а ты?

Ильяс засмеялся и поставил на стол пиалки:

— Занимаюсь словоблудием.

— У тебя неплохо получается. Вот если бы я столько разговаривал с собой, договорился бы только до петли. Поэтому я пью.

— Я помню, что когда в один год похоронил мать, брата и жену, долго не мог решить для себя — для чего мне теперь жить.

— И к чему пришел?

— А ни к чему. Просто дал всему быть, потому что понял, что боюсь смерти. Мне было очень страшно представить себя на стуле в петле. Я много раз ее видел — и это всегда была чужая смерть. Свою я ни разу не мог представить. И до сих пор не могу.

— А про Айбара как узнал?

— Мы собирались на охоту. Я приехал к нему в четыре. Он был еще теплый. Но, в общем, я старался не смотреть на него... Чтобы не запоминать таким. Поэтому смотрел по сторонам. И видел рассвет. Видел в бильярдной нашу фотографию с охоты пятилетней давности в каком-то заповеднике на Тянь-Шане, и на ней сине-белые горы пронзали воздушные шапки облаков. Видел его старых цепных алабаев, которые негромко выли на растаявшую в небе луну. Словно жалуясь кому-то на что-то. Я представил, что, если бы у нас за окном были сине-белые горы, а он бы висел в подвале, — они бы просто мерцали утренним светом. И были бы равнодушны, как

и весь спящий в то утро мир. Равнодушны. И прекрасны. И всё. И я подумал, что жизнь — это мерцание, а смерть — это свет. Понимаешь, о чем я?

— Вот так собирался на охоту, а потом взял и повесился?

— Я думаю, никуда он не собирался. Жену с детьми отправил к родителям, а про охоту придумал, чтобы я его нашел.

— Ужасно всё это. Нет ничего хуже, чем хоронить близких.

— Да. Но мои близкие умирали на моих руках, и у меня была возможность проститься с каждым из них. По-моему, это роскошь.

Отец подтянул к себе газету и, пробежавшись по первой странице, отодвинул от себя:

— Печатаешься еще?

— Понемногу. Не так, как раньше. Тематика не моя.

Ильяс взял газету со стола, скрутил в трубку и бросил на подоконник.

— Ну а ты? Газет не читаешь? Что пишут в столице? Может, поторопился я с газовым баллоном?

— Специально не брал. Разве что покупал вместе с воблой и совмещал приятное с полезным.

Он встал и выглянул из окна:

— Ну и жара. К обеду все сорок напечет.

— Проводить тебя на вокзал?

— Нет. Я еще к Ролику зайду. Времени много.

— Ладно, мой телефон у тебя есть.

— Не думаю, что скоро позвоню. Поговорил с тобой — и настроение только ухудшилось, — улыбнулся отец.

Ильяс вышел с ним во двор и проводил до арки. В ее тени дышалось не намного легче, но глаза здесь отдыхали. Они обнялись и пошли в разные стороны. Через несколько шагов Ильяс обернулся. Там не было ни души.

Жара оплавилась воздух и выгнала с незатененных пыльных улиц всё живое. Отец огляделся по сторонам и снова постучал в ворота. Подождав еще немного, нетерпеливо затарабанил в окно, потом припал к нему лицом, пытаясь уловить хоть какое-то шевеление в доме, но уловил только собственный стук в груди, в которой, нехотя качая загуствовавшую кровь, натужно ходил поршень.

Он зашел к соседям и, отказавшись от обеда, попросил воды и разрешения позвонить. Жажда притупилась через три стакана, а гудки не заканчивались ни с пятой, ни с шестой попытки.

Раздетый по пояс Хамид с мокрой майкой, намотанной на голову, поливал из шланга раскаленный двор. Отец примостился рядом на брезентовом стуле, наблюдая за прозрачной струей, которая, ударяясь в асфальтовые дорожки и смешиваясь с пылью, морщилась, будто от стыда, и в считанные секунды из луж превращалась в капли.

Из дома, пристроив к обтянутому ситцем заплывшему боку эмалированный таз с грудой белья, вышла его жена. Хамид дождался, пока она отойдет подальше, и отправил ей вслед ледяную струю, а она, вскрикнув от неожиданности, назвала его старым дураком и, рассмеявшись и пройдясь по веревке тряпкой, весело запела, развешивая белье.

— Ты соседей не видела? — крикнул ей Хамид. — Ролика с матерью?

— Нет! Кончай добро переводить! И так дышать нечем!

Отец позвонил еще несколько раз, потом умылся из шланга и пошел к Алке.

Уже с порога он понял, что и здесь не найдет никого и, посмотрев на часы, отмерил себе время до поезда, в которое еще может дожждаться сына, после чего прошел в маленькую квадратную комнату, сел в кресло и, обессилив от тягучей летней дремоты, крепко уснул.

Разметавшись под яблоней, спал и дурачок, не связывая свои цветные радостные видения с тем, что вот уже несколько дней он не слышал материнского голоса, как не видел и ее лица.

Он сам придумал для себя это место. Это было место, где он обретал гармонию. Он стремился туда из душных затхлых клетушек дома, комнат — да, во всех домах, где он никогда не бывал и где он никогда не будет, они назывались комнатами, и разницы в словах он не улавливал, — и не запах, с которым он свыкся, как свыкаются с застарелой болячкой, гнал его к этому дереву.

— А... эти? А это мои зверьки, — Алка натужно хохотнула.

Дурачок смотрел на Анечку и ждал от нее реакции. Анечка улыбалась в пол. Краешки губ он видел отчетливо — стоял близко, всегда готовый схватить ее за руку и убежать, если Алка пошлет вдогонку тапок.

— Зверьки у меня хорошие. Они дрессированные, — и потом, тише и строже, склонив голову до их детского роста: — А ну спрятались по клетушкам!

Нет, не запах гнал его к дереву. Дерево росло, а теперь уже жило само по себе, и дурачок знал: рядом с ним он тоже сам по себе. Рядом с ним так просто было чувствовать себя свободным: вертеть головой, захватывая четкий силуэт кроны на фоне ничейного неба, а то легонько прижимать бегущих по стволу муравьев, оставляя им силы для ухода вверх, и ничего не вспоминать при этом.

С домом все было иначе: они принадлежали друг другу, как и положено говорить, навеки. Только не по любви. Но в их паре дом был сильнее, значительнее, приспособленнее.

*Стоит в лесу тесовый дом — дом гнома, а в нем живет веселый гном — гном дома.* Какая-то женщина читала ему какое-то стихотворение в какой-то другой жизни, о которой он почти не помнил, а если вспоминал, то не узнавал в ней ни читающую Алку, ни говорящего мальчика.

Дом не пускал его внутрь просто так. Взамен он должен был смотреть, видеть и помнить все, что здесь происходит. И дурачок видел, помнил. Но не смотрел. Он научился делить пространство и людей в нем на две половины, отсекая для себя только нижнюю часть: без глаз, без ртов, без рук и без того, что они могли приносить или держать. Он смотрел только на ноги. Ноги у всех были одинаковые, и в памяти они не оставляли следов. Дурачок боялся нарушить свою линию и заступить за нее, увидев глаза. В глазах было слишком много слов и посланий, на которые ему было нечем ответить, и он скользил взглядом понизу, где безмолвно передвигались ноги, ступая мимо разрушенной мебели, мимо отошедших от стен плинтусов, мимо осевших дверей, мимо его детского воображения. Безмолвные ноги берегли его от вопроса: почему мы? — и разум его молчал.

Проснулся он от запаха дыма и не сразу сообразил, что произошло. На бегу уже, когда мчался к дому, вспомнил кастрюлю, в которой, случалось, кипятил инструменты. Нарочно представил, как выкипает вода, как плавится металл, как он стекает на пол и на полу уже становится огненной лужей.

На пороге он споткнулся и грохнулся. Он думал, что загорится сейчас же, но пол еще не был горячим, а кое-где от него шел приятный холодок.

В комнате, где он наблюдал за танцующей пылью, всюду полыхало. И тогда,

впервые за много лет, а может, и за всю свою жизнь, дурачок закричал во все горло и, закричав уже, не замолкал долго:

— А-а-а-аня! А-а-а-аня!

Горела пасть дракона. Горел покосившийся старый дом, который умер еще до большого огня, а попав в него, заплакал, как живой — крупными маслянистыми слезами несуразного своего рисунка.

Дурачок, как юла, оборачивался вокруг себя, не зная, куда бежать, и продолжал звать сестру. Потом замолчал на мгновение, испугавшись собственного голоса, и остановился как вкопанный. Ему казалось, что он стоит так долго, очень долго, и что теперь уже всё пропало, но вдруг услышал кашель и побежал на звук.

Аня сидела на кровати, терла глаза и, кажется, что-то бормотала — дурачок не разобрал. Он схватил ее обеими руками и выбежал из дома. Опомнился только у дерева, где аккуратно положил сестру на землю и сел рядом, прислонившись к стволу, а потом с облегчением закрыл глаза. Тело его горело, и в голове что-то разрывалось. Потом всё стихло, и он провалился.

Пожарные, которые много работали в тот темный год, озаряемый пламенем от плиток со спиралью, похожих на огненных змей, а потом уже и от газовых баллонов, рассованных по балконам, приехали быстро, но спасли отцу только тело — оно осталось почти нетронутым. И не было страшно специально обученным людям обмывать его и заворачивать в саван.

— Хорошая смерть, — вздыхали соседи, собирая разбросанные по земле ведра.

— Всё лучше, чем по болезни.

— Жалко-то как, — говорил Хамид и майкой отирал закопченное длинное лицо, украдкой стирая жгучие слезы. — Нехорошо, что такие старики, как я, хоронят таких молодых.

А жена, которая по женскому своему праву плакала громко и не таясь, толкала его в сухую вогнутую спину и обиженно, словно ребенок, топала ногой, называя его дураком, без которого ей ничего на свете не надо.

Аню же увезли врачи. От страха и удушения она закрыла свои неправильные глаза и не открывала их до самой больницы.

А дурачок всё бежал и бежал за машиной «скорой», не в силах крикнуть, что он ни в чем не виноват.

## 19

*Небо вот-вот начнет светлеть. Обессиленный мальчик закрывает глаза. Он видит отца, который молча сидит на диване. Видит мать с большим тортом в руках — она заходит в комнату и ставит его на пианино. Видит Руфину и Рубена, которые спят в соседней комнате, повернувшись спинами друг к другу.*

*Проходит мимо дядя Ильяс — он машет отцу и снимает с зеркал тряпки.*

*Дурачок возится с Анечкой на полу, а Эльдар открывает крышку пианино и ножиком отковыривает черные клавиши.*

*Утро.*

Саван плыл по комнате, поддерживаемый на вытянутых руках, как плыл бы по Нилу заснувший в ладье фараон. Толкнули стеклянные створки зала и, дав небольшой крен, саван поплыл в коридор.

С улицы врывалось лето и гомон маленьких птиц. Кружили над виноградником осы, а солнце высушивало ягоды прямо на весу.

И мальчик, стоявший в углу у стены, там, где черное в лаке пианино смыкается с колченогой тумбой-шкафом, закричал так громко, что надломились руки, и тело, остывшее в саване, но разогретое утренней жарой, уперлось в стену.

Он побежал сквозь толпу чужих мужчин и женщин и всё кричал, как будто звал отца, как будто никак не мог докричаться до него, и надо было крикнуть еще громче, чтобы отец проснулся, размотал свое спеленутое тело и бросился ему навстречу.

— Бедный ребенок...

— Да держите же его кто-нибудь!

— Где мать?!

— Позовите мать!

Кто-то хватал его за руки и тянул на себя, и мальчик дрался дико и яростно. Он прыгал и приседал и не давал схватить себя крепко.

Потом он плакал, как плакал бы всякий человек, большой или маленький, который отныне не знает, как ему жить дальше.

Он плакал жалобно, не таясь уже ни перед кем, утратив для себя и душную тесную комнату, и суетные лица, мелькающие в ней.

Он плакал от бессилия, что не дано человеку, со всей его мощью и превосходством природы над ангелами даже и зверьми, вернуть родную умершую душу. Как невозможно вернуть вчерашний, прожитый не по любви день.

Ильяс обхватил его за голову и с силой прижал к себе, вспомнив, как и сам он, забыв о себе таком, четыре года назад рыдал над умершей женой, не понимая еще, не веря, что завернутое в саван тело — это всего лишь тело, а больше не человек.

## 20

Алка бродила по дому с тупым отрешенным видом. Взгляд ее был сухим, как выжженная трава, а рот нервно кривился. Она открывала его нешироко и медленно, и дурачку казалось, что это рыба, которая научилась ходить.

Наконец она остановилась возле дивана, от которого остался один остов, и посмотрела на упавшую гардину. Потом молитвенно прижала костлявые руки к груди и угрожающе пошла на дурачка.

— Последнее, — прошептала она в потолок. — Всё сгорело. Всё. Понимаешь меня, дурачок недобитый? Сгорело всё!

Не моргая, он смотрел то в ее сухие глаза, то на грубые желтые кисти.

— Хотя раз вытащи свой поганый язык наружу и скажи только одно это короткое слово — всё!

Она вцепилась ему в ключицу и рванула за плечо:

— Говори, идиот недоделанный! Говори это слово! Всё!

И уже в диком бешенстве орала по буквам:

— В-с-ё!

Откуда ему, нелюбимому целым миром, было знать, что ни в каких бедах он не виноват? Он знал, чувствовал, что виноват. Виноват, что родился дурачком или стал дурачком — велика ли разница; виноват, что не обварился до смерти и до смерти не сгорел в пожаре.

Вырвавшись из Алкиных рук, он побежал по дороге, глядя далеко вперед, туда, где прыгал в неровных его скачках золотистый купол огромного круглого дома. Он являлся дурачку как мираж, выплывая громадой из нагретого жарой воздуха.



Окрашенный в голубой, Дворец сливался с небом, с его синевой.

Там, за этими стенами, — дурачок это знал точно, — веселились и бегали дети. Они рисовали картины, играли в шахматы и танцевали на гладком паркете. А дурачок видел одну и ту же грёзу. Про волшебника, исполняющего желания.

Он грезил, что, встретив его, попросит по желанию для всех. Для мамы, Ани, Руфины. Себе же определит тот круглый дом, чтобы, сидя на входе, распоряжаться ключами и в белой выстиранной рубашке открывать перед детьми большие светлые классы.

Он бежал еще долго, до тех пор, пока выросшие из ниоткуда деревья не спрятали от него золотистый купол, и тогда, задыхаясь от бега и жары, он вернулся назад и скрылся в комнате Ани. И пока думал про нее, Аня открыла глаза и, вспомнив о кукле, которая осталась в неглаженном платье, горько заплакала, так что строгая медсестра, заглянувшая в палату, подняла ее с постели и усадила на пол, где маленькие, одуревшие от больничных стен дети проводили свое заточение в игре.

Оставшись один, дурачок рыскал по дому до тех пор, пока в сваленной куче обугленного хлама не нашел почерневшие ножницы, хорошо помня их серебряный глянцеви́тый блеск.

И хоть поверить в это не согласится уже никто, а покупал он их, стоя перед глядевшей из-за прилавка суровой женщиной в полном одиночестве, уверенный в собственной правоте и гордый от совершаемого им поступка.

Он редко видел настоящие деньги. Смятые, замызганные, они мелькали в жилистых материнских руках, и эти руки, подрагивая, уносили их дальше от дома и возвращались обратно спокойными, с повисшими кистями. Быстро вырастали на столе прозрачные бутылки, или же появлялся тоненький резиновый жгут, размером в полтора узла повыше локтя.

Давно не тугой, с черными трещинками поперек своей окружности, жгут был сухой и изношенный — как этот дом, навалившийся на них дырявой прохудившейся крышей, как эта жизнь, зачем-то собравшая их всех в одну семью.

Прячась за диваном, дурачок мычал, как маленькое обиженное животное, понимающее всё, но ничего не умеющее сказать. Алка не смотрела в его сторону, она плотно смыкала веки и медленно отпускала узел.

Дурачку всегда казалось, что еще немного — и она умрет. Иногда он сидел без движения, боясь пошевелиться, иногда в один прыжок оказывался рядом с ней и что есть силы тормозил за ватные послушные плечи.

И все-таки в его прошлой жизни случилось такое, что именно он, а не Руфина или даже Алка, держал деньги на эти ножницы, робко ступая по кафельному полу забитого товарами магазина, в котором было столько всего, что он рассматривал витрины часами. И часы эти были лучшими в его жизни.

За мутными стеклами, сложенные друг на друга в измятой целлофановой упаковке, лежали разноцветные водяные пистолеты и пистолеты с крохотной корзинкой на манер баскетбольной, с вылетающими из нее шариками; и пистолеты черные, какие носили военные на картинках из книг; и длинные на рельсах поезда, внутри которых сидели счастливые пассажиры с детьми; и корабли, и солдатики, и танки, и большие пожарные машины, и целые зоопарки с вольерами и животными, названий которых он не знал.

Были еще куклы, и он останавливался даже возле них, потому что возле них собирались красивые причесанные девочки с бантами и ладошками, вложенными в материнские руки с накрашенными ногтями.

Были альбомы и яркие палитры красок, коробки с фломастерами и масляными карандашами, наклейки для футболок и новые совсем, не тронутые никем раскраски. И, насмотревшись на это богатство, но не насытившись им, дурачок проходил дальше и снова замирал перед витринами, где продавались блестящие стальные ножницы с пластмассовыми ручками и гребни, и расчески всевозможной величины, представляя, как он уносит это с собой, а мать, целуя его от радости, устраивает дома настоящую парикмахерскую.

Дурачок потянул ножницы за оплавленные черные кольца и попробовал их на своей футболке. Аккуратно разрезав ткань сбоку, он пристроил рядом еще надрез, а потом еще и еще, до тех пор пока ее края не превратились в бахрому. Он вспомнил, как, покупая эти ножницы, проверял их остроту на газете, взятой у продавщицы, а после ножниц долго выбирал расчески и гребни, и в конце уже разглядел клеенчатый фартук, рассудив, что одного его хватит надолго, до следующего такого похода.

Но следующего похода не было. И вскоре дурачок понял: не будет никогда, потому что мать отчего-то не порадовалась его покупкам, которые он вывалил перед ней на стол, готовый уже принимать поцелуи.

— Это че такое? — удивилась Алка. — Это зачем ты ему деньги дал?

И гость, сидевший в кресле, которого дурачок — ни секунды не сомневаясь в том, — принял за волшебника, потому что вместе с деньгами он вручил ему кулек с конфетами, только пожал плечами:

— Я думал, ты ему сказала.

Дурачок завертел головой между ними, подумав, что, наверное, ошибся с цветом фартука или с размерами гребней, и продолжал стоять посреди комнаты даже тогда, когда мать швыряла в него всё, что попадало ей под руку. Но когда Алка, выскочив из-за стола, схватила с плиты кастрюлю, в которой, наскაკивая друг на друга, кувыркались пельмени, он побежал — и тут же распластался по полу, споткнувшись о порог и со всего маху ударившись подбородком, так что даже не сразу почувствовал, как кипяток обварил ему ноги.

А гость, который был не волшебник, вызвал «скорую», перенес его на диван, назвал Алку ведьмой и больше никогда у них не появлялся.

И, потеряв за раз все шаткие молочные зубы, он уехал в больницу обыкновенным семилетним мальчиком с ожогами обеих ног, а вышел оттуда настоящим дурачком.

И дурачком теперь, стоя на табуретке, тихо позвал:

— Бог, ты слышишь меня?

Он не знал, как к Нему обращаться, и чувствовал стыд и неловкость. Ему и теперь казалось, что он смешон, но, подумав немного, сказал так:

— Бог, ты ведь не смеешься надо мной? Я знаю, ты добрый. Мне очень страшно. Но дядя Хамид говорит, что ты всё можешь. Помнишь, я просил у тебя тот круглый дворец? Я просил у волшебника. Но ты ведь и есть тот волшебник, который не пришел. Я знаю, что ты мог подарить его мне, но ты решил, зачем ему такой дурачок, как я. И теперь я прошу другое. Бог, сделай так, чтобы я умер не больно. Я знаю, ты можешь. Сделай так, пожалуйста.

Подумав так или сказав это вслух, дурачок улыбнулся. Прямо от окна тянулась тонкая струйка мерцающей пыли.

— Мама... — прошептал дурачок.

Струйка разбилась. И мерцание окутало его.

## 21

С матерью после кладбища Ролик не говорил, а она не говорила с ним.

Он не видел, как заходили Рубен и тетя Тома, как они заглянули в его комнату, и она схватила Рубена за руку и не дала ему заговорить с человеком, уткнувшимся в стену.

Не видел, как мать, просидев без движения несколько часов, с необыкновенной легкостью в теле встала к зеркалу и, простояв так еще полчаса, один за другим извлекала из подсобки огромные рыжие чемоданы.

Не видел Руфину, которая, спокойно войдя в горелый дом, выбежала из него с криком и бежала с тем криком до тех пор, пока не оказалась на другом конце города. Без слез и уже без голоса.

Не видел, как Алка, сидя в обугленной комнате, как будто в фойе преисподней, возле уснувшего сына, который снова казался обыкновенным мальчиком десяти лет с серьезным осмысленным лицом без намека на странную обезоруживающую улыбку и с меткой на шее, похожей на ту, что появлялась у Алки от тонкого жгута, закашлялась кровью и упала на пол, хватаясь остатками сознания за чей-то возглас:

— Проклятый дом!

Не видел, как недолго пролежала она в больнице, а если б и видел, то с трудом бы поверил, что мать по собственной воле ходила ее навещать.

Алка умирала недолго. В той светлой убогой палате, набитой людьми, отходившими в другой мир, пахло карболкой и безнадежностью.

Мать Ролика задержала дыхание и подошла к ее койке, стараясь не смотреть на плевательницы, расставленные здесь повсюду.

— Ну как ты? Нужно тебе что-нибудь?

— Уколоться, — без злобы зашепелявила Алка и торопливо прикрыла рот.

Мать отвернулась к окну:

— Что врачи говорят?

— Сдохну.

Алка надменно улыбнулась, обнажив порожные десны:

— Радуетесь?

— Пусть Аня поживет со мной. Я пришла из-за нее, — мать вздохнула и опустила глаза. — Что с ней будет? У вас кто-нибудь есть?

Алка молчала. Мать скользнула взглядом по полу, наткнулась на крышку с плевком и ощутила тошноту.

— А от меня ты чего хочешь?

— Она сказала, без твоего согласия не пойдет.

— Вот это номер! Вы слышали, дохляки? Дочь-то у меня правильная растет! Не забыла еще, кто ее на свет родил. Может, не совсем я пропала еще, а? Умираю ведь как собака! Да и черт со мной. Так мне и надо... Нет! Собаки и те умирают лучше. Она правда сказала, что не пойдет?

— Правда.

Алка схватила ее руку, приложила к своей щеке и с жаром поцеловала. Потом, будто опомнившись, оттолкнула от себя.

— Скажи мне, простит меня Бог за то, что я так жила? За детей моих? Простит?

И она повторила еще раз:

— Простит?

С соседней койки послышался недовольный стон:

— Господи, да уже простил... Всех нас простил. Этой болезнью и простил.

Ничего этого Ролик не видел, а видел сон, где в желтом дне, змеясь и петляя, уходила вперед дорога; он сидел рядом с человеком в машине, и все никак не мог рассмотреть его лицо, потому что боялся отпустить сцепление, и потому что человек сидел без лица, а вместо него — только блики солнца.

— Ты что-нибудь понимаешь в жизни? — спросила его Руфина. — Скажи, если ты понимаешь. Ты же читаешь свои книги. Хоть в чем-нибудь где-нибудь есть смысл?

Она пусто посмотрела вперед, сказав странные, непонятные Ролику слова: «Дурачок повесился», а потом добавила — «наш». И жалостливо дрогнули ее брови, а голос сорвался на хрип.

И Ролик не мог соединить осколки, которые плавали в его голове. Он не знал, за который из них можно ухватиться так, чтобы, рассматривая его и объясняя его для себя, не изрезаться в кровь.

Мертвый отец. Мертвый дом. Мертвый дурачок. Мертвый Ролик?

Нет, он живой. Не умер. От этой боли он живет во сто крат.

И потому, посмотрев на дерево через сетку, только и смог спросить:

— А как его звали по-настоящему?

— Максим.

Нечего было сказать друг другу. Свою ночь Ролик уже пережил. И как не принимал он от других утешения, так и сам не знал, как утишить чужую боль.

Вернувшись из больницы, мать подошла к Ролику, развернула его к себе и, плача, не то спросила, не то сказала:

— Поедем отсюда тоже.

Тогда он посмотрел на скорпионов, на стулья, которые никто не догадался разлучить, и они по-прежнему стояли так, будто бы ждали человека в саване, и, быстро кивнув, обнял мать.

## 22

Ролику было жалко времени на сборы. Во дворе бетонной многоэтажки его ждал Рубен. Но помогать матери было некому, и он укладывал в коробки их общее старье.

Теперь уже был вечер, и на темном июльском небе начинали поблескивать звезды.

Ролик подошел к давно заржавевшей детской горке. Раньше они использовали ее как наблюдательный пункт и место встречи. Подошедший первым взбирался наверх и ждал другого.

Сегодня первым пришел Рубен. Его большие маслянистые глаза сливались с чернотой воздуха. Рубен знал это и был этому рад. Он боялся заплакать.

Молчали.

Ролик долго и внимательно смотрел на него, стараясь запомнить. Знал, что теперь не скоро увидит. О том, что не увидит никогда, не думал. Так он думал только про отца.

В желтом окне, прямо на уровне горки, показалась голова тети Тома. Она одобритительно клюнула носом, будто смирившись наконец с мыслью о переезде, который с этим прощанием обрел неизбежность. Уже закрывая окно, она оглядела их маленький темный двор и облегченно выдохнула, словно прощала себя за то, что было в их с Рубеном прошлой — теперь уже прошлой — жизни, и за то, что еще будет в новой.

Ролик забрался наверх к Рубену. Они сидели бок о бок перед исписанной бетонной стеной, глядя в нее, как в кинескоп.

— Рэп — это кал, — прочитал Ролик.

— Рок — это кул, — прочитал Рубен. — А что? Может, мне заняться гитарой?

— Будешь рокером, как «ДДТ»?

— Или как «Наутилус»!

— Или как Цой!

Не сговариваясь, они обнялись и запели, раскачиваясь из стороны в сторону:

— В небе над нами горит звезда-а, некому, кроме нее, нам помочь. В темную-темную-темную-у. Но-о-о-очь.

— Ролик.

— Что?

— Как ты думаешь, когда мы умрем, мы встретим там Ваньку Шатова?

— Не знаю. Да, наверное.

— Значит, я и родителей своих увижу?

— Наверное, увидишь.

— Бабушка говорит, я в детстве много плакал по ним. А я не помню. Я и сейчас не хочу плакать. Может, я их не люблю?

— Просто ты их забыл.

— А как я их найду? Я же никогда их не видел.

— У тебя фотография есть?

— Конечно.

— Возьми с собой и там опознаешь.

— С Ванькой тоже беда.

— Почему?

— Я подумал, если мы умрем старыми, то не сможем с ним дружить. Он же так и останется шестиклассником. Он же как внук нам будет.

Рубен был уникальный еврей — это Ролик давно про него понял.

От матери он слышал, что все евреи умные и учатся хорошо. Но Рубен еле-еле научился читать к третьему классу.

На уроке чтения училка считала, сколько слов каждый из них читает в минуту. Надо было сто двадцать — как отличница Ира Коробейникова, но Рубен кое-как прочитывал тридцать, и к концу испытания был мокрый, как загнанная лошадь.

Надежда Васильевна, по фамилии Цапко, подперев подбородок рукой и стуча ногтем по циферблату лежащих на столе часов, так и сказала: мол, Пинхасов, ты не мальчик, ты лошадь. И никак этот вывод не пояснила.

Рубен был троечник и плохо читал, но он умел думать, и ему нужно было понимать всё, что он считал важным. Тогда он насупился и спросил Ролика:

— Почему она назвала меня лошастью? При чем тут лошадь?

— Наверное, потому что лошади не умеют читать.

— Много кто не умеет читать, почему именно лошадь?

Ролик вдруг вспомнил это и рассмеялся:

— Я знаю, почему Цыпа назвала тебя лошастью. Это физрук. Я как-то видел их в парке, они гуляли под ручку. Представляю, о чем они говорили. Она ему: «Уважаемый Сан Саныч, вы знаете, почему я такая грустная? В моем классе учится ужасный троечник, он совсем не умеет читать. Его фамилия Пинхасов». А он ей: «Дорогая Надежда Васильевна! Вы знаете, почему я такой радостный? В моем классе учится настоящий спортсмен. Ему нет равных на стометровке. Его фамилия Пинхасов».

Рубену понравился такой анекдот, и он улыбнулся, но улыбка быстро сошла, задержавшись только в уголках губ. Глаза его стали печальны, и Ролик понял, что теперь не надо смотреть на него.

Он оттолкнулся руками от площадки и прыгнул вниз.

Рубен сухо и быстро спросил:

— А там что будет? Там что у меня будет?

Он хотел унять дрожь в голосе. Но дрожь всё равно осталась. И Ролик слышал ее.

На следующий день они сидели в гостиной проданной уже квартиры. Ветер трепал голубые занавески, и тетя Тома смотрела на них, не отрываясь.

Ждали новых хозяев.

Рубен спросил:

— Бабушка, тебе нехорошо?

— Мне хорошо, Рубенчик. Просто я женщина, и мне положено плакать. Тем паче в такие минуты.

— Ты сильная. Ты никогда не плачешь.

— Деточка, это не сила. Это такое воспитание. К тому же только цыгане никогда не плачут, уезжая. А я плакала по всем местам, которые мне приходилось покидать.

— Тогда поплачь. Только не забудь про автобус.

— Какой автобус, деточка? В свой последний день на своей последней родине я возьму такси.

На белой «Волге», проваливаясь в затертый велюр, они ковыряли оголившийся поролон и на резких поворотах стукались друг о друга, роняя пакеты и сумки, сложенные между ними.

Тетя Тома сидела впереди и вздыхала тем громче, чем быстрее они удалялись от их многоэтажки.

И таксист, посмотрев в зеркало на заднее сиденье, спросил:

— Далеко едете?

А тетя Тома, подсакивая на ямах, только и протянула:

— Ох...

Когда проезжали школу, вздохнул уже Рубен. Потом завертел ручкой на двери и высунулся из окна.

Под ивой, на постаменте, сбоку от центрального входа, где фотограф по давней традиции лепил из школьников нехитрую композицию: нижние вполоборота, верхние — на длинной деревянной ступеньке, и где под шумным майским дождем Рубен воображал себя в бордовом пиджаке в новом богатом веке, не хватало бюста Кирова. И нового символа ждала обезглавленная колонна.

На вокзале он протянул Ролику конверт:

— Это тебе. Прочитаешь, когда я уеду.

Они пожали друг другу руки.

— Рубен, занеси мою сумку.

— Ну, бабушка...

— Успеешь попрощаться. У меня спина болит.

Гремели мимо тележки с багажом, орали без умолку красные от солнца носильщики, требуя освободить дорогу.

Тетя Тома, обмахиваясь билетами и сощулив выпуклые глаза, наклонилась к Ролику:

— А все-таки, куда вы дели скрипку? Рубенчик говорит — это он ее потерял, но я ему не верю. Во-первых, он прекрасно меня знает, — она потрясла указательным пальцем у лица, — а во-вторых, он слишком хорошо воспитан. Я воспитала в нем уважение к вещам и некоторым духовным ценностям. Ромочка, это ведь ты ее профукал?

— Это я ее профукал.

— Я так и знала! Слава Богу за мою интуицию.

— Простите.

— Да ладно. Дело прошлое.

— А что, она правда такая древняя? Рубен говорил — реликвия.

— Я тебя попрошу. Ну какая-то такая реликвия? Я купила ее в Ташкенте у какого-то доходяги из комиссионки. Ну, лет десять она лежала, пока он родился и вырос и начал на ней играть.

— И она не стоила кучу денег?!

— Рубль пятьдесят.

Поезд дал гудок. Проводница бросила поправлять рубашку и хотела было открыть рот, но тетя Тома, пыхтя, как списанный паровоз, уже вскарабкалась на подножку, заполнив собою весь проход.

Из-за спины ее вылетел Рубен.

— Куда?! Поздно! — проводница оттеснила его назад, и Ролик услышал только, как он отчаянно заспорил с бабушкой, и как бабушка, не в силах развернуться, откинула голову и что есть мочи крикнула на весь еще не опустевший перрон:

— Но ты меня не выдавай!

Поезд медленно уходил на закат. И медленно шел за ним Ролик и махал наугад. На случай, если Рубен видит его.

И на мгновение показалось даже, что промелькнула чья-то кудрявая черная голова. И тогда он замахал обеими руками.

На скамейке под большими часами он разорвал конверт.

Торговка, сидевшая рядом на маленьком складном стуле, выбрала из груды яблок, что покраснее, протерла его передником и молча протянула ему.

*«Привет, Ролик! Я подумал, что когда уеду, ты останешься без друга, поэтому я завещаю тебе Сейдуллаева. Голова у него как компьютер, а по себе я знаю, что дружить надо с умными. С Фомой можешь тоже дружить, он отлично играет в футбол и он хороший человек.*

*Запаятым и прочему не удивляйся. Здесь колдовала всевидящая Тамара.*

*Когда ты увидишь растекшиеся буквы, знай, что это не слезы. Это бабушкины духи. Я побрызгал ими письмо, чтоб тебе остался от нас приятный запах, как это делают в кино. Но пожалел, потому что запах оказался так себе и даже ужасный. А духарить надо было до того, как я написал, потому что тогда не растеклись бы буквы и никто бы не подумал, что я сидел и плакал.*

*И еще я подумал, что теперь хорошо знаю, что такое счастье. Помнишь, мы устраивали опрос? Я понял, что счастье — это то, по чему ты всегда будешь скучать, когда это потеряешь.*

*Твой лучший друг, журналист, ресторатор, скрипач,  
который уехал неизвестно куда от своего счастья  
и который хочет найти его снова, Пинхасов Рубен».*

## 23

Руфина смотрела на него, но не узнавала. Ролик понял это по ее зрачкам.

— Это ты, что ли, пса ищешь?

Она сидела на корточках и, глядя вверх, шурилась от солнца. Короткие красные пальцы шелкали черными скорлупками, высвобождая из них семечку.

— Ну...

— Нашелся, короче. Там он, в кустах.

Она устало кивнула головой в сторону шиповника.

— Только это... — она положила семечку в рот и похлопала ладонями друг о дружку. Шелуха прилипла к запотевшей коже, и Руфина подцепила ее ногтем. — Он там не целиком. Башка только.

— Как — только башка? — опешил Ролик. И оттого еще опешил, что повторил за ней это слово и услышал, как глупо оно прозвучало.

— Так... Башка, — с паузой ответила она и закрыла глаза. — Башка же, это, несъедобная вроде.

Ролик смотрел на нее так, как смотрят на что-то поразительное, обескураживающее. Она не чувствовала на себе его взгляда, ей было все равно. Солнце нещадно жгло лицо и оголенные руки, и семечка, прилипшая к строгим сомкнутым губам, исходила маслом.

Ему захотелось грубо, наотмашь толкнуть ее на землю, чтобы она слетела со своих идиотских корточек, и закричать в тот самый момент, когда она больно ударится затылком о каменистую твердь: «Башка у тебя! А у него — голова!»

И может, тогда ее глаза откроются, удивятся, она оживет, и солнце перестанет жечь ее кожу, и семечка отвалится с губ.

И вот он уже сделал шаг и вытянул руки, но оставил их торчать в горячем сухом воздухе. Потом развернул их ладонями к себе и закрыл лицо.

Под горячими ладонями оно пылало, как сковородка, и возвращало рукам их собственный жар.

Голос внутри всё так же кричал: «Дура!», но не из-за башки, не из-за собаки, которую ему подарил отец и которая теперь валялась тут же. Точнее, та ее часть, в которой все и заключено, — вся суть собачьего существа. Преданный собачий взгляд.

И вот она, собака, — последняя бывшая при нем живая связь с отцом, грубо, жестоко оборванная кем-то, валяется здесь. А она так просто — не со зла и не по добру — говорит про башку, которая несъедобна.

Но кричит он ей: «Дура!» — не потому. Не потому переворачивается его нутро. Он кричит так, потому что она скользнула по нему мимоходом. Как по прохожему. И глаза притом — мертвые, стеклянные, какие, наверное, теперь у Метиса.

Руфина медленно раскачивается на корточках, скрестив на коленях руки. Острые коленки и локотки выдаются синяками, и блеклый цветастый подол елозит в пыли.

Голова ее слегка откинута назад, будто ей хорошо. Будто она специально подставила лицо солнцу, чтобы накалялись соки и множились веснушки.

Мутные, заболоченные глаза ее закрыты наглухо. И никакая мысль не живет под тонкими нежными веками. И никакая жилка не пульсирует. И не дрожат ресницы, спаленные солнцем.

В душе он называл ее «вторым человеком после отца» и сам стыдился этой мысли, потому что это место должно принадлежать матери. А по совести, которую вкладывали в него говорящие рты: и отец, и Руфина, и всё, что есть живого и неживого на свете, идут в очередности после матери. А она владеет сердцем и умом сына, как королева-матка владеет ульем.

Он потянул ее на себя, и Руфина, качнувшись, как маятник, и освободив согнутые колени, нашла точку опоры в его плече.

Осторожно, чтобы не уронить ее на землю, он протянул руку к какому-то кусту, отломил от него зеленую пышную ветку и прикрыл ей голову.

Он думал о том, как хорошо они сидят — спиной к шиповнику — и им не надо видеть одинокой Метисовой головы, и тихо говорил кому-то «спасибо» — за то, что



жара, а он не чувствует никакого запаха, и больше всего боится вспомнить, как пахнет формалин.

Он с силой зажмурил глаза и представил себе море, которого никогда не видел. И море выходило у него плохое — темное и пенистое.

Тогда он представил себе речку — тихую и гладкую, как стекло. Настоящую и невыдуманную. Ту самую, куда отец водил его на рыбалку.

На эту речку он спустил лодку. А в лодке плыли — отец, Руфина, он и Метис. И мама стояла на берегу.

## 24

В душном мареве завертелись последние дни перед отъездом. Вертелась по дому и мать, то закрывая, то открывая чемоданы, то делая на сумках пометки, в каких из них книги, в каких стекло.

И Ролик, переступая через разбросанные повсюду предметы на свободные островки пола, насили мог выдерживать этот погром.

Вечера он просиживал возле сетки, прислушиваясь к каждому звуку, и всё смотрел на большое дерево соседнего участка и на дорожку, ведущую в пасть дракона.

Мать неслышно подходила сзади, звала ужинать и говорила, что ждет он напрасно, потому что в такой разрухе жить невозможно и что туда уже никто не вернется.

И как сейчас он слышал голос Руфины, которая бросила и художку, и школу, и была за индейцев, а не за белых, и измеряла счастье двадцатками, и собиралась умереть первой, и говорила, что уезжать куда-то нет никакого смысла, потому что на глобусе только два цвета. И грозилась поубивать всех топором. И плакала так, что Ролик никогда бы не поверил в этот топор:

*И главное, очень быстро: одна ночь — и всё другое. Я давно думаю: вот бы и нам так... Раз — и мы другие.*

Ролик отодвинул тарелку.

— Ну? Что ты молчишь? Ты же хотел в Алма-Ату? А хочешь, купим собаку? Ты же хотел завести собаку?

— По-моему, мы опоздали на каких-нибудь тридцать дней.

Она недоверчиво посмотрела на него:

— Ты разговариваешь, как старик.

Вечером, когда мать вязала в кресле под тихий рокот телевизора, Ролик спросил ее, старятся ли люди на том свете.

— Почему ты спрашиваешь? — удивилась она.

— Я подумал, что если умру старым, *как* я буду сыном отца, который умер молодым?

Иногда по утрам, до большой жары, Ролик ходил к школе, а оттуда — к дому Рубена. Стоял и рассматривал его со стороны дороги, но во двор ни разу не заходил. Он и так знал, что рэп — это кал, а рок — это кул, только это теперь не имело никакого значения.

И, выйдя однажды из дома, встретил Эльдара. А тот — пришибленный какой-то и словно уже не живой — подошел к нему сам и сам же тихо проговорил:

— Знаешь... Обманул я тебя. Никуда он не убежал.

Шиповник колыбался от горячего ветерка. И небо уже налилось синевой.

Эльдар посмотрел вверх и так застыл на несколько минут. Эта синева завораживала его и, глядя на нее, он не видел уже ни того, что было с ним вчера, ни того, что будет с ним завтра. Он вдруг отчетливо и живо понял: эта синева —

последнее, что с ним случится. Уже случилось. Глаза его расширились, он слушал, что происходит внутри него. Хотел уловить какие-то мысли, голоса. Но внутри ничего не было.

Тогда он сел посреди тропинки, широко раскинув ноги, и руки его бесцельно и ненужно уперлись в пыльную землю.

— Это мы его съели. Потому что жрать очень хотелось. Сволочь я?

— Не знаю, — сказал Ролик. — Теперь уже все равно.

И пошел прочь.

Когда дорога сворачивала за угол, он обернулся. Эльдар так и сидел в своей странной, бессмысленной позе, а руки его так и упирались в пыльную землю, как будто бы в ней и была его последняя опора.

В ночь перед отъездом Ролик не ложился, и утром, когда мать зашла в его комнату, он сидел на заправленной кровати с банкой скорпионов в руках.

Она спросила его:

— Надеюсь, ты не повезешь эту бандуру?

А потом сказала еще:

— Иди. Соседка твоя приехала.

И, выйдя в нетерпеливом возбуждении из дома, он увидел белую газель с опущенным бортом и пустой кузов, где черный от солнца грузчик-узбек огрызком от веника выметал мусор.

Ему хотелось бежать, но бежать он не мог. Собственные ноги казались ему ватными, а тело — мешком с гвоздями.

И он сказал себе: *стоит... Иди как ни в чем.*

— Уезжаешь? А я остаюсь.

Руфина натянуто улыбнулась и тронула крышку:

— Это что?

— Противоядие.

— Скорпионы в масле?

— Да. Возьми, — он протянул ей банку.

— На фига они мне? Скорпионы в масле.

— Пригодятся. Вдруг укусят.

— Меня?

Она рассмеялась, но банку взяла. И звучно шелкнула по ней пальцем.

Потом взболтала масло, и желтые скорпионы несколько раз бултыхнулись внутри.

— Ремонт буду делать. Тетка ко мне переезжает. Дом хоть и развалина, а всё же имущество. Так что не круглая я сирота. Понял? А без тетки никак. Я бы нашла куда податься, но Аньку в детдом заберут, и кончится наша семья.

Руфина повернула коротко стриженную голову в сторону их обгорелого дома, будто размышляя, с чего начинать ремонт. Ролик разглядывал ее задумчивый профиль, и эта задумчивость подходила ей гораздо больше улыбки. Но, тяготясь глубокими размышлениями, она быстро повернулась к нему и, тряхнув пшеничной головой, весело и с вызовом подмигнула. А потом, глядя наверх на окаменевшие белые облака, сказала:

— Всё будет хорошо. Да?

Сергей Золотарёв

## Стрекоза и глассада

\* \* \*

вода протекает с голоса  
записывает поток  
сознания пухнет с голода  
и делает свой глоток

а ты вызываешь слесаря  
желаешь сменить бачок  
увидеть как жизни следующей  
затянется родничок

но скажет тебе протекшая  
сквозь толщу времён вода  
простите меня простейшие  
простёртые в никуда

\* \* \*

а проснулся утром ранним  
в наступающем былом  
ощущая тело — рамным  
выставляемым стеклом

осознал запасный выход  
из корёжащихся тел:  
крылья глаз раскрыл и видел  
так как если бы летел

\* \* \*

по переулкам из саманного  
необжитого кирпича  
летит колечко безымянного  
пересечённого луча

и дождь стремится стать для армии  
её болельщиков своим  
смешавшись с толпами фонарными  
тоской упившимися в дым

его метёт твоя фантазия  
и прерывание прямой  
возможно лишь при эвтаназии  
по просьбе линии самой

но если свет берут из пальчика  
то остальную бездну вод  
как нерадивого купальщика  
перевернули на живот

\* \* \*

коробка для мячей Ролан Гаррос  
в коробке банки по четыре штуки  
хранятся под давлением насос  
что их качал имеет те же руки  
что и ракетка выбившая дух  
из первых двух

мячи лежат по сути безымянны  
как имени живого семена  
покрытосемянных голосемянных  
их много а действительность одна

когда я на ладони мяч катаю  
когда подачу пробую зажать  
он надо мной имеет ту же власть  
что я над этим чудом из Китая

а быть поименованным в раю  
желает каждый оттого раздута  
до вечности сферической минута  
когда я их из банки достаю

\* \* \*

дождь идёт но не доходит  
до обещанной земли  
тормозят его на входе  
крутят капли из петли  
запрещённые к провозу  
обнаружив вещества  
и обратно «паровозом»  
выдыхается листва

\* \* \*

деревьев сломанные брички  
и запряжённая листва  
куда-то тянет по привычке  
земные соки вещества

ещё недавно птица-тройка  
казалось медленно плыла  
сквозь темноту мироустройства  
тряся небесные тела

а вишь гуляет распряжённой  
в осенней утренней глуши  
и все вокруг мужья и жёны  
и одиноких ни души

\* \* \*

пока человек идёт он не тонет  
но стоит остановиться  
и он различает лица  
как свет отложений донных

самолёт тяжелее воздуха  
корабль железистее воды

но держатся ибо гвоздики  
в подошве судьбы тверды

движение как моча  
бьёт человеку в голову  
но стоит ему замолчать  
как в рот заливают олово

\* \* \*

Этот текст об улитках,  
об их виноградной икре.  
Эдик выложил плитку  
у себя во дворе.  
И захлопнул калитку.

Как больной мочеточник,  
светит в доме ночник.  
Словно острые камни из почек  
лезут строчки из книг.

Ибо лучше — без света  
в волосах темноты.  
Лишь улиток кометы  
ледяные волочат хвосты

среди греческих мифов.  
Самиздат и самшит.  
Ты как золото скифов,  
что под лифом курганов лежит.

Как же быстро улитки  
по спирали уходят во тьму!  
Как же здорово липнут  
они ко всему!

Вспоминаются Липки.  
Регулярный, верлибры —  
ни душе, ни уму.

— Аня, Анечка, Аня —  
мама трогает лоб:  
— Где свеча зажиганья,  
погасить её чтоб?

А моллюски-то гермо-  
шлемы носят, назад заломив.  
Из улиточной фермы  
вырастает своя Суламифь.

Виноградное тело.  
Виноградное тело её  
носит Аня несмело  
через день, как своё.

А в другом мужиковском промозглом  
сером невиннограде наук  
Соломон — тот который безмозглый —  
в банке пива сидит, как паук.

Воспевает её в своих Песнях.  
Песнью Песней те песни зовёт.  
Пёсьи головы носит на чреслах  
и кошачьими мордами пьёт.

Но холодные слизи  
в своих мокрых телах  
утащили ту часть твоей жизни,  
что для раковин — чистый шеллак.

\* \* \*

в чисто поле ушёл горевать  
где уже как неделю  
одуванчик-кровать  
разложил себе вместо постели

там круглее углы  
и вселенная как на тарелке  
и жужжанье пчелы  
словно тиканье стрелки

а из базовых слов  
отложил на рассаду  
словно дедушка И.А.Крылов  
стрекозу и глиссаду

*Лидия Григорьева*

## Термитник new

*Роман в штрихах\**

### *Путь в Париж*

Военный переводчик Марат Сиразиев не любил тех, кому служил и кого обслуживал переводами со всех диалектов арабского на русский и французский. Элита, интеллигент, барский сынок с молодых ногтей, он хотел работать в Париже, в крайнем случае в ООН или ЮНЕСКО, а вот поди ж ты, влип, женившись не на дочке нужного человека, которую ему сватали, а на яркой красавице Ларисе, троечнице с факультета славянских языков, родом из казачьей станицы на Кубани. На их московской свадьбе шумная казацкая родня, все эти тети-дяди, братья-сестры, сватья и кумовья в подпитии шумным хором затянувшие «Розпрягайтэ, хлопцы, конэй!» — ввергли в шок истеблишмент дипкорпуса, коллег и сотоварищей отца и деда ослепшего от любви жениха. А вот когда молодые поехали к ее родне в станицу, было уже поздно пить боржоми. Лариса родила. И он оставил ее «баькам», чтобы помогли выходить якобы недоношенного семимесячного сына. Эти семь месяцев его и насторожили. Для недоношенного их младенец был слишком большим и здоровым. И сомнения в отцовстве изгрызли душу молодого дипломата. Дом в станице оказался приземистым и небольшим. Но рядом с ним уже поднялись под крышу стены нового дома, строящегося на валюту, заработанную Маратом в его первых зарубежных командировках. По двору важно ходили гусак с гусынями да петух с хохлатками.

Посмотрел Марат на это хозяйство из окна своего мерседеса, да и газанул до Краснодара, а там — до Москвы без оглядки. Только его и видели. Видели-видели потом в парткоме, уже на излете советской системы, где с него успели снять стружку за развод и в наказание отправили на службу в нищую арабскую страну, где жили не народы, а племена, тысячелетиями воюющие между собой. «Это же не люди, а зверьки! Они ничего не знают и не умеют — только убивать», — с тоской думал молодой

---

*Григорьева Лидия Николаевна* — поэт, эссеист и фотохудожник. Родилась в 1945 году на хуторе Лысый Новосветловского района (ныне село Лысое Краснодонского района Луганской области). Печаталась в журналах «Звезда», «Дружба народов», «Новый мир» и др. Автор многих поэтических книг и романов в стихах, в т.ч. «Небожитель» (2007), «Сновидение в саду» (2010), «Вечная тема» (2013), «Русская жена английского джентльмена» (2017). Живет в Лондоне.

\* Журнальный вариант

военный специалист и блестящий переводчик, совершая намаз в полуразрушенной мечети на окраине пустыни. Хотя где у пустыни окраина, а где начало, один только Бог знает.

Того, что он принял ислам, не знали даже родители. Не знали они и того, что он уже год как был в плену. Но не у этих полудиких племен, а в плену любви к дочери местного шейха. И пустыня его сердца заросла новыми цветами — в основном опийными маками. Вот и его самого словно опиум опои. После свадьбы шейх отправил их в Париж, где молодая жена должна была закончить магистратуру в Сорбонне и где ее отец подарил молодым совсем небольшой дворец рядом с Булонским лесом.

### *Кафе Concerto*

И она стала сниматься в дорогой подростковой рекламе магазина Burburian. Ну, это там, где все детские модели похожи на жертв взрослого насилия. Жертвы педофилов. Бледные. С черными кругами под глазами. Словно наркоманят потихоньку в результате пережитого стресса. Вот защитники ЗОЖ и вышли на Пикадилли с плакатами: «Долой Варваров!» «Защитим детей от взрослых!»

И Катин друг туда же! Чудик этот Джон. Зожист заядлый. Не пей это, не ешь то. Хорошо, что просто друг.

Сама по себе Катя была девочка здоровая и веселая. На хорошем счету в своем лондонском колледже искусств. А вот портфолио у нее состояло из кровавых ужастиков: друзья-приколисты охотно снимались в ее mini-movie. Понарошку убивали и расчленили, охотно падали, измазанные кровавым томатным соком, строили жуткие рожи и хохотали до упаду за кадром. На эти учебные съемки она и зарабатывала себе деньги вызывающей возмущение рекламой. И заняла первое место в конкурсе студенческих работ.

И тут же, как по маслу, ей позвонили и предложили встретиться со «взрослым» режиссером. Место она выбрала сама. В кафе CONCERTO на Риджен-стрит. Любила сладкое. А там самые-самые вкусные пирожные. Итальянцы, сэр! В самой Англии с этим напряженка. Исторически невкусные сладости. Хотя можно было милостиво назвать это своеобразием островного вкуса.

Дядька оказался совсем престарелый, явно за сорок. Модная лысина лоснилась, как лакированная. Очки-хамелеоны бликовали, реагируя на солнечный свет, и поэтому надежно закрывали глаза. И что еще поразило Катю — русский! Этого еще не хватало. И ладони протянул, как в доковидные времена. А они оказались влажные и липкие. И Катя, извинившись, сбегала вниз по лестнице в туалетную комнату, чтобы вымыть руки. По пути обдумала ситуацию, позвонила Джону и сказала, что ждет его. Срочно. Пока она бегала, забыла, как зовут ее интересанта. Отвыкла от русской привычки отягощать имя отчеством. Во! Абдулалиевич, вспомнила! А firstname как ветром из головы выдуло. Ну, ладно. Карточку даст, если по делу. А если просто так... дальше она испугалась даже думать...

Этот... вспомнила имя из русской сказки... Руслан... Абдулалиевич листал в планшете ее портфолио. А что там листать-то особенного. Не наработала еще. Но знала, что сумеет и сделает. Ну, если выживет и доживет. Вот и этот, как она четко поняла, вспомнив его вспотевшие ладони, лысый русский хамелеон, туда же. Сейчас в гостиницу позовет «договор подписывать».



«Твою маму зовут Лариса, да ведь? — неожиданно спросил дядька. — И тебе скоро шестнадцать, верно?» «Ну, вы еще скажите теперь, что вы мой папа!» — пошутила Катя. «Я оплачу твои проекты, — сказал этот странный взрослый. — И маме не говори, что мы виделись. А талант у тебя от меня», — добавил он и вышел, заплатив за дорожные, недоступные студентам пирожные, которые они потом с прибежавшим на выручку запыхавшимся Джоном с аппетитом съели. В полном молчании, следует отметить. Джон, как всегда, ни о чем ее не спросил. А обычно смешливая Катя словно бы не заметила, что он теперь ест вкусное и жирное, как все люди, а не как упертый жокист.

«Знаешь, Джон, — прервала вдруг молчание Катя, — а ведь мама у меня — гений! Это уже пятый мой папа...»

### *Псалмы могильщика*

«Могильщик пел вместе со мной. Он знал католическую службу. Он так обалдел от моего заупокойного пения, что заплакал. Думала, слезы у него от ветра, оказалось, что от молитв. Пела я и на латинском, и на нашем церковном. Униаты мы, у нас и то, и то в почете. Слышу, подпевает. Хотя ведь привык хоронить. А сердце не окаменело. Жаль, плохо английский знаю, не смогла с ним поговорить. Но общий язык мы нашли. Он и без слов понял все, когда я стопку водкой наполнила, накрыла кусочком хлеба и поставила на надгробие, как у нас в народе принято. Это не так, как у иудеев: камень нужно на могилку класть, — так мне в Иерусалиме сказали. У нас с языческих времен мертвых кормят, потому что не верят в смерть, наверное. Могильщик потом и выпил со мной, и пирожком закусил, не побрезговал, хоть и местный. Он ведь и не могильщик вовсе, по большому счету. Смотритель этого закрытого кладбища. Скучно ему тут, это я и без слов поняла. Когда пришла, номер могилы ему показала от руки написанный. Он и потащился за мной, прихрамывая, аж на самый дальний край. Тут и был похоронен мой Володя, старший сын. Его не просто машина сбила. Его сначала впечатало в стенку дома, а потом, вторым заходом, нанизало на железные штыри ограды полуподвальной квартиры, каких много в центре Лондона. Сама теперь это видела. Ходили мы туда, где мой сын искал работу, а нашел свою смерть. Женщина, немолодая уже, а туда же, за руль. Сказали, что она со стоянки возле английского храма вместо на газ нажать, включила заднюю передачу, и на огромной скорости задний ход дала. А он просто на тротуаре стоял, у заборчика этого со штырями, острыми, как копья. Сын с автобусом туристическим приехал да и остался в Лондоне нелегально. Тогда многие так делали. С Украины мы, из Мукачево. Никакой работы там давно уже не стало. Вот только сейчас, почти через десять лет, смогла добраться до него. Его тогда церковь английская похоронила, возле которой это случилось. А у меня ни паспорта зарубежного, ни денег. Но младший подрос. Поработал в Польше, теперь это свободно. Купил мне всё: и паспорт венгерский — дед у меня был венгр, и билет. И сам со мной поехал. Вот он идет. Ходил за цветами, чтоб посадить. Этот наш могильщик, что пел псалмы со мной, сказал ему, поливать их будет. Хорошо тут у вас. Кладбища зеленые, прибранные. Уходить не хочется...»

## *Пуанты*

Что нашли в кармане у арестованного? Кружевной носовой платок с инициалами убиенной. Она лежала тут же в комнате, на ковре, неловко подвернув ногу под себя в позе, которая показалась судмедэксперту анатомически невозможной. «Она балерина. Известная, — сказала соседка, вызванная в качестве понятой. — Да эти балетные и не так ноги за голову забросить могут!» — добавила неприязненно. Юноша, почти мальчик, не мог стоять, его шатало и трясло. И оперативники разрешили ему сесть. Он и сел — мимо стула. Подхватить не успели. Ударился затылком о край старинного резного комода и потерял сознание. «Кто это?» — спросили соседку. «Она говорила, что племянник. Он часто приходил. А в последние несколько дней, похоже, что и ночевал тут. Выходил рано утром, еще до зари, выгуливал ее собачку. И вот именно вчера утром он нечаянно уронил поводок, и эта балованная такса Клякса — так ее звали, сбегала от мальчишки. Зря вы его подозреваете. Он очень нежный. Знаете, он даже плакал, когда собачка убежала. Я в окно видела, рано встаю. То ли ее жалел, то ли себя, потому что Инга эта Воронина никого не любила, кроме таксы». Понятая подписала протокол осмотра и ушла. Судебный врач сунул мальчишке под нос нашатырь и привел в чувство этого нежного подозреваемого в убийстве с отягчающими. Бригада уехала. И труп, и преступника увезли. Дверь опечатали. Квартира словно оглохла от внезапной тишины. И могло показаться, что мебель и вещи облегченно вздохнули после пережитого шока. Потому что в тишине стали слышны вздохи, скрипы и даже чьи-то сдавленные рыдания. Со всей очевидностью заскрипели дверцы огромного старинного шкапа, и оттуда буквально вывалился довольно большой упитанный мужчина. Он с грохотом упал на голый паркет, ведь ковер увезли вместе с балериной и пятнами крови как главный вещдок.

Соседка снизу, та самая, что была понятой, услышав шум в опечатанной квартире, тут же позвонила участковому, благо он жил в том же доме. Печать на двери оказалась нетронутой, но из-за двери слышались странные, kloкочущие звуки. Это рыдал отец нежного мальчишки, обнимая пуанты Инги Ворониной. Он так и выпал с ними в обнимку. Да, убил, в страшном гневе, потом струсил и спрятался, когда услышал скрежет ключа в замке. И теперь он оплакивал и жалел и убитую им балерину-педофилку, и жалкого, глупого своего мальчишку, и самого себя — в первую очередь.

## *Полнолуние*

Искали. Искали. А найти так и не смогли. Все знали, что он любил ездить на рыбалку в дальнюю тихую заводь именно в полнолуние. Всегда один. Остановить его было невозможно. Да и некому. Большой начальник в военном ведомстве, он мог так распределить дела, так расставить по важным точкам ведомства преданных ему подчиненных, ждущих за верность повышения по службе, что в ночь полнолуния мог отключить спутниковую связь и исчезнуть с горизонта без особых последствий.

За ним стеной стояла военная династия: отец и братья — высший офицерский состав, если что. А что — «что»? То, что он с детства был полнолунным лунатиком, семья не просто скрывала от посторонних. Даже от жен! Не говоря уж о родне и

сослуживцах. Это был родственный заговор во имя продвижения семейного клана на высокие этажи госструктур.

Но даже семья не знала всей правды. Не знала, насколько все сложно и непредсказуемо в душевных глубинах их сына и брата. Настоящий «оборотень в погонах», — он видел себя в полнолунных видениях то матерым волком, то хитрым лисом, то зайцем русаком, за которым гонятся именно эти лисы и волки. То клыкастым диким вепрем, то гордым самцом-оленем в пору гона, забившим копытами соперника. Как потом оказалось, начальника соседнего отдела, на должность которого сам когда-то претендовал. Да так ведь и занял эту должность после внезапной смерти нестарого еще генерала, лоб которого на похоронах был покрыт широкой лентой с изречением из Писания, закрывшей глубокую вмятину во лбу, странно напоминающую по форме след копыта.

В ночь исчезновения полнолуние было особым: невероятная красная суперлуна. Такая бывает раз в столетие. Об этом астрономическом событии уже много дней истерически трюндели все мировые СМИ. Как ни прячься, а шило в мешке не утаишь. Запоздалый рыбак видел странное и списал потом это видение на паленую водку, купленную на станции Пузыри. Он видел, как высокий, совершенно обнаженный человек... шёл по воде! Огромная красная луна словно катилась перед ним, расстилая по озерной воде багровую ковровую дорожку, четко видную на ровной темной заводи реликтового озера, где по ночам ловились крупные шуки, жерехи и пудовые сомы! И случилось непоправимое: рыбак испуганно завопил, и голый, которому до другого берега оставалось рукой подать, вдруг словно оступился, развернулся всем телом, сделал шаг назад и внезапно провалился в черную водяную, безлунную бездну. И исчез навсегда с пьяных глаз единственного очевидца, которого никто никогда не нашел бы, не разболтай тот на весь лесной поселок о своем видении.

Об этой заводи на озере знал только младший брат лунатика. Но он в это время был в командировке в Сирии, в зоне боевых действий. Вернулся в Россию зимой. Стояли крещенские морозы. Озеро было покрыто льдом. И все же поисковая группа военных специалистов-разведчиков нашла кое-что в глубоком сугробе под заснеженными ивами.

Это был тщательно сложенный генеральский мундир и прочие личные вещи, совершенно задубевшие на морозе. Важная находка для сверхзасекреченного военного ведомства. Нашли там и записку: «Сегодня видел себя рыбой. Не распознал, какой именно, но большой и глубинной, это точно. Ну... я пошёл...»

Военные начальники с облегчением вздохнули: значит, не сбежал на Запад, значит, не выкрала его иностранная разведка. Утонул и ладно. Лишь бы секреты своего лунатического хождения по воде не продал и никому не выдал.

Но главное, что пьющего рыбака под это дело выпустили из психушки, где он долечивал свой хронический алкоголизм. Сочли его вполне здоровым.

## *Измена*

Что ж она даже сейчас, на расстоянии лет и зим, да и на реальном дальнестоянии в разных городах и даже странах боится поставить под его постом смайлик с воздушным поцелуем: а вдруг догадается, как он ей нравился когда-то, и как не заметил этого тогда. Всю ту давнюю, светлую, белую ночь она не спала в палатке, ворочаясь с непривычки в спальном мешке на каком-то многолюдном выездном музыкальном

фестивале, где почти все участники по молодости лет расселились в брезентовых палатках. Только организаторам хватило места в деревянных домиках автомобильного лесного кемпинга. Остальной народ как бы «рылом не вышел», да и привыкли студенты довольствоваться малым.

Он, конечно же, был из организаторов. Высок, статен, кудри до плеч. Не на много их всех старше, а уже доцент кафедры музыковедения. Но это если официально. А вне официоза он был едва ли не первым историком русского рока. Был вхож во все подвалы и кочегарки, бывшие для многих фанатов недоступными таинственными кумирнями, где рождались сводящие их с ума звуки и тексты! А вот он — Вячеслав Пожидаев — дружил почти со всеми этими полуподпольными молодежными кумирами. И даже прочел о них доклад на конференции, подумать только, в консерватории! Его даже вызвали после этого «куда надо» и тормознули защиту докторской.

Жанна знала, что с женой он недавно развелся. И влюбилась по уши! В женатого бы не смогла. Было для нее такое внутреннее табу — чужого ничего не брать, детей не сиротить.

А вся сложность ситуации заключалась в том, что Жанна на этом музыкальном съезде была не одна, а с Женькой Колокольцевым, в которого была тоже вполне себе влюблена. И сходила с ума от волнения и страсти, когда видела его на сцене с саксофоном или фаготом. У нее с ним уже давно были и страстные ночи, и размолвки, и даже драки под парами алкоголя с дальнейшими слезами любовного примирения. Короче, молодая и бешеная любовь. И вот теперь нежданно-негаданно ее раздирало на части стыдное и тайное чувство, неодолимая тяга к этому взрослому и чужому человеку. Стыдно теперь вспоминать, как она не пошла тогда на концерт Женькиной группы «Колокольня» под предлогом плохого самочувствия в критические дни, а тайком просочилась в кинозал кемпинга, чтобы послушать доклад Вячеслава Пожидаева о рок музыке «Не кочегары и не плотники». Всё бесполезно. Она была песчинкой в ведре с песком, то есть в битком набитом кинозале. Оставалось выделиться и задать ему умный вопрос. Но времени не хватило, встречу свернули, и она ринулась к сцене, чтобы задать вопрос напрямую, как тут же перехватила взгляд своего кумира, направленный на совсем юную первокурсницу в светлых кудряшках. И едва заметный кивок в ее сторону, дескать, жду на выходе, как договорились. Все было понятно без слов.

И ожог стыда Жанна запомнила на всю жизнь. Она показалась себе тяжеловесной и старой навязчивой «коровой» рядом с этим юным расцветающим бутонем. Девчужке едва ли было восемнадцать, а Жанна давно перешла двадцатилетний рубеж. Эту смешную для взрослых и пожилых разницу в годах в юности многие ощущают как предел своих возможностей. Вернулась она в палатку под проливным дождем, соврав Женьке, что все же постояла и даже попрыгала со всей толпой у них на концерте. Поздно пришла, места под навесом ей уже не хватило, вот и промокла вся до нитки. Он обнимал ее, целовал, согревал своим голым телом в спальном мешке. Но ей впервые было с ним ни хорошо, ни плохо. Она, к ужасу своему, ничего не чувствовала. И потом долго болела ангиной. И главное наказание, которое она понесла за свою, как она всерьез считала, измену, — у нее надолго пропал ее дивный голос. И ей пришлось уйти из консерватории.

В большую музыку ее все же со временем вернул конкурс вокалистов в Кардиффе, где когда-то взял первый приз сам Дмитрий Хворостовский. Старт ее был стремительным. Она легко взлетела на самую вершину оперного Олимпа. И вот теперь, не смешно ли, оперная дива Жанна Новгородцева робеет и смущается, когда

читает пространные посты профессора Пожидаева о ней же самой. В одном тексте он написал, что был в Милане и Зальцбурге на ее триумфальных выступлениях. Но не рискнул к ней подойти, чтобы лично выразить свой восторг и поклонение.

Как жаль, что они лично не знакомы!

И вот тут уже звездная дива, слегка улыбнувшись, поставила-таки кокетливый, победный смайлик под этим его, что греха таить, любовным признанием.

### *Долговременная огневая точка*

Она никогда не понимала, зачем люди гуляют. Ей казалось это пустой тратой времени. Одно дело куда-то идти: в школу, на работу, в музей, на концерт — да хоть куда, но с тем, чтобы там, куда идешь, было нечто нужное и важное для тебя. А еще лучше гулять пешком не одному или одной, а с подружкой, другом или компанией. В общем, просто так гулять она не умела. Да и не хотела, к тому же, предпочитая малоподвижный, созерцательный образ жизни, замешенный на увлечении восточной философией.

И вот сейчас здесь, в этой чужой стране, на отшибе жизни, где она нечаянно оказалась, ее одинокие прогулки стали еще более мучительными, потому что казались ей бессмысленными. Никто не принуждает, но не сидеть же дома в одиночестве, пока муж на работе. Гулять приходилось по узким «публичным дорожкам», петляющим между живыми изгородями частных лужаек, часто размером с футбольное поле, и белой лошадьей, маячившей вдаль, понуро скучающей в таком же, как и она, одиночестве. Окрестные леса тоже были частными владениями, и гулять по ним посторонним не рекомендовали яркие таблички, прикрепленные к оградительным бетонным столбикам. Развлечь себя во время такой прогулки совершенно нечем. В частные владения, где за высокими, красиво подстриженными живыми изгородями таились, как она знала, волшебные ландшафтные сады, вход посторонним не то чтобы был воспрещен, а опять же — не рекомендован советом народных депутатов этого южно-английского графства. Изредка вдоль дорожки виднелись странные, вросшие в землю, замшелые будки. Это, как ей сказал муж, были железобетонные доты времен Второй мировой войны. Здесь, на юге Англии, проходила вторая линия обороны, и на случай прорыва вражеской немецкой армии тут были врыты в землю и закамуфлированы растительностью эти многочисленные долговременные огневые точки. Но эта тема — уже мужская территория. Если еще учесть, что их сын и сейчас почти на передовой: ушел служить в советскую армию, оказался сейчас в российской, хотя никто еще толком не понял, что это такое. А она вот тут гуляет по английским публичным дорожкам от скуки и тоски, видите ли, от нечего делать заглядывая в пустующие, совсем не страшные доты. К удивлению, она не обнаружила там ни мусора, ни прочих следов человеческой жизнедеятельности. Никому и в голову не пришло сделать из этого исторического хлама туалет, к примеру. Вторая мировая для англичан — святыня, храм. Но зато в одном из дотов жила настоящая живая корова! Она даже глазам своим не поверила! Оказалось, что клочок общественной, отчужденной от собственников земли позволял хозяину выгуливать здесь это редкое для многих англичан животное. Тут давно забыли, откуда молоко берется. Последняя ферма в этом южном графстве закрылась много лет назад. А вот хозяин, похоже, был невидимкой. Она ни разу не встретила его. Вроде бы и не надо. Ан, не скажи...

Увидела его однажды на закате, как раз во время вечерней дойки. Ей почему-то с самого начала казалось, что хозяин — мужчина, но что он сам будет доить, ей и в голову прийти не могло. Он, ничуть не смущаясь, привстал с корточек, пропуская ее вперед на узкой дорожке. И его нежное мальчишеское: «Хеллоу! — Найс ту мит ю!» — вдруг пронзило ей сердце острой болью, и она словно очнулась от долгого, наколдованного кем-то сна. Этот парень был поразительно похож на ее сына, который сейчас, как она знала, ехал последним воинским эшелоном из Самарканда в Москву. Страна, в которой родился и вырос ее сын, на глазах стремительно разрушалась. Армия не то чтобы бежала с позором, просто офицеры, предчувствуя полный развал, вывозили семьи. А заодно и мебель, и все, что могли вместить воинские теплушки. Молодой лейтенант Борис Вахромеев с небольшой командой сопровождал этот эшелон, потому что на железных дорогах уже начались грабежи и беспорядки. Укол стыда за свое безбедное и беспечное существование вдали от родной земли был таким сильным, что она побледнела и пошатнулась. Нашла от чего грустить.

Это тебе не под пулями гулять, пригибаясь! Домой, домой! — колотилось сердце. В Москву, в Москву! Там и сына можно успеть встретить и накормить. И семьи офицерские с детьми разместить в своей большой московской квартире. А муж... Что муж? Не маленький. Обойдется и без нее, раз нашел тут для себя такую интересную работу. Вины его в этом нет. Но и ей не все равно, где и почему она должна приносить себя в жертву двум любимым мужчинам — мужу и сыну. Богу виднее, где мы нужнее! — как сказал ей однажды на исповеди один монах.

— Вам плохо? — спросил ее английский юноша с золотыми, как у сына, волосами.

— Нет. Мне уже хорошо. А корова у вас красивая — со звездой во лбу. У меня такая же была в детстве.

### *Чашка чая*

Он разбил любимую чашку. И его тут же разбил insult. Говорила же мама: никогда не мой посуду, для этого жена имеется. Но ему очень хотелось есть. Вышел на кухню, а там, как всегда, вся посуда грязная, чаю не попьешь. А жена спит и в ус не дует. В полном смысле. Потому что у нее давно появились темные усики над верхней губой, как у ее бабушки-ассирийки. Видел же, когда женился, ее родню. Думать надо было! А сейчас поздно. Язык во рту окаменел, позвать жену он не мог. Его резко качнуло, и он намеренно упал боком на гору посуды в раковине. Тарелки соскользнули на пол и загремели, но разбудили только любимую охотничью собаку. Она заскреблась в дверь кухни, а потом громко залаяла, чего с ней в доме никогда не бывало. На этот лай и приползла его тучная, заспанная жена и вызвала скорую.

Скорая приехала не скоро. После долгого лечения, он уехал в военный санаторий в Пятигорск. Там физиотерапевты научили его ходить заново и не ходить под себя. Дома он теперь мог вполне нормально держать в левой руке чашку с чаем. Правая осталась в норме. И хорошо, что речь не восстановилась. А то бы он высказал наконец-то жене все, что накопилось за многие годы. Напомнил бы, как не спал ночами, меняя мокрые пеленки сыновьям. А потом шел, усталый и сонный, дежурить на сутки в ракетный бункер, подвергая опасности весь, без преувеличения, подлунный мир.

Как в девяностые, имея за плечами два военно-технических образования, ездил на жалких «Жигулях» за товаром к ее ассирийской родне на юг России. И сам же

потом перепродавал в Лужниках. Это когда им зарплаты по три месяца не платили. Когда полк их расформировали и всех специалистов ракетчиков в отстойники нового капитализма отправили. И что бы жена сказала ему в ответ на это? Жалко, он только онемел, а не оглох и не ослеп. При чем тут Ельцин со своим Гайдаром? Многое от семьи зависит. Иная жена из его блестящего ума извлекла бы, без малого, академические дивиденды. И пусть бы у него теперь не было ни торговой фирмы, ни капитала на Кипре, который однажды чуть не обнулили кипрские же власти, а были бы генеральские погоны и творческие технические разработки в ракетной области.

Какая все-таки жалость, что думать и вспоминать после инсульта он не перестал. Жизнь его остановилась не сейчас, когда разбилась его любимая фарфоровая чашка, а тогда, когда женился не по любви, а из благородства — по залёту. Сыновья, конечно, красавцы. Но в мозгах одни монеты. Может, и неплохо это. «Мать прокормят, когда меня не станет», — подумал он и уронил на белый пушистый ковер большую небьющуюся чашку с чаем, купленную взамен прежней слишком уж экономной женой.

### *Из жизни троллей*

Оставшись без работы задолго до пандемии, Олег Садовников перешел на дистанционное обслуживание некоторых полуофициальных сайтов, устроившись работать там троллем по обслуживанию интересов заказчика в социальных сетях. Его компьютерный талант оценили и монетизировали невидимые виртуальные хозяева. И он за пару лет прилично заработал и вложил деньги в элитное жилье, ибо после развода с Полиной остался практически «без порток». Он знал, что помешательство его бывшей жены на здоровом образе жизни, агрессивное вегетарианство, отвратившее от нее нескольких мужей и возлюбленных, предполагает полное отсутствие интернета и спутниковой связи. Только простой кнопочный телефон без геолокации. Но где она сейчас, он мог легко догадаться: в их первой испанской квартирке на побережье Андалусии, отошедшей ей по суду. Ее страсть к бегу на марафонские дистанции по твердой песочной полосе бесконечного пляжа, что может быть привлекательнее для этого безумия под ужасной для слуха нормальных людей аббревиатурой ЗОЖ! И Олег с удовольствием создал в инстаграме, фейсбуке и телеграмм канале сразу несколько заказных ложных аккаунтов на имя Полины Градской. Все равно она его не увидит. А ему это нужно для работы. У него заказ. Потом, когда шум в сети поднимется, что Градская — «штучка гадская» — и пьет, и наркоманит, она уж точно никого не заманит в свои сети. Он догадывался, что анонимный заказ поступил от жены нового хахала Полины. Ну, значит, заслужила. Ему ли не знать.

И никому не надо знать, как он длительно и безуспешно лечился от импотенции после долгого, разорительного развода, пока случайно не встретил на своей же лестничной площадке рыжую Люсю, медсестру, работавшую сиделкой у соседа-писателя, которого полгода назад разбил инсульт. Люся возилась у соседской двери с большой связкой ключей, он вышел на шум, решил ей помочь. А в результате помогла ему она: полюбила, обогрела, накормила и вернула ему мужскую силу. Может, тестостероновые таблетки помогли, а может, просто любовь и забота с жареным мясом впридачу, ну очень вредным для здоровья, согласно, будь оно неладно, этому новомодному ЗОЖ.

И пусть эта его бывшая бегаёт теперь сколько хочет, пусть не ест ничего съедобного и морит голодом очередного сожителя. Ему хорошо и уютно с рыжей Люсей. А уж той-то как подфартило: переехала к любовнику, и клиент рядом, в соседней квартире, не нужно время на дорогу тратить, в подмосковных электричках трястись! Так что этот ужасный ЗОЖ и ей пошел на пользу: подарил заморыша, а на выходе очень даже ничего из себя мужичок получился. Вполне пригодный для улучшения демографической ситуации в стране. А тролль он или не тролль, главное, нас с ним теперь не тронь!

### *Пойми меня*

В перестройку, но еще до перестрелки, их вечерняя газета набрала невиданную популярность в городе, где жителей было давно уже больше миллиона. Газету выписывали, ее покупали. Журналисты вели смелые расследования и с дерзостью, невиданной доселе, разоблачали темные пятна сталинизма-коммунизма. А все потому, что незадолго до этого газетного бума к ним пришел новый молодой редактор. Как с луны свалился! Аня просто ослепла от его рубашек и правда ослепительной белизны. Одет был всегда с иголочки. Никаких тебе джинсов-самостроков, других тогда и не было, и растянутых свитеров, как на прочей журналистской братии. Только пиджаки, галстуки, брюки со стрелкой, идеальная обувь. Хоть на обложку модного журнала. До глянцевого тогда еще дело не дошло. Никаких «Плейбоев» на русском в киосках и в помине не было. Ну и влюбилась. И показалось, что впервые. Что с того, что давно была замужем за своей первой школьной любовью, и сын подрастал, скоро десять. Что толку... Оказалось, что любовный трепет, а скорее даже, горячка, обходила ее стороной все эти годы. Первое, что сделала, купила раскладной диван для мужа и отселила его на ночь в маленькую комнатку без окон: храпит, дескать, не дает ей выспаться. Старинные дома в центре города строились еще до первой мировой — с высокими потолками, черным ходом для кухарки и комнаткой для прислуги. Аня и родилась, и выросла в этой квартире. Отец, главный инженер номерного завода, смог получить служебное жилье, где и жил в одиночестве после смерти Аниной матери. И оставил им это родовое гнездо с веселыми словами: «Плодитесь и размножайтесь!» Размножаться Ане расхотелось после первых же ранних родов. Ее узкие бедра долго не выпускали в мир крупного младенца, он едва не задохнулся, родился с асфиксией, и потом заметно отставал от других детей в развитии. Родители мужа забрали малыша в свой старый бревенчатый дом в пригороде, да так и не захотели с ним расставаться. Получается, что все у Ани было хорошо аж с младых ногтей. Но, как оказалось, не было любви. У неё даже температура поднималась, жар бросался в голову, когда новый редактор вел утренние и вечерние летучки. И вокруг буквально все его обожали, горели перестроечным энтузиазмом и болели разоблачительным рвением. И муж Никита готов был дежурить по экстренным выпускам и день, и ночь. В каморку возвращаться ему не очень-то хотелось. Но «романтик завить» с молоденькими практикантками, смотрящими ему в рот, ведь он был признанное «золотое перо» вечерки, ему и в голову не приходило. Прикипел к своей Ане чуть не с первого класса. Да и работа накрыла его с головой. А его Аня чуть не умерла от нахлынувшего на нее восторга, когда узнала, что главный берет ее с собой в командировку на север области, где на большом химкомбинате рабочие выгнали директора и парторга и теперь выбирают «своего парня». Это было еще в новинку, огромную страну лихорадило,



но горячка распада еще не накрыла ее от края и до края. И вот ночью в гостинице ополоумевшая от гормональной атаки Аня пришла к нему в номер. День был трудным, комбинат бурлил, неостановимое производство было под угрозой полного коллапса. И Аня с редактором до седьмого пота опрашивали, записывали и посылали срочные телексы и факсы в редакцию. Вернулись почти в полночь. После душа Аня все же влезла в джинсы, натянула короткую футболочку и, не осознавая зачем и куда идет, без стука вошла в его номер. Как в полубреду или в тумане. Он только что вышел из ванной в полотенце, обернутом вокруг бедер, и был хорош собой, как греческий бог. Почти не удивился и сказал: «Ты все-таки очень похожа на мальчика. Но как мне жаль, что ты не мальчик... пойми меня правильно...»

«Пойми меня, пойми меня...» Эту фразу он повторял и потом в карете скорой помощи, когда отвозил потерявшую сознание Аню в местную больницу. Врачи констатировали невиданной скачок давления. И диву давались, как помолодели инсульты и инфаркты в эти непростые для всей страны времена.

### *Чемодан без ручки*

Любить — не баклуши бить. Это труд. И порою нелегкий. Ведь нужно уметь полюбить не только его, но и его родственников, а они тебе неприятны. Школьных и студенческих друзей, а они тебе безразличны. Его деревенское детство у бабушки с отцовской стороны, которая кормила его одной картошкой и довела до рахита. Оттого у него и голова большая для такого худощавого тела. Посочувствовать его первым любовным потрясениям во втором или третьем классе школы. Возненавидеть вместе с ним девушку, бросившую его на третьем курсе университета. Скрывая отвращение, переварить историю потери мальчишеской невинности с подружкой его матери, неопрятной дамой вечно навеселе. Однажды она застала его в душе, дома никого не было, а у нее был ключ от их квартиры, потому что она помогала вечно занятой матери по хозяйству. И весь этот тягостный и по сути ненужный тебе багаж, набитый раздражающей информацией, ты должна была тащить по жизни, как чемодан без ручки! Который и тяжело нести, и бросить жалко. Потому что взяла себе за труд его любить, голубоглазого болтуна, навязавшего тебе в родню всю эту свору неприятных и незнакомых доселе людей. А в конце жизни, когда родственники почти все умерли, а друзья давно зажили своей отдельной жизнью и наконец-то оставили вас в покое, как ни старалась, не смогла полюбить его внебрачных детей, которые как из под земли выросли, стоило ему скоропостижно скончаться. Чемодан без ручки и так уже был перегружен, и ты выронила его из рук. Но сама на ногах устояла. А любовь, длиною в целую жизнь, была безрадостная, но настоящая. По крайней мере с твоей стороны.

### *Сибирские пельмени*

А вот взять да и получить удовольствие от жизни! Но она всегда стеснялась любой удачи. Словно займы брала ее по бедности. И при этом оглядывалась — не надо ли кому кусок повкуснее отрезать. Сегодня после внезапной бурной зимней грозы, под которую неожиданно попала по дороге домой из центра Лондона в свой пригород в Орпингтоне, захотелось ей согреться сердцем от хорошей еды. Прожарила она в тостере кусочек черного рижского хлеба с тмином, слегка смазала его майонезом и

уложила горкой золотистые тушки, опять же рижских, шпротов. Открыла бутылочку молодого литовского белого пива. И начала радоваться. Радовалась еще и тому, что недавно по дороге со станции оверграунда открылся небольшой польский Sklep с продуктами, знакомыми ей с детства. Так и было написано на пластмассовом ведерке: огурцы квашенные бочковые. На русском! Порадовалась. И налила себе рассольник на индюшачьем бульоне. Гроза за окном утихла. Снега здесь и зимой не бывает. А вода быстро сливается в водостоки. И все равно кот вернулся домой мокрый. Скоро должен был вернуться и муж. В джипе крыша не протекает. Сухой придет. И все же она приготовила ему джин с тоником и бросила туда кусок льда.

Но время шло. Уже давно и второй кусочек льда растаял в стакане с джином, а Стивен не только не вернулся домой в свое обычное время, но и не позвонил.

Вот и вся радость, — подумала она, — ведь всё хорошее всегда наказуемо словно бы для равновесия с чем-то неизбежно плохим. Телефон потерял или украли, — утешала она себя. Машину опять не там припарковал, забрали на штрафную стоянку. Поехал на такси выручать, а это не ближний свет, у черта на куличках. А без телефонного пинкода не смог, наверное, оплатить. Такое уже было. Так что паниковать не было смысла. И звонок в дверь подтвердил это. Значит, не просто телефон, а портмоне украли, с карточками и ключами. Опять замки придется менять, подумала она, открывая дверь и еще не зная, что ее там ждёт.

«Извини, задержался. Пандемия помешала вовремя вылететь. Но я помню, что я тебе обещал тогда, в Новосибирске, когда ты сбежала от меня. Ну, теперь ты довольна? — сказал стоящий на пороге ее бывший русский муж. — Ты же хотела этого, правда? Я все сделал. Его никогда не найдут. Он больше нам не помешает. Ставь кипятиться воду. Наверняка у тебя в морозилке найдутся наши пельмени, которые твой Стив называл "белой гадостью". Я проголодался как зверь!»

## Подворье

А этот маленький лучше всех танцевал, выше всех подпрыгивал, громче всех топотал подковками на сапожках. Его за этот бурный и неуправляемый темперамент и держали в казачьем ансамбле, где почти все танцоры были статные и высокие парубки. Да и девушки-хористки были ростом не с вершок. Казалось бы, *что* маленькому тут светит? Может, он зря тут волчком на сцене вертится, хоуном ходит? Да и в гопаке казацком дольше и быстрее всех в присядку по сцене носится. Как невесомый!

А на авансцену, на поклоны после концерта, его не выпускали. Слишком разительным был контраст. Не хотели публику смешить. Типа: Пат и Паташон или Тарапунька и Штепсель, если кто помнит таких.

Обид за это он ни на кого не держал. Легкий был не только телом, но и нравом. И неожиданно для всех женился на первой красавице ансамбля певице Насте, почти на голову выше его. И что? Дети у них уродились один краше другого и быстро пошли в рост. Отца догнать не проблема, но сыновья, числом три, и мать переросли. Двое из них танцевали, а один запел. Танцоры рано выходят если не на пенсию, то в тираж. И ударило в голову нашему маленькому уехать жить на родину, в Терскую станицу. Там его брат старший жил, справлялся с огромным хозяйством, оставшимся от отца. Дети у них с Настей были уже взрослые, устроены неплохо — поют, танцуют. Родители им не нужны. А Настя его на беду все еще пела, хоть все реже солировала. И ни в какую. Поехал один. Да и сгинул.

Маленький, ловкий, легкий, как перо, он радостно летал по родному подворью, как по сцене, и не мог наглядеться на родню, не замечая, что брат с женой и сыны их, погодики смотрят на него без родственной приязни, как на чужого. И вот в первый же вечер после казацкого сытного и пьяного застолья наш танцор сказал брату, что приехал не в гости, а хочет вступить в права наследства, ведь отец умер не так давно, еще можно документы подать и получить то, что по праву обоим братьям и полагается. Спать пошел в овин, соскучился по запаху свежего сена, надоело сценическую пыль глотать! Зарылся с головой в стожок. Да и не проснулся. Говорили, что много выпил. Износился, дескать, когда по сцене носился, как скажённый. Да и не пил ведь никогда. А тут у брата самогонка своя, чистая, как слеза, туговая. Вот оно и стряслось. Летал, летал летун и приземлился. Повезло, что на родине, а не на гастролях в какой-нибудь Праге. Вот и ляжет теперь рядом с отцом. И подворье делить не придется.

## Голос

Наслаждайся моментом. Завтра может всё измениться. И даже зная это правило обыденной жизни, она не могла себя уговорить жить в свое удовольствие. Зато всегда доставляла удовольствие другим. Своим мужьям и любовникам — с отягчающими последствиями в виде аборт и выкидышей. Зрителям — своим голосом с неповторимым тембром. Родителям — своей известностью и подарками, привезенными с гастролей из разных стран. Сестре — деньгами то на машину, то на дачу под Выборгом. А себе — только опустошающую усталость после спектаклей в лучших оперных театрах мира. «Знаешь, — сказала она однажды сестре, всю жизнь проработавшей в паспортном столе, — ты мне не завидуй. Ведь я пою не голосом, а всем телом. Когда высокую ноту беру, чувствую, как матка наизнанку выворачивается! Такой голос — это наказание, а не подарок. Мучение, а не удовольствие. Но я обречена петь. Голос разрывает меня изнутри, когда не пою. Это он мною владеет, а не я им обладаю». Трудно поверить, но она с молодости ни разу не была на курорте. Не любила солнце и море, не умела плавать. Любила северные леса и грибную охоту, но давно жила в Европе, где всего этого не было. Знала ли она, что несчастна? Нет, конечно же. Понимала ли, что каторжанка, несущая на теле тяжелый сценический костюм, а на лице душную маску из грима? Ой, вряд ли. Вот сейчас она уснула в самолете по пути в Австралию на оперный фестиваль. И приснилось ей, что голос вылетел из нее голубым комочком и воспарил легким облачком над спящими пассажирами. А потом словно бы полетел впереди самолета да и растворился в небе. Внутри у нее стало как-то пусто и легко. Она даже рассмеялась во сне от радости.

Уже в гостинице она поняла, что это был не сон. Голос к ней не вернулся. А действительно улетел, исчез, испарился. Спектакль с ее участием перенесли. В клинике предложили операцию: на связках нашли узелки. А она поняла, что свободна. И может теперь, пока она тут, в Австралии, слетать на коралловые рифы. С детства мечтала. Там, говорят, есть такие коралловые отмели, где можно ходить по колену в воде, и волшебные рыбки сказочной красоты будут щекотать тебе кожу. Она теперь сможет наслаждаться! И наконец-то отдохнет. Потому что голос просто гостил в ее теле. А теперь освободил ее для жизни. А вот просто так — жить — она, как оказалось, не умела. И научить было некому. Не антерпренеру же, жадному греку, грабившему ее на записях и на контрактах с фирмой Sony.

И тут в дверь гостиничного номера постучали, и поставили к ее ногам корзину с цветами и запиской. Пётр! Да, Пётр. Ах, нет, Павел! Опять прилетел на ее спектакль из Сибири! Он повсюду за ней летал уже много лет. Нефтяные деньги позволяли. Он любил ее голос. А вот полюбит ли ее без этого голубого облака внутри...

И она написала ему в Wathsap. И назначила встречу на Больших коралловых рифах.

### *Сидите дома*

Они очень любили ездить, летать, путешествовать. Как лето, так муж в тайгу на охоту-рыбалку. Как зима — так она на Гоа.

Это будет короткая повесть. Они очень любили друг друга. И умерли в один день. Потому что муж в тайге подхватил однажды именно того самого — опасного — клеща, одного из миллионов. А к ней, блаженно балдеющей на океанском берегу, однажды внедрился под кожу неведомый насекомый зверь. И стал отравлять сначала организм, а потом и саму жизнь. Сколько ни рыли ей кожу врачи невидимыми лучами — не находили, отчего она слабеет. Кожа отслаивалась и свисала клочьями. И муж ничем не мог помочь, потому что лежал в энцефалитном параличе.

После их смерти взрослые дети решили их кремировать, чтобы избавить дом от заразы.

Но даже в небо они вознеслись вдвоем. Их дымы слились воедино.

---

*Юлия Кулешова*

## Два разных рассказа

### *Кость в горле*

Бич гёрлз. Она снова попросила меня купить эту жвачку с ужасными наклейками. Ну как попросила... Скорее, приказала — старшая сестра как-никак, на пять лет старше меня. Я — корявая семиклашка (выше всех девчонок в классе, но от этого не легче, а только хуже — коротышки зовут меня шваброй). Сестра же в этом году уже из школы выпускается, вся такая красивая, аккуратная, как и полагается старшей сестре на зависть мне. Золотисто-каштановая волна струится по плечам, ниспадая до самой поясницы. Длинные густые волосы она всегда носит распущенными — ей хватает на это смелости, плевать она хотела на то, что будут говорить учителя. Ей нет необходимости загорать — кожа у нее от природы смуглая, как у папы; и пока я летом стесняюсь своих бледных ног, сестра свободно щеголяет в коротких юбках и шортах.

Она велит мне купить жвачки и лучезарно улыбается, в точности копируя модных красоток из телевизора, с глянцевого страниц замусоленных журналов, засунутых за трубы в нашем туалете. И даже глаза сияют под стать этой голливудской улыбке.

Я старательно откладываю в копилку те немногие деньги, что дает мама на школьные обеды, отказываюсь от прожаренных пирожков, сочащихся маслом, и пустых булочек, а сестра... не знаю, что она делает со своими карманными доходами, но только они очень быстро заканчиваются — настолько быстро, что время от времени я слышу это:

— Юль, у тебя же деньги есть?

И, не дожидаясь ответа:

— Сходи, козинаки купи.

Или:

— Сходи, сладкую соломку купи.

На мое едва слышное, но упрямое «я коплю», неизменный вопрос:

— На что?

---

*Юлия Кулешова* — прозаик, журналист. Родилась в 1985 году в г. Фрунзе (ныне — Бишкек). Окончила факультет международной журналистики Кыргызско-Российского Славянского университета. Работает корреспондентом на телевидении. Живет в Бишкеке.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 9.

Ответа у меня нет. Просто от прабабушки мне в наследство досталась старая деревянная шкатулка, вся обклеенная перламутровыми ракушками и еще какой-то белой крошкой — ей, наверное, лет сто уже, не меньше, так мама говорит. Иногда казалось, что только ракушки и не дают шкатулке развалиться — стенки ее, выкрашенные изнутри в бордовый цвет, едва держатся на хлипких тонких гвоздиках. Но именно вот эта хрупкость и привлекала, и пугала. А вдруг завтра ее уже не станет? Вдруг ракушки отклеятся, гвоздики вылетят, стенки отвалятся, а сама шкатулка превратится в самый что ни на есть хлам? И пока этого не произошло, я тащила туда все, что могло представлять хоть какую-то ценность, ценность для меня: бусинки от маминых сломанных украшений, разноцветные стеклышки (у меня были даже синие — самые редкие, не то что всякие бутылочные зеленые или коричневые), пара дешевых колечек, купленных в парке развлечений, ну и деньги.

Каждую неделю мама давала мне двенадцать сомов на школьные обеды, я рассказывала ей, что покупаю на них то картофельное пюре с котлетой, то макароны с сосисками, то еще что-то, а мама удивлялась: «Надо же, как вас хорошо кормят. И всего за двенадцать сомов».

Правда была в том, что не было такого меню в школе: были только пирожки и булочки. Ну и чай, компот да мутное какао. И один пирожок стоил два сома пятьдесят тыйынов.

Я не хотела ни столовских «излишеств», ни маму расстраивать. Все равно больше давать она мне не могла, и я это каким-то чутьем понимала.

Денег дома всегда не хватало. Папа то таксовал, то сидел дома, потому что машина ломалась, а мама работала художником в центральном универмаге — украшала витрины, но платили за это не так чтобы много. Иногда и вовсе товарами расплачивались. Так у меня появились первые джинсы, у сестры — темно-зеленый, жутко стильный брючный костюм.

Сладкое почти не ели. Мимо прилавков с только появившимися сникерсами, марсами и твиксами я проходила, глотая слюну и мечтая хоть раз съесть такую шоколадку в одиночку, без никого, потому что дома, если и покупали, то делили на три части — мне, сестре и самую крохотную, символическую почти, маме. Папа мужественно говорил, что сладкое не ест.

И я продолжала копить деньги, разглаживать пальцами коричневые бумажки по сому и складывать их на бусинки и стеклышки под ракушками. Однако заполнить шкатулку доверху никак не получалось. Потому что...

— Юль? Сходи, купи жвачку. Нет, две. Ну, вон те. Ты знаешь. «Бич гёрлз». Жвачки можешь себе оставить, а наклейки мне.

И вот это было самое страшное. Для меня. Это как ходить покупать сигареты для папы и переживать, что продавцы подумают о тебе: «В каком классе она учится? Уже курит? Сейчас все школьницы курят? Куда смотрят учителя? А родители куда?»

Но лица их в такие моменты не выражали ничего. То ли дело, когда я приходила за жвачкой «Бич гёрлз» и протягивала дрожащими руками деньги, дико смущаясь, опустив голову настолько низко, что подбородок упирался в грудь. А продавцы словно специально склонялись ко мне, старались заглянуть в лицо, делая вид, что не расслышали. Хотя, может, так оно и было, и я все себе понапридумывала.

Получив проклятую жвачку, я мчалась домой, и казалось, что эти два квадрата, зажатые в кулаке, нещадно жгут ладонь. А дома сестра неспешно снимала коричневую обертку с изображенной на ней грудастой девушкой, отдавала мне жвачку и шла клеить вкладыши на внутреннюю сторону дверцы стола.

Линейка у нее уже вся была в них. Но дверца стола еще нет. Блондинки, брюнетки, рыжие, белокожие и смуглые — в три с половиной ряда девушки всех мастей, и все с одинаково томным взглядом, сверкающими белыми улыбками, совершенными формами и в одних трусиках на фоне раскидистых пальм, золотого песка и бирюзовых вод. Сказочно красивые, словно из какого-то фантастического мира, где нет ни забот, ни тусклых дождей и серых лиц, и где каждый хоть по несколько раз на день может неторопливо наслаждаться шоколадками в ярких обертках со снежно-белой, неправдоподобно вкусной начинкой.

Я не спрашивала, почему она любила именно такие наклейки. И так понятно, что раз клеит, значит нравится. Или дверца стола кажется слишком скучной, да и сам стол ничем особенным не выделяется. А так открываешь ее, и там все тебе призывно улыбаются, подмигивают игриво, ласково, будто ждали тебя и только тебя.

Но я стеснялась отвечать им, смотреть на них дольше, чем секунду — моргнула и отвернулась. Сестра посмеивалась, я злилась на нее больше и больше; глотая соленые слезы вперемешку со сладкими слюнями, мысленно обещала себе, что уж в следующий раз буду тверже, не стану покупать для нее эти жвачки на свои деньги.

Жвачки со вкусом шоколада. Обе мои. Хоть зажуйся. Но удовольствия никакого. Приторная резина.

Спустя неделю она снова попросила меня сходить за «Бич гёрлз». Я глянула из-под челки и засопела, не решаясь дать прямой отпор. Мама как раз дала на школьные обеды деньги, и я уже успела спрятать их в шкатулку.

— Ну что тебе стоит? Сходи, а? Мне чуть-чуть осталось, скоро всю дверцу заклею.

— Ага, как же, — буркнула я и уперлась взглядом в узоры на ковре: вот здесь цветы, а здесь острые пики, а вот проходят дороги, и перекрестки есть — по ним проезжал когда-то фургончик с зайцем, вдоль выстраивались дома из кубиков, рождался разноцветный мир хаотичной азбуки, когда мы играли с сестрой. Давно. А сейчас ничего. Пусто. Просто ковер и ковер, чтобы ногам не холодно было. Пол, опять же, меньше мыть надо — только пройтись тряпкой по голубым рекам линолеума, что окружают ковер.

И чем дольше сестра молчала за своим столом, тем больше я уплывала в воспоминания, позабыв и о книге в руках.

— Ну так что? Сходишь или нет?

Я отрицательно мотнула головой. Сестра вздохнула.

— Если сходишь, то отдам тебе свой магнитофон.

Я удивленно посмотрела. Станный обмен. Несправедливый. Неравноценный. Подозрительный. С чего бы это ей вдруг отдавать мне свой магнитофон? У нее, конечно, недавно появился новый, но вряд ли это повод расставаться со старым. Для меня так точно нет. Я всегда любила старые вещи. И чем старше они были, чем потрепаннее, изможденнее, тем более интересными и настоящими они казались. А тут вдруг так просто сестра отдает магнитофон. Очень странно, решила я, но все же спросила:

— А точно отдашь?

— Точно.

— Ну тогда ладно.

В этот раз унижение у прилавка переживалось не так остро. Наверное, отправь меня еще и папа за сигаретами, я бы и их спокойно купила — что мне какие-то взгляды чужих людей, когда дома ждет награда?

А магнитофон и впрямь был хорош. Пока сестра лепила наклейки на дверь стола, я сидела в своем углу и восторженно разглядывала заслуженную награду: красный, двухкассетный, с небольшой антенной для радио. Правда, у меня и кассет не было, да и проигрывать их, как потом оказалось, можно было только в одном «окошке» — другое постоянно стремилось съесть пленку. Но зато можно было записывать песни, которые передавались по радио, или... что еще более волнительно — записывать себя (от этой идеи, впрочем, я отказалась сразу же, как попробовала — такого мерзкого голоса еще ни разу в жизни не слышала).

И пока я думала, где бы разжиться кассетами, сестра положила рядом со мной две, на «рубашке» каждой из них надпись: «Парк Горького».

— Держи, — улыбнулась, — мне они больше не нужны.

— А что так? — с подозрением уставилась я на нее.

— Да так. Прошла любовь, завяли помидоры, — хмыкнула она и вернулась к столу. Ей в этом году поступать, готовиться надо. Сестра решила идти на врача. Серьезное дело. Не то что мои мечтания стать то художницей, то артисткой, то и вовсе, смешно сказать, — писательницей.

И теперь, когда у меня был магнитофон, мне на пару мгновений захотелось пойти в радиомеханику. Ну, чтобы разбираться, что там к чему и уметь самой собирать магнитофоны, но я тут же вспомнила, что там надо иметь дело с математикой, а этого я точно не люблю, поэтому нет, ну ее эту радиомеханику — фотоаппарат сестры я уже как-то давно, в классе первом, разобрала, ничего хорошего из этого не вышло, только укоризненные взгляды родителей да убийственный сестры.

С того дня, как у меня появился магнитофон, она больше не просила покупать ей жвачки. Может, неприятно ей стало, что я так реагировала на это, или еще что, вот только дверка в столе отныне украшалась без моего участия. А я по сотову разу записывала и перезаписывала песни на кассеты, иногда, волнуясь и сгорая от стыда, пробовала петь сама и тут же, испытывая отвращение к себе, стирала этот ужас; рисовала под музыку и тихонько подвывала, удивляясь, что вот так, не в записи, мой голос звучит вполне нормально, ничуть не хуже, чем у всех этих, которые гуляют по радиоволнам.

Я снова копила деньги. Шкатулка постепенно наполнялась, и вот уже пришлось переложить стеклышки и прочие сокровища в банку из-под крекеров. Сестра, казалось, вовсе не замечала меня, зарывшись в учебники. И вроде все было хорошо, но как будто чего-то не хватало. Серые, тусклые будни.

Настал день, когда я ничего не положила в шкатулку. Мама дала деньги на школьные обеды, а я взяла и потратила их — на шоколадку. Купила себе Твикс. И, зажав его в руке, поспешила домой, надеясь, что сестра еще не пришла из школы.

Так и оказалось. Я проскользнула на балкон, втиснулась в угол между старым комодом, не менее старым спасательным кругом и стремянкой, и трясущимися руками развернула батончик. Даже два. Там было два шоколадных батончика в одной золотистой обертке.

«Может, поделиться хотя бы с сестрой?» — мелькнула и тут же испарилась мысль, я прогнала ее, тряхнув головой. А затем засунула в рот сразу два батончика.

Я жевала их, чуть не захлебываясь слюнями. Жевала быстро, жадно, ведь в любую минуту сестра могла вернуться домой, а то и мама вдруг решит на обед заскочить — она так делала иногда. На ветках верещали воробьи, сцепившись между собой. А мне казалось, что это они меня так подгоняют: «Жуй! Жуй! Жуй быстрее! Жуй!»



И тут все кончилось. Я и сама не поняла, как. Просто не успела. Вроде только что у меня в руке было два батончика, а теперь одна только смятая обертка. И никакого чувства насыщения, радости, удовольствия. Вообще ничего. Пустота. И неясное, смутное, противное чувство стыда — такое коричнево-липкое, как застывшие ошметки шоколадной массы на обертке, как приторные, вязкие слюни во рту, как темный пыльный угол, в котором я сидела.

Вздохнув, я вяло поднялась — хотя со стороны это, наверное, выглядело так, будто я проползла спиной по стенке. Оперлась руками о поверхность комода. Рядом с цветочными горшками стояла папина пепельница, заполненная до самых краев. Тут же спички. Внезапно вспомнилось, как одним летом, еще до школы, я насыпала на перила балкона немного сахара, ждала, пока не приползут муравьи, а потом поджигала их — маленькие тельца скукоживались и сливались с плавящейся сладкой коричневой лужей. И не было жалости. Да и интереса особого не было... Просто... было скучно. А потом пусто.

Странная пустота тогда поселилась внутри или, быть может, была со мной всегда. Иногда она спала, иногда же шла в наступление — вот как сейчас. Окутывала тяжелым ватным одеялом, пеленала, как мать дитя. Только это была, скорее, какая-то неправильная куколка, из которой должно было вылезти что-то такое же неправильное, странное и жадное, как сама пустота.

Я чиркнула спичкой и подожгла обертку. Она корчилась на глазах, прямо как те муравьи. И вот уже пальцем стало больно; тогда я наконец очнулась и бросила ее в пепельницу. Еще пара мгновений, и от моего преступления остался только сморщенный невнятный черный комок. Это я. Вот так я, должно быть, выгляжу изнутри. Это моя душа или то, что принято считать за нее — то, что составляет мою суть. Такое же скукожившееся бесформенное, липкое, черное и противное.

Ночью мне приснилось, что я умерла. Внезапно, без подготовки. Говоря о подготовке, я имею в виду старость. Люди же обычно проживают всю жизнь, взрослеют там, учатся, задаются всякими разными вопросами, размышляют о том, что вот есть мир вокруг, а есть — они, и рано или поздно они этот мир оставят, но до этого сделают что-то, внесут свой вклад или хотя бы попытаются узнать, зачем живут, зачем пришли, зачем вообще это все.

Я же во сне просто умерла. Сидела за столом вместе со всеми. Гости какие-то пришли — дяди, тети, двоюродные и троюродные братья и сестры. Взрослые смеялись, дети бесились — словом, все как всегда. А я ела рыбу. Одна. На самом краю стола, застеленного саваном с пятнами земли.

Белое мясо влажно мерцало и казалось сладким. Я запихивала его в рот и жадно облизывала пальцы, измазанные жиром, брала следующие куски — снова и снова, разгрызала даже ненавистные прежде головы с мертвыми, будто приклеенными глазами, когда кость впилась мне в горло. Стало нечем дышать.

Я кашляла, била себя кулаком в грудь, по спине бил еще кто-то — с каждым разом все сильнее и сильнее, до фейерверков перед внутренним взором, расплывающихся мутными разноцветными всполохами. В глазах темнело, все плыло жирными пятнами, а кость разрасталась, взрезая горло изнутри. Я хрипела, как, должно быть, хрипела та рыба, костью которой я подавилась. Пальцы бессильно сминали белый саван, когда на него потоком хлынула коричневая кровь. Вязкая лужа текла по столу и поглощала все, до чего добиралась. Родственники верещали, как давешние воробьи, прыгали по стульям, по столу, нелепо вспархивая руками, перелетали с места на место, долбили носами пустые тарелки, изредка посматривая на меня черными провалами глаз — пугающе внимательно.

А потом я проснулась — так же, без подготовки. Будто что-то выдернуло меня из воды на поверхность.

Сестра. Она сидела возле кровати и обеспокоенно вглядывалась в мое лицо. Свет от настольной лампы освещал одну половину ее лица, другая оставалась в тени. Но даже при таком освещении я снова подумала: «Какая же она красивая у меня». И какая уставшая.

— Ты кричала, — сказала она тихо.

Я кивнула. Горло саднило. Наверное, заболела. Или собираюсь заболеть. Сестра коснулась моего лба, — какая же у нее прохладная ладонь. Я прикрыла глаза, болезненно сглотнув. Кость из сна все еще была там. Но я хотя бы могла дышать.

— Даже не кричала, — после паузы вновь заговорила сестра, — хрипела. Я испугалась. Что тебе снилось?

— Что я умерла, — ответила, не задумываясь.

— И как оно? — тот уголок рта, что был освещен, дернулся в некоем подобии улыбки.

— Страшно, — призналась я. Сестра вздохнула, притянула меня к себе и, поглаживая по голове, сказала:

— Значит, будешь долго жить. Так что не бойся. Нет смысла бояться. И вообще... я же на врача выучусь. Будет у нас в семье свой врач, представляешь?

— Ты сначала поступи, — не удержалась я от подколки.

— Язва, — не осталась в долгу сестра. — Спи давай. У тебя температура, кстати. Сейчас лекарство принесу. Выпьешь и будешь спать. В школу утром не пойдешь.

Утром я обнаружила, что мой магнитофон сломался. Радио не работало, при попытке проиграть кассету магнитофон жрал пленку почему зря. Я не стала ждать прихода домой папы, а вооружилась отверткой и разобрала эту красную непонятную штуку. Внутри все было еще более непонятно — дорожки микросхем, башенки, кубики, серебристые реки на зеленых полях и засохшие тараканы. Хм, это они тут домик себе устроили — расплодились, заполонили все своими шкурками, а потом отправились на поиски новой лачуги.

Изучив внутренности магнитофона, я попыталась собрать его заново, но что-то не заладилось — то одна деталь оказывалась лишней, то три, то вообще пять. Как ни пыталась ставить все в том же, как мне казалось, порядке, как оно было вначале, вернуть детали на свои места не получалось.

Может, в ремонт отнести? Но хватит ли денег? О покупке нового не могло быть речи — на это точно не хватит.

Я вытряхнула содержимое своей шкатулки. Пересчитала. Сложила в карман и отправилась в соседний двор — там у нас располагалась мастерская. Мой несчастный магнитофон посмотрели, поцокали языком на тараканьи трупы и вынесли вердикт — починить можно, но сложно, проще новый купить. Впрочем, если я так уж прямо хочу его починить, то обойдется это в такую-то сумму, сказали мне. Я снова пересчитала свои накопления. Сумма никак не набиралась. До нее оставалось еще несколько школьных обедов. Вздохнула, забрала магнитофон и пошла домой.

По пути набрела на прилавок со жвачками «Бич гёрлз». Постояла. Подумала. И купила десять. А еще четыре шоколадных батончика: маме, папе, сестре и мне.

— Копилку, что ли, ограбила? — пошутила продавщица.

— Ага, — улыбнулась я. Внутри меня распрямлялся черный бесформенный комочек. И даже кость в горле словно стала меньше.

### Не благими намерениями

Хоть бы сдох поскорее. Не «когда наконец сдохнет», а «хоть бы сдох». И как можно скорее. Иначе уже никак, не вывозит, думал Максат, пиная бордюры у школы. Бордюры были сколотыми, носок кеда стоптанным, настроение убитым. Собственные мысли давно не пугали, лишь зудели и раздражали. Он не хотел быть таким, не хотел думать так, не хотел желать *этого* своему отцу, но мысли не спрашивали разрешения — они просто появлялись, сначала неясными очертаниями, смутными образами, от которых сжимало горло и холодели пальцы, немел язык и щипало в глазах, потом осторожно проползали ядовитыми отростками — сочными, яркими, и вот уже облекались в слова — простые и оттого страшные.

Это в первый раз стрёмно думать о таком. Да и во второй, чего уж там, стрёмно. Раз на десятый Максат не только думал, но и сказал, глядя в запитое обвисшее лицо: «Хочу, чтобы ты сдох». Лицо ничего не ответило. Лицо сопело и пускало слюни. Лицо было в таких же бороздах и трещинах, что и дорожка, на которой оно лежало. И такое же серое и грязное. Ненавистное лицо. Максату было противно стоять рядом, не то что касаться. Но по лестнице из двора вышли любопытные соседи, посмотрели сочувственно, и Максат саданул кедом по колену того, кто почему-то был его отцом.

Как так вообще получилось? Почему это его отец? За что так не повезло? За плохие мысли? Ну так плохие мысли появились позже, появились из-за него, а в детстве никаких плохих мыслей не было, в детстве он радовался, когда отец приходил домой пьяным. Мама плакала и ругалась, он веселился, потому что трезвый папа — злой папа, пьяный папа — добрый папа. Пьяный папа подкидывал его под потолок, и мама замирала в дверях, одной рукой ухватившись за халат на груди, другой за дверной косяк; пьяный папа вставал на четвереньки, сажал маленького Максата на спину и рысачил по квартире, как личный пони. Папа трезвый кричал на маму, рычал на Максата и лупил по стенам, а пару раз зарядил и Максату, когда тот просто крался на кухню, чтобы попить воды. Потом папа и пьяным перестал быть добрым. Они ругались с мамой, бросались друг в друга обидными словами — чаще он, чем она, она больше всхлипывала и уговаривала, получая в ответ «ты не понимаешь». В родительской спальне что-то грохотало, стучало, мама вскрикивала, Максат, запертый в своей комнате, стучал в дверь и просил выпустить, рвался на помощь. Устав, затихал, обкладывался игрушками и крушил маленькими машинками другие — те, что побольше, шмыгал носом, растирал противное по лицу, дергал губой, морщился от стянутой кожи и вырывал у больших машин колеса с мясом, вдавливал их потной ладонью в ковер и улыбался, глядя на изувеченные джипы и тракторы. Вот они были грозными и непобедимыми, и вот они лежат днищем вверх, поверженные маленькой синей гоночной машинкой. Вот вам, вот вам, получайте, сдохните, сдохните!

Таким, сосредоточенно пыхтевшим над автомобильными битвами, его и находила мама — уже умывшаяся, старательно причесанная, с налившейся бордовым нижней губой и грустными глазами. «Как ты», — спрашивала и тянулась к волосам, он отклонялся и с громким «пууу» крушил уже раскуроченную машину. «Играешь? — дрожала неуверенной улыбкой мама. — Вот и хорошо, вот и молодец. Ты — мое счастье, балам»<sup>1</sup>. А если я твое счастье, зачем ты живешь с папой, почему мы не уйдем от него, думал Максат, откладывал игрушку, оплетал маму руками и ногами, утыкался

<sup>1</sup> Балам — сынок, ребенок (кырг.).

в нее, такую теплую и родную, и позволял гладить себя по спине, старался не слушать и не слышать, как за стенкой храпит папа, старался представить, что папы нет, есть только он — Максат — и мама. И никого больше. Потому что никого им не надо. Хорошо бы вот так съесть пятилепестковый цветок сирени, загадать желание, и оно бы сбылось. Или ночью проследить, как звезда заваливается за крышу соседнего дома, и тоже загадать. И ждать, когда сбудется.

Но это все вранье — про падающие звезды и пятилепесточки. Первое не звезды совсем, а второе — вообще мутация, и, в целом, это чушь полная — чушь полная верить в такое и надеяться, что подействует, понял Максат позже, когда немного подрос и перестал крушить игрушки. Он просто надевал наушники, включал музыку погромче и, отбивая пяткой ритм, занимался своими делами — решал уравнения, разбирался в метафорах и метонимиях, пестиках и тычинках. А еще рисовал всякое в скетчбуке — такое, что и не покажешь никому, потому что самому жутко.

В пятом классе он ударил девочку на уроке математики. Она сидела за первой партой, он — за второй. Она повернулась и сказала тихо:

— А я видела твоего отца пьяным.

Он не ответил, продолжив списывать примеры с доски. Девочка поерзала, качнулась на стуле ближе.

— Твой отец валялся в арыке. Сначала обнимался с бомжами, а потом валялся в арыке.

Он стиснул крепче ручку, пальцы съехали к самому кончику, тройка в примере наклонилась не в ту сторону и, кажется, двоилась. Да и не только она — цифры расплывались, прыгали и вытягивались. Поморгал, фокусируясь. Учительница что-то вещала у доски, но слова доходили через раз, проваливаясь по пути в невидимые ямы. Девочка оперлась ладошкой о его парту и придвинулась, прищурилась нехорошо, втянула слюну и всё же капнула ядом:

— И как твоя мать с ним живет? Тоже бухает? Или дерет ее хорошо?

Как это произошло, он не понял. Вот вроде сидел и смотрел, как под стержнем растекается чернильное пятно, и вот уже алое пятно растекается по щеке одноклассницы, жар — по его ладони, под потолком жужжит муха, все усталились на него, а он сверху вниз на сжавшуюся на стуле девочку, в глазах которой испуг и, показалось ему или нет, — но как будто чуть-чуть довольства.

Учительница опомнилась первой — наорала, выставила из класса, пригрозила вызвать родителей, да так и не вызвала. Он до конца урока колупал засохшую краску в подоконнике и сгорал от ненависти к себе. Девочек бить нельзя. Мама всегда так говорила. Он и не собирался. Точно не собирался. Он бы никогда не... но вот это произошло. Ударил девочку. Залепил ей пощечину. И пусть она тысячу раз была неправа, пусть наказал вроде как за дело, но разве его это оправдывает? Нет, сказал себе, ни разу. Потому что девочек бить нельзя. А папа бьет. Маму. Иногда. Нельзя быть таким, как папа. Никогда. И если нельзя исправить лицо, то можно хотя бы противиться этому внутренне. И скрутить огромную дулю всей родне, которая на каждом празднике щиплет маслянистыми пальцами за щеки и тянет приторно: «Аиии, Эльдарчик, как Максатик на тебя похож. Копия ты, ничего от Малики». Правда, когда он укусил одну из теток, та, баюкая руку, прошипела, злобно глядя на маму: «А характером в тебя, невестка». Мама тогда попросила прощения у тетки, грозно посмотрела на Максата и заперла его в комнате, а вечером долго объясняла, что так нельзя — ни со старшими, ни с младшими, ни с кем. Говорила, что если хочется кусать

кого-то, то надо досчитывать до десяти. Не поможет — до тридцати. И не кусать. Быть вежливым и воспитанным. Ты же хороший, балам, ласково заправляла ему за уши отросшие пряди, а он думал, что все они врут — мама не такая, как он, мама никого не кусает, мама терпит и отвечает улыбкой на плохие слова. И очень жаль, что мама не такая. А раз так, то он будет кусать за нее всех. Будет улыбаться и кусать. И рвать, если придется. Но ни за что не расстраивать маму. И не быть таким, как тот, кто живет с ними.

В шестом классе он спросил маму, почему они не уйдут. Мама сказала, что он ничего не понимает. Что если она уйдет, ее осудят, а его отнимут. Сказала, что не может оставить его ни с отцом, ни без отца. «Так нельзя, балам. Нельзя мальчику расти без отца. Это неправильно».

— А правильно то, что он тебя бьет?

— Это не то, ты не понимаешь. Он не бьет. Это так... это не то, что ты думаешь. Не то, чем кажется. Помнишь, я говорила тебе, что нельзя кусаться? Ну вот, я кусаю, я обижаю твоего папу, и его это злит. Папа не плохой, он просто... ну вот такой, вспыльчивый. Он же любит нас, балам.

Странная это любовь, думал Максат. Как можно бить того, кого любишь? Как можно любить так, что это, скорее, на пытку похоже, а не на что-то приятное и хорошее, чем, по идее, должна быть любовь. А если оно так и бывает — тяжело, удушающе и больно, — то, может, лучше и не любить? Никого и никогда. Только маму. Хотя это тоже больно. Потому что сделать ничего не можешь, разве что музыку громче и чувствовать себя при этом последней тварью дрожащей, слабой, беспомощной, способной лишь на то, чтобы рисовать всякое — черное и бесформенное, схематичное. Наделить это чертами, сделать четче и понятнее... Нет. И на это не хватает смелости.

Как-то к ним среди ночи постучалась соседка с двумя дочками — старшая, лет пяти, цеплялась за юбку, младшая спала на руках. Приютите, попросила. Переждать надо, уточнила позже. Им постелили в зале, Максата отправили в комнату, но он прополз по-пластунски и приник ухом к щели между полом и дверью. Кулипа-эже<sup>1</sup> всхлипывала тоненько и говорила, что Жениша уволили, он пришел домой пьяным, схватил нож и начал всех гонять. Мама отвечала, что надо вызывать милицию. Кулипа-эже сморкалась и сообщала, что в прошлый раз, когда она так и сделала, милиция закрыла Жениша на трое суток, а потом выпустила, и он стал еще злее. Надо уходить, увещевала мама. Куда с детьми, спрашивала Кулипа-эже, и они молчали. Сама почему не уйдешь? — подавала голос Кулипа-эже. Мама вздыхала, скрипела стулом и говорила, что ей повезло, Эльдар не такой, Эльдар заботится о них, он хороший и не бьет вовсе, а так, иногда, редко совсем. Ну да, ну да, соглашалась Кулипа-эже, и Максат под дверью повторял это «ну да, ну да», вкладывая в него другой смысл. Ну да, отец не бил маму так, как Жениш-байке<sup>2</sup> Кулипу-эже — он ходил и нудел, высказывал маме, расточал гадости, которые и слушать стыдно, мама не выдерживала, отвечала, этот усиливался в громкости и назойливости, мама, напротив, становилась тише, незаметнее, и вот уже звучал только он, громыхал и истерил, плевался ругательствами до тех пор, пока мама

<sup>1</sup> Эже — обращение к старшей женщине либо к сестре. В данном случае, к старшей женщине (кырг.).

<sup>2</sup> Байке — обращение к старшему мужчине либо к брату. В данном случае, к старшему мужчине (кырг.).

опять не говорила что-нибудь в свою защиту, и тогда взрывалась пощечина, мама вскрикивала, папа ушатывался курить на балкон и, вернувшись, заваливался спать. Ходить можно было только на цыпочках и ни в коем случае не включать не то что телевизор, но даже свет, потому что отец мог проснуться и от щелчка.

В седьмом классе Максат еще верил в пятилепесточники и написал письмо тому, кого называл отцом. Так, мол и так, сказал: делай выбор — или бутылка, или я. Отец продержался неделю, а потом выбрал. Не его. И Максат почему-то не удивился. Когда писал письмо, капал слезами, когда получил ответ — только уголками губ дернул.

В девятом классе он сломал наружную щеколду на двери в свою комнату и прибил щеколду внутреннюю. Вот так. Теперь никто не сможет его закрыть, зато он закрыться сможет. Тем же вечером отец попробовал наехать на мать, но Максат загородил своим плечом. Отец покричал, побрызгал слюной и ушел на кухню, где еще долго бухтел, гремел шкафчиками, звенел посудой и снова бухтел. Мама мягко отодвинула Максата и сказала едва слышно, что зря он это, не стоило. «Не хочу, чтобы и тебе досталось», — погладила его по плечу и принялась наводить порядок в спальне. Потом они вместе отмывали уделанную кухню — еда была повсюду.

Те дни и ночи, когда отец уходил на смену, Максату нравились больше всего. Недели, когда машина простаивала на ремонте, ненавидели всей семьей, — отец со скандалами, мама с выпланными глазами, Максат с очередными почеркушками в скетчбуке, в которых уже можно было признать мужской силуэт с ножами в спине — под черными линиями текла красная паста, да так много, что бумага истончалась до дыр.

Мама брала аванс на работе, отдавала отцу, тот чинил машину и снова таксовал, и снова сутки его не было, на третьи он выходил на смену, а вторые проводил в пьяном веселье, угощал окрестных бомжей на часть от выручки, вытирал собой арыки возле дома и пару раз надул на лестничной площадке в их подъезде, засыпая в своей же луже. Оттирать ее потом пришлось Максату. Сначала думал так и оставить, но решил, что мама расстроится, да и не хватало еще, чтобы кто-нибудь из соседей увидел — выговаривать потом будут маме же и коситься на Максата, вздыхать сочувственно, и эта показная жалость вызывала большее отвращение, чем холодная, мокрая и вонючая одежда отца. Максат пробовал его распинать — не удалось. С трудом подавил желание пнуть сильнее, подавив вместе с ним и рвотный позыв, ухватил крепче за подмышки и потащил по ступенькам вверх — всего десять, которые обычно преодолевал одним махом, теперь казались бесконечностью. Тогда-то, добравшись наконец до двери и посмотрев вниз, в лестничный пролет, подумал впервые: что, если перегнуть эдак через перила и... ну вот как будто это он сам так — не рассчитал, склонился сильнее, мутило, может, подышать хотел или еще чего, а потом под действием тяжести взял и рухнул вниз на ступени, и голова, как перезревший арбуз, и мозги, как блевотина на стенах.

Подошел к перилам, нагнулся сам, взгляделся в серую лестницу, в темный провал с переплетениями, в кусок светлого прямоугольника от подъездной двери и, оглохнув от разошедшегося сердца, вынес вердикт: нет, узко, не упадет, застрянет, сломает себе что-нибудь, будет потом в памперсы ходить и гундеть, мать сидеть возле него, страдать и подтирать слюни, вкладывая все сбережения и всю зарплату уже не в машину, которую они наверняка продадут, чтобы оплатить те же памперсы, но в этот овощ.

И смысл тогда? Если уж да, то наверняка. И с лестницы не вариант — всего десять ступеней. Это его до самого первого этажа надо будет подпинывать, и то не факт, что сработает. Может, только кости переломает, ребра те же, ну и всё. Ну, или позвоночник. И опять тот же овощ. На фиг надо.

Подумал так и похолодел. Рубашка и школьная форма противно липли там, где пропитались мокрым и вонючим от этого, который сейчас лежит под дверью и знать не знает, чего избежал только потому, что узко между перилами. С ума сойти. Поэтому только? Максат схватился за волосы и с силой дернул, отвесил пощечину — одну, другую. Сжал ладонями горящие щеки, вдавил в челюсть, задышал часто ртом и осел на площадку, схватил прутья на перилах, прислонился лбом к заплеванным, грязным, с засохшими корочками какой-то слизи, и зарыдал в голос.

Отец рядом завозился, промычал что-то. Наверху провернулся ключ. Максат утер слезы и сопли, хлопнул носом, вскинул голову, вдохнул-выдохнул, поднялся, открыл дверь, перешагнул через тело, просунул руки в горячие подмышки, всхлипнул, зарычал и рывком перекинул отца через порог. Привалился к стене, перевел дыхание. Опять ухватил за подмышки и потащил в сторону родительской спальни, уложил у кровати, подопнул-подровнял, снял обувь и уссатую одежду, взопрел весь, чуть не вытерся комом в руках, но в нос шибануло мочой, и он отшатнулся. Закинул в стиралку, засыпал порошок. Снял полотенце, намочил, сбегал в спальню, обер тело, сменил телу белье, отправил полотенце в стиралку и запустил, наконец, программу. Сполоснул руки, высморкался, присосался к крану, наглотался ледяной воды, сунулся с головой, задрожал, отплеываясь от мокрых прядей и плохих мыслей и так, со стекающими за шиворот холодными дорожками, вернулся в подъезд, взяв с собой тряпку и ведро с водой. На площадке собрал все, что оставило там тело, а после вылил это пенящееся мутно-желтое в унитаз. Вот бы так можно было смыть всё — не только мысли, но и всю прошлую жизнь. Собрал гадость в ведро, выжал до последней капли и спустил в унитаз, а завтра новая чистая жизни без вот этого всего. Но хрен там. Не бывает и быть не может. Только такая гадость и есть — мутная, смрадная, как бы самому не задохнуться, не дать ей хлынуть в рот и нос, не дать растворить в себе.

Все дети похожи на родителей, яблочко от яблони, любила приговаривать класснуха. Особенно несло ее на часе про ЗОЖ. Страшала последствиями ранней половой жизни, подростковой беременности и картинками алкоголизма и наркомании. На алкоголизме остановилась подробнее. Пунктик у нее, что ли, травма личная, подумал Максат, открыл скетчбук, загородился от соседа локтем и зачиркал ломаные и издерганные синусоиды. Казалось, все смотрят на него и все знают, думают так громко, что это не стёрки скрипят, а мозги, не бумага шуршит, а слова копяются ворохом на кончиках языков, толпятся, наскакивают друг на друга, переругиваются и вот-вот сорвутся, понесутся к нему с торжествующим «знаем, а мы всё знаем».

Не могут они ничего знать, заштриховал Максат прямоугольник, вывернутый на косой прямой. Он перевелся в эту школу месяц назад — в другом районе, за несколько кварталов от дома, от тех, кто мог бы знать. И никому, понятное дело, не рассказывал. Да и что рассказывать? Всем привет, я — Максат, а мой папа — алкаш. Отличное знакомство. То что надо для жизни в новой школе.

Дети алкоголиков нередко сами становятся алкоголиками, потому что среда делает нас теми, кто мы есть, подытожила класснуха тираду «о пагубном воздействии зеленого змия» (как значилось на доске). Максат выпрямился, закрыл скетчбук и

посмотрел на свои пальцы, покрытые трупными пятнами чернил. Сжал в колодцы, разжал в бумагу и снова сжал. На парту лег тест. На определение профориентации, сказала класснуха. А чего только «проф», съязвил кто-то. Класснуха пригрозила вызовом родителей и разговором с ними по душам. Съязвивший хкекнул. Максат перевернул тест и на обратной стороне написал: «Вы ничего не знаете. Никто не знает и знать не может наверняка. Мой отец — слабак. Но я никогда не буду таким». Перечитал. Занес ручку, чтобы зачеркнуть, прикрыл веки, подышал до десяти, как учила мама, отложил ручку, расправил лист, вернулся к тесту, но смысл вопросов ускользал. Он читал раз за разом, а в голове звенело: «Среда делает нас теми, кто мы есть», «кто мы есть», «делает нас», «нас». С другой стороны, чего париться, размышлять над вариантами, если всё предопределено — умные взрослые всё посчитали, расписали и назначили? И тесты эти как пятилепесточники сирени — для успокоения разве что, или вовсе — галочки ради. Может, и вектор какой задать, и не факт, что верный. Прошел не в том настроении, расплылись буквы, забил двери в будущее, ответил от фонаря и всё — живи теперь с тем, что натура ты творческая или еще какая, не суть важно вообще, потому что «среда делает нас теми, кто мы есть». Вот и всё, вот и не стоит пыжиться. Да? Нет. Чуть было не скомкал лист, но подошла класснуха, и он нехотя передал ей пустоту в квадратах. Усмехнулся. Нечаянно ответил честно, хотя и не собирался.

Класснуха потом вызвала к себе в подсобку. Вскипятила чайник, заботливо справилась, какой ему — черный или зеленый. Покаянно вздохнула, что черного нет, только зеленый. Максат сказал, что ему все равно, говорите, зачем вызывали, и я пошел. Она смотрела жалостливо, изображала печальную скобку, елозила пальцами по обратной стороне его теста, то открывая, то закрывая крупное «слабак», и Максат понял — еще немного, и его стошнит прямо здесь. Лучше бы и дальше молчал, чем терпеть эту вечную жалость во взгляде. Сколько она у них будет? До самого выпуска? И до самого выпуска будет глядеть в его сторону эдак понимающе. Может, виновато даже. На хрен бы оно не сдалось. Будто он ущербный. Будто у него лицо в гнойниках, и все вот-вот прорвет и как ливанет, так ливанет — ее же первую забрызгает.

Она просила прощения, объясняла, что это не она придумала, что вот так в интернете пишут, а так-то, конечно, человек сам кузнец своего счастья, и будущее Максата зависит только от него самого. Предложила походить к школьному психологу, Максат подумал «делать больше нечего», ответил «окей», подхватил рюкзак и пошел домой. А дома долго возился с дверью, пытаясь ее открыть — она упиралась во что-то, и Максат догадывался — во что. Не в кого, а во что. Это просто не могло быть кем-то. Существительное мужского рода, неодушевленное. Ну, или пассивный залог, возмнивший себя активным. Тот еще кожаный мешок, под завязку наполненный дурной кровью, гнилыми костями и дерьмом.

В подъезде пахло горелым, и Максат изо всех сил надеялся, что это не у них. Он отошел, подпрыгнул и пнул дверь. Мешок застонал и пробубнил что-то. Максат протиснулся, защелкнул замки и принюхался. Гарью несло из кухни — их кухни. Перемахнул через мешок, окунулся в серую вонь. На плите варилась кастрюля. Или запекалась, судя по почерневшему днищу. На столе грустно прижимались друг к другу потекшие пельмени, валялись и на полу. Максат выключил огонь и уже привычно отправился за веником и совком. И толку, что мама, уставшая после работы, весь вечер лепила их? Вот он, ее труд — слипшиеся комки теста и фарша. То, что на столе — еще можно отварить и пожарить, залить кетчупом с майонезом, и будет норм. Пельмени по-дунгански. Но то, что на полу — выбросить однозначно;



в комьях мусора, в луковой шелухе и чешуйках — вот и селедка со вспоротым брюхом на краю раковины, глядит мертвыми глазами в водосток. Ползла, да не доползла? Со вспоротым брюхом и немудрено. А этот, интересно, смог бы? Как далеко прополз бы? Сколько бы из него вытекло, пока бы не... Живучий ведь, здоровье на зависть многим. Ни цирроза, ни обморожений, зубы — и те крепкие. Может, стоило хоть раз на улице оставить, не тащить домой, и пусть бы оно само как-нибудь свершилось? Так какого он каждый раз распинавает его, поднимает, сгорает под взглядами соседей, чтоб им всем, и все равно несет, придавленный пьяной тяжестью рук, подстраиваясь под заплетающиеся, волочащиеся ноги, принимает помощь от услужливых собутыльников, а один раз от какого-то сердобольного байкеши<sup>1</sup>.

— Плохо твоему папке, — посетовал байкеша.

Это мне и маме плохо, подумал Максат, но ничего не ответил, только зубы стиснул. Байкеша кряхтел и перетягивал вес на себя. Поблагодарить бы, да рот страшно открыть — сорвутся всхлипы, подстегнут слезы, и те побегут радостно. И байкеша потечет жалостливо, к волосам еще потянется или по плечу хлопнет — только хуже сделает, потому что тогда Максат может начать жалеть самого себя, а ему это не надо. Ему вообще ничего не надо. Взялся тащить — тащи молча и не жалуйся, молчи.

— Проблемы на работе? — байкеша не унимался. Вот же тупой. Они подперли ношу к двери, Максат полез за ключами, а байкеша все ждал чего-то. Чего тебе? Душу излить? А не подавишься? Не захлебнешься такими-то помоями? Шел бы ты, дядя, и не оглядывался.

— Спасибо, — буркнул Максат и завалился с телом в квартиру, захлопнув дверь байкешиным добрым делам — пусть галочку себе поставит напротив пункта «доставил алкаша до дома», сразу после «перевел бабку через дорогу». Профпригодный доброделатель.

Пельмени, жареные с яйцом, оказались очень даже ничего. Вообще тема. И ладно, что слипшиися. С яйцом так и надо. Помыл посуду, отскреб сковородку, посмотрел на банку с хлором. Все равно следы останутся. Посветят ультрафиолетом или какой другой специальной дрянью, и увидят — где тащил, куда тащил. В одном сериале показывали. Насыпал чистящего средства на плитку, затер пригоревшее. Повезло, значит, что вода выпарилась, что не успел еще пельмени бросить, а то так бы пена поднялась, залила плитку, огонь погас, газ продолжал выходить, и... и остались бы они без дома. Зашибись перспектива.

Он тер и тер темный струп возле газового рожка, пальцы сцепило от подсохшего Комета, пора бы смочить, да и струп уже отошел, распался на размягчившиеся ткани, а в голове возникали картинки выгоревшей квартиры, на пороге которой пожарные нашли обугленное тело — то, что когда-то было человеком, то, что давно перестало быть человеком. И мама бы плакала, и они бы искали, куда пристроиться, где теперь жить, и на какие жить, а еще надо было бы отдать долги, потому что похороны — это всегда дорого. Это как той<sup>2</sup>, только наоборот. Посмертный той. А может, и не пришлось бы отдавать долги. Может, они бы все трое взлетели на воздух, оказались бы спаяны и в смерти.

---

<sup>1</sup> Байкеша — производное от «байке», просто незнакомый мужчина.

<sup>2</sup> Той — праздник, пир (*кырг.*).

Максат выдохнул, сполоснул тряпку, вытер начисто плиту. Вымыл руки, вышел в прихожую, занес ногу для пинка и опустил. Сполз по двери в зал и приложился затылком о нее. Боль отдалась в глаза, но внутри было пусто. Как та кастрюля, которая выгорела. Его тошнило. Тошнило злостью и ненавистью к себе, и это было непонятно. Себя-то за что? За мысли? Так он же не виноват.

— Я не виноват, слышишь? — прошипел Максат мешку. — Это все ты. Это ты делаешь меня таким. Ты! Ненавижу тебя, ненавижу! Когда ты уже сдохнешь наконец?! Когда?! Когда?! Я не хочу, не хочу, не могу больше, не могу...

Слезы все же прорвались, хлынули, и теперь он плакал навзрыд, с подвываниями. Мужчины не плачут, не должны, нельзя. Но никто ведь не увидит, и поэтому можно. Он один, совсем один. И может рыдать, сколько влезет. Точнее, сколько выльется.

Мешок заворочался. Максат быстро размазал слезы и сопли, подхватился, забежал в ванную, наскоро умылся и шмыгнул в свою комнату. Расчехлил рюкзак, выудил учебники и погрузился в составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Учиться ему нравилось — это отвлекало, позволяло переключить мозг и забыться.

Вот только у мешка были другие планы. Или не планы. Просто мешку внезапно захотелось общения, он и приперся в комнату к Максату. Зря забыл закрыть дверь, теперь выслушивать про то, как и кого мешок возил, кто что говорил, какие все вокруг мурашки, и только он один нормальный. Еще мешок любил рассказывать про то, как спился кто-то из его прошлых знакомых — рассказывал и глупо подхихикивал: «А я-то, Максатик, еще ого-го, я молодец. Я же не пью. Я так, выпиваю иногда. Но не пью». Сегодня его заботило другое.

— Я не понял, а мать где? — вылил мутные глаза.

— В смысле? На работе же. До конца рабочего дня еще часа три, — ответил Максат и вернулся к уравнениям. И то, что еще минуту назад было понятным, теперь не складывалось. В груди зудело нарастающим раздражением.

— Она мне изменяет. Она точно кого-то нашла. Она бросит нас.

— Не нас, а тебя, — на автомате сказал Максат и прикусил язык. Но было уже поздно. Мешок наливался кровью и готовился забурлить дерьмом. И это не вода в кастрюле, такое не скоро выпарится, если вообще выпарится, но то, что завоняет всех вокруг — это верняк.

— Ты его знаешь?

— Что? Да о чем ты? Никого я не знаю. Да и нет никого. Откуда у нее кто-то, когда она все силы тратит на тебя? И вообще — иди пропись.

— Ты как с отцом разговариваешь?

— О как, ты вспомнил, что ты отец. Ну надо же. Я сейчас от радости обделаюсь.

— Максат!

— Да, я в курсе, что меня так зовут. Сказал бы, приятно, что ты еще в состоянии вспомнить мое имя, но правда в том, что мне все равно.

— Ты был таким хорошим мальчиком, а вырос...

— Ну хоть у кого-то о ком-то сохранились хорошие воспоминания. Я таким похвастать не могу. Спасибо.

— Помнишь, как я сажал тебя на багажник велосипеда и мы ехали собирать тутовник? Я кричал «ножки, подними ножки выше», а ты смеялся и держался за меня крепко-крепко.

— Угу. А потом мы ехали к мосту, и ты просил посмотреть, виден ли там красный

флажок. И если я отвечал «да», ты крутил педали сильнее, потому что красный флажок сообщал, что да, пиво в наличии. Ты напивался в сопли и засыпал там, добрые дяди звонили маме, а как-то я шел домой один. И еще у нас украли велосипед. Супер воспоминания. Всё? Наговорился? Можно мне теперь за уроки?

— Так значит она мне изменяет?

— Ой, свали, а? Просто свали уже. Свали из этой жизни, из нашей жизни, наконец?! Очень прошу тебя, сдохни! Сдохни! — выкрикнул в лицо и сам ужаснулся. Никогда прежде он не произносил это в открытую, глаза в глаза, и вот переступил еще одну черту. Мешок подпер плечом дверь, повозил ладонью по сальным всклокоченным волосам и спросил с надрывом:

— Ты... ты этого хочешь? Ты же мой сын... и ты хочешь этого?

— Да! Я хочу этого! Сделаешь это ради меня? Сделаешь? Ну пожалуйста? Сделай, а?

— Ладно, — тряхнул театрально головой, — ладно. Если ты так хочешь. Что ж. Я сделаю это. Я умру, а мать найдет тебе нового отца. Я умру, уйду. Этого ты хочешь?

— Да! Сколько раз тебе еще повторить? Я хочу, чтобы ты сдох. И чем раньше, тем лучше.

— Хорошо. Я пошел.

— Да вали уже, сделай милость.

И он пошел. А Максат двинул следом. В детстве отец часто играл в такую игру — говорил, что скоро умрет и что мама найдет нового папу, а Максат отвечал, что не надо нового папу, что папа не умрет, папа будет жить долго. Нет, упирался отец, никто не может жить долго, а тот, кого не любят, тем более не сможет, поэтому «папе придется умереть, но ты не плачь, у тебя же будет другой папа». Максат спорил, убеждал, что очень-очень любит, просил не умирать и плакал. Ну что ты, глупый, довольно рокотал отец и вытирал большими пальцами слезы, щипал за щеки и смеялся. Максат плакал, а он смеялся. Хорошая игра, отличная. И вот теперь им предстояло попробовать другую игру. В том, что она окажется продолжением той старой, Максат не сомневался, хотя и робело надеждой, что все же нет, не игра. Надеждой вперемешку со страхом и странным возбуждением, и не ясно — чего больше.

Отец уже вышел на балкон, а Максат топтался на пороге зала. Прислонился к косяку. Землетрясение как будто. Посмотрел на неподвижную люстру, прислушался к себе. Нет. Это не дом трясет, это его трясет. И ощутимо. Сердце колотится так, что отдается в ушах и кончиках пальцев. Неужели сейчас... сейчас все случится? И больше не будет мучений, не будет жалостливых взглядов, не будет маминых слез и синяков? Вот так вот просто и — всё?

Максат отцепил себя от двери, ступил в зал и приблизился к балконным окнам. Отец стоял к нему спиной и выдыхал сизый дым. Стоял, чуть свесившись вниз и повернувшись в ту сторону, откуда обычно возвращалась с работы мама. Стоял и не торопился выполнять сказанное.

Он ведь и не собирался, так? Это снова была игра. Тогда играл на страхах, а теперь на желаниях. Обманывал всегда. Но что если взять управление игрой в свои руки? Подойти сейчас, схватить за ноги и перекинуть быстро — вряд ли этот успеет сориентироваться и дать отпор?

Вот он открывает тихо дверь, не скрипнула даже — мама недавно смазывала петли. Крадется со спины, почти запечатав дыхание. Примеряется к шиколоткам — получится ли? Хватит ли сил? Не упустит ли раньше времени? Надо же чтобы наверняка, а не испуг один. Косится осторожно во двор — никого, в окна дома напротив — так не увидеть, но вроде и не светится нигде любопытным овалом.

Всего-то и надо — решиться, не дожидаться, пока появится кто или пока сам не обернется, докурив.

Он резко подсакивает, сжимает пальцами щиколотки, вздергивает и перебрасывает через перила. Отец хрипит — успел ухватиться и пытается подтянуться, смотрит удивленно, неверяще. И Максат очень хочет ударить по рукам, чтобы не мог больше цепляться, но бить нельзя — следы останутся, и он отгибает пальцы, отрывает от неровной поверхности. Максатик, что же ты, сипит отец. Максату некогда отвечать — он занят, он разжимает сильные пальцы, толкает их, высунув от усердия кончик языка и пробуя ядовитый воздух. И вот последний палец поддается, отец падает на землю, пропарывая бока ветками, выплевывает кровь, и она тонкой струйкой вытекает из уголка его рта. Он лежит на бурой земле, глядит на Максата мертвыми рыбьими глазами и пенится мутным, желто-грязным.

— Так с кем она мне изменяет? — новый старый вопрос страссировал в пепельницу. Максат вытолкнул воздух, облизнул пересохшие губы и выплюнул:

— Пошел ты...

В дверях уже дополнил:

— Ни с кем. У нее никого нет. И если ты попробуешь ее хоть пальцем тронуть, я тебя убью.

Тем же вечером отец ударил маму. И Максата, когда тот пытался ее закрыть. Если подумать, вяло размышлял после Максат, промакивая разбитые губы ваткой с перекисью, то все же они похожи. Оба не умеют сдерживать обещания.

Варила ли мама с вечера большую кастрюлю супа, лепила ли четыре круга мант, тушила ли казан мяса с картошкой, Максат мог вернуться из школы и потратить первые два часа на отмыwanie стен, плиты, пола, а иногда и потолка, потом быстро сварганить себе макароны с яйцом или же обойтись бич-пакетом. Ну, потому что яйца тоже имели свойство оказываться на потолке или размазанными по ковру — внезапно в прихожей. Их мама старалась спрятать, о тайнике сообщала Максату смской — яичницу он любил, но готовка была тем еще рискованым предприятием. Можно было разбить яйца так тихо, как никто и никогда, можно было прикрыть дверь на кухню, ухитриться выстроить огонь так, чтобы масло не шкворчало, но этот выползал из спальни, ведомый каким-то звериным чутьем, возникал на пороге и маячил неприкаянно. И ладно бы только маячил, но ведь опять тянуло на поговорить. Максат смотрел в тарелку, вытирал мякишем остатки яичной массы и сосредоточенно жевал.

— А мне, значит, зажала. От меня, значит, спрятала, — протянул этот обиженно, едва продрав заплывшие глаза.

И куда в тебя столько лезет, подумал Максат, потягивая остывший чай. Бочка бездонная, голем глиномесный. О, может, и правда это с ними голем живет? Пришел, когда они все спали, пробрался и съел настоящего папу, принял его облик и теперь жрет и жрет, жрет и жрет, а когда жрать будет нечего или наскучит питаться мучениями, сожрет и маму, и его. Будет откусывать по кусочку, как Максат в детстве шоколадных дед морозов и зайцев — сначала шапку или уши, потом одну лапу, вторую лапу, ноги, а голову в последнюю очередь. И когда съест полностью, лопнет языком глазное яблоко о небо, тогда Максат с мамой сами станут големами и будут мучить других людей, приходить под их окна и двери, проситься на порог, высматривать, чем бы и кем поживиться, и так до тех пор, пока не найдется отважный герой, который

разобьет их глиняные головы. Вот тогда они обретут, наконец, покой. Хорошо бы такой герой нашелся до того. Но герои — те же пятилепесточки сирени. Если только самому стать героем.

Максат посмотрел на голову этого, бухтевшего что-то. Жаль, что не голем. А так бы зарядить с разворота, или обеими руками сдавить башку, оттянуть к себе и впечатать в стену, и глядеть, как осыпается осколками, как отслаивается плохо нарисованный карий глаз, как крошатся губы и отваливаются плечи, и вот он уже весь — куча мусора. Максат привычно поднимется из-за стола, возьмет в туалете веник и совок, сметет в ведро серо-желтую пыль, завяжет пакет, отнесет на мусорку и не закинет, как обычно, метров с трех, представляя вместо бака баскетбольное кольцо, а втиснет между другими пакетами, вдавит поглубже, набросает сверху еще мусора, чтобы совсем уж, чтобы не выбрался ни за что, чтобы так и уехал на городскую свалку и развеялся там над кучами, впитался, остался там навсегда.

Но этот не голем. Этот реальный, из плоти, костей и дерьма. С этим так не получится. Поэтому будет жрать и жрать, пока не выест чайной ложкой весь мозг, не наматает, как лагман на вилку, все нервы. Еще и добавки попросит. А нету, скажет Максат, и этот ударит, и ему будет можно. Он не сын, он отец. Так бывает. Отцы бьют детей, отцы бьют матерей. Сыну бить отца нельзя. Нельзя поднимать руку на того, кто создал тебя, кто дал жизнь, пусть сам же и превратил ее в мутную вязкую жижу из ненависти и боли.

— Чего молчишь? — спросил этот.

— Не хочу говорить. Чего непонятного? — ответил Максат, встал у раковины, капнул на губку посудного средства, вспенил, отложил тарелку, сомкнул пальцы и медленно провел указательными и средними по большому — в получившемся кольце колыхался радужный пузырь. Если же соединить кончики пальцев и аккуратно развести их, то выплывает целый континент с перетекающими друг в друга разноцветными реками.

— Я не так тебя воспитывал, — рявкнул над ухом. Континент погиб.

— Ты меня вообще не воспитывал. Твой любимый ребенок — водка, а пиво — жена. Или муж. Средний род. Муж, выходит.

— Маленьким ты был таким хорошим...

— Ой, ну начинается. Отстань, а?

— Это все ее влияние. Это она настраивает против меня. Ты мой сын, ты должен быть на моей стороне, ты должен...

— Ничего я тебе не должен! Ты деградируешь! Я ненавижу тебя! Ненавижу! Ты даже обещание не в состоянии исполнить! Обещал выпилиться, и что? И где? Почему ты еще здесь? Почему дышишь? Почему приходишь сюда? Почему мучаешь нас?

— Это все она! Она! Ты не можешь так думать, не можешь так говорить, я же твой отец...

— Сдохни. Просто сдохни, — сказал Максат и ушел к себе в комнату, клацнул щеколдой, выставил музыку на максимальную громкость, и все равно слышал, как этот ломился в дверь и угрожал выбить. Не выбил. Затих через час-полтора. Максат выписал формулы на ускорение свободного падения тел, прочитал тему раз-другой, но так ничего и не запомнил. Выключил музыку, взгляделся в текст. «Идеальное свободное падение возможно лишь в вакууме, где нет силы сопротивления воздуха, и независимо от массы, плотности и формы все тела падают одинаково быстро». Идеальное свободное падение. Только в вакууме. А они не в вакууме, потому и падают

так не идеально. Утягиваются под воздействием других объектов. Обмотанные толстой веревкой по рукам и ногам. А шея в петле. Дернешься, и шею сдавит сильнее — не продохнуть. Не дернешься — уйдешь на дно, растворишься в общей статистике, и какая-нибудь класснуха объявит патетично у доски: «Среда делает нас теми, кто мы есть».

А если ускорить это свободное падение, но задать иной вектор? Тогда он войдет в другую статистику, станет хуже. И мама будет плакать, а соседи и родственники шептаться, но зато голем будет повержен, они — свободны, пусть и относительно. Относительно голема — уже ведь хорошо. И никто больше не ударит маму. Никогда. Потому что любому отгрызет руку по самый локоть. Потому что только в первый раз будет страшно. Или нет?

Максат глотнул воздуха и закашлялся. Не хватило, не туда пошло, заблудилось. Сдавило в груди и кольнуло. Он всхлипнул и стек на пол, свернулся, подтянув колени к носу. Знобило. Колыхались пенной грязной водой мутные мысли, зудели комариными расчёсами, убалтывали. Нет, отвечал им. Нельзя. Не так. Я не хочу. Не хочу быть таким. Потерпеть. До выпуска потерпеть, поступить в российский вуз и уехать. И всё. И больше никогда. А мама? Как же мама? Как же она с этим одна здесь? Одна. Пока смерть не разлучит. Чья?

Он заскулил и тут же прикусил щеку. Прислушался. Тихо. Посмотрел на часы — скоро придет мама. Может, повезет и этот будет спать до утра, а утром уйдет на смену? Хмыкнул. Ага, как же, размечтался. Найдет, к чему прицепиться. Хотя бы не к засохшим цветам на балконе.

Поднял себя, сгонял на кухню, набрал воды в баклажку от ополаскивателя, вышел на балкон — этого там не оказалось. Вдохнул бы с облегчением, но игла так и сидела в груди, и дом соседний нависал окнами, придавленный свинцовым небом, все не решившись — рыдать или не рыдать, обрушиваться или не обрушиваться. Максат полил цветы, оставил баклажку и вернулся в комнату, проверил шеколку — порядок. Бухнулся на кровать, завернулся в одеяло и заснул. Сквозь сон ответил маме, что все нормально, уроки сделал, пообедал, нет, ничего не беспокоит.

Беспокоит. Мысли беспокоят. Плохие мысли. Пристали грязными листьями к подошвам кедров, проникли в дом, налипли на стены и множатся-множатся, расползаются, заполняют собою все. Как бы избавиться от них, содрать со старыми обоями и сжечь? Но едкий дым отравит, едкий дым сообщит всем, едкий дым не спрятать. Нельзя сжигать, пусть и хочется очень. Но как же тогда? Как?

Максат метался на кровати и хрипел. Раскрывался, когда жар выжигал изнутри, и дрожал, когда игла, засевшая в груди, разрасталась, и вот уже сотни, тысячи иголок прошивали тело холодом, и колючими кусками льда раздирали горло. А издали, через завесу метели доносились крики, что-то гремело и взрывалось и звенело, разлетаясь. Он хотел встать и посмотреть, но глубже проваливался в горячий снег, и горячее жгло веки, текло по щекам, пока пустота с раскатами грома не обрушилась черными квадратами.

По подоконнику кто-то ходил. Громко и часто. Стучался настойчиво в окно. В детстве Максат воображал, что это огромный монстр в чернильном балахоне, под которым только тьма, и эта тьма подмигивала с той стороны оранжевыми глазами: блик-блик, блик-блик. Просилась внутрь, когтями-ветками отстукивая по стеклу. Максат знал, что нет там никого, это не тьма в балахоне, а дождь и ветки. Знал и проскальзывал в родительскую спальню, устраивался между мамой и папой и старался

не смотреть в темный угол — вдруг вспыхнут там оранжевые глаза и ему придется защищать маму, а тьма сильная и опасная.

Вот и сейчас темноту разбавляла только настольная лампа. Максат поднялся. Выходить из комнаты не хотелось. Но надо было попить и не только. Зря так рано лег. Как бы не встретить кого.

Не встретил. Щелкали часы, отбивая время. Темный коридор упирался в кухню, перерезаемый распахнутой дверью туалета. Там горел свет. Максат замер, прерывисто втянул воздух. Чего он, в самом деле? Может, там и нет этого. Этот, наверное, свет забыл погасить и дверь закрыть, этот спит. Должен спать. Пожалуйста, пусть спит.

Максат прошел по коридору, выглянул из-за двери на кухню и попятился. Ноги в стоптанных тапках. В одном тапке. Второй под столом — рядом с рукой. Верх в черноте. Не видно. Отрублен тьмой. Послышался стон. Не отрублен. Максат перешагнул ноги, дотянулся до выключателя, нашарил дрожащими пальцами, потянул вниз. Зажмурился. Посмотрел вниз и снова зажмурился, помотал головой, ущипнул себя за бедро. Не снится. Совсем нет. Этот лежит, скрючившись, прижал кулак к груди, выкатил белки глаз и стонет задуманно. Вот так. Вот так вот просто? Кто-то засмеялся. Максат вздрогнул и оглянулся — никого, так же темен коридор. Но кто-то же смеялся. Он. Это он сам. Понял, ощутив свое лицо — губы растянуты от уха до уха. И подтряхивает. От смеха и слез. Размывают, искажают.

Так не годится. Он смахнул их, растер. Присел на корточки возле тела. Протянул руку и отдернул. Встал, покачнувшись. Выключил свет, зашел в туалет, сделал свои дела, помыл руки и пошел спать. Просто. Вот так просто. И не надо ничего делать. Делать ничего не надо, и все будет сделано. И он ни при чем. Как будто. Не виноват. Это не он, оно само. И будет хорошо. Будет замечательно. Он же этого и хотел, нет?

Выудил из кармана джинсов телефон. Три двадцать три. Смахнул ухмыляющийся череп. Вдавил цифры. Гудок. Щелк.

— Алло, скорая?

---

*Александр Гальпер*

## Побег из зимы

*Рассказ*

### *Бруклин*

Той зимой замело Нью-Йорк серьезно. Метровые сугробы. Собес направил меня по бруклинским хосписам с проверкой, как расходуются городские деньги. Я интервьюировал пациентов о качестве обедов и ужинов и вечерней развлекательной программы. Как будто это имело большое значение! Каждый месяц список моих клиентов обновлялся за счет естественной убыли процентов на двадцать. Еще вчера с ним играл в шахматы или она показывала мне фотографии внуков, и вот и всё.

Нью-Йорк не был готов к такой суровой зиме, и подходы к хосписам полностью замело. Однажды вечером я поскользнулся на обледеневших ступеньках, покатился вниз и упал в сугроб. Я лежал там минут десять и даже не предпринимал никаких попыток выбраться. Я смотрел на луну и думал о полной бессмысленности и никчемности своего существования. Подумать только. Я мог погибнуть, выходя из хосписа. Отсюда и так выходят только вперед ногами! А я как бы это подчеркнул еще! Какой абсурдный конец! Я лежал в снегу и представлял себе крохотный солнечный остров Мауи, затерянный в Тихом океане, где живет мой друг детства Паша Караимов, окруженный красивыми молодыми женщинами, где не бывает холодов, все счастливы и никто никогда не умирает.

Паша был уникальной личностью. Окончил театральное училище. Красив как бог, умен. Такие в романтических фильмах играют главные роли. Какую женщину он бы ни желал, все падали в его объятия. Если он устраивался на работу продавцом, то у него, как пирожки, улетали стотысячные мерседесы или двухсоттысячные картины с его пятипроцентными комиссионными. Паша мог бы запросто стать миллионером. Но если бы бог дал Паше все, то у бога была бы серьезная конкуренция. Проблема Караимова заключалась в том, что он был неисправимым алкоголиком и наркоманом. Не было на свете гадости, которую бы Паша не попробовал. Сколько бы денег он ни зарабатывал, он все на следующий день пропивал или пронохивал. Своих самых замечательных красавиц он терял еще быстрее, чем добивался. Изменял с их подругами и сестрами или, когда входил в запой, вообще забывал, что они существуют. Но это еще цветочки. Он не чтит самого святого. Уголовный Кодекс. Однажды он

---

*Александр Гальпер* — прозаик, поэт. Родился в Киеве в 1971 году и в возрасте 18 лет эмигрировал с родителями в Америку. Окончил литературный факультет Бруклин-колледжа. Книги стихов и прозы выходили в России, США, Германии и Швеции. Финалист премии «Нонконформизм». Пятнадцать лет работает в Нью-Йорке социальным работником.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 9.



плюнул полицейскому в лицо, когда тот в метро хотел забрать его бутылку водки. Получил за этот подвиг полгода тюрьмы. Еле его отбили от депортации. В общем, Караимов был сложным человеком, и я после того, как в очередной раз попал из-за него в полицию, дал себе слово не иметь с ним никаких дел. Когда Караимов вышел, то решил, что с него хватит этого диктаторского Нью-Йорка и отправился покорять мир. Все его друзья вздохнули с облегчением.

Я уже третий месяц жил с Кассандрой, со своей начальницей отдела в собесе. Ее привезли в возрасте шести лет с Гаити и она окончила Гарвард, факультет «Французский язык и литература». Я, конечно, понимаю, что я поэт и люблю всех женщин мира, но надо было думать головой, а не членом, когда делаешь комплименты начальнику своего отдела. Я это делал, конечно, не для секса, а чтобы укрепиться на работе. Вот и укрепился. Намертво. Когда я с Кассандрой заговорил о Стендале, она в меня влюбилась. Кассандра думала, что она в Нью-Йорке единственная, кто читал «Красное и Чёрное». Но это были еще цветочки. После первого секса выяснилось: несмотря на то, что ей было тридцать два, она была девственницей, и я стал ее первым мужчиной. Для меня, оказывается, она себя хранила всю жизнь. Ее отец был известный католический-вуду священник, и она не собиралась разменивать свои чувства на недостойных. Когда я осознал свое первопроходство, то понял, что влип серьезно. Нельзя было сбежать, исчезнуть, перестать отвечать на звонки. Мы сидели рядом на работе. Она подписывала мне зарплатные ведомости и премиальные. Это была судьба! Можно было только уволиться и вернуться таксовать в ночные смены. Этого тоже не очень хотелось. Тупик! При мысли о том, что Кассандра может в любую секунду от меня забеременеть, меня начинала бить дрожь.

О Пашиных приключениях можно было прочесть в газетах. В штате Джорджия он в частном заповеднике ухаживал за дикими животными. Его уволили после того, как пьяным он забыл закрыть клетку, и львы разбрелись по всей округе. Он уснул у входа в клетку, но его хищники не тронули. Только облизали любимого уборщика со всех сторон. Львицы тоже его любили. В ту ночь во всем штате Джорджия хорошо спал лишь он один. В Сиэтле он продавал русских авангардных художников, и у него покупали, но потом выяснилось, что таких художников никогда не было и не было даже понятно, кто картины нарисовал. Возможно, сам Паша. В Лас-Вегасе он продавал кокаин китайским гомосексуалистам. В Сан-Франциско читал стихи и пел в хеви-метал группе. Отовсюду он мне звонил и приглашал к секбе погостить. Я категорически отказывался. Я еще с ума не сошел. Отовсюду он ночью бежал без копейки денег, чтобы сохранить жизнь или свободу, или здоровье. Конечно, моя жизнь была тоскливой по сравнению с его, но, во всяком случае, меня никто не хотел убить или посадить. У меня была крыша над головой, и я знал, когда в следующий раз покушаю. Возможно, я был слишком параноидальным. За что я, собственно, так держался?

Дополнительно к работе в собесе Кассандра сдала экзамен на банковского нотариуса, и я ее возил после работы по бизнесам и квартирам. Она заполняла за хорошие деньги документы на банковские кредиты и ипотеку. По вечерам в постели она доставала учебник по иудаизму, а мне всовывала огромную и страшную книгу «Как сдать экзамен на банковского нотариуса» и заставляла ее изучать. Когда я отказывался читать эту финансовую абракадабру, она возмущалась, рыдая: «Я ради тебя готова принять иудаизм и стать настоящей еврейкой, а ты даже не готов пойти на такую мелочь, как стать банковским нотариусом? Чем мы будем кормить наших детей? Твоими стихами?» Сама она с неистовством прилежного раввина изучала книги по иудаизму. Зная ее упорство, я понимал, что иудаизму не устоять. После того как она

станет еврейкой, она может со спокойной совестью знакомиться с моей мамой. Это было единственное, что стояло между нашей свадьбой, с ее точки зрения. Я осознал, что после того, как она примет иудаизм или забеременеет, моя жизнь кончится. Я лежал ночью в постели с открытыми глазами и думал. Что я делаю в этой постели? Кто я? Русский? Американец? Еврей? Чернокожий гаитянец? Я безнадежно запутался.

Паша прилетел на Мауи, самый красивый из Гавайских островов, рано утром. Денег у него никогда с собой не было. Он искупался в теплой водичке, зашел на пляже в телефонную будку и стал листать местный справочник. Нашел телефон приюта для людей с домашними животными, которым нигде было жить. Ни кошки, ни собаки, ни даже мышки у Караимова не было. Он вышел из будки и закурил. Тут он увидел ползущую черепаху. Вот оно, животное!!! Он за ней погнался, но черепаха проворно прыгнула в океан и уплыла. Паша вышел на берег расстроенный. Черт возьми. Удрала. Он стал листать справочник дальше. Католический реабилитационный центр для бывших алкоголиков. Паша вырвал листок с адресом и вышел из будки.

Мое падение по ступенькам в сугроб увидел из окна своей комнаты один из моих клиентов. Он собрал других пациентов хосписа (тех, что могли ходить), и меня занесли внутрь. Подумать только. Меня, молодого и здорового, спасают люди, которые уже одной ногой на том свете. Хорошо еще, что меховая шапка смягчила удар по голове. А то я бы встретился с ангелами гораздо раньше моих клиентов. Как низко я пал! Что пошло не так в жизни моей?

Паше с его харизмой и артистизмом не составляло труда убедить директора католического центра — отца О'Нила — в том, что он бросил пить и ему нужна помощь. Ему немедленно дали одну из самых лучших комнат с видом на океан. Через месяц Караимов уже был ассистентом преподобного отца. Его любили как брата все бывшие католические и не очень католические алкоголики. У него появилась в городе гавайская аборигенка-герлфренд. Казалось бы, вот оно, счастье! Бесплатное жилье с видом на океан, питание. Есть знойная женщина. Наслаждайся жизнью. Но Паша впал в депрессию. Ему не хватало русских и русских стихов. В его голове созрел план. Паша рассказал отцу О'Нилу, что у него в Нью-Йорке есть друг-поэт в последней стадии алкоголизма, и их долг перед человечеством — спасти этого гения от бесславной смерти. О'Нил мне лично позвонил и пообещал бесплатное питание и комнату с видом на океан и вулкан еще лучше, чем у Паши. Меня в аэропорту будет ждать их автобус с цитатами из Пушкина на русском. Я положил трубку. Все звучало, конечно, очень хорошо, но Паша, Паша, Паша!!! Сколько раз он втягивал меня в какие-то передраги, сколько раз я попадал в неприятности из-за него и клялся, что никогда в жизни с Пашей иметь дело не буду. Я погуглил в интернете преподобного отца О'Нила. Бывший американский десантник, ныне теолог и доктор богословия. Известен работами о том, как добрыми молитвами и духом Иисуса из Назарета можно спасти грешников от адских щупалец алкоголизма и наркомании. Даже сам Папа Римский где-то о нем что-то хорошее сказал. Отец О'Нил, конечно, был серьезным человеком. Но не Паша! Проблема в том, что Паша не бывший алкоголик. А вполне настоящий и на высшем пике активности. А может, райский климат и беседы о боге изменили Пашу? Может, я слишком строг к своему старому преданному другу, который обо мне так заботится?

Больше всех моим падением огорчилась Кассандра. Она все время плакала. Слава богу, все обошлось ушибами и ссадинами. Тяжелая зимняя одежда смягчила удары. В больнице Кассандра быстро всех построила. Ко мне подходили только

лучшие русскоязычные врачи. Дома окружила меня любовью и заботой. Не позволяла ничего делать. Но самое главное, она выбила мне от города «производственную травму». Это означало месяц полной зарплаты и на работе появляться не надо. Хотя государственная работа и мало оплачивается, но полная зарплата немного облегчала страдания и давала возможность строить планы.

В понедельник утром Кассандра поцеловала меня в забинтованную голову, положила нотариальный учебник возле кровати и сказала перед уходом на работу:

— Ну, слава богу, у тебя теперь будет, наконец, время подготовиться к этому тесту. Соберись! Я отменила все визиты. Вечером у меня для тебя важное объявление.

Дверь захлопнулась. Какое, к черту, важное объявление? Она беременна тройней? Она уже сдала тест в синагоге и теперь считается не чернокожей католической-вуду гаитянкой, а чистокровной настоящей еврейкой? Считается кем? Мной? Моей мамой? Богом? Раввином той синагоги, которой она пожертвует деньги? А раввин другой синагоги через дорогу не будет считать! Меня охватила паника. Бежать! Бежать, пока не поздно! Сегодня, может, последний шанс. Хоть на край света. Что угодно, только не это! Я схватил телефон:

— Паша! Спасай! Я сегодня вылетаю.

— Ну, наконец-то решился. Слава богу! Жду!

Я положил трубку. Одного Пашу предупредить недостаточно. Надо не забывать, что имеешь дело со знаменитым Караимовым. Я взял телефон опять:

— Отец О'Нил! Я созрел, чтобы наконец-то бросить эту водку. Алкоголь никого ни до чего хорошего никогда не доведет. Вот недавно упал под градусом. Если бы не моя меховая русская шапка, мог погибнуть. Надо бросать. Автобус с цитатами из Пушкина на русском совсем не обязательно. Та комната с видами на вулкан и океан еще есть? Да, сегодня вылетаю. Увидимся через пару дней.

Я быстро сложил чемодан. Тот чемодан, с которым я заехал к Кассандре три месяца назад. Вышел в интернет и взял билет. Прямых на Мауи не было, а даже и не прямые были на сегодня в три раза дороже. Но кто уже смотрел на цены? Потерявши голову, о волосах не плачут. Промедление было смерти подобно. Кассандра могла взять полдня выходных, чтобы побыть с больным женихом. Я вызвал такси и вышел из дому.

### *Квинс, Аэропорт имени Кеннеди (Нью-Йорк)*

Очередь на регистрацию рейса Нью-Йорк — Чикаго растянулась на весь терминал. Ну почему эти люди так медленно двигаются? Я стоял и оглядывался по сторонам. Если сейчас сюда явится Кассандра, устроит скандал и заберет домой, будут ли силы сказать ей, что я не поеду? Не уверен. Чувствую себя опустошенным. Кассандра, наверное, сейчас еще на работе. Или стережет меня под маминой квартирой? Сотовый на всякий случай отключил.

Как же это все началось? Как-то я и Кассандра задержались в офисе до позднего вечера. Я из вежливости предложил подвезти ее домой. Конечно, по всем городским инструкциям начальница должна была отказаться, но неожиданно согласилась. Потом я так, для проформы, предложил перекусить в итальянском кафе. Не возражала. Выпили там по бокалу вина. Потом я подвез Кассандру к ее дому. Мы сидели в машине и болтали о Стендале. Я увидел, как она открыла свою сумочку и начала в ней копаться. Она достала газовый баллончик, я перепугался. Неужели она могла подумать, что я сейчас начну ее насиловать? Она бросила баллончик назад. Не то! Достала Библию и начала читать молитву на креольском. Я смотрел как загипнотизированный и ничего не мог понять. Она закрыла Библию, бросила ее в сумку, притянула меня за шкирку и страстно поцеловала в губы.

Пройдя таможенную, я вздохнул с некоторым облегчением. Сюда она, конечно, не пройдет. Но она, конечно, такая, что не пожалеет тыщи долларов, чтобы купить билет и со мной здесь разобраться. Ну, все равно немного можно расслабиться. Я купил в баре виски со льдом. Почему жизнь такая сложная штука? Я позвонил Паше и О'Нилу опять. Все было нормально. Меня ждут! Тут я понял, что в спешке забыл взять зарядку для телефона. Через несколько часов он умрет!

Когда-то я присутствовал в картинной галерее, где Паша работал продавцом. Зашла японская миллионерша. Караимов стал ей говорить, как на этой картине видно архангела Михаила, если посмотреть слева, а справа видно дьявола, а если снизу лечь, то видно самого господа бога. Паша лег на пол и стал говорить, что сейчас видит Его Самого. Миллионерша легла рядом с ним посреди людного зала. Кончилась тем, что она купила эту картину за восемьдесят тысяч долларов, и эту ночь Паша провел у нее. Через три дня пьяный Паша разбил ее стотысячный корвет и сбежал на месяц (позволил себя украсть) в Пуэрто-Рико с богатой пуэрториканкой, подружкой японки.

Когда самолет поднялся в воздух, я вздохнул с облегчением. Прощай, Нью-Йорк. Прощай, зима! Что бы там ни было дальше, эта страница моей жизни перевернута. Может, конечно, сейчас выяснится, что плохая погода или поломка. Или Кассандра заявила, что я террорист, и самолет вернут, а может, все обойдется, и следующая серия моего фильма обо мне будет снята в моей голове. Я уже другой человек! Теперь, даже если Кассандра появится, я буду сильнее. Я скажу ей, что я думаю. Я скажу ей, что я ее не люблю.

### *Международный аэропорт О'Хара (Чикаго)*

Чикаго встретил снегами еще большими, чем в Нью-Йорке. До следующего рейса Чикаго — Сан Франциско было восемь часов. В Чикаго были и друзья, и знакомые, но как до них добраться через весь этот снег? Впрочем, и видеть никого не хотелось. Что им сказать? Кто я? Куда я направляюсь? Зачем? Я попробовал уснуть в зале ожидания. Не получилось. Я лег на пол. Пришел полицейский и поднял. Я позвонил О'Нилу и Паше и сказал еще раз точное время моего прибытия. Они велели ни о чем не волноваться и благополучно долететь. Телефон безнадежно и окончательно умер. Теперь он оживет только на Мауи. Теперь он оживет только в Раю. Так же, как и я! Позвали на посадку. На регистрации провели мой паспорт через компьютер. Что-то завизжало. Подбежали менты и утянули в кабинет:

— Ваша невеста подала заявление о вашей пропаже.

— Да ничего я не пропал.

— Она предполагает, что вы были похищены русской мафией.

— Что за бред? Ничего я не пропал. Все в порядке. Я ничего незаконного не делал.

Я опоздаю на свой рейс! Можно идти?

— Вы не хотите позвонить вашей невесте и сообщить, что с вами все в порядке?

— Нет.

— По закону мы должны ей об этом сообщить. Что с вами все в порядке, вас никто не похищал и вы едете по собственной воле.

— Говорите, что хотите.

— Извините, пожалуйста. Мы должны были вас об этом спросить. Вы свободны и можете дальше проследовать на свой рейс.

Последний мост был сожжен.

### *Международный аэропорт Сан-Франциско (Калифорния)*

Северная Калифорния встретила полным отсутствием снега и прохладным ветерком. Это, конечно, еще было не лето, но уже не зима. Не знаю, что будет дальше, но уже тепло. Теплый воздух внушал оптимизм. Что будет дальше? Что будет, когда закончатся деньги? Что будет с моей жизнью, которая дается один раз?

День рождения Самуэля — отца Кассандры. Он известный священник и видный общественный активист. Большой дом в глубине бруклинского района Флэтбуш. Человек пятьдесят гостей. Члены горсовета и сената штата Нью-Йорк. Мы сидели за столом, покончив с курицей с бананом, и попивали ром. В столовой фотография Самуэля с мэром Нью-Йорка. Вокруг в основном говорят на креольском. Самуэль заводит меня в кабинет. Он хочет со мной поговорить один на один:

— Алекс! Ты хороший парень. Моя дочка тебя очень любит. Я вижу, почему.

— Спасибо. Кассандра замечательная!

— Я боялся, что она никогда себе никого не найдет. Она такая серьезная с детства была. Как тебе этот ром?

— Очень приятный!

— Ты знаком с Флэтбуш хорошо?

— Ну конечно. Я там работаю, хожу по собесовским делам. Я даже здесь окончил Бруклин-колледж.

— Ну, в общем, этнический состав тут интересный. Кассандрочка говорит, что ты готовишься сдать на финансового нотариуса.

— Да, пытаюсь. Тяжело идет.

— Вот сдашь — познакомлю тебя с гаитянскими бизнесменами. Я прослежу, чтобы все о тебе знали. Работы у тебя будет много. Познакомишься еще ближе с людьми. Ну а через пару лет после свадьбы будем тебя выдвигать в горсовет от нашего района. Афро-гаитянский-еврейско-русский Флэтбуш. Кто, если не ты? За тебя будут голосовать все! А потом можно и о сенате всего штата подумать. Только это будет, когда вы мне подарите первого внука.

— Ну что вы? Я никогда не думал о политике, мистер Самуэль.

— Вот в этом твой плюс! И не называй меня «мистер Самуэль». Называй меня просто «папа».

Кончилась моя политическая карьера, даже не начавшись. Может, вернуться в Нью-Йорк, повалиться Кассандре в ноги и просить прощения? Я уже начал к ней привыкать. Кажется, мне ее уже будет не хватать.

### *Международной Аэропорт Лос-Анджелеса (Калифорния)*

Здесь было еще теплее. Цвели пальмы. Я уже не спал трое суток. Все плывет перед глазами. Рейсы по Америке короткие, два-три часа. Между рейсами тоже не поспишь — можно проспять свой самолет. Да и неудобно. Телефон мертв. Можно пойти, конечно, поискать зарядку. Ну, на Мауи я уже звонил сто раз. Зачем людей тревожить? О'Нил человек в высшей степени надежный.

Когда подлетали к Лос-Анджелесу, увидел яхты. За последние двадцать лет я только один раз катался на яхте. Это было как раз на Пашиной «Че Гевара».

Пашу взяли работать в подозрительную благотворительную организацию «Морской воздух — детям!» Его посылали к миллионерам уговаривать пожертвовать

организации свои яхты. Паша проникновенно и артистично рассказывал богачам, как бедные дети задыхаются в пыльных городских трущобах, как они получают астму и как их благородная организация устраивает этим детишкам регулярные прогулки на яхтах. Миллионеры, и особенно их жены, начинали рыдать и отдавали свои яхты бесплатно или за символическую цену. (Часто это сопровождалось еще и любовными приключениями с их женами.)

Паша с хозяином организации выходили в море, перекрашивали яхту, меняли документы и быстренько ее продавали в целости или на запчасти. Бедные дети бетонных джунглей продолжали успешно дышать угарными газами.

Но потом хозяин вообще обнаглел и стал давать рекламу своей организации на радио и телевидении. К ним в офис нагрянула проверка, и всех арестовали. Я там работал только первый день водителем. Называется, Паша за меня замолвил словечко! Продержали сутки в отделении, разобрались и отпустили. Что было бы, если бы я там проработал неделю? Месяц? А Паша в тот момент уже неделю как был в запое и не выходил на работу. Излишне говорить, что ни в каких документах он тоже не числился. Вот что значит, человек родился счастливым. В результате все схлопотали хорошие сроки, кроме Паши. Караимов же получил небольшую яхту, которую он скромно назвал «Че Гевара». Ни одна интеллигентная и прогрессивная девушка в Нью-Йорке не могла отказаться покататься на такой лодке.

### *Международный Аэропорт Гонолулу (Гавайские острова)*

Здесь было жарко. Когда самолет через три дня в три утра приземлился в Гонолулу, я был уже зомби от недосыпания или, скорее, бессонницы. Я наконец-то сделал какой-то шаг к изменению моей жизни, а не просто ныл. Паша меня меняет как человека. Поскорей бы добраться. Где мой автобус с Пушкиным? Где моя комната с видом на океан? Завалюсь сейчас спать на дня три!!! Может, взять гостиницу возле аэропорта в Гонолулу и хорошо отоспаться? Мауи никуда не убежит. Ну а как же встречающие? Так их подвести. Особенно божьего человека О'Нила. Они готовились, ждали. Ладно, помучаюсь. Не умру!

Между островами здесь курсировали даже не самолеты, а, скорее, воздушные такси. Легкие и маленькие допотопные кукурузники. Через дырки в полу виден океан. Полет всего двадцать пять минут. Какая-то романтичность есть в этих крохотных островах, затерянных в океане. Скоро я уже увижу Пашу. Не видел его целых два года.

### *Капалу Аэропорт (Мауи, Западная Полинезия)*

Три часа утра. Сарай здания аэропорта закрыт до восьми утра. Нас сгрузили с воздушного такси-кукурузника. Всех пассажиров разобрали встречающие на машинах. Пилот закричал, что наши чемоданы задержались в Гонолулу и он их привезет завтра. Самолет взял новых пассажиров и улетел. Аэропортовые огни погасли. Следующий рейс будет только завтра днем. Я остался один на взлетном поле. Никого и ничего больше нет в районе километра. Что-то точно случилось. Нет ни Паши, ни О'Нила, ни автобуса с Пушкиным. Самолет прибыл точно по расписанию в тот аэропорт, что я им сказал. Я застыл в зимнем пальто и меховой шапке один на темном огромном поле возле закрытого тропического аэропорта. Совсем один. На крохотном острове, затерянном посреди Тихого Океана. На планете Земля. Где-то вдалеке пыхтел вулкан.

Непонятно, что делать. Я снял пальто и засунул ушанку в рукав. Это была типичная моя ситуация. Оказаться непонятно где и непонятно зачем. Ну, сейчас уже думать было поздно. Надо было принимать реальность как есть. Можно было лечь спать прямо на лётном поле, чтобы прямо на меня утром приземлился самолет.

Я стянул свитер и засунул его в другой рукав пальто. Медленно пошел по ночной проселочной дороге. Светила луна, где-то вдалеке за десятки километров выбрасывал пепел злой вулкан Халеакала. Захотелось опять окунуться в свою память и что-то вспомнить, но усталый сонный мозг отказывался. Прошлого больше не было. Ноги еще шли автоматом, а голова уже не работала. Через минут сорок за горой прямо на трассе я увидел круглосуточный пункт аренды машин. Не все так плохо здесь. Не все так безнадежно! Из любой ситуации есть выход!

На счету оставалось \$500 после всех этих дорогих авиабилетов. За неделю аренды автомобиля взяли \$450. Следующая получка перейдет на мой счет через две недели. Как-то я совсем не ожидал, что на Мауи придется тратить свои деньги. Был уверен, что автобус будет встречать с «Я памятник себе воздвиг нерукотворный!». Машина поскакала по дорогам Мауи. Навигатор показывал дорогу к католическому центру. Он назывался «Да здравствует жизнь!». Оптимистично! Луна висела над дымящимися угольками вулкана Халеакала. Я давал себе пощечины за рулем, чтобы не заснуть.

Через полчаса я стал подъезжать к этой оптимистической радости. Где-то он должен был быть здесь среди береговой линии, океана и кокосовых деревьев. Вдруг кто-то выскочил на дорогу прямо перед машиной и упал. Я еле успел затормозить. Злой как черт, я бросился к лежащему. Узкоглазый чел был в дребадан пьяный и храпел. Иногда его лицо расплывалось в улыбке и он бормотал: «Паса-сан! Воска гуд!». Что-то мне это не нравилось. Паша! Я аккуратно обогнул китайца и поехал дальше. Через пятьдесят метров я увидел бродящих людей с факелами, поющих «Сшумел камыс». Сомнений не оставалось. Паша что-то натворил.

Я остановился у входа в лечебницу. Ощущение, что здесь происходили военные действия. Везде валялись пьяные или ползали бывшие алкоголики, которые явно были не бывшие. Пахло едким дымом. Я закричал: «Паша! Паша! Ты где? Отец О'Нил!! Это я, Алекс! Я приехал!»

Я увидел, как сквозь дым в темноте ко мне бежит фигурка, похожая на Караимова. Он заскочил в машину, захлопнул дверь и крикнул:

— Алоха, Саша! Уебуем отсюда немедленно!

— Паша! Ты не понимаешь. Я летел сюда четверо суток. Мне надо поспать. Где моя комната?

В этот момент я услышал выстрел. Пуля разбила водительское смотровое зеркало. Я увидел отца О'Нила, бегущего к машине с ружьем и целящемуся уже в меня. Я дал газ и услышал, как О'Нил крикнул нам вслед:

— Вы все, русские, бандиты и мафия! Вы все обманщики! Что вы наделали, звери? Я вас найду на Мауи и задушу собственными руками. Обоих!!! Вы отсюда живыми не выберетесь!

Мы гнали по ночной проселочной дороге:

— Паша! Что случилось?

— Ну, я купил ящик водки, чтобы отметить твой приезд. Ну, сам начал и обломал всех в лечебнице меня поддержать. Ты же знаешь, мне отказать невозможно.

— Ты сумасшедший! Ты же их всех споил! Это же бывшие алкоголики! Им же ни грамма нельзя! Что ты наделал? Я сюда ехал в свою комнату, чтобы загорать на пляже и кушать фрукты бесплатно.

— Извини. Я не хотел! Так получилось. Я так рад, что ты приехал!

Ну вот что теперь делать? Плакала моя комната с видом на океан и вулкан. Я на этом острове только два часа, а меня уже бывший десантник с ружьем хочет убить. Великолепно! очередной раз Паша втянул меня в авантюру. Если я выберусь с этого проклятого острова живым, я больше никаких дел с ним не имею. Все, точно никаких. Клянусь богом!

### *Побег из лета*

Я проснулся в зарослях под пальмой. Ныла нога. Под глазом чернел фингал. Паша соблазнил какую-то местную аборигенную красавицу, и ее бойфренд с друзьями подкараулили нас и побили.

Вот уже месяц я жил с Пашей на Мауи. После того, как я сдал машину, мы ночевали на песке на пляже и питались в Макдональдсе. Мне перестали платить больничные, потому что я не пошел на переосвидетельствование к врачу в Нью-Йорке. Жить было не на что. Что дальше? Беспробудное пьянство? Паша еще спал, возле него перекачивалась пустая бутылка. Он даже побитым умудрился напиться? Я похромал вниз с горы в Макдональдс и открыл свой имейл. Письмо от Кассандры.

«Любимый!

Это письмо я пишу тебе по-русски. Ну, я, конечно, показала моей русскоязычной подруге, и она сделала исправления. Я начала изучать русский, когда ты так внезапно исчез, и я поняла, что я сделала что-то не то. Я говорила с твоей мамой и даже тетей Идой. Они мне сказали, что ты на Мауи в Южной Полинезии. Мы все очень за тебя переживаем. Мама спрашивает, хорошо ли ты там кушаешь и тепло ли одеваешься. А Ида Исааковна интересуется, к какой ветви иудаизма принадлежат аборигены. Не потерянное ли они колено Израилево? Еще я хожу в синагогу и готовлюсь к экзамену, чтобы стать полноценной еврейкой. Извини меня, пожалуйста. Ты мой первый мужчина, и я на тебя наложила большую ответственность. Я знаю, что могу быть как танк, и я обещаю исправиться.

Если ты не выйдешь на работу в этот понедельник, ты потеряешь эту государственную работу и никогда не сможешь получить другую. Даже я ничего не смогу для тебя сделать.

Я взяла тебе билет назад в Нью-Йорк из Мауи на эту субботу. Жду. Целую. Твоя жена в глазах божьих Кассандра. Буду встречать в аэропорту.

P.S. В Бруклине уже потеплело. Снег весь растаял. Скоро в нашем Бруклинском Ботаническом саду зацветут сакуры. Ты еще помнишь, как мы там гуляли? И еще мой папа, ты его помнишь? Вуду-священник! Он передает тебе привет!»

Я вышел из Макдональдса, зашел по колено в воду и задумался. В воде плескались разноцветные рыбки. Где-то вдалеке пыхтел живописный гогеновский вулкан. Что мне до этих красот? Вот уже месяц я здесь. Я предполагал, что там, в заснеженном Бруклине, в собесе и хосписах, был ад, а здесь, на Мауи, будет рай. А сейчас в этом экзотическом раю я живу на песке или в зарослях под пальмами, меня побили какие-то опереточные, но вполне реальные аборигены. А есть ли вообще он, этот рай? Какое здесь на Мауи будущее? Беспробудный алкоголизм с Пашей? Когда я в последний раз мылся с мылом и спал на человеческой кровати с простыней? Да я и сам стал стопроцентным бомжом!

Рейс будет через два часа. Успеваю. Я вышел из воды и подошел к таксисту, протянул ему двадцать долларов, что мне Паша дал на виски, и сказал: «Аэропорт Кахулуи».



Иван Купреянов

## Хороший год, хороший год, хороший

\* \* \*

От плоского ветра пустыни времён  
в гортани становится сухо.  
Хорошие люди уходят в себя,  
в такую *Норвегию* духа.

Бежит паровозик сквозь арку в скале —  
пузато, напористо, гордо.  
И горные тролли играют в футбол  
в коробке замёрзшего фьорда.

Раз в год Муми-троль из соседней страны  
заходит на чашечку чая.  
Вот так и живём, ис(с/к)ушения почв  
намеренно не замечая.

\* \* \*

Ещё тепло, но из-под облаков  
уже пошла высовываться осень.  
Я не таскал мешков её, кульков —  
а кайф такой, как будто нёс и бросил.  
Давно давны, волнам равно равны  
обэриуты ль, гусли-ль-перегуды.  
В деньках простуды мы прикреплены  
к самим себе в других деньках простуды.  
Мы как ботинки, в нас — особый шик!  
К подошве так, что век не оторвётся,  
союзку пришивает обувщик.  
Goodyear welted, это так зовётся.

---

*Купреянов Иван Сергеевич* — поэт. Родился в 1986 году в городе Жуковский. Окончил МГТУ им.Н.Э.Баумана. Автор трех поэтических сборников: «Априори» (М., 2010), «Перед грозой» (М., 2014) и «Стихотворения 2010-х» (М., 2020). Лауреат премии Антона Дельвига (2015). Один из основателей арт-проекта «Мужской голос», автор (совместно с Эдуардом Бояковым) серии спектаклей «Сезон стихов» на «Третьей сцене МХАТ» и др. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Москве.

От пальцев тень, собака на стене.  
Давным-давно, в деньки другой простуды,  
живая мама всё читала мне —  
и Хармса, и про гусли-перегуды.  
А я сопел, я хрюкал, я смотрел  
на куст жасмина, за окошком росший.  
Ах, обувщик, — ты злой ботинкодел...  
Хороший год, хороший год, хороший...

\* \* \*

Думаю много часов подряд,  
но голова пуста.  
Если сияют, а не горят, —  
в этом и красота.  
Без говорения через рот  
прочих немало средств.  
Так понимание отдаёт  
старославянский текст.  
Очень отсутствие наготы  
вязко и горячо.  
Если умеешь летать не ты,  
кто же тогда ещё?  
Разве основа всего вокруг  
сонная красота  
точного знания губ и рук,  
бёдер и живота?  
Было и не было. Хлеб и сыр.  
Дымные образа.  
Бог, ведущий прямой эфир  
через твои глаза.

\* \* \*

Разлипается сон, проявляется полка.  
Если птицы включились, — до рассвета недолго.  
Между мной и не-мной возникает граница:  
между тем, что приснится и что не приснится.  
Я пытаюсь, пытаюсь ухватить это нечто,  
сам в себя осыпаясь, как цемент или гречка.  
Это сильная точка, в ней рождаются страхи,  
в ней — ушедшие люди, работающие птахи.  
Я хочу объяснить этим птицам и людям,  
что они — это важно, и важнее не будет.  
Но всегда исчезает эта сильная точка,  
осыпается гречка, осыпается ночка.

Невозможная плотность секунд наступает,  
и часы на пропеллере стрелок взлетают.

\* \* \*

И тонкая кожа, и мягкая плоть —  
одежка дубовой коряги.  
Мы камень-и-дерево всё-таки, хоть  
и правят веками варяги.  
Мы помним — когда самый вырванный вой  
печёночной самой печали, —  
как влажное солнце в крови родовой  
древесные песни встречали.  
Древесные корни — пожить не дают,  
приличные ценности множа.  
Поэтому курят, поэтому пьют,  
Мамлеев поэтому тоже.  
Под гнётом бесчисленно вдавленных лет  
томится древесное где-то.  
Не знаю, мне радоваться или нет,  
когда прорывается это.  
Холодные травы ласкают туман.  
Разбуженный их ароматом,  
во мне просыпается бурый шаман  
творить заклинания матом.

\* \* \*

Мы живём и переводим дух  
на товары братского Китая,  
анархизму бабочек и мух  
диктатуру пчёл предпочитая.

Неужели в этом — красота,  
тайный смысл жизни на планете?  
Я спросил об этом у Христа,  
только Он пока что не ответил.

Что пчеле, что бабочке терять,  
от пыльцы полуденной пьянея?  
Безусловно, страшно умирать.  
Но, возможно, воскресать страшнее.

\* \* \*

Двухкопейка волшебная родом из СССР,  
земляки мы с тобой, и я тоже немного колдучий.  
Не купаться могу на заливе претензий и ссор,  
не дышать ламинарией, камушков пяткой не мучить.  
Побережье полно хлопотливыми залпами птиц,  
у холодной губы — чебуречных белют нарывы.  
Я тобой не платил, я не смог бы тобой заплатить,  
двухкопейка моя, чешуя от разделанной рыбы.  
Некто в шапочке вязаной смотрит с тебя на меня,  
а не глобус в колосьях, которому больше не светит.  
Я люблю. Это сложно. Но всё остальное — фигня.  
Коммунизм наступил, почему-то — в отдельном поэте.

\* \* \*

Не стреляйте в диджея, он колбасит как может.  
На стеклянной опушке неприличного леса  
тракторист и доярка объясняются нежно:  
— *Дыр бул щил убещур?*  
— *Скум вы со бу р л эз!*  
РЛС упирая в беспощадное небо,  
в этом кантовском небе мы взыскуем ответы.  
Я ничтожная мышка под рукой программиста,  
расторопным курсивом управляю не я.  
Все планеты на месте, их орбиты на месте,  
и в растрёпанном Солнце продолжается синтез,  
и осколки Союза  
с дискотечного шара  
в астероидный пояс отражают лучи.

\* \* \*

Наверху — бушующая прелесть,  
а внизу — кипящая пыльца.  
Молний нет, а жаль, они б смотрелись  
переходом в золото свинца.  
В бурю — верю. В бурю — в смерть не верю.  
Дребезжат небесные слои,  
словно в этой детской атмосфере  
оживают мёртвые мои.  
Я ищу, и я же повторяю:  
не найдёшь, и снова не найдёшь.

Нахожу, и сразу же теряю.  
Просто дождь, обычный сильный дождь.  
И течёт бесформенная масса  
из разлома тютчевской грозы.  
Золотое пальмовое масло  
и другие ценные призы.

*Анна Шипилова*

## Пересортица

*Рассказ*

В четырнадцать Марина переступает порог милицейского колледжа, родители подают документы за нее: «на районе», идти недалеко, кусок хлеба всегда заработать можно. Колледж стоит на задворках бывшего автомобильного завода, куда на выходных ее отец отправляется с болгаркой за металлоломом. Марина ходит по коридорам и рассматривает витрины — медали и награды, фотографии лучших выпусков, благодарности и грамоты от правительства и Президента, подписанные синей ручкой. Рассматривает автограф и думает: «Неужели настоящая, неужели Его рукой?» Заведующая складом выдает брюки одного размера и рубашку другого, и пока она ворчит о недокомплекте, Марина примеряет свою первую форму. Вытягивает длинные руки — ткань на плечах трещит; ей вообще сложно найти одежду, мама всегда перешивает купленное. «И так уже пересортица», — бормочет завскладом, и Марине кажется, что это слово про нее — что-то между переростком и сортом груш или яблок.

— Белый налив, — шепотом говорит она, переодевшись и расписываясь в ведомости, — мои любимые — белый налив.

Ее родственников «пробивают» на наличие судимостей и связей за границей. Мама рассказывает по секрету, что прабабушка Марины была на оккупированных территориях Украины в Великую Отечественную.

— Я хочу, чтобы ты знала, только никому не проболтайся, — они сидят на кухне за столом, накрытым клеенкой с аляповатыми голубыми васильками. — Бабка тогда взяла детей, собрала чемодан, закрыла дом, заколотила ставни, когда немцы были на подступах к городу, но не успела уехать. При Сталине могли и в лагерь отправить, ну а сейчас, — мама вздыхает, — сама понимаешь, какое время. Если что, мы из Пензы. А отца твоего никогда не принимали, чтоб ему, судимостей никаких нет, — усмехается мама ртом с почерневшими железными коронками.

Прабабушка иногда закатывает банки на кухне. Марина ее видит, начиная с Яблочного Спаса. Она наклеивает пластыри на крышки и подписывает шариковой ручкой год, иногда это шестидесятые, иногда сороковые. «Доню, — просит, принимая Марину за свою дочь, — сходи за сахаром».

Марина растет под присмотром алебастрового Железного Феликса, его шести-метровая статуя стоит на первом этаже: гордый поворот головы, одна рука в кармане

кармане шинели, другая сжимает шапку. На парах — такое взрослое слово — к ним, четырнадцатилетним, вчерашним детям, спешившим домой на мультфильмы, обращаются на «вы». Преподаватели, бывшие и настоящие сотрудники милиции, объясняют им, что в школе учителя были обязаны дотянуть их до аттестата, а здесь удержаться им позволит только соблюдение дисциплины и личная ответственность. Их группы называются по-военному — взводами. Пока ее бывшие одноклассники прогуливают школу, у нее строевая и огневая подготовка, дежурства по столовой и чистка плаца от листьев и снега. Они по секундомеру разбирают и собирают автоматы — кто последний, тот дежурит сегодня. Найдя выпавшую из чьего-то кармана шпаргалку, начальник взвода останавливает экзамен и диктует выдержку из УПК, чтобы затем вычислить нарушителя по почерку; зашедшей проверочной комиссии он с улыбкой поясняет: «Проводим следственный эксперимент».

— Автомат — это оружие труса, — говорит Марине отец, сидя на гнилом дачном крыльце и расчесывая комариные укусы сквозь дырку в растянутых синих трениках, — самое лучшее оружие — винтовка Симонова. Без нее, — он, как проповедник, поднимает руку с зажатой между желтоватыми пальцами сигаретой, — не было бы кубинской революции!

Марина всегда очень спешит с огневой подготовки на стадион. Во время бега задерживает дыхание, никто не учит их дышать правильно. Все мысли уходят, и пока не начинают болеть легкие, она наслаждается пустотой и головокружением. На уроках рукопашного боя Марина хочет, чтобы к ней относились, как к остальным, просит не жалеть, но она единственная девушка во взводе, и парни на спарринге аккуратно укладывают ее на скользкие маты, застенчиво улыбаясь. Тренер вздыхает, смотрит на нее сверху вниз и показывает еще раз. Говорит, похлопывая, как лошадь по крупу:

— Ты такая рослая, ноги как у легкоатлета, косая сажень в плечах, что ж ты не используешь это? Дралась вообще когда-нибудь? Или все боятся и не лезут?

Она вспоминает случай в детстве, который можно с натяжкой назвать дракой. Лет в восемь они с дворовой подругой придумали кидать друг в друга камни из кучи, сваленной у дороги, и уворачиваться. Первый же камень Марины попал подруге в губу. Губу увезли зашивать в больницу, а во дворе с ней перестали общаться. Других друзей она так и не завела. Ее никто не наказал: отец тогда пропадал неделями, а матери было не до того.

— Я не хотела, — признается Марина тренеру, впервые рассказав эту историю, — я просто промахнулась, хотела кинуть мимо.

— Ну тут как раз надо целиться, — отвечает тренер. — Ничего, сделаем из тебя еще бойца. У нас окружные соревнования на носу, а мне из девчонок некого выставить на них. Вот прошлый выпуск знаешь какой был! — он мечтательно заводит глаза. — Бешеные все, волосы вырывали друг другу клоками, когда проигрывали, объяснительные потом писали, выговоры получали, бой-бабы, эх-х.

На пьянку по поводу окончания первого курса они всей толпой вместе со «старшаками» идут в заброшенный ДК около железки. ДК раньше принадлежал автомобильному заводу, но потом, когда производство закрыли, стал разрушаться и зарастать травой. Один однокурсник открывает ей пиво, другой передает свое, уже открытое, третий расстилает кожаную куртку на серой крошащейся плитке.

— Стремно быть девственницей. Значит, никто не захотел, значит, никому не нужна. Идеальный возраст, конечно, шестнадцать, — говорят ей.

Уголовной ответственности никакой, знает она. Девочек на курсе пятнадцать, парней в десять раз больше, поэтому даже самые некрасивые чувствуют свою ценность и понимают, что могут выбирать, кому давать. Марина затягивается переданным

косяком, неумело отпивает пиво, обливаясь пеной, и к ней подсаживается, отгоняя остальных, старшекурсник. Предлагает, ухмыляясь:

— Давай я тебя научу пить. Наклоняй медленнее, не так резко.

Приведя домой, он говорит ей, укладывая на разложенный диван:

— Ты такая чистая, такая красивая, я так рад, что я у тебя первый.

Она лежит, улыбаясь, придавленная его весом, дышит в его шею и думает, что влюбилась.

— Скоро мать придет, — он поднимает ее и комкает окровавленное полотенце, — выброси по дороге, ладно? Только не в нашу мусорку.

Марина еще долго чувствует запах его туалетной воды на шее и груди, моется частями, только чтобы слышать его дольше. Представляет, как они будут гулять вместе после пар по району, жарить шашлыки с его друзьями в лесополосе около железки. Рассматривает в магазинах платья, прикидывая, какое может ему понравиться. Втайне от матери примеряет ее выходные босоножки на шпильках, но на Маринин сорок первый они не налезают, пальцы торчат.

— Залететь — не позорно, по пьянке все бывает, лишь бы парень женился, возьмешь академ, а иначе придется идти на аборт, — говорит однокурсница.

Но он не женится.

Марина сидит в горячей ванной почти до обваривания, до ожогов. Высыхающая красная кожа потом сходит пластами. Прабабушка заходит в ванную, смотрит на нее и молчит. Марина пьет горькие отвары из петрушки, даже думает зайти в церковь, только не понимает, за здоровье ей ставить свечку или за упокой, — может, прабабушка знала такие тонкости. Но вызвать выкидыш у Марины не получается.

— Главное, чтобы отец не узнал, — рассуждает мама, — и соседи. Иначе это позор. Поедем делать аборт в областную больницу, а то в нашей все будут языками молотить. А соседям я скажу, что отправила тебя в лагерь. Этот, как его, военно-патриотический, на Селигере.

Марина лежит на покрытой клеенкой каталке, коек не хватает. То голова, то ступни свешиваются, голые ноги липнут к клеенке. Врач выдает ей таблетку, которая вызывает такую боль, будто кто-то взял сердце — то, маленькое, бьющееся в животе, и резко сдавил. Потом, как из крана, начинается кровотечение. Марину то знобит, то бросает в жар, и кровь не останавливается.

Кровь не останавливается, пока — шматками — она не теряет ребенка в темном холодном поутру туалете больницы, пока что-то в ней не ломается. Она подвывает от боли, согнувшись над раковиной, ее мама тихо плачет в платок в коридоре. С тех пор Марина навсегда перестает подавать нищим и подкармливать брошенных собак.

— А ко мне муж после смерти приходил каждую ночь, — говорит ее соседка по палате, отходя от наркоза после операции.

Бабушка на койке около окна перестает храпеть и открывает один глаз.

— Ходил и ходил, — продолжает соседка, — как живой был неугомонный, так и мертвый остался, слаб был на передок, ох слаб... Сын у меня рос, и замуж надо было опять выходить, одна бы я не потянула, вот и говорю ему как-то ночью: уходи, мне живой мужик нужен. Чтобы, говорю, и по хозяйству, и денег в дом, и сына воспитывал.

— Не страшно было? — подает голос спавшая бабушка. — Мне было страшно, когда ко мне мой приходил, после войны.

— Да не-е-е, — тянет соседка, — он же мой родной, чего бояться. Не ушел, правда, пришлось изгонять — звать батюшку.

С третьего курса Марина проходит практику в отделении, разбирает архивы в подвале, подшивает заявления портновской иглой, нумерует, составляет описи.

Огромные стопки документов высятся в углу кабинета, она набирает их охапками и перекладывает на свой стол. Знает, сколько весит работа до обеда и после. Единственное развлечение в комнате без окон — радио, на третий день она заучивает все песни, которые крутят по кругу.

Тренер посылает на округ по рукопашному бою. Перед началом соревнований по физкультурному залу проходят священники с кадилами, благословляя их на бои, долго зачитывая по бумажке на старославянском. Марина понимает только отдельные слова. Начальник взвода говорит коротко, зато понятно: «Если опозорите меня — задним числом переводитесь в кулинарный техникум».

Каждый взвод считает себя легендарным и элитным, поэтому победа на соревнованиях особо почетна. Медаль Марины вешают на гвоздик за стеклом на первом этаже. В столовой для взвода устраивают праздничный обед — борщ с пампушками и настоящее мясо, не потроха и не надоевшая курица. Марина ест, держа руки на весу и стараясь не касаться липкой клеенки.

Она обращается к Железному Феликсу, когда ей некуда больше пойти и не с кем поговорить. Из лекций по истории она знает, что он был покровителем бездомных и защитником детей. Марина надеется, что для нее найдется слово или знак. Она спрашивает его о себе, чуть шевеля губами:

— Серёжа из тридцать третьего взвода меня любит? Мама меня простила? Я сдам огневую подготовку?

Когда отец Марины в очередной раз уходит в запой, мама отправляется к нему на работу и просит не увольнять его. Говорит, что он заболел, и начальник производства делает вид, что верит. Отец — лучший сварщик на заводе, и без него все сложные заказы встают: таких качественных сварных швов нет больше ни у кого. Марина находит отца, опросив всех его собутыльников, у давней маминной подруги. Тетя Таня открывает дверь, и Марина сразу сносит ее плечом — та, задохнувшись, приваливается к холодильнику. Отец матерится, пока она тащит его по лестнице вниз. Он отталкивает ее, но Марина понимает, что стала сильнее и выносливее, рукопашный бой не прошел даром. Она заставляет отца снова закодироваться, и в конце месяца у нее появляются зимние сапоги, а у мамы — новая керамическая коронка.

Железный Феликс смотрит на всех сверху своими белыми слепыми глазами и не знает, что здесь позорно одеваться хуже других, иметь не «Нокию», не раскладушку «Моторолу», а старый «Сименс». Позорно хотеть учиться, готовиться ко всем экзаменам, брать много книг в библиотеке, собираться поступать в вуз.

— Кроме высшего образования, нужно иметь среднее соображение, — выдает ей отец. — Работать пора идти. Я после семилетки пошел на завод, видишь, поднял семью, тебя выучил. Пора отдавать долги.

Позорно хотеть большего — поступить в медицинский или педагогический, стать врачом или учить детей. «Самая умная, что ли?» Позорно хотеть странного — отправиться путешествовать в Исландию на велосипеде, выкрасить волосы в синий, выучить корейский, стать вегетарианкой.

В восемнадцать, после окончания, ее берут в отдел по работе с несовершеннолетними.

— Ну куда еще тебя, — говорит кадровичка.

Марина, помня про архив, соглашается на все. Она ходит по неблагополучным семьям района, потом округа, разбирается с кражами в родной школе, ездит в колонии, сидит в судах, читает заявления и изучает личные дела. Иногда ее поднадзорные младше всего на год-два, они подкатывают, пытаются рассмешить, найти ее слабое место и разжалобить.



Она не умеет просить и принимать взятки, не приобретает профессиональную циничность и безразличие, ее тошнит от вида крови, от грязи, разбегающихся от включенного света тараканов, от запахов мочи и гниения в домах. Марина не умеет проводить допросы, верит всему и всем, начальник кричит, что ее красным дипломом милицейского колледжа можно подтереться, раздраженно добавляя: «Простота хуже воровства».

Когда она в форме едет в метро, с ней бояться знакомиться.

Вечерами и в выходные, когда Марина остается одна, она слышит тихий плач, похожий на мяуканье. Она вышивает картины по номерам крестиком, ее успокаивает, что все понятно, что ей дали схему, написали инструкцию, поставили на каждый моток ниток номер. Нервничать начинает, только когда нужный цвет ниток вдруг кончается: не доложили или ошиблись. Картина — ваза с цветами или лошади на лугу — не складывается, а нужного цвета в магазине штор по соседству может не быть. Прабабушка иногда садится рядом вязать, но постоянно сослепу теряет петли.

Когда Марина простужается, проведя на морозе пять минут без шапки или посидев на сквозняке, потом неделями отлеживается на антибиотиках. Ее медицинская карта в ведомственной поликлинике, как том Толстого. Чуть подует — у нее поднимается температура, чуть изменится погода — падает давление, начинается мигрень, если случайно съест просроченный творожок, — проводит неделю на хлебе и воде. На очередной диспансеризации ей говорят:

— Бесплодна. А нечего было на блядки ходить.

Иногда она ходит в клубы и бары — пьет до невменяемости, до незрячести, до ощущения невесомости в теле. Марина танцует, и перед ее глазами пляшут неоновые огни. Ее кто-то снимает — видит в ней кусок свежего мяса с дыркой. Наутро она старается не вспоминать об этом и никому не рассказывает.

Приехав на ночной вызов, Марина видит пятнадцатилетнюю девчонку и узнает ее: она учится в той же школе, а ее мать, воющая над телом мужа в комнате, — хозяйка магазина штор. Марина спрашивает, что произошло, девочка отвечает: толкнула, он ударился виском о железный набалдашник в изголовье кровати. Потом зачем-то сообщает, что кровать старая, привезли когда-то из деревни.

— Что он делал у тебя в комнате ночью?

Та объясняет.

Пока девчонка переодевается, Марина рассматривает ее живот, непропорционально большой при таких худых руках и ногах. Она закрывает дверь кухни, сама пишет показания и зачитывает их, проговаривая чуть ли не по слогам, как учительница в школе.

— Хотите варенья? — внезапно спрашивает девчонка, глядя куда-то в пространство. — Яблочного. Из белого налива, мама много закрутила.

Марина обходит соседей. Увидев в глазок ее форму и удостоверение, открывают неохотно, отвечают из-за двери, в глаза ей не смотрят. «Нет, не видели, не слышали, накануне были гости, но разошлись, еще одиннадцати не было».

— А дочь-то у них выросла красавица, сразу видно, не в мать пошла, да? — говорит бабушка-соседка с первого этажа и кидает быстрый взгляд на Марину.

Она выходит из дома и видит такой же двор, и соседний подъезд с несмываемым граффити, и даже такую же мусорку, как та, куда нельзя было выбрасывать полотенце. На детской площадке под грибом сидят подростки с пивом — Марина делает вид, что не замечает.

Она возвращается в отделение и пишет рапорт на увольнение.

---

*Женя Декина*

## Баг

*Рассказ*

Таня любила только красивых. Соседа — чемпиона области по плаванию, молодого физрука, который тискал ее в раздевалке, учителя пения из ДК. А Денис был просто одноклассник в дутой куртке с сытым выражением лица. Он провожал до дома, задавал вопросы и много спорил. После школы Таня уехала, они год не общались, а потом он неожиданно пришел. Перевелся в областной центр из-за какой-то мутной истории — то ли подрался с кем-то, то ли должен был подражаться — Таня не вникала. Ей было не до того, она мечтала выйти замуж за аспиранта с их кафедры и думала только о том, как понравиться его маме. Денис предложил подарить будущей свекрови собственноручно связанные варежки или напечь пирогов. Таня ни того, ни другого не умела.

Когда он появился в следующий раз, Таня уже сама училась в аспирантуре. Денис рассказал, что все эти годы бурил нефтяные скважины на крайнем севере, копил на жилье. Посмотрел на ее руки без колец и аккуратно спросил о маме аспиранта. Таня с трудом ее вспомнила. На этот раз она была безнадежно влюблена в женатого профессора. Денис оказался тоже женат, жена была беременна. Он позвал в гости, сам понимая, что Таня, конечно же, не придет. Она и не пришла. Время от времени они встречались и гуляли по огромному парку за Таниным домом. Денис, как в детстве, покупал ей мороженое с шоколадной крошкой, а Таня жаловалась на жизнь.

Профессор был биохимиком с соседней кафедры. Студентки его обожали: он пошучивал и флиртовал. Когда у него случалась лекция в соседней аудитории, Таня открывала дверь кафедры и садилась поближе к выходу — послушать. Иногда ей удавалось подловить его в преподавательской столовой, и они вели долгие занимательные беседы. Тане нравился его ироничный тон и особенное спокойствие — он будто бы родился изначально правым и знал об этом.

— Любви нет, — говорил он, разламывая котлету вилкой. — Это инстинкт.

— Ну да, и предрассудки, — улыбалась Таня. — Скажите это какому-нибудь юному Вертеру.

— Могу научно обосновать, — он поднимал на нее хитрый взгляд. — Но вы этого не хотите. Вы барышня и верите в любовь.

---

*Декина Евгения Викторовна* родилась в 1984 году в г. Прокопьевске Кемеровской области. Окончила Томский государственный университет по специальности «Современная литература и литературная критика» и сценарно-киноведческий факультет ВГИК. Лауреат Волошинского конкурса, лауреат премий «Росписатель», «Звёздный билет» и др.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 7.

— Хочу верить, — поправляла Таня.

— Ах да, вы уже отстрадали свое и в любви глубоко разочарованы.

Таня смеялась. Он приподнимал вверх не палец, как делают учителя, если ученик угадал правильный ответ, а вилку с кусочком котлеты. Он любил сочные пожарские, в одинаковых крупных сухариках.

— Ваш организм воспринимает мужчину только как партнера для продолжения рода. Вам нравятся те особи, генотип которых при скрещивании даст наилучший результат. То есть если доминантные гены партнера перекроют ваши рецессивные...

— Если я лысая, то мне нравятся волосатые, так? Или если я толстая, то мне нравятся худые?

Он засмеялся.

— Все гораздо тоньше, вы можете быть очень волосатой и любить еще более волосатого, но после сорока внезапно облысеете. Вы этого не знали, а организм знал. Он по запаху определил, что вот от этого будет здоровый, крепкий ребенок, а от этого — больной.

— То есть, если женщина выходит замуж не по любви, а из-за денег, то родится урод? И в случае изнасилования тоже?

Он расхохотался:

— Такими темпами мы с вами к десерту сверхновый завет напишем.

— Но это многое объясняет. И то, почему женщины рожают от альфа-особей, а растят потом с бета и гамма.

— Эта классификация научно не подтверждена. Что такое альфа-особь в современном мире? Илон Маск? Вассерман? Наш терпила-ректор? Или охранник дядя Вася, который лупит студентов?

— Правда лупит? — Таня не знала.

Дениса разговоры их крайне интересовали, он переспрашивал, уточнял, даже сходил к профессору на лекцию и перед уходом заглянул к Тане. Ничего не сказал, только кивнул значительно — будто одобрил.

На сына профессора Таня случайно налетела в коридоре и испугалась. Он был так ослепительно красив, что Таня даже не оробела — забыла, что можно стесняться. Она бесцеремонно разглядывала его, пока он жал ей руку и произносил «Максим» глубоким бархатным голосом, пока провожала на нужную кафедру, пока говорила, где еще может быть его отец. И после — как зачарованная пошла за ним в столовую, хотя у нее уже начиналась пара, присела поболтать. И смотрела, смотрела, смотрела.

Он казался ненастоящим. Черные с отливом волосы, персидский разрез глаз, капризный изгиб верхней губы и при этом жесткий, мужественный овал лица. На него оборачивались. С такими данными он запросто мог бы сниматься в рекламе или играть в кино. А он сидел тут, в обычной Таниной жизни, за столом, и его белоснежная накрахмаленная рубашка была в разы свежее скатерти. Или ей просто так казалось.

Было видно жилку на его шее, и Таня представляла, как в момент страсти целует его, и жилка пульсирует у нее на языке. Крепкие руки с красивыми аккуратными пальцами обнимают ее. Тело его, загорелое, здоровое, будоражило так сильно, что Таня уставилась ему в переносицу. Она поняла вдруг, почему мужчины так безотрывно смотрят в глаза красоткам с глубоким декольте. Иначе невозможно себя контролировать. Он встал за солью — и Таня подумала, что у него совершенно непристойные бедра, ей в каждом движении видятся толчки, и она уже чувствует под ладонью его круглый упругий зад с неглубокими ямочками. Хотелось погладить. Всего целиком. И это была не обычная похоть, но еще и что-то похожее на состояние детской очарованности взрослым, который кажется особенным и прекрасным во

всем. Быть рядом, наблюдать, повторять движения, будто примеряя его мимику и жесты.

— Генетика, — профессор все понял и невесело усмехнулся. — Видите, даже дружбы не существует. Я думал, вы восхищаетесь моим умом.

— А вы моим? — парировала Таня, и профессор рассмеялся.

— Ну, ты же любишь качков, — улыбнулся Денис в ответ на ее излияния и посмотрел в глаза. Он пытался стереть с джинсов пятно от мороженого, но только размазал — оно стало похоже на пятно крови.

— Максим не качок, он просто... Я никогда таких красивых не встречала.

— Да ну, прошлый тоже был тот еще Кен.

— Кен?

— Ну, кукла. Пластмассовый такой.

Таня засмеялась. Бывший и правда был похож на куклу. А этот так порывисто двигался, что чем-то напоминал огромного годовалого щенка, который напустил на себя суровости, но постоянно выпадает из образа. Это завораживало.

— Мало щенков видел, — пожал плечами Денис. — Типа школьницы нескладной? О, а помнишь, у тебя гольфы были полосатые?

— Причем тут гольфы? Помню. Они у всех были.

— Полосатые только у тебя. Веселые такие, красно-белые.

Таня вспомнила, что какие-то и вправду были красно-белыми, она их ненавидела, потому что они напоминали костюм клоуна, но ее молдавская бабушка ходить по улице без гольфов не разрешала. В школе Таня их снимала и оставалась в чистеньких колготочках, не забрызганных сзади грязью, как у всех остальных. Именно из-за опрятного внешнего вида в третьем классе ее и выбрали читать стихотворение в парке, а потом сделали ведущей школьных праздников.

Тане было неловко оттого, что Денис помнит ее маленькой, и что он, возможно, влюблен в нее. Может быть, он думал о ней и воображал ее так, как она воображала теперь Максима. Максима хотелось обнимать, кормить, купать и расчесывать.

— Как ребенка что ли? — Дениса удивляли Танины признания.

— При чем тут дети? Ребенка ты купаешь, потому что он грязный, и кормишь, потому что он жрать захотел, а это для удовольствия. Наслаждаться человеком, понимаешь?

Денис не понимал. Он говорил о жене коротко — не ссоримся, добрая, вкусно готовит. В его описаниях не было ничего конкретного — блондинка с голубыми глазами, и Таня этого не понимала — будто бы Денису совершенно не важно, что это за женщина, о чем она думает, во что одета, есть ли у нее целлюлит.

— Да я не смотрел как-то...

— В смысле — «не смотрел»? Ты с ней не спишь, что ли?

— Ну, я же в темноте.

С другой стороны, он ко всему в жизни так относился — «Работаю. Платят. Хорошо, ага. Родила. Дочка. 3,65. Растет, ага». Как будто бы все в жизни — само собой разумеющееся, идет дождь, купить хлеба, растет дочка, маньяки всякие околачиваются.

— Чего?

Иногда он удивлял — говорил что-то такое вот, вышибающее. Таня за новостями не следила, слышала про какого-то маньяка, но всерьез не воспринимала.

— Да тебе-то чё, у тебя дочери нет, — пожимал Денис плечами. — Это мне вот надо чего-то думать будет, потому что в этом районе я ее в школу не отдам.

Таня тоже хотела дочь, и сына хотела, а потому сама нашла Максима в соцсети — ей пришлось вручную проверить около ста страниц его полных тезок. Она добавилась и за вечер посмотрела десять тысяч его фотографий. Это был конец. Она тут же написала, он ответил, они о чем-то поохотали, и Таню понесло.

Она воображала себе, как он спит обнаженный в ее постели. Вот она гладит его по голове так бережно, что он даже ничего не чувствует. Вот он жует, уткнувшись в телефон, и поднимает на нее взгляд, не заметив, что она подложила ему еще один, самый вкусный кусочек. Она покупает ему белый свитер — с его загорелой кожей будет фантастически красиво. И красная рубашка тоже. Он наливает себе воду из ее графина, вот этого, а Таня, проходя мимо, легонько щиплет его за зад, он вздрагивает и проливает, и они в шутку борются. Она подходит к нему и целует. И снова целует. И еще.

— Я бы его даже ревновала!

— Да ну, — покачал головой Денис, — ты никогда не ревнуешь. Просто интерес теряешь от ревности, и все. Ревнуют другие люди, и по-другому.

— А ты ревнивый?

Денис не ответил — он смотрел на киоск с газетами, мимо которого они проходили:

— Ты такое в пятом классе хотела, помнишь?

На передовице был портрет убитой девочки в пышном бальном платье.

Таня подумала, что девочка может оказаться ученицей Максима. Он был тренером по бальным танцам. И Таня, конечно же, сто раз пересмотрела все его видео — он не просто чинно кружил партнершу по залу, как другие, он сам становился танцем. Это было необычно и естественно одновременно, как странно, но органично идет по улице хромой человек, как певец в жизни говорит грудным низким басом. А это человек — танец. И на него никто никогда не подумает — красивому, успешному, увлеченному своим делом человеку незачем убивать. Интересно, как он злится? Наверное, повышает голос и говорит, часто моргая от непривычной громкости, потом вздыхает и сердито поджимает губы. Также красиво.

Через пару дней Таня дождалась Максима в столовой, пообедала с ним и его отцом, а потом он не ответил на ее сообщение. Просто не ответил и все — как если бы ему стало скучно или он на кого-то отвлекся. Этого Таня не ожидала. Она ходила около его дома — пыталась встретить. Снова написала ему в соцсети — он снова не ответил. Ни через час, ни к вечеру, ни на следующий день. Ей все всегда отвечали. Впрочем, раньше она и не писала первой.

Таня не понимала, куда себя деть. Удалила его из друзей, чтобы не видеть его фото, всплывающее среди тех, кто онлайн. И поскорее добавила назад, пока он ничего не понял. Если спросит, почему, соврет, что комп затупил. И тут же поняла, что не спросит. Ему все равно, он ничего не заметил. Не заметил ее саму, не заметил ее сообщения, которое потонуло в тонне «приветкакделачёделаешь» от всяких баб, которые ходят к нему совсем не затем, чтобы научиться танцевать. Он не заметит, даже если она из этой вселенной удалится. Но почему? Почему? Она же умная, красивая, веселая, добрая, она же подходит. Или нет?

— Да кончай ты мозги себе кипятить! — Денис не понимал.

— Не могу. Это примерно, как вирус, работает, понимаешь? Вот захотел ты торт, и тебе все этот торт напоминает. И земля похожа на шоколадный крем, и птичка пролетающая яйца откладывает, а из них торт испечь можно...

Денис расхохотался.

— Нет, я серьезно. И ты, как одержимый, все к этому торту подтягиваешь.

И в магазинах только торты продаются, и в полях пшеницу для муки выращивают, и коровы сливки для крема дают...

— И захавать его становится пипец важно, аж крышак подъезжает, — кивнул Денис. — Знаю.

— Вот! И чем дольше ты этот торт не получаешь, тем сильнее ты его хочешь. А хуже всего то, что я сама себе этот торт придумала. Не готовый какой-то, а именно сама. Намечтала всякого...

— Понял, ага. В готовом тебе чего-то там может не вкатить, а тут конкретно под тебя. Идеальный типа.

— Ну. А мечтать нельзя. Мечта — это вирус. Зараза, которая селится в твоём мозгу и жрет тебя, как опухоль.

— Не, ну бывает же хорошая. Типа детей родить или много бабла, например.

— Нет хорошего и плохого. Вдруг ты решил это бабло украсть. Или бабу украсть, чтоб она тебе родила.

— И чё делать?

— Психологи говорят, что подавлять желания нельзя, но можно сублимировать. Можно полюбить пряники, например.

— Шоколадные.

— Да пофиг какие. Будешь ты их жрать и представлять торт. И привыкнешь со временем, и забудешь, что тебе торт когда-то хотелось.

— Это у меня так по ходу.

— Про еду?

— Нет. Вообще. Но про еду тоже, — он поправил обручальное кольцо, сползшее к фаланге.

Период изживания Максима затянулся на годы. Таня срывалась, слушала его музыку, смотрела его страницу, фотографии его баб, воображала себя ими, злилась, потому что она точно была лучше. Во всем. Если бы была хуже, то могла бы направить эту энергию в позитивное русло — начать самосовершенствоваться, чтобы бабу его очередную догнать и перегнать. Но нет. Она шлялась под его окнами, искала общих друзей, встречала и не могла поздороваться от боли, плакала, забывала, но потом видела во сне. От этого бессилия еще больше презирала себя. Пыталась заменить его кем-то, все равно кем. Любой был одинаково не Максим. Потом и это прошло. Наступил период тупого обреченного смирения. Будущего с Максимом никогда не будет, а значит, уже не важно, что там, завтра.

Таня взяла это новой научной темой, хотя изначально было ясно, что никакого выхода быть не может. Ни один создатель виртуальной реальности не смог бы загнать ее в такую ловушку, в которую она себя загнала — графин, белый свитер, свадебное танго и пожарские котлеты его мамы. Мозг не компьютер, он не способен отформатировать сам себя, но Таня все равно пыталась.

Было холодно, и они с Денисом встретились в кафе. На входе он свернул рекламную стойку — зацепился рукавом. Это было странно, он был очень ловким, и Таня не помнила, чтобы он когда-нибудь падал или ронял что-нибудь.

— Тань, ты посмотри, какая ты стала... Он же тебя сломал. Убей его, — внезапно предложил он.

— Смешно, — ответила тихо Таня, хотя смешно ей не было.

— Не, правда. Хочешь, я убью?

— А смысл? У меня его сейчас нет, и если он умрет, то у меня он от этого все равно не появится.

- Ну полегче станет. Нет человека — нет проблем.
- Нет.
- Ты же не пробовала.
- Давай, я все, что не пробовала, делать начну, ага. Нет, я себя знаю. Я с ума сойду оттого, что я теперь убийца, и как жить, и вот это вот все. Я тебе гарантирую — через час сама в окно выйду.
- Странная ты все-таки, — вздохнул Денис и позвал официанта.

Мама говорила, что все будет хорошо. Просто Тане раньше везло, поэтому первая несчастная любовь случилась так поздно, и их столько еще будет... Таня хотела верить. Но прошел еще год. Таня уже почти успокоилась, а во время юбилея профессора снова увидела Максима. И все началось опять — новый виток безумия с выслеживанием, рыданиями в подушку, пьяными излияниями Денису и чередой нелюбимых мужчин. Жизнь заиклилась, и вырваться не получалось. В каком-то круге она собралась замуж за мужчину очень на него похожего, но перед свадьбой решила посмотреть на Максима — проверить, прошло ли. Не прошло. В следующем круге она переспала с Денисом, и он навсегда пропал.

Когда Таня серьезно заболела и попала в больницу, она даже обрадовалась — вот она, контр-идея, стихийное бедствие, война. Здесь, на краю жизни и смерти, Таня осознает всю глупость своих страданий и забудет. Главное — выжить. Но Таня переболела легко, без осложнений, и, выйдя из больницы, первым делом спросила у профессора, как Максим. Он был в порядке — открыл очередной филиал танцевальной школы и собирался жениться.

— Танечка, а это не ваш знакомый? — профессор протянул Тане газету. — Мне кажется, я его здесь видел...

На первой полосе был Денис. Маньяк Денис, убивший девочку в их родном городе, отсидевший за это, а потом убивший нескольких девочек здесь. Девочка в бальном платье. Девочка в красных полосатых гольфах. Девочка в белом свитере. Девочка с шоколадным пряником.

Никакой жены у него, конечно же, не было, дочери тоже. Наутро после секса с Таней он попытался убить старшеклассницу, которая несла торт на школьное чаепитие, но передумал и отпустил. Его искали, а через пару месяцев он сам пришел с повинной. Сказал, что все фигня. Вообще все.

Таня вспоминала их разговоры и поражалась собственной слепоте — он показывал ей газеты, он предлагал убить человека, он оттирал кровь с джинсов во время прогулки, он хотел освободиться от нее, но не мог — покупал мороженое, гулял, провожал домой, а потом убивал похожих на нее девочек. И в этом Таня была виновата — она могла это остановить. Но Таня страдала изо всех сил, переживала красивую драму неразделенной любви, истинное чувство, на которое уже не способны прагматики нашего времени. Она часами рассказывала Денису про Максима, она злила его, снова и снова, а поплатились за это случайные девочки. Мир вдруг представился ей единой субстанцией, где от действия одной силы меняется всё, где любовь оборачивается смертью, а красота — болью. И Таня вдруг увидела себя не романтической и чистой, а брезгливой и надменной. Она не согласилась на меньшее, на Дениса, она захотела самого лучшего, из-за этого вселенную перекосило и погибшим девочкам не хватило простейшего — жизни.

Профессор все еще стоял. Таня смотрела на него, вспоминала его сына и чувствовала, что любовь прошла. Вообще вся.

— Родить мне надо, вот что, — проговорила она тихо и вышла.

*Сергей Калашников*

## ЭХОЛОВ

\* \* \*

я рождённый в пробирке довесок к бутылке,  
перетянутый временем груз,  
измеряю шагами длинноты глубинки,  
будто помню советский союз.

плащ-палатки бродяг, поплавки рыболовов,  
ради бога торговых ларьков.  
человек-пароход без царя-рулевого,  
эхолов эхолов эхолов

я прибитый к обоям пейзаж календарный —  
год прошёл, через пять совпадёт.  
никудашный рыбак, безобразный дневальный,  
рота строится, рыба гниёт.

\* \* \*

если подумать можно понять откуда  
солнце выходит берутся дети играют скрипки  
едут медведи синтезируется груда  
неологизмов; школьные табуретки

стачиваются о классные метрономы  
голуби по углам отыскивают мишени  
чувство из детства кажется незнакомым  
словно тарзанку набрасывают на шею



\* \* \*

Товарищи идут по пилораме,  
Лежит пластом скальпированный лес,  
И облако у них над головами —  
Взаимозаменяемый процесс.

Короче говоря, амбивалентность,  
Прямой соединяются края.  
Змея в саму себя переделась  
И катится, короче говоря.

Дрожат в руках рабочих бензопилы,  
Уборщики опилками шуршат.  
Из мусороуборочной машины  
Выходит бог и прибирает склад.

\* \* \*

Искусство циклично, и цикл определим  
Мальчик-троянец смеётся: «а конь-то полый»  
В списке моих идей ни одной толковой  
Бармен заходит в бар, я иду за ним

Двигается математиков строй несчётный  
С целью одной второй и одной четвёртой  
Знать знаменатель равен одной второй

В списке моих идей ни одной никчёмной  
Я ведь в каком-то смысле и сам учёный  
Вставший по стойке свой озаглавив строй

Песня — от алкогольной до апельсиновой.  
Тешит над вурдалаками кол осиновый  
Старое поколение упырей.

Ночь марширует к столикам, бар — резиновый  
Очередь пахнет жидкостью керосиновой  
Горько хоть лампы бей.

*Алёна Жукова*

## Смертные грехи вещей

*Притчи эпохи пандемии*

### Стулья (Гордыня)

Их было двенадцать. Хозяйка называла их венскими и хвасталась перед гостями: «Антиквариат... Михаэль Тонет, XIX век. Полный гарнитур...» Отца-производителя они не помнили. Вряд ли он собирал их своими руками — скорее всего, фабричные мастера выгибали под паром буковые палки, превращая их в гнутые ножки и овальные дуги спинок. Стулья были благодарны родителю за плодовитость. Уже несколько столетий их братья разного фасона и неизменного изящества украшали интерьеры домов, ресторанов и офисов. Эти двенадцать, отличавшиеся благородной матовостью дерева и золотистым шелком сидений, переходили из рук в руки два века кряду, сначала по родственным линиям, потом через перекупщиков. Стульям повезло — ничто не разрушило их семью: ни войны, ни смерти владельцев, ни проходящая мода... Последние сорок лет они провели в доме у Озера, а появились тут с легкой руки Хозяйки, для которой слово «венский» означало не пустой звук, а напоминание о родном городе. Они радовали ее, а вот Хозяину, напротив, не нравился их широченный хоровод вокруг дубового стола, доставшегося от прежних владельцев дома. В большом столе, как и в дюжине стульев, пока не было необходимости — их молодая семья была из двух человек, но Хозяйка настояла на своем. Она обожала принимать гостей.

Когда на аукционе антикварной мебели стулья заметили интерес к себе юной пары, то несказанно обрадовались. Им сразу понравилось, как стремительно садится и вскакивает легкая, словно стрекоза, женщина, как важно усаживается на них медлительный господин. Доводы Хозяина, что двенадцать стульев это много и они займут половину комнаты, были отвергнуты. Она не поскупилась и выиграла лот. Хозяин смирился. Он тогда еще очень любил свою молодую жену.

На первое Рождество в доме молодой четы собрались друзья. Их оказалось даже больше, чем стульев, но это не мешало веселиться. Стулья были слегка разочарованы:

---

*Алёна Жукова* (Жукова Ольга Григорьевна) — прозаик, сценарист, кинокритик. Автор ряда книг, в т.ч. «К чему снились яблоки Марине» (2010), «Дуэт для одиночества» (2011), «Тайный знак» (2016), «Странная женщина» (2017). Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Торонто. Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 3.

кроме искусственной елки, величиной с детское ведерко, не было других украшений, а уж про красные банты и хвойные гирлянды, которыми их обычно украшали прежние хозяева, не было и речи... Вино лилось рекой, оставляя пятна на шелковой обивке, острые каблуки девиц царапали гнутые ножки, а изящные перекладыны спинок покрывались желтым налетом от густого табачного дыма. Стулья страдали. До сих пор им не приходилось сталкиваться с таким непочтительным отношением к их статусу и родословной.

От полного разочарования жизнью в этой семье спасло появление первенца. Гостей поубавилось. Винные пятна и желтый налет были удалены, а девицы на острых каблуках растворились вместе с табачным дымом. Вместо них толстенький малыш, хватаясь липкими ладошками за ножки и сиденья, учился ходить, пуская слюни и сопли. Стульям это тоже не нравилось. Они чувствовали себя униженными и приходили в хорошее расположение духа только в дни праздников. Особенно ждали Рождества. Тогда весь дом преображался — сверкала огнями Ёлка, искрился хрусталь, а натертые Хозяйкой до блеска спинки и ножки стульев мерцали не хуже столового серебра. Нарядные люди рассаживались вокруг стола. Теперь гостям и членам семьи вполне хватало места: во главе сидели Хозяин и Хозяйка, по сторонам близкие друзья, дедушки и бабушки, а в конце стола — няня с ребенком. Ох, эта няня! Она сразу не понравилась стульям. Ее крепкие руки грубо переворачивали их по многу раз на день в поисках пропавших игрушек, а щетка, которой она орудовала, царапалась немилосердно. Ко всему этому — ужасные манеры! Когда никого не было дома, Няня усаживалась с ногами на стул, болтая по телефону или — хуже того — делая педикюр. Стулья вздрагивали, страшась кроваво-красной капли лака. Попади такая на них, пришлось бы смывать ацетоном! Однажды Няню за этим занятием застал Хозяин и вместо того, чтобы отругать, залюбовался голыми коленками, а потом их потрогал, а потом... Большого позора и унижения стулья не испытывали! Кровати и диваны к этому привыкли, но этим двоим нравилось садиться голыми задами на их упругие сиденья. Ни одного из стульев не миновала эта постыдная участь. Так продолжалось до тех пор, пока Хозяйка не поняла, что творится у нее под носом.

После развода ей достались дом и сын, что совсем не мало, и даже ее любимая венская дюжина в придачу... Правда, она перестала зазывать к себе гостей. Место большого дубового стола занял небольшой раскладной уродец из дешевого магазина современной мебели. Стоять вокруг такого стулья считали ниже своего достоинства. Перед Рождеством пошел слух, что их продадут. Они возмутились: «Как можно продавать единственно красивое и ценное, что есть в доме!» Стулья недовольно поскрипывали, а Хозяйка их гладила, любовно смазывая винтики машинным маслом. Не продала, но разлучила! Такого не случилось с ними с момента рождения. Оставив шесть братьев в гостиной, решила, что этого достаточно: стул для себя, для малыша, два стула для родителей, подруги и один на случай появления гостя. Этот особенный гость должен был обязательно когда-нибудь прийти и остаться в доме, но он все никак не появлялся, а стулья томились в разлуке — кто в спальне, кто в детской, кто на веранде и в кабинете...

Они уже не верили, что когда-нибудь опять соберутся вместе, но наступило очередное Рождество. В этот раз оказалось шести стульев маловато: у подруги появился муж, а у сына подружка. Когда все расселись, в дверь постучали. За порогом стояли трое: мужчина в армейской форме и два подростка — мальчик и девочка. Отец

и двое детей направлялись встретить Рождество с родителями покойной жены, но сбились с пути, машина застряла в снегу у Озера...

В тот Рождественский вечер стулья, наконец, воссоединились, а гость и его дети остались в доме навсегда. Очень скоро гость превратился в мужа и купил большой стол, похожий на прежний дубовый, но не овальный, а прямоугольный. Новый муж любил прямые углы и решения. «Солдафон! — презрительно отзывались о нем стулья. — Строит нас, как своих курсантов на плацу, да еще следит, чтобы ни на сантиметр не сдвинулись. Невыносимо!» Они мечтали о красивой жизни, о том, что повзрослеют наконец надоедливые подростки и разбегутся по свету, а старики-родители с их палками и ходунками уйдут на вечный покой; солдафон-муж уедет на службу и останется в доме одна Хозяйка. Они будут встречать Рождество только с ней при свечах и под музыку Венского оркестра...

Все случилось почти так, как им хотелось: взрослые дети разъехались по разным странам; родители умерли; подруга предала, а муж пропал на войне, которая началась сразу после пандемии. Три года мир погружался во мрак и холод, а в доме у Озера еще теплилась жизнь. Хозяйка топила камин остатками мебели. В Рождественскую ночь догорал последний венский стул...

### *Тапки* (Зависть)

Они лежали под Ёлкой в коробке, перевязанной атласной лентой, и выглядели, как пара пушистых белых зайцев с розовыми ушами и носами. Даже без открытки было понятно, что это папин подарок. Он очень любил дочь: называл ее сладким Зайцем, зацеловывал от макушки до пяточек, а теперь, когда выросла и навещала родителей исключительно по праздникам, продолжал дарить мягкие игрушки. Теперь вот эти тапочки...

Мамин подарок — скороварка — являл собой верх практичности и сопровождался банальностями, вроде: «Путь к сердцу мужчины...» Оставалось найти этого мужчину, а с этим у Зайки имелись проблемы.

Вернувшись домой, Зайка обозвала тапки пошлятиной и засунула на обувную полку в дальний темный угол, забыв об их существовании.

Рядом с ними на полке обитали пары разных фасонов и породы. Среди них попадались детища знаменитых брендов, которые на взгляд тапочек, ничем особым не отличались, но все они — именитые и не очень — были прекрасны: лодочки, шпильки, ботильоны, сапожки... Мохнатым тапкам не давал покоя блеск лакированных носов, замшевая мягкость ушек, острая тонкость каблучков. Как им хотелось быть на их месте и вести разгульную жизнь! Несправедливо, когда одним все, а другим пыль и забвение. Их розовые уши и носы посерели, мягкая подошва скукожилась. Они уже не выглядели милыми: нитки, которыми были сшиты, полезли наружу и напоминали червяков. Только и оставалось, что проклинать судьбу и хозяйку, которая их не замечала. Она имела обыкновение скидывать обувь у порога и шлепать босиком по квартире. Утром уходила, а поздно вечером возвращалась, чтобы переночевать, а с утра опять упорхнуть в очередной шикарной паре обуви. Так продолжалось долго и могло довести тапки до полного обветшания, но что-то изменилось в мире. Первыми почувствовали это лабутены. Они простояли невестребованными неделю, потом две, даже через месяц

к ним никто не притронулся. Алые языки подошв полыхнули яростью: «Предательница! Изменяет нам с дворняжками-кроссовками! Где шик, где вечеринки, выставки, концерты? Куда все делось?» Им, конечно, было неведомо, что Зайка, как все жители города и страны, да что там страны — всего мира! — выходила из дому только за едой и на пробежку. Даже работать приходилось не отходя от компьютера и не вылезая из пижамы.

Вот тут-то и должен был наступить «тапочковый» звездный час, но...

Ах, почему они себя не берегли!

Зайка, вспомнив, что у нее есть то, чему сейчас самое время, заглянула в шкаф. Порывшись, отыскала на полке с обувью слежавшиеся пушистые комочки. Тапки выглядели ужасно и буквально рассыпались в руках. Фыркнув: «Китайская дешевка!» — сунула в черный пакет, чтобы вынести на помойку. Они прижались друг к другу в темноте, охваченные душным паническим страхом, как вдруг сверху брызнул свет и полилось что-то соленое и горькое.

Зайка сидела над развязанным пакетом и рыдала, обливая слезами папин подарок. Ей только что позвонили из больницы и сообщили, что отец умер на второй день после подключения к аппарату ИВЛ. Она стряхнула с тапочек пыль, взяла иголку с ниткой и пришила отвалившиеся ухо и подметку.

После похорон тапки уже не снимала. Они держались из последних сил и мечтали об отдыхе. Как им могло не нравиться тихое, спокойное существование в темном углу? Зачем стремились к бурной жизни и хотели быть у всех на виду? Это так утомительно!

Прошли зима, лето, осень... Казалось, что уже никогда не вернется прежняя жизнь, но счастливый день наступил: Зайка сняла тапочки, бросилась к обувной полке и надела заскучавшие лабутены. Она торопилась на большую вечеринку по случаю окончания карантина. Тапки облегченно выдохнули. Им навсегда расхотелось быть на чужом месте. Тут бы на своем уцелеть...

## Дверь (Гнев)

Они сразу невзлюбили друг друга — дверь и жена. При первой же встрече старая дверь в загородном доме и молодая хозяйка столкнулись лоб в лоб. Дверь спокойно прожила больше полувека с прежними хозяевами, но они заболели и умерли один за другим. Их дети жили возле теплого океана и не нуждались в даче у холодного озера.

Немолодой солидный господин долго приценивался к одноэтажному коттеджу, а его жена с порога заявила, что нужен ремонт и замена буквально всего, но в первую очередь — двери в кабинет. Стукнув по ней ладошкой, скривилась от боли. Сквозь ржаво-коричневую краску просвечивала металлическая обивка. Дверь была бронированной и напоминала те, что ставят в складских помещениях, опасаясь грабителей.

— Пойми! — не соглашался муж. — Она единственная, за которой можно спрятаться или что-то спрятать. Хозяин тут хранил оружие. Охотником был.

— Но ты же не охотник, а писатель! — фыркала жена. — Твои книги не выстреливают на миллионы. Что тебе прятать?

Дверь угрожающе скрипела. Муж пытался придержать ее, входя в кабинет, но она, как назло, захлопывалась с грохотом. Тут же раздавался вопль: «Да когда ж это

кончится! Поменяй, слышишь! Я требую!» Слушая их перепалки, дверь думала, что лучше бы писатель заменил жену — сегодня она требует одно, завтра другое... Только за железной спиной двери будет ему покой и радость.

Приближался Новый год. Встречать собирались узким кругом, не нарушая правил карантина. Другим хотелось вырваться из города, посмотреть дом, погулять у озера... Жена поставила условие — никаких гостей, пока стоит на месте эта ржавая уродина, и если муж хочет сделать новогодний подарок, то лучшим будет новая дверь.

Такого поворота он не ожидал — в глубине души надеялся, что жена остынет. За дверью он чувствовал себя, как за каменной стеной — просто так не войдешь: замочек, ключик... Охраняя его творческий покой, дверь поглощала звуки: тушировала назойливое бормотание телевизора, глушила телефонные звонки, раздражающие скрипы и шорохи. Жена заявила, что ей лишний раз не хочется подходить к кабинету и пробегала мимо не задерживаясь.

Сначала его письменный стол стоял у решетчатого окна, но потом развернулся к двери: заоконная птичья жизнь утомляла, а рисунок облупившейся краски настраивал на философский лад. Давно ему так не писалось! Надо было придумать, как погасить конфликт, и он решил вызвать мастера. Менять ничего не собирался — просто придать двери приемлемый вид. Можно было обить шпоном под красное дерево, поставить механизм доводки, чтобы не хлопала...

Оказалось, что сделать это не просто — многие фирмы обанкротились из-за упадка строительства во время пандемии, а те, что выжили, ушли раньше времени на рождественские и новогодние каникулы. Менеджер предупредил, что прием заказов на этот год заканчивается завтра, каталог в интернете прилагается... Узнав, что речь идет о спецзаказе и нужна реставрация, предложил приехать, поговорить с мастерами, может, кто и возьмется, а о цене лучше договариваться на месте. Он решил не откладывать поездку и предупредил жену, что задержится на пару дней.

— А точнее можно? — она неохотно отвлеклась от болтовни по телефону. — Я не намерена торчать тут в одиночестве.

— Поехали со мной, если хочешь, — кисло предложил писатель. — Но учти, кроме двери, у меня еще в издательстве дела...

— Вот еще! Я лучше прошвырнусь по фермерским рынкам. Только очень прошу, не надо мне по сто раз на день звонить! Это раздражает.

— Да я вообще могу тебе не звонить, если на то пошло. Еду только ради тебя.

— Ну не злись. Ты ведь за подарком для меня...

— Это никакой не подарок. Настоящий получишь под елку. Он уже тебя дожидается, а мне бы мастера найти и уговорить...

Как только муж вышел за порог, жена отворила дверь в кабинет. Дверь за ее спиной тихонько захлопнулась, словно боялась спугнуть. Обшарив ящики стола, книжный шкаф, сейф, в котором прежний хозяин держал ружья, жена огорчилась — ничего, похожего на подарок, не нашлось, а воображение, тем временем, рисовало волшебную картинку непременно алой бархатной коробочки, на дне которой блестел и переливался, как елочная гирлянда, бриллиантовый браслет. В конце разочаровавшись, она направилась к выходу. Дернув за ручку, удивилась — дверь не поддавалась. Порывшись в карманах, вспомнила, что ключ остался в замке с той стороны. После получаса дерганья и рывков сдалась. Надо было искать помощь. Психанув, заехала по двери ногой. Дверь глухо ухнула, а нога заныла. Под ложечкой тоже заныло от мысли, что

позвонить не получится: мобильный остался в спальне, а городской не установили — хозяин не любил телефонов и вздрагивал при каждом звонке. Она подошла к окну, глянула с тоской через решетку на пустую проселочную дорогу: не вылезти отсюда, не докричаться, домов поблизости не видать — только лес, да озеро...

Ситуация выходила из под контроля. Она знала по опыту, что означают обещанные несколько дней, когда муж зависает в издательстве. Он забывает обо всем. Может и через неделю вернуться. До Нового года как раз неделя. Представив, что она тут просидит неизвестно сколько без еды, воды и туалета, закричала: «Сука!», набросившись на дверь с кулаками. В ответ на оскорбление из дверного нутра послышался зловещий скрежет. Она обернулась к письменному столу — там должен быть мужнин лэптоп, а значит есть связь через интернет... Черт! Он забрал его с собой. Выходит, что она отрезана от всего мира! Проклятая дверь!

Где-то в глубине дома послышался звонок мобильного. Отчаяние нарастало. Схватив с письменного стола подставку с карандашами, она села на пол и заглянула в замочную скважину. Там торчал ключ. Попыталась вытолкнуть его, сунув в скважину карандаш. Он с хрустом сломался, застряв намертво. Собрав слюну, в ярости плюнула на дверь и тут же почувствовала, что рот пересох и очень хочется пить. Обведя взглядом кабинет, поняла всю безвыходность ситуации: кроме полок с книгами, стола с настольной лампой, вертящегося кресла да старого проигрывателя прежних хозяев, в кабинете ничего не было — даже захудалого диванчика или ковра. Не было горшка с цветами, который бы очень пригодился, теплого пледа... От страха она завывала. Птица, сидевшая на оконной решетке, в испуге упорхнула, тревожно чирикавая. Если бы кто-то понимал птичий язык, то наверняка пришел бы на помощь, но увы...

Муж вернулся накануне Нового года. Ему удалось найти мастера, уладить все дела с новой книгой. За день до возвращения он, наконец, решился позвонить жене, хотя она и просила этого не делать. Новая жена — новые капризы. Телефон молчал и был переполнен сообщениями. Свое он так и не смог оставить. Занервничав, заплатил мастеру двойную цену и уговорил срочно выехать. Через два часа они были на месте.

Жены нигде не было. Из-за двери кабинета доносились невнятные звуки, как если бы кто-то мучал кошку или пытался спеть оперную арию, не имея ни слуха, ни голоса. Муж рванул дверь, она не поддалась. Торчащий в скважине ключ не проворачивался, а на его крики жена не отвечала. Мастер предложил взломать, но предупредил, что придется ставить новую дверь. Он долго мучился: в ход пошли домкрат и болгарка. Когда дверь была раскурочена, им в нос ударила вонь, а в уши какофония звуков. Пол был загажен, на проигрывателе крутилась пластинка, а на подоконнике сидела жена. Она в полный голос подвывала «Аиде» и синими от холода пальцами отковыривала снег с решетки, жадно запихивая в рот. Завидя мужа, затряслась от злобы, обвиняя его во всех смертных грехах, а двери показала средний палец: «Не верила? Получай сволочь! Теперь тебе крышка!»

В стоне и скрежете израненных петель можно было расслышать: «Ненавижу!»

Дверь пришлось заменить, а через какое-то время и жену тоже...

## *Холодильник (Чревоугодие)*

Лучше года, чем этот, не было в жизни холодильника. Раньше он и думать не смел о соперничестве с диваном и телевизором. Чего уж говорить о компьютере и телефоне! Молодая пара хозяев поначалу относилась к нему с безразличием — пробегали мимо, словно он пустое место. Заглядывали только для того, чтобы ухватить сок или пиво: кроме банок, бутылок и окаменевшей пиццы там ничего не водилось. Бывали, конечно, остатки и послаще: свиные ребрышки из ресторана или упаковка шоколадного мороженого, но чаще недостойный фаст-фуд, вроде размякшей картошки фри с недоеденным гамбургером.

Холодильник задвинули в угол подальше от плиты, которая, как и он, жаловалась на судьбу: в ней пылился подаренный на свадьбу набор сковородок и кастрюлек, которые так и не познали тепла, зато чайник, кофемашина и микроволновка не жаловались — им всегда хватало работы.

«Вот появятся дети, — ежился от внутренней пустоты холодильник. — Тогда все изменится: молоко, творожки, детское питание...» Но этот счастливый момент все никак не наступал, зато наступило новое время. Телевизор сообщил, что это надолго — даже, возможно, навсегда.

Хозяева перестали убегать по утрам, проглотив чашку кофе, — они засели дома. Работали теперь не вставая с дивана, а еду заказывали по телефону. Уже нельзя было сказать, что в холодильнике «мышь повесилась», но для припасов все равно хватало одной полки. Плита завидовала даже этому — к ней по-прежнему не подходили...

Поворотным днем стал тот, когда в холодильнике появились яйца. На завтрак была приготовлена яичница-глазунья. Плита ожила, сковородка накалилась... Вскоре к яйцам добавились сыр и бекон. Теперь по утрам на сковороде под крышкой пузырился пышный омлет.

Разносчиков пиццы сменили крепкие парни с большими коробками, наполненными овощами, зеленью, мясом и рыбой. Плита уже не остывала, а холодильник, наоборот, поддерживал холод, чтобы ничего не испортилось. Рядом с магнетиками городов на его дверце появились картинки с описаниями любимых рецептов: луковый суп напротив Парижа; ризотто возле Рима; буррито и фахитос прямо над Мехико. А каким становился борщ после ночи, проведенной в холодильнике! — рубиновым, крепким, как дорогое вино... Особенно удавалось радовать хозяев холодцом — он застывал до нужной пружинисто-нежной консистенции, как и желейные десерты. Ягоды в нем никогда не портились, а молоко не скисало. Холодильник урчал от усердия и удовольствия, а хозяева то и дело заглядывали в него с неизменным: «Что бы такого вкусенького?» Даже иногда ссорились, если кто-то среди ночи крался на кухню, не замечая, что сзади уже пристроился другой и зорко следит, чтобы тот не съел клубничный десерт или запеченную с яблоками утку.

Так продолжалось почти год, и холодильник уже не представлял другой жизни. С нетерпением ждал главного пиршества — встречи Нового года. Он хорошо помнил, что даже в худшие времена, когда хозяева целыми днями пропадали на работе, в этот праздник его полки ломились от изобилия: обязательная салатница с горой оливье, блюдо селедки под шубой, корзиночки с паштетом, фаршированные яйца, грибные



жульены... Чего только не было! А ближе к ночи приходили гости с кастрюльками и судочками, тортиками и пирожками. Всю ночь со вкусом ели и пили, а потом неделю доедали салаты, котлеты, заливную рыбу и пирожные. Он втягивал в себя упоительное смешение запахов чеснока и ванили, хрена и рыбы, мяса и шоколада, стараясь сохранить до следующего года. Хозяйке это почему-то не нравилось. Она отмывала его до блеска, и он дальше продолжал нести позорную службу шкафа для напитков. Но теперь стал чуть ли не главным в семье. Весь год хозяева от него не отходили. Так почему их лица не радостны? Заглядывают в него от скуки и едят от скуки... Неужели отменяют пир?

Телевизор ворчливо пророчил, каркая из соседней комнаты: «Кар-рантин! Кар-раул! Праздники сокр-ратить, больше пяти не собир-раться! Без масок — ар-рест!» Радио возмущалось: «Старый пропагандистский маразматик! Кто тебя слушает и смотрит? Расслабьтесь! Если очень хочется, то можно...»

Холодильник им не верил и ждал. Лучший год в жизни должен был закончиться большой жратвой! Его нервы пошаливали, он горячился, что было ему категорически противопоказано! Ну, а после того, как услышал от хозяйки: «Что б ты сдох! Из-за тебя теперь страшно становиться на весы!» — совсем потек...

Ремонтировать его не стали, а молодая пара разбежалась — они чудовищно растолстели и совсем перестали друг другу нравиться...

## *Телефон* (Прелюбодеяние)

Теперь на подушке вместо женской кудрявой головки лежал он — верный друг и соратник — навороченный последний айфон с большой памятью и тремя камерами. Если бы хозяин спросил у него имя той брюнетки, из-за которой сбежала кудрявая, то телефон бы ответил не задумываясь и даже показал откровенное селфи, но хозяин думать о ней забыл, как и про сотню других, чьи имена стерлись из его памяти. Его, но не телефона... А вот Кудрявая застряла вроде бага — не избавишься, даже если перезагрузить.

Хозяин по сто раз на дню бомбил ее извинительными эсэмэсками, умоляя вернуться, но она не отвечала. Батарейка сдыхала, телефон и хозяин чувствовали себя разбитыми и старыми. Им даже не хотелось выходить на охоту, да и какие птички и зайки во время карантина? Прошли сладкие времена, когда в переполненных барах и клубах отрывались по-полной полуголые девицы. Хозяин доверял телефону подсматривать и запоминать, а если удавалось склеить, — вести переписку, исправляя грамматические ошибки. Потерять верную подружку во время пандемии, на взгляд телефона, было катастрофой! Да еще такую — с розовыми губками и сосочками, с розовыми пяточками, а главное — с розовым айфоном. Ох, этот айфончик с лакированным футляром под цвет маникюра, с мелодичной арфой звонков, с чириканьем мессенджера! Хозяйка имела обыкновение бросать его где попало. Можно было сгореть от возбуждения, когда они лежали бок о бок на столе, на тумбочке и даже в постели, синхронно вибрируя, позвякивая от удовольствия и быстро разряжаясь...

Внутренний мир ее телефона был прекрасен: в нем не было дурацких игр со стрельбой и покером, сомнительных сайтов с полуголыми девицами и уймой ненужных

приложений. Там были чистота и покой: картинки с рецептами еды, стихи и фотографии путешествий. Хозяйка не нагружала его ненужной информацией и редко в него заглядывала. Она смотрела во все глаза на того, кто не выпускал из рук свой.

Все рухнуло после первой волны. Кто тогда знал, что она первая? Жизнь ненадолго вышла из психоза, стали открываться один за другим рестораны, клубы, стрип-бары. Девушки оголились под летним солнцем. Вот и встретила на открытой веранде офисного кафе та самая брюнетка с остренькой грудкой под тонкой майкой. И ведь не особо искали приключений: хозяин просто зашел перекусить, а тут такое!

Зависли с ней на всю ночь. Нелегко тогда пришлось: Розовый все время присылал сообщения: «Милый, ты где?», «Ответь, я волнуюсь», «Позвони!»... Телефон вздрагивал, страдал и не решался ответить за хозяина, а ведь это могло спасти — наплел бы успокоительной ерунды про внеурочную работу или спасение друга...

Когда наутро они вернулись, то застали ее в слезах. Розовый тоже едва не накрылся от сырости. Запоздалое вранье не помогло. Она унюхала запах духов, собрала вещи и ушла, хлопнув дверью.

И вот уже полгода хозяин пытается ее вернуть, а телефон повидаться с розовым собратом. Оба надеются на чудо, ведь скоро Новый год, а в это время люди становятся сентиментальнее и тянутся друг к другу, скучая по человеческому теплу. А вдруг и ее потянет назад? Хозяин звонит ей, шлет любовные письма с картинками разбитого сердца, выслеживает в социальных сетях... Рукоблудием он сыт по горло, ему надоел секс по телефону, а порно навевает сон. Только фотографии Кудрявой возбуждают. Когда-то они нащелкали ее на целый мегабайт во всех видах и позах. Есть и такие, о которых она не знает — сделаны они исподтишка в кровати, в ванной, на кухне... Перебирая в памяти и елозя пальцами по экрану, хозяин рассматривает ее стройные бедра, гибкие ноги, округлости груди, складочки и родинки... Одну фотографию телефон особенно любит: на ней она, раскрасневшаяся от сна, прикладывает к нежному маленькому уху свой розовый айфон. Одеяло съехало, открыв бесстыдную наготу тела, взгляд мечтательно устремлен в потолок, а на палец накручен рыжий локон. Хозяин тоже частенько разглядывает именно этот снимок и не только разглядывает — он ложится рядом, раздевается...

Таких стонов не слышала ни одна работница интим-услуг, которых он перепробовал пачками. Телефон не сомневался — если Кудрявая узнает, что творится в этот момент с ее бывшим возлюбленным, то не устоит.

Кто знает, как это случилось и чья вина в том, что в момент подхода к оргазму, включилась камера — это ли желание телефона угодить или неосторожность владельца?

Видео должно было прямиком улететь на розовый айфончик, но унеслось в облако, а оттуда расползлось по сети. О, какой грянул скандал! Кудрявая не оценила новогодний сюрприз. Обозвав бывшего извращенцем, заблокировала номер. Связь с Розовым прервалась навсегда...

Интернет еще долго обсуждал параметры мужских достоинств хозяина, степень эрекции, тембр голоса, потливость... Его уволили с работы за непотребное поведение и нарциссизм. В порыве злости он швырнул телефон об стену. Телефон треснул, но не разбился, хотя память, конечно, пострадала — из нее стерлись сайты секс-услуг, контакты подружек и девиц по вызову. Хозяин отдал телефон в починку, но оказалось, что в данном случае память восстановлению не подлежит...

## Печь (Алчность)

Она быстро раскалялась до красна: жарко дышала, гудела огнем, мигом сжирая в топке поленья.

— Ненасытная какая! — злился дед, подкладывая увесистую чурку. — Все тебе мало, как моей бабе в молодости... Сама знаешь, чем кончилось — перегорела, а потом и вовсе сгорела от болячки злой. Хорошо, не от заразы этой нынешней... Хотя по-людски проводили — всем поселком, а сегодня на похороны только родне можно. А где взять ту родню? Сын теперь ни ногой. Обиженный... А с чего, спрашивается? Да потому, что я завещанные бабкой деньги внукам не отдал — мои кровные! Ладно, пусть не мои, а наши — работала не меньше моего, но этим паршивцам за что? Они сюда носа не кажут: все им грязно, все воняет... А то, что в этом доме отец родился и дедушка копейку к копейке откладывал, чтобы его построить... Плевать им на лес и озеро, на хозяйство наше. Только бы в компьютеры свои пялиться. Ты помнишь, как на похоронах пыль в глаза пускали? — он повернулся к печи, отодвигая заслонку. — Мы такие крутые, у нас денег куры не клюют, давай, мол, к ним в город переезжай, а дом этот — старьё немодное — в коттедж двухэтажный перестроим. Тебя, между прочим, тоже собирались в камин переделать. Типа, хорош, дед, на печи греться, надо у камина, в кресле, с бокалом вина... Тьфу!

Печь, зловеще загудев, вспыхнула. Она все помнила — и смерть хозяйки, и рождение хозяйского сына, даже то, как закладывали ее саму. Печника того тоже не забудет — это по его вине она такой ненасытной стала. Хотя чья тут вина — большой вопрос. Печник был неразговорчивый, бурчал что-то под нос. Но то, что ее касалось, — расслышала и загордилась. Оказывается, у нее были щеки, как у людей — их следовало облицовывать; сердцевина, которую называл горнилом и даже устье, как у реки, куда дрова подкладывать. Только одно слово ей сразу не понравилось: поддувало печник называл хайлом. И не только поддувало... Когда дед, тогда еще молодой, орал на мастера за перерасход кирпича и кафеля, тот ему ответил: «Заткни свое хайло!» Дед его выгнал, не доплатив, а печник, в отместку, оставил совсем маленькую и невидимую щель на стыке стен, откуда просачивался холодный воздух. Потому ей всегда не хватало жару. Дед и бабка ссорились: он все дрова экономил, а она замерзала. Вот и сейчас дед, как пить дать, уляжется спать в холодном доме. Аж пар изо рта... Завалится под потолок на лежанку да еще и два одеяла на себя натянет. Может передумает все же, дровишек подбросит... Нет... Скупердяй проклятый! А что это он задумал? Слышишь, я еще не прогорела! Не трогай задвижку!

За ночь печь не просто остыла, а заледенела от страха — дед с нее не встал. Так и лежал весь день заколеченный. Только к вечеру постучалась соседка. Не докричавшись, ушла, а на следующий день опять пришла. Услышала, как блеют козы недоенные и квохчут куры некормленные, и пошла людей на помощь звать...

Хоронить приехали сын с женой и внуки. Не больше пятнадцати человек разрешалось собираться для прощания, да и этого не набралось. Не любили деда в поселке за его прижимистость и осуждали, что волю жены не исполнил. А вскоре на месте старого дома уже строился новый, роскошный. Жизнь города постепенно перемещалась в глубинку — поближе к земле, воде, огню...

Сын и внуки взялись за дело капитально. Поначалу это даже понравилось печке: пришли горланившие на непонятном языке узкоглазые парни, разнесли кувалдами стены, а ее не тронули, но потом пришел печник, совсем не похожий на прежнего. Этот напоминал фокусника — жонглировал рисунками и чертежами, брезгливо обтирал руки от сажи и наговорил много мудреных слов. Старую печь решено было переделать в камин в стиле барокко с лепниной и позолотой. Такой роскоши она отродясь не видела. Только вот секретную щель в кладке так никто и не заметил, и огонь продолжал яростно сжирать дрова.

Вскоре стало понятно, что у камина никто не собирался греться, просто разжигали иногда для красоты и хвастовства перед гостями. Еще украшали его к Рождеству хвойными ветками и гирляндами, а на каминную полочку выставляли семейные фотографии в богатых рамках. Фотографий прежних хозяев среди них не было — они пылились в семейных альбомах. Все реже в дом приходили гости, соблюдая новые правила, и все реже загорался огонь в камине. Теплившаяся в нем душа старой печи, негодовала: «Зачем им я? Для кого дрова в поленнице? Сами не хотите, дайте мне согреться!»

Наконец наступил Новый год. Как тут без камина, когда собирается вся семья за столом, а в углу серебрится пахучая елка? В этот вечер никто не жалел дров — поленья летели в огнедышащую пасть одно за другим. Из трубы валил дым, искры взмывали в морозное небо, а в доме нарастал градус жары и веселья. Начались танцы, а потом баня и катание в снегу... Никому уже не было дела до диких плясок огня. Его языки потянулись к подставке для дров и к ящику с еловыми шишками, потом перекинулись на шторы и елку...

Дом выгорел дотла, а посреди пожарища, пронзая небо трубой, стояла черная от копоти печь, широко разинув рот. Чего ей на этот раз не хватало? Наверное, опять тепла...

### *Окно* (Уныние)

Это окно смотрело на юго-восток. Таких на последнем этаже панельной девятиэтажки было несколько — в них первых всходило солнце. Поутру они вспыхивали, а после полудня гасли, передавая эстафету собратям северо-западного крыла, в которых догорал закат. За окнами текла жизнь: рождались и умирали, женились и разводились, приезжали и уезжали люди, объединенные одной особенностью — они любили встречать и провожать солнце не выходя из дому. Оно всходило над озером, а заходило за высокой горой. От живописного пейзажа захватывало дух и потому часто можно было заметить за стеклом мечтательное лицо. И только крайнее окно в углу под крышей не разделяло общего восторга. Оно всегда было занавешено плотными шторами, охраняя сумрачный мир хозяев.

Когда-то все было по-другому: его распахивали навстречу солнцу и дождю, отмывали к праздникам, ставили на подоконник цветы. Тогда в квартиру новенького дома въехала семья — четверо взрослых и еще не родившийся младенец. Старшие, которые вскоре должны были стать бабушкой и дедушкой, вышли на пенсию и могли себе позволить не вскакивать ни свет ни заря, поэтому выбрали западную сторону, а

молодая пара, наоборот, рано вставала, и плотные шторы им были не нужны — только легкий тюль, прозрачный и воздушный, такой же, как их представление о жизни.

С таким легкомыслием категорически была не согласна свекровь. «Что значит легко? Так не бывает, так не должно быть! Мы так не жили — всё кровью и потом...» День и ночь она учила молодых жить — на что тратить деньги, что покупать, как убирать и готовить, как правильно мыть окна. Хотя, скорее, не мыть, а драить: под ее крепкими пальцами стекла скрипели и стонали, а невестка закусывала губу. Пока ждали рождения ребенка, молодые помалкивали, зато уж потом дали себе волю.

Мальчик родился слабым, болезненным, все время мерз и кричал. Окно стали плотнее закрывать, борясь со сквозняками. Оно запотевало, мутнело и, как уголок одеяла, иногда отгибало маленькую форточку. Бабушка и дедушка ругались, отстаивая свои методы воспитания: свежий воздух, закалка, холодные обливания... Стекла дрожали от их криков и надсадного кашля младенца. Жить всем под одной крышей стало невыносимо. Сын и невестка, несмотря на чудесный вид и дом, решили съехать, но этого не случилось — свекровь, закаливая внука, сама простудилась, потом слегла с воспалением легких и уже не встала...

В день ее похорон ласточки свили гнездо под крышей возле окна. Много лет прилетали, сновали туда сюда, а вот после смерти дедушки исчезли. Никто не знал почему. Только болезненный мальчик знал и молчал. Он невзлюбил птичье копошение и радостную переключку за то, что летают где хотят, а ему приходится сидеть дома с очередной ангиной. Пока никого не было поблизости, взбирался на подоконник, открывал форточку и тыкал веником в ласточкин дом.

Когда вырос и пошел в школу, стал меньше болеть, зато пакостничать больше. Теперь он жил в комнате с окном на восход, а родители переселились в другую — с видом на закат. Так и должно быть: жизнь восходит из темноты, достигает зенита и постепенно скатывается во мрак...

Оказалось, что с этим трудно было согласиться отцу — он искал и нашел ту, которая не боялась обнажать молодое тело под самыми яркими рассветными лучами. Закат остался жене, а сын возненавидел весь белый свет. Чтобы не видеть счастливых людей в окнах и под окнами, он заложил рамы постерами любимых фильмов, а потом повесил те самые не пропускающие свет черные шторы. Вместо цветов на подоконнике появились припрятанные сигареты и пепельница, тарелки с недоеденной едой, недочитанные книги, грязные носки... Спертый воздух давил на стены, а смрад впитывался в складки штор. Иногда в комнату тайком проникала мать. Все, что ей хотелось — это открыть форточку, но если сын замечал, то набрасывался с обвинениями во вторжении в личное пространство и ругал на чем свет стоит. В конце концов, повзрослев, врезал замок.

Разговаривать между собой мать и сын перестали. Она робко заговаривала, но он отворачивался, напяливал капюшон, а в уши вдевал наушники, прячась в душевой комнате. Ей приходилось молча уходить к себе и, глотая слезы, смотреть, как угасает день. Обмирая от страха, пыталась поймать его взгляд, но сын прятал глаза и подолгу не выходил из комнаты, а иногда пропадал. Его находили в дурных компаниях. Учиться он бросил, а работать не хотел — лежал целыми днями на диване и смотрел в зашторенное окно. Что там старался разглядеть — сам не знал, но черный квадрат завораживал, притягивал, волновал...

Ненадолго забрезжил «свет в окошке» — сын, не вставая с дивана, нашел в интернете подружку. Она тоже оказалась не большой любительницей яркого света, но

плохие запахи нравились ей еще меньше. Подружка первым делом распахнула шторы, зажала нос и принялась убирать. Стекла драила так, что они стонали, точь в точь, как четверть века назад. Не успокоилась, пока не оттерла их до полной прозрачности. Еще отмыла от пятен подоконник и поставила на него цветы... Все это не понравилось окну. Его плющило и трясло, как, впрочем, и сына. Он скинул цветок с подоконника, плотнее задернул шторы и выпроводил подружку. Это случилось перед тем, как мир изменился, а в окнах появилось все больше печальных лиц. Какими бы прекрасными ни были восходы и закаты, одинаковость картинки утомляла. Людям хотелось разнообразия, они страдали на карантине — все, кроме тех, кто привык смотреть в пустоту.

Перед новогодними праздниками мать почувствовала себя плохо — поднялась температура, болела голова. Тест показал, что у нее вирус, а у сына нет. С теми, кто живет бок о бок, такое случалось. Просто повезло или помогло то, что не пересекались. Сейчас она думала об этом с радостью. Ее болезнь протекала тяжело. В больнице накануне Рождества ее подключили к аппарату ИВЛ. Шансов было мало. Оставалось надеяться на чудо.

Многие только на это и надеялись, с облегчением прощаясь со старым годом и с надеждой встречая новый. В окнах отражались всполохи фейерверков и петард, пенились бокалы с шампанским. Сын в чудеса не верил. Он смотрел на телефон и плакал, удивляясь тому, что плачется легко. Раньше, когда хотелось, слезы не лились, а душили. Теперь свободно текут, капаят с подбородка, но воздуха все равно не хватает. Он раздвинул шторы. Над замерзшим озером кружил снег и стояла полная луна. Серебристая дорожка стелилась по льду. Соседка, гулявшая с собачкой, заметила, как под крышей внезапно дрогнуло и распахнулось окно. Человек, стоящий на подоконнике, подставил заплаканное лицо холодному ветру и снегу. Посмотрев на небо, занес ногу, чтобы шагнуть в пустоту, но от порыва ветра окно с треском захлопнулось, вытолкнув его назад в комнату. Собака залаяла, соседка закричала. Сверху посыпались осколки. Они были похожи на сорвавшиеся с крыши сосульки...

Он сидел на полу, вытирая о рубашку израненные в кровь руки и улыбался. Ему пришло сообщение из больницы, что мама дышит сама. Он встал, подошел к разбитому окну и вдохнул полной грудью морозный воздух.

## Обыденная виртуальность

*Размышления белгородских школьников*

*В ноябрьском номере 2019 года мы опубликовали сочинения наших постоянных авторов — белгородских школьников: «Моя мечта — это нескончаемое количество мечт». Уже сам заголовок наглядно фиксировал их отношения с настоящим и будущим. Перед ними раскрывался мир заманчивых вещей, привлекательных занятий, ослепительных возможностей.*

*2020-й посадил мечты на карантин. В его уже самые последние, декабрьские дни мы попросили выпускников гимназии № 3 г.Белгорода рассказать о том, как этот коронавирусный год изменил их жизнь, их представления о мире, планы и мечты.*

*Ирина Гермаш, 11а класс*

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» — именно эти слова, произнесенные голосом Иосифа Бродского, прозвучали в моей голове, когда в нашей стране был объявлен режим самоизоляции в связи с пандемией. Звуки и буквы вторглись в мое сознание, отзвучев тревожным маршем, и до сих пор иногда шепот вьющейся фразы шелестит в мыслях. Все мои действия, чувства и убеждения в настоящем так или иначе переплетаются с событиями прошедшей весны, посеявшей в сердцах людей страх, сомнения и превратившей все их мечты в осколки. На удивление, сказать, что год прошел не так, как мне бы хотелось, я не могу. Заточение или свобода? Такой вопрос озадачил меня во время уже привычного пролистывания новостных лент. Озадачил он не только меня: миллионы россиян были ошеломлены новостью о карантине и оплакивали собственные планы и цели на год. Я же восприняла эти события как шанс понять себя, а именно: свои истинные желания, интересы и реальные возможности. Да, в физическом отношении я была ограничена стенами дома, но с моральной точки зрения я обрела полную свободу. Уходящий год в буквальном смысле подарил мне путевку в будущее. Проведя несколько месяцев на самоизоляции, я осознала, что самым главным ресурсом в нашей жизни является время, и впервые почувствовала свою власть над ним. За время пандемии я увлеклась таким видом творчества, как фотография. Ограниченная четырьмя стенами и соседним двором, я научилась видеть красоту во всем, создавать искусство из ничего. Умение радоваться мелочам — вот чего мне так не хватало, однако цель перед собой я ставлю большую: поступление в университет и финансовая независимость от родителей. Теперь я наверняка могу сказать, что считаю себя счастливым человеком и надеюсь пронести это счастье через всю жизнь.

*София Тищенко, 11б класс*

2020 год — год Белой Крысы. И ведь действительно мы, словно крысы, сидели в норках, таскали еду домой и там ее грызли, заметив человека — прятались, были переносчиками инфекции. Очень говоряще-символичная параллель.

Все началось в далеком, для некоторых мышеподобных людей, марте. Я, как и многие школьники, училась, и ничего не предвещало неприятностей. Подходила к концу самая долгая и стрессовая третья четверть, мы все с нетерпением ждали каникул, чтобы развлекаться и с новыми силами завершить полугодие. Вдруг в беседу 11 «Б» класса приходит то самое, как нам поначалу казалось, радостное сообщение: «Дети, в связи со сложившейся ситуацией в стране мы выходим на каникулы чуть-чуть раньше». Ходили какие-то слухи про новый опасный вирус, но мы не придавали этому значения. Нашей радости не было предела: какая там учеба, если каникулы на пару дней раньше?! Но счастье длилось недолго. Когда объявили массовую самоизоляцию, все подростки начали судорожно переписываться с друзьями и обсуждать последние неприятные новости. Когда все наши прогулки, походы в кино и кафе сменились на ношение масок в общественных местах, использование антисептиков на каждом шагу и задерживание дыхания при мимо проходящем человеке — мы не на шутку испугались. Жизнь действительно приобрела другой вид. Но тут есть две стороны одной медали: первая — общение с друзьями стало еще более виртуальным, но мы выкручивались, как могли: смотрели фильмы в общем чате, с обсуждениями каждой детали, групповые видеоконференции на 5—10 человек с рассказами новостей. Мы очень хотели воссоздать ту самую атмосферу, которая была ранее. Вторая — семьи стали проводить времени вместе намного больше. На моем примере могу сказать только то, что мои родные стали еще ближе друг к другу, и это не может не радовать.

Самое страшное во всей этой ситуации было то, что когда я открывала статистику, там, даже при особом контроле, цифры смертей только увеличивались. В этот момент меня охватил страх, и холод пробежал по спине. Я молилась только об одном: пусть лучше я, чем мои близкие. Мне в такие моменты хотелось действительно подписать какой-то договор, чтобы со мной делали что хотели, но родных не трогали.

Я хочу сравнить это с какой-то войной, в которой у людей явно мало шансов. Лицом к лицу с опасностью стояли ангелы, по совместительству врачи, и супермощный демон — вирус. Борьба не то, чтобы не равная (здесь изначально видно, кто ведет). Страх, отражавшийся в глазах врачей, действительно забирал все шансы, но они не сдавались и не сдаются до сих пор. Они нам дают некую надежду на победу. Демон забрал к себе в иной мир миллионы людей, но мог бы забрать больше, если бы не они — наши спасители, спасатели, исцелители.

Для меня это очень страшная тема для обсуждения, потому что еще не конец и никто не знает, что будет завтра и какие «сюрпризы» еще подкинет жизнь.

*Артём Фучиж, 11а класс*

Коронавирус подкрался незаметно и вскоре стал неотъемлемой частью жизни. Вот уже год, как он обитает скрытой угрозой где-то поблизости: на невымытых руках, в чьем-то нечаянном кашле — в общем, достаточно причин для паранойи.

На дворе был февраль, и новости о коронавирусе только начинали появляться. Тогда я был совершенно чужим в Москве, с рюкзаком за спиной, так как приехал писать очередную олимпиаду. Кажется, впервые за свою жизнь я надел маску и, вполне возможно, был такой один на целую столицу.



Но время не стояло на месте. Новости становились все громче. И вот уже каждый поодиночке у себя дома (но на самом деле вместе — всем миром) помогал друг другу самоизоляцией, как мог останавливал движение пандемии.

Вот уже год, как маска стала самым важным аксессуаром, как запах антисептика и хлорки стал гарантом безопасности. Вот уже год, как виртуальность современного мира стала намного реальнее и обыденнее.

Вот уже год, как вылазки в реальность необычны и ощущаются, как сон. Такими вылазками для меня стали поездки в «Сириус» и в «Артек». Огороженная территория, ежедневные замеры температуры — сразу и не узнаешь места, в которых был в прежнее, нечумное время. Но вскоре оказывается, что главное не изменилось. Что ни перчатки, ни маска, ни дистанция в полтора метра не смогут помешать новым знакомствам и новым эмоциям.

И все же с опасением смотришь на дистанционное обучение нынешних студентов. И, кажется, не столь хочешь виртуальной Москвы, да и, по правде сказать, скучаешь по более частым конкурсным поездкам. Но нужно мужаться: 2020 год приучил нас к тому, что изменения неизбежны, показал, что в будущее можно прийти только сообща.

И не то что бы с недоверием, а с неподдельным интересом смотришь в будущее. И вроде странно, и вроде мир стал другим. Но, кажется, ничего по-настоящему не меняется. Коронавирус — коронавирусом, мечты — мечтами. Начали бы только кино снимать.

*Анастасия Демещенко, 11б класс*

Сначала вирус не дает о себе знать, он проникает во все слои общества, перед ним все равны. Затем он начинает встраивать свои ядовитые планы в наши. Остановить его возможно, если избегать встречи с ним. Но это почти нереально с такими темпами жизни. Приходится их снижать: сидеть дома, переносить встречи, обесценивать время, приспосабливаться к новым условиям существования. Вирус, как война, наступает внезапно, а врачей, как стойких солдатиков, отправляют на фронт. Жизнь каждого из нас становится другой. Тот путь, который мы наметили на год, становится лабиринтом. Нужно искать выходы, и мы, принадлежащие к виду *Homo sapiens*, начинаем это делать.

Изменив наши ближайшие планы, вирус начинает расселять неуверенность в завтрашнем дне, в следующей неделе... Он диктует нам новые законы и правила, чтобы выжить. Мы больше не видим людей, а если видим, то только глаза. Мы не приходим так же часто, как раньше, к близким и родным, чтобы сберечь их здоровье. Мы начинаем ценить очень многое, что раньше казалось нам возобновляемым. Мы как будто быстрее взрослеем. На нас возлагается большая ответственность. Ответственность за близких, за себя, за свои дела и жизнь. Вчерашние проблемы уже не кажутся такими сложными. Происходит встряска человека. Он перезагружается и становится более опытным.

Именно так произошло и со мной. Мои мечты и планы остались в целостности. Но вижу я теперь их в другом и по-другому. Теперь «здоровый» — это уже «счастливый». Звучит грустно.

Даже когда меняются планы, цели и мечты остаются верными нам. Но о них принято молчать, спросите меня через год, и я отвечу, осуществилась ли моя мечта. А в планах как было написано: «Сворачивать горы», — так и остается. Только какой я выберу для этого лабиринт, не зная, что будет завтра, остается вопросом. Это,

наверное, самое страшное... Как можно не быть уверенным в завтрашнем дне... Жить импровизированно, если что-то меняется. Это оказалось сложным. Когда кто-то вышестоящий говорит точные даты экзамена, ты все равно понимаешь, что эта точность равна нулю. Но не гадать же на кофейной гуще... Поэтому остается только жить и ждать неожиданных поворотов, к которым нужно быть готовым. Надеяться на долгожданный всеми выпускной, на торжественную церемонию, на прекрасное и запоминающееся лето. Мы все хотим прочувствовать этот момент так же, как и наши родители, ведь жить их рассказами мы не можем... Но никто не уверен в том, что это случится.

*Максим Кабачный, 11б класс*

Пандемия, рухнувшая на нас в начале этого года, не прошла незамеченной. Она серьезно ударила по многим сферам общества в современном мире. Некоторые, как когда-то казалось, фундаментальные понятия рухнули, оставив после себя благодатную почву для дальнейших размышлений. Так по истечении нескольких месяцев, проведенных дома, я разочаровался в себе, так как оказалось, что я не читаю различную литературу не из-за нехватки времени, разочаровался в некоторых людях, которые обвиняли врачей, санитаров в профнепригодности, в безразличии к сложившейся ситуации, в бездействии. Однако, благодаря волонтерам, которые, учась в медицинских вузах, шли в больницы, в которых не хватало рабочих рук, благодаря студентам, которые, не оставляя надежд в будущем стать хирургом, в домашних условиях проводили сложнейшие операции по смене слегка сгнившей кожуры банана, благодаря людям, которые понимали, какой вклад вносят врачи в победу над этим вирусом, я еще больше убедился, что хочу связать свое будущее с медициной. И не важно, будет ли мой труд оценен по достоинству, или же очередные диванные критики меня обложат различными оскорблениями, главное, что лично я буду понимать, что, возможно, спас кому-то жизнь.

*Александр Ковалев, 11б класс*

С января двадцатого года весь мир подвержен панике. А все из-за того, что известные человечеству 43 типа коронавирусов начали терроризировать нашу планету. Что я об этом думаю? Я предполагаю, что вирус выведен синтетическим путем, а виной этому — политические условия. Это невероятный план по разрушению экономики. Не будем углубляться в подробности политической и экономической жизни, но такую теорию нужно было озвучить. Джим Керри, американский актер кино и телевидения, великолепно высказался по поводу этой ситуации: «Вирус доказал, что всем миром можно легко манипулировать через страх, просто контролируя средства массовой информации, научные круги и медицину».

Как изменилась моя жизнь? Я склоняюсь к варианту, что никак. Да, надеваю маску перед тем, как зайти в магазин или торговый центр, да, моя семья и некоторые знакомые переболели этой гадостью, но я считаю себя реалистом. Всегда говорю о том, что это ерунда — обычное ОРВИ с определенными осложнениями.

И это все делает меня еще более приближенным к реальности. Теперь вряд ли я буду мечтать о какой-нибудь авантюрной поездке за границу. Отныне буду знать о том, что финансовая подушка безопасности должна быть еще толще, мало ли что? Может быть, завтра какой-нибудь китаец съест не летучую мышь, а целого крокодила, весь мир будет изолирован, без работы, а наше государство и дальше будет бездействовать.

*Ксения Титова, 11б класс*

Хочу поздравить тебя с днем рождения, дорогой COVID-19!!! Тебе ровно год!! Но за это время ты уже кардинально изменил мою жизнь. Признаюсь, сначала я тебя побаивалась, но совсем быстро ты стал неотъемлемой частью моей жизни.

Когда объявили дистанционное обучение, я очень обрадовалась, ведь думала, что мое безделье продлится еще на месяц, но начались занятия... Из-за того, что я постоянно пользовалась ноутбуком, у меня ухудшилось зрение. Но, сколько бы я ни занималась, ни выполняла все задания, я понимала, что это не то полноценное обучение, которое предоставляют мне в школе.

Кстати, чуть не забыла, я же не поеду в Москву на новогодние праздники к родственникам, и первый раз буду встречать Новый год в узком кругу семьи. За это тебе отдельное «спасибо»!

Но, знаешь, я уже не считаю тебя обузой для меня и общества, я уже даже считаю тебя его частью. Я думаю, что ты лишь очередная трудность, с которой столкнулась на своем жизненном пути и которую я несомненно преодолею.

*Екатерина Игнатова, 11а класс*

Коронавирус — страшная эпидемия XXI века, затронувшая каждого из нас. Сейчас я хочу рассказать о том, как я провела 2020 год.

Январь и февраль: начало эпидемии, на которую никто в России не обращал внимания. Все ходили на работу, в школу, в детские сады, на различные кружки, ну и, в конце концов, все ходили гулять в общественные места.

Март, апрель и май: я решила соединить эти месяцы, потому что именно в марте нас посадили в «заточение» и заставили носить «намордники». Это время я запомнила только огромными горами домашней работы, посаженным зрением, постоянно забитой памятью на телефоне из-за большого количества фотографий своих работ для учителей. Именно в эти месяцы люди начали забывать о живом общении, ведь мы перестали гулять. Когда я смотрела в окно, видела лишь пустые улицы. Город потерял своих жителей, было ощущение, что наступил «апокалипсис», а люди превратились в «зомби» и прячутся по углам в поисках свежей крови. Время было действительно страшным.

Июнь, июль и август: началось лето, но все заведения были закрыты, поэтому приходилось гулять только по улицам. Никто не понимал, что будет дальше, но ситуация с вирусом становилась лучше. Постепенно открывали общественные заведения, детей отпускали в летние лагеря, у подростков появилась возможность заработать деньги, и все люди сняли «намордники». Время перестало быть страшным, жизнь вроде бы налаживалась!

Сентябрь, октябрь, ноябрь и половина декабря: вирус начал прогрессировать. Ситуация стала еще хуже, чем весной. Количество зараженных поражает. Окружающие начали заболевать. Наконец-то люди поверили в вирус и начали относиться более серьезно. Теперь антисептик стал «вещью №1» в сумке у каждого. К счастью, он теперь важнее, чем телефон. О том, что будет дальше, неизвестно никому, надежды на что-то хорошее, к сожалению, уже нет.

В итоге можно сказать о том, что эта эпидемия забрала у людей многое: работу, близких, живое общение. Возможно, что таким образом человечество решило наказать за все их грехи, но этого мы никогда не узнаем. Сейчас всем людям нужно объединиться для борьбы с этой заразой, только совместными усилиями мы решим эту глобальную проблему, в противном случае мы потеряем не только близких, но и самих себя...

*Валерия Ефимова, 11а класс*

С каждым днем к нам приближается новый 2021-й год. Но прежде чем в него войти, обязательно нужно подвести итоги уходящего 2020 года. Год принес всему человечеству немало испытаний, с которыми, к сожалению, справлялись не все. COVID-19 надолго запомнится миру. Бесспорно, пандемия останется в истории и в памяти каждого из нас. COVID-19 — устрашающий диагноз 2020 года. Карантин, изоляция, масочный режим, поиски вакцины, подорожание лекарств, нехватка мест в больницах, растущая с каждым днем цифра смертей в статистике — все это можно назвать одним словом «Коронавирус». К несчастью, смертельный вирус не щадит практически никого. По моему мнению, стремительно распространяющаяся по планете смертельная болезнь хуже войны. Во время войны власти могут с помощью переговоров остановить кровопролитие и сохранить жизни. Но как договориться с вирусом?

Проведя параллель с историей, я обнаружила некую закономерность. В 1770 году в России была вспышка Чумы, а в 1880 — пандемия Гриппа. Конечно, мы можем все списать на цифру, четное число 2020 и високосный год, так как может показаться, что есть закономерность с цифрами прошлых столетий. Но кто-нибудь задумывался о том, что Вселенная нас наказывает? Возможно, судьба дает нам испытания, в которых человечество сможет осознать и исправить свои ошибки. Мы перестали беречь планету, загрязняя ее все больше, мы перестали ценить жизнь и друг друга.

Находясь в изоляции, многие люди поняли значимость живого общения. Потеряв близких, люди начали ценить родных и собственное здоровье. Я хочу верить, что многие изменили свои взгляды и поняли, что в этом жестоком мире нематериальные ценности гораздо важнее каких-то бумажек, создающих лишь иллюзию счастья.

Мне бы очень хотелось, чтобы мы все вместе смогли справиться с ужасным вирусом и стабилизировать ситуацию, вернуться к прежней жизни. Я верю, что 2021 год принесет нам яркие, счастливые моменты, исполнит наши желания и мечты. Но только лишь в том случае, если человечество действительно станет добрее и внимательнее к себе и к окружающим, начнет ценить не деньги, а то, что по-настоящему важно: любовь, дружбу, мирное небо над головой, семью и жизнь.

*Анастасия Сагайдачникова, 11а класс*

Новый 2020 год начался с некого «подарка судьбы». Весь мир охватила неизведанная и пугающая пандемия. Изначально вирус никого сильно не пугал, но позже, из-за быстрого темпа распространения, люди начали осознавать риск и опасаться болезни. Всю весну человечество провело взаперти, любая возможность сделать вдох свежего воздуха казалась подарком. Именно в тот момент я начала ценить природу, осознала необходимость взаимосвязи человека и окружающей среды. С первого взгляда обычные пейзажи стали казаться чем-то невероятным. Мы потеряли возможность видеть мир, ведь границы закрыли. Достопримечательности, песчаные пляжи, ласковое море — все это оказалось вмиг недоступным. Данная ситуация заставила задуматься о том, что все планы могут в одну секунду потерять себя. Все страны мира объединила одна проблема, каждая нация начала переживать и следить за ситуациями в других государствах. После некого отстранения от окружающего мира, начинаешь ценить каждую минуту, проведенную с природой, хочется больше ничего не планировать, а просто наслаждаться каждым моментом, полностью погружаться в происходящее. Пандемия коронавируса продолжается, а мир меняется. Что будет дальше с городами, экономикой, экологией и со всеми нами — вопрос сложный, но кое-что очевидно уже

сейчас. Пандемия оказалась поводом серьезно задуматься об устройстве жизни каждого в отдельности и всего общества в целом.

*Анастасия Головлева, 11а класс*

Конец 2019 года. Начало 2020. Предвкушение чего-то нового. Но случилось то, чего никто не ожидал... ПАНДЕМИЯ. КАРАНТИН. СМЕРТИ. СТРАХ.

...Перенесемся в 31 декабря 2019 года. Первые сообщения о вспышках болезни в Китае. Никто не думал, что коронавирус доберется до нас. Но это случилось! 6 марта сообщили о шести заражениях в России... и тогда-то все началось... 19 марта у нас закрыли все школы и университеты, люди работали дистанционно, все было закрыто (торговые центры, рестораны, развлечения)... Маска и перчатки стали обязательными. Без них никто не мог никуда выйти. Даже гулять с домашними питомцами на улице можно было только максимум 30 минут...

Сначала мы, школьники, радовались, что начался карантин. Ведь это так классно! Не ходить в школу, учителя не будут заваливать контрольными и самостоятельными... Но эта «радость» продлилась неделю.

Мы стали похожими на животных в зоопарке. Клетка-дом, из которой ты не можешь выйти. Маска-намордник, без которой тебя оштрафуют. Животные — это мы все, которые стали бояться друг друга. Сравнения такие же ужасные, как обстановка этого года...

Изменилось мое представление о мире... Когда люди даже в такое тяжелое время думали только о том, как заработать, а не как помочь. Цены на маски, градусники, антисептики и т.п. возросли вмиг. Мало того что многие люди остались без работы, так еще и средства защиты стоили, как антибиотики... Я стала ценить намного больше живое общение, нежели переписку в социальных сетях. Мне хотелось пойти в школу, увидеть и обнять учителей, пообсуждать с одноклассниками предстоящий ЕГЭ на переменах...

Коронавирусный год — переломный год для всех. Знаете, через несколько дней наступит 2021, но мне кажется, что ничего не изменится. Маски-намордники так и будут у нас на лицах. COVID-19 перейдет с нами в 21-й год... Но у меня все же есть надежда на то, что мы вновь сможем не думать о заражении и жить обычной жизнью, как это было до 31 декабря 2019 года. Но кто знает... надежда умирает последней...

*Андрей Сильченко, 11б класс*

Шел две тысячи двадцатый год: люди уже позабыли, каково это выйти на улицу без натянутой на лицо маски, прогуляться по центру города и запланировать путевку на море. Что касается меня, я бы никогда не подумал, что обычная тканевая маска станет чуть ли не самым главным аксессуаром этого года. Но на этом своеобразный «показ мод» не заканчивается. Уже с самого рассвета пандемии люди начали придумывать неповторимые образы с масками: создавать свои собственные из подручных материалов, использовать как повязку на глаза или просто как оберег от злополучного вируса. Одним словом, креативный народ! Мы скупили все санитайзеры, какие можно было найти на прилавках. Не можешь помыть руки — обработай их! Можешь помыть — все равно потом обработай. Также мы поняли, что выходить из дома в принципе необязательно. Еда, лекарства, одежда — все принесут домой. Правда, легче от этого осознания нам не стало. Зато теперь мы знаем: курьеры — святые люди.

Да уж, этот год был полон сюрпризов... Я не могу сказать, что он как-то кардинально изменил мое мышление и представление о жизни, но в значительной

степени поставил под сомнение мои планы и мечты, хотя парочку он воплотил в жизнь. Так, например, это то, что произошло значительное улучшение экосистемы всего Земного шара, разве это не чудо? И вот уже скоро две тысячи двадцать первый, даже страшно подумать, что уготовил для нас этот «ящик Пандоры»...

*Полина Борченко, 11а класс*

События, спонтанно появившиеся в нашей жизни, никогда не внушали доверия. Люди всегда воспринимали различные новинки как что-то фальшивое, несущее в себе подвох. В этом году случилось нечто ужасное. Оно полностью изменило наши жизни. Мы никогда не будем прежними.

Это произошло весной 2020 года. Изначально я не верила в происходящее, считая, что то, о чем говорят, — ложь. Я все отрицала. Отказывалась принимать. А зря...

Осознание пришло, когда стало известно о количестве зараженных. Что я почувствовала? Страх. Уязвимость. Растерянность. Я боялась не за себя. Было страшно, что это проникнет в мой дом. В мою семью.

Когда я узнала о том, что ученики всех школ уходят на карантин, моему счастью не было предела. В тот год я особо не задумывалась об оценках или учебе. Мне хотелось гулять, отдыхать и насыщаться жизнью перед грядущим годом. А это было отличной возможностью для того, чтобы набраться сил. Я рассчитывала на то, что учеба закончится, а веселье продолжится. Но, к сожалению, мои ожидания не оправдались. Узнав о том, что вирус — не просто проявление гриппа, от которого можно вылечиться, просидев пару дней дома, я запаниковала. Первое время я соблюдала масочный режим, протирала руки антисептиком, даже пыталась уговорить маму купить рис и гречку.

Ад начался в последней четверти 10 класса, когда мы познакомились с беспощадным убийцей зрения, нервов и времени. Дистанционное обучение. Дистанционка. Она обрушилась на плечи учеников тяжким грузом. Думаю, что сначала каждый получал удовольствие от этого процесса. Ты сидишь дома, списываешь домашку из интернета, кушаешь сладости, запивая их чаем. Что может быть лучше? По-моему, все школьные годы мы и мечтать о таком не могли. Было здорово. Первые 2 дня. То, что происходило дальше, трудно описать в двух предложениях. Я сидела за компьютером по 5—8 часов, списывая даже профильные предметы, потому что не хватало времени думать самой, нужно было успеть отправить работу учителю. И так продолжалось на протяжении двух месяцев. Я ощущала себя мышью, которая сидит в своей норке, спрятавшись от мира людей. Я получала удовольствие, когда мыла посуду, потому что этот процесс помогал отвлечься от вечных конспектов.

Летом было проще. Я уехала в деревню, куда вирус еще не проник. Я действительно наслаждалась жизнью. Все изменилось, когда появился первый заболевший. Казалось, что время замерло. В деревне поползли обсуждения и сплетни, которые во многом преувеличивали случившееся. Детям и подросткам было запрещено гулять и собираться большими компаниями, что повергло меня в шок. Я осталась без связи с внешним миром и без друзей. Что может быть хуже? Мы недолго придерживались правил и очень быстро стали их нарушать. А кому хочется проводить волшебные летние дни, сидя в одиночестве, поедая бабушкин борщ? Мысли о вирусе быстро улетучились. Я перестала верить в его истинность и стала жить, предвкушая новый учебный год. Я вспоминала с юмором дни, когда боялась подумать об эпидемии.

Сейчас, когда прошло уже больше полугода после случившегося, я могу сказать, что мои чувства неоднозначны. Я не верю в масштаб бедствия, но верю в то, что болезнь есть. Она сильно изменила наши жизни. Привела к непоправимым последствиям в обществе. Как она изменила мою жизнь? Практически никак. Но теперь я умею заниматься дистанционно, зарегистрирована в Zoom, всегда ношу с собой маску и оборачиваюсь, когда слышу звуки кашля. Это отличный опыт для каждого из нас. Надеюсь, что в нашем сознании вирус останется лишь опытом, а не ураганом, унесшим огромное количество жизней

*Мария Солдаткина, 11а класс*

Середина декабря 2019. Первый заразившийся в Китае каким-то неизвестным миру вирусом. Ничего не предвещает беды, каждый из нас думал: «Ничего страшного, сейчас сильная медицина, его быстро вылечат», «До России это точно не дойдет», «Вряд ли там что-то серьезное». Конец января, и в России зафиксировано 2 случая заражения. Впервые пробежали мысли о страхе и смятении. Особенно после увиденных фотографий, на которых врачи в скафандрах перевозят на специально оборудованных носилках зараженных. Но все еще была Надежда на быстрое излечение этих двух людей. Однако с каждым днем больных становилось все больше и больше. По-настоящему страшно стало, когда все образовательные учреждения, магазины и предприятия закрыли на карантин. Но даже тогда было не так страшно, как во время второй вспышки коронавируса. Клету все стало спокойнее, люди перестали соблюдать масочный режим, а на день города все вышли на площадь и не вспоминали о страшных событиях во всем мире. Но, как оказалось, это было только начало. Осенью 2020 в России каждый день устанавливалось рекордное число по количеству заболевших. Каждую семью затронул этот вирус, в том числе и мою. За мою короткую жизнь я ни разу не испытывала столько эмоций от болезней родственников. Сначала ты не можешь это принять, потом винишь себя, тех, кто не предотвратил все это, весь мир. Но в итоге приходит смирение и осознание того, что в данный момент все зависит только от врачей, которые сутками борются за жизни пациентов, и нас, обычных граждан, которым достаточно просто соблюдать все меры безопасности. В настоящее время все страны мира объединились для борьбы со всем происходящим. В каждой стране ученые работают над вакцинами и лекарствами, которые хоть как-то смогут улучшить состояние пациентов.

Если в прошлом году, в 10 классе, все ученики планировали поступление в разных городах сразу же после сдачи ЕГЭ, то сейчас никто не знает, когда мы сможем решить свою судьбу, ведь в данный момент все зависит от него — коронавируса — и его планов. Больно слышать почти от каждого знакомого эти фразы: «У моей мамы положительный тест», «Моего дедушку госпитализировали», «Моя сестра лежит в реанимации с пятидесятипроцентным поражением легких». Слова поддержки и простые объятия уже не помогают. Остается только молиться за каждого больного о его выздоровлении и за каждого здорового о его иммунитете.

И если раньше я мечтала о высоких баллах, большом количестве друзей, веселом и запоминающемся времяпрепровождении, то сейчас на первом месте стоит только здоровье родных и близких. Теперь самая заветная мечта — это собраться в большом семейном кругу без повода, не на какой-то праздник, а просто так. Как раньше. До коронавируса.

*Дмитрий Колесниченко, 11б класс*

Семнадцать лет назад началось мое путешествие по безграничному океану под названием «Жизнь». Путешествую я на своем личном корабле, который носит гордое название «Мои планы и мечты».

Я считаю, что путешествие должно быть ориентировано с самого начала. Встать на верный путь — это большое дело. Поэтому в моем путешествии неоценимую пользу приносит компас, установленный на судне. Компас — мой верный друг, который помогает двигаться в верном направлении.

Время от времени я захожу в порты большие и маленькие, а это значит, что мои планы и мечты, большие и маленькие, сбываются.

Несколько месяцев назад я заметил, что мой навигационный прибор стал «барахлить», показывать направление то на север, то на юг.

Не буду лукавить, я и раньше сбивался с намеченного курса, но этому способствовали либо моя неопытность начинающего путешественника, либо стихийные бедствия, которые нельзя было изменить, и, следовательно, приходилось с этим мириться. Но в этот раз на моем корабле появился невидимый враг, имя которому Ковид. Именно он подложил под мой компас топор, и я перестал ориентироваться, в каком направлении мне плыть.

Враг заставил меня задуматься о правильности выбранного мною пути, переосмыслить некоторые жизненные ценности, взглянуть иначе на близких мне людей, которые плывут рядом на других кораблях. Изменились и мои представления о мире. Теперь он не кажется мне таким сильным и неуязвимым.

В этом году я должен сделать несколько остановок в таких «портах», как Итоговое сочинение, Единый государственный экзамен, Высшее учебное заведение. Это очень важные остановки в моей жизни, именно они определяют, в каком направлении я поплыву дальше.

И вот все смешалось: впереди густой туман и опасные рифы. Мне страшно, ведь мои ориентиры смещены. Я отдаю себе отчет в том, что одна ошибка и мой корабль может сесть на мель.

Что ж, я думаю, лучший способ победить врага — не обращать на него внимания. А еще необходимо отключить эмоции. Гнев, досада, разочарование, раздражение убедят врага, что его действия достигли цели. Зачем же доставлять ему такую радость?

Я очень постараюсь собрать все свои силы, исправить мой компас и продолжать двигаться дальше, выполняя все намеченные планы, чтобы приблизиться к моей мечте.

*Артем Лисицкий, 11б класс*

Несомненно, 2020 год можно назвать самым тяжелым годом 21 века. Этому способствовала пандемия, в корне изменившая привычный ритм жизни.

Мою семью эта «напасть» не коснулась в той мере, в которой ее пережили другие мои знакомые, но изменения претерпели мои личные планы. Отменились всероссийские соревнования по автоспорту, к которым я готовился более двух лет. Дистанционный формат учебы заставил меня переорганизовать будни и нарушил сложившийся режим. Кроме того, меня очень сильно напрягает обязательство соблюдать меры безопасности против этого вируса, которые, как мне кажется, являются неэффективными и ненужными. Но эти неприятные моменты не настолько существенны, чтобы внести значительные коррективы в мою жизнь или ухудшить ее.



Из-за пандемии существенно пострадала экономика страны, вследствие чего многие люди остались без работы, что отрицательно сказалось на общем качестве жизни населения. После демонстрации обществу мобилизации медицинской отрасли в этих напряженных условиях, по моему мнению, должно сократиться число желающих получить медицинское образование, что негативно отразится на доступности медицинской помощи. А главное, абстрагирование от реально существующих болезней в пользу решения проблемы распространения коронавирусной инфекции. Иными словами: если человек не болен коронавирусом — он здоров. Эта ненормальная мобилизация всех сил на борьбу с коронавирусом напоминает мне ситуацию военного времени, когда абсолютно все сферы общественной жизни были преобразованы для решения общей проблемы.

Этим я хочу сказать, что коронавирус стал «центром» общественной жизни, будто бы не существует других, не менее важных проблем. Я надеюсь, что в скором времени новостная лента будет заполнена не только количеством людей, заболевших новым вирусом, который, как показала практика, не является кратно страшнее, чем многие ранее известные болезни. А правительство и СМИ, наконец, вспомнят о социальных и экономических проблемах, от игнорирования которых страдает население, перенесшее этот «опаснейший» вирус.

*Анна Погудкина, 11а класс*

Еще год назад никто и не догадывался, что две тысячи двадцатый пройдет так, как прошел. Поджигая под звук курантов заветную бумажечку, мы загадывали примерно следующее: «Хочу больше путешествовать, завести десяток новых друзей, навестить родственников на другом конце страны и просто наслаждаться жизнью». Коронавирус перечеркнул все планы. И мои в том числе.

Вернемся к началу. Март. Конец 10-го класса. Вместо прогулок в своей любимой весенней джинсовке я получила грудую школьных заданий, с которыми благополучно не справлялась. От времени, проведенного за экраном, кипела голова. Появилось некое отвращение к телефону и ноутбуку. После проваленной в моральном плане 4-й четверти я твердо решила, что мне просто необходима схема или план, которому я буду следовать в случае, если подобное снова повторится. И знаете, сейчас я ученица выпускного класса и каким-то необъяснимым образом я нахожу время на все необходимые занятия. И за это я хочу сказать «спасибо» «коронавирусному» году: благодаря ему я стала гораздо более организованной, научилась самостоятельно управлять своим временем. Сейчас я уже не боюсь карантина, потому что план с четкими дедлайнами и масштабными целями изо дня в день побуждает меня к действиям. Благодаря 2020-му я поняла, что фраза «У меня нет времени» равна «Я не умею пользоваться своим временем». Трудности будут случаться с нами постоянно, но я поняла, что главное — это работать над своими ошибками и больше их не допускать.

*Анастасия Буга, 11б класс*

Коронавирус изменил жизнь каждого человека, несмотря на пол и возраст. Наша жизнь как будто стала короче. Складывается такое ощущение, что в этом году было всего 3 месяца, которые мы проходили без масок, антисептиков и разных витаминов. И мы дальше не знаем, а до какого периода продлится эта пандемия? Мне кажется, что каждый человек мечтает снять маску, перестать опасаться людей. Я хорошо помню апрель месяц и как люди боялись, шугались всех, кто где-то кашлянул или

чихнул. Я не могу сказать, что самоизоляция как-то помогла. Ведь люди просто сидели дома, выполняли дистанционные задания, но никак не развивались, потому что все кружки были закрыты, а досуговые и культурные мероприятия были отменены, но случаи заражений все равно росли. Однако за время дистанционного обучения я начала ценить время, которое провожу в школе, потому что на дистанционке нам задавали задания в два раза объемнее, сложнее. Мне кажется, что учителя это делали для того, чтобы мы сидели дома и точно никуда не выходили. В нашем городе была не настолько сильная самоизоляция: нам не выписывали штрафы за выход на улицу, мы выходили на улицу не по расписанию и в этом нам повезло. Мы могли хотя бы выйти и подышать свежим воздухом. Я видела, как многие люди выезжали гулять в загородные парки, уже никто не мог сидеть дома. Также я думаю, что пандемия коронавируса запомнилась многим тем, что никто не смог вылететь за границу, посетить страну своей мечты или навестить родственников. Мы как будто выпали из жизни, поменяли ее темп. Я заметила, что многие люди изменили свое мышление, поменялись психологически, стали агрессивнее, причудливее. Наверное, это связано с тем, что они находились дома в четырех стенах. Но я не могу поверить, как миллионы медиков из разных стран не могут придумать вакцину. Может, и вправду все это сделал високосный год, а не какая-то летучая мышь или мумия? Я очень надеюсь, что с началом нового года наша жизнь станет лучше, эта болезнь улетучится, мы вернемся к прежней повседневной и энергичной жизни. Остается верить, что я смогу провести свой выпускной вечер и написать экзамены в срок.

*Анастасия Яковлева, 11а класс*

Весна в этом году началась с новости о том, что долгожданная летняя поездка в Европу отменяется из-за вируса. Огорчение, предчувствие самого скучного лета в жизни. Потом началось дистанционное обучение. Кругом кричали об опасности новой болезни, и каждый выход в магазин (а кроме магазина никуда ходить не разрешалось) казался препятствием, а встречи с друзьями стали редкими. Заданий было много, а самодисциплина у меня хромает, поэтому десятый класс закончила с горем пополам, если честно. Потом начались какие-то очень быстрые каникулы, пролетевшие незаметно из-за невозможности путешествовать и ежедневной повторяющейся домашней рутины. Была в центре «Сириус», смену которого сократили на неделю, а купаться в море или ездить на экскурсии было запрещено. Потом началась школа, и через время я заболела. Как потом оказалось, коронавирусом. К счастью, прошел он легко, а антитела выработались и обеспечили мне защиту от болезни на ближайшее время.

Несомненно, меры, введенные из-за вируса, испортили многие планы и определенно сделали жизнь труднее, но во всем есть положительные стороны! Во время карантина мне наконец удалось провести много времени с семьей. Гулять, смотреть фильмы, заниматься спортом вместе. Дистанционное обучение научило самодисциплине и грамотному распределению времени, а благодаря освободившимся часам вне школы я даже немного заработала в интернете. А еще определенно научилась ценить простую возможность выпить кофе в кафе и с радостью пошла в школу первого сентября, наконец получив возможность ежедневно общаться с друзьями. Увы, никто не знает, что может ждать нас дальше. Все одиннадцатиклассники живут сейчас в неведении, каждая девочка мечтает о красивом выпускном платье, но не спешит его покупать — а вдруг выпускной отменят? Каждый день ждем новых вестей и стараемся наслаждаться временем в школе, потому что в любой момент нас могут

вновь отправить на дистанционное обучение, и пройти по школьным коридорам будет возможно уже после выпуска... В общем, ситуация с вирусом кардинально изменила не только планы, но и мировоззрение. Хорошо это или плохо — сказать нельзя, но я точно знаю, что в итоге все разрешится наилучшим образом, ведь даже самый сложный год однажды заканчивается, давая дорогу чему-то по-настоящему прекрасному.

*Екатерина Пустовалова, 11а класс*

Этот год был для меня полон как хороших, так и плохих воспоминаний. Начало года было обычным, не предвещающим беды, всемирного карантина и паники. Я начала этот год в полном отрицании ситуации и с верой в то, что до нас это точно не дойдет. Однако шутка переросла во что-то масштабное. Вирус, он словно «бесцветная радуга», не приносящая радости и не обещающая конец. Вы знаете, где заканчивается радуга? Я даже не представляю....

Я понимала, что меня это тоже коснулось, когда все наши планы на 10 класс сломались о карантин и закрытие границ. На мой 16-й день рождения родители подарили мне круиз, к которому мы готовились полгода. Придумали идеи для фото, необычные места, куда можно сходить. Моя подруга — ярая фанатка Гарри Поттера, она очень хотела попасть в тематический музей в Лондоне. Ее мечта, к сожалению, так и не сбылась, и я даже не знаю, когда она ее теперь исполнит.

Учеба была очень сумбурной и быстрой. Конец 10 класса можно вычеркнуть из моей жизни. Дистанционное обучение далось мне легко, но знания выпали из моей головы, потому что большинство работ, что греха таить, мы списывали. Зато оценки были хорошие!

Что касается лета, оно было со своими рамками и ограничениями. До середины июля мы сидели дома или просто гуляли на улице, чтобы не находиться в помещении. Детские лагеря отменили, а я часто ездила туда на 3 смену. В конце июля всем сообщили, что скоро откроют границы, но это было ошибочным и необдуманным решением. Из-за которого цифры росли.

На море мы съездили все-таки, но на холодное, а точнее, в Калининград. Там мы прекрасно провели каникулы, этот город невероятно зеленый и красивый. Почти на каждом углу там восхваляют кошек, статуэтки которых нам хотели продать все.

Там, в Калининграде, я познакомилась с моим молодым человеком, с которым мы вместе по сей день. За это я даже немного благодарна вирусу, потому что из-за него мы поехали именно туда, где я встретила его.

В целом мой год остался таким же крутым, как и предыдущие, но со своими особенностями. Но я буду рада, если он скорее закончится!

*Дмитрий Бассараб, 11б класс*

Этот славный 2020 год, считаю, запомнится мне надолго... Вечные обработки рук, паранойя от потери вкуса жизни, желание скрыться от окружающих, постоянное наличие маски и этот удушающий запах мышьяка, присущий любым медицинским предметам... Я уже не говорю о взрывных подъемах цен на продовольствие и жизнеобеспечение. Это магия чисел или проклятие?

В моей семье произошли значительные изменения: уменьшение общего бюджета, мучительные раздумья о моем будущем (11 класс же!), постепенное угасание доброго и чистого лучика в моих родителях. Можно заметить, что не раз пролетали ураганы семейных ссор, и едва ли осталось тепло в той крохотной квартирке, согревающее

наши сердца в эти морозные дни. Все смешалось в этом мире... Наверное, у каждого человека сменились представления и планы за этот тяжелый период. Конечно, в самую первую неделю карантина было трудновато осознать положение страны в целом. Стало сложнее готовиться к трудностям жизни, которые так тихо подкрадываются... Например, перенос итогового сочинения очень сильно «ударил» по моей психике, ведь теперь нужно не упускать из виду этот допуск к ЕГЭ. Я думаю, что не только у меня замедлился темп жизни (все стало статично): настоящая работа сменилась удаленной, а реальные занятия изменились на дистанционные. Этим летом большинство санаториев и пансионатов были закрыты, поэтому я никуда не поехал. Но чем больше я вникал в этот мир, тем больше понимал его сущность... К примеру, начал больше ценить поэзию.

*Анастасия Анциферова, 11а класс*

31 декабря, 2019 год. Бой курантов. Загаданное желание. Пусть наступающий год станет самым лучшим!..

Год, изменивший все. Год, изменивший всех. Он точно войдет в историю. 2020 начался с сюрпризов, и они, к сожалению, продолжаются. В январе мы переживали за горящую Австралию, а сейчас с ужасом наблюдаем статистику заболеваемости. В феврале коронавирус казался таким далеким, никто не думал, что он захватит всю планету. Для меня этот год оказался очень тяжелым, почти каждый его месяц дарил мне неприятные сюрпризы, но, справедливости ради, стоит сказать, что хорошие моменты тоже посещали мою жизнь. Тяжело давалось дистанционное обучение. Мне не хватало апрельских и майских прогулок после школы, когда идешь домой, а вокруг все оживает: зацветает вишня, жужжат майские жуки. В октябре заболела моя семья. Нам всем пришлось пережить эту неприятную процедуру взятия мазков для теста на коронавирус (к счастью, с отрицательными результатами). К числу радостных моментов я бы причислила рождение моей племянницы, для которой я стала крестной, обретение новых друзей и знакомств. Лето, каждый день которого был незабываемым. За этот год я стала коммуникабельней и самостоятельней. В 2020 я проводила много времени с семьей и друзьями. Этот год был очень сложным, но в нем было много моментов, делавших меня счастливой. Я верю, что все, что ни делается, все к лучшему, и плохой день воздастся двумя хорошими. Главное, верить.

31 декабря, 2020 год. Бой курантов. Загаданное желание. Пусть наступающий год не станет худшим...

***Мы благодарим преподавателя русского языка и литературы гимназии № 3 г. Белгорода Наталью Ивановну Немыкину.***

# *Минская инициатива*

---

СТУДИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА  
«ШКЕРЕБЕРТЬ»

## «Крык бінтую маўчаннем лістоў»

*Участники студии сравнительного поэтического перевода «ШКЕРЕБЕРТЬ» представляют переводы на русский язык подборку стихотворений молодой белорусской поэтессы Насты Кудасовой, которые впервые выходят на страницах «Дружбы народов», продолжая ряд публикаций замечательных белорусских поэтов Михася Стрельцова, Андрея Хадановича и Марийки Мартысевич.*

*Галина КЛИМОВА*

*Наста Кудасова*

\* \* \*

Неба зрываецца долу — блакітныя коні  
ў яблыках белых аблокаў  
скубуць пахкі вецер...  
Я прысвячаю табе маё ўсё —  
маё сёння:  
без-цябе-вуліцаў мыліцы,  
памяці шчэцце...  
Я прысвячаю табе будняў дробнае проса.  
Мне ж — сотні жыццяў стаяць на зямным падаконні,  
слухаючы,  
як зрываюцца долу нябёсы —  
ў яблыках белых аблокаў блакітныя коні...

*Дмитрий Артис*

Долу срываются неба лазурные кони  
в яблоках белых, как облако,  
вытоптать ветер...  
Я посвящу тебе всё моё —  
только сегодня:  
без-тебя-улиц прогульщица,  
память не светит...  
Я посвящу тебе зёрна дроблёные будней.  
Мне — сотню жизней вставать на земной подоконник,  
слушая небо, летящее долу, как будто  
в яблоках облака скачут лазурные кони...

*Евгения Джен Баранова*

Небо срывается вниз — голубые кобылы  
в белых яблоках облаков  
щиплют духмяный ветер...  
Я отдам тебе всё, что есть  
у меня сегодня:  
без тебя ковыляют улицы,  
память щетиной колет...  
Я отдам тебе всё — мелкое просо будней.  
И останусь стоять  
на земном подоконнике  
сотню жизней,  
вслушиваясь,  
как несутся к земле небеса —  
в белых яблоках облаков  
голубые кобылы.

*Анна Маркина*

Небо срывается вниз — и лазурные кони  
в облачных яблоках белых  
пасутся на ветре  
всё я тебе посвящаю, тебе —  
всё сегодня:  
без-тебя-улицы тросточка,  
памяти ветка...  
Я посвящаю тебе будней дробное просо.  
Мне ж остаётся сто жизней, земной подоконник,  
слушать,  
как сходят на тёмную землю белёсо  
в яблоках облачных неба лазурные кони...

*Ольга Сульчинская*

Небо на землю срывается — синие кони  
в облачных яблоках белых  
из упряжи рвутся...  
Я посвящу тебе всё,  
что имею сегодня:  
без-тебя-улицы старицу,  
памяти русло...  
Я посвящу тебе будни на бедной мякине.  
Мне же — сто жизней прождать, чтоб заполнило склоны  
дрожью тяжёлой  
и ветром повеяло синим —  
в облачных яблоках белых небесные кони...

*Наста Кудасова*

\* \* \*

Сівому туману вычэсвай густую поўсьць,  
пакуль захліпаецца вечар самотай воўчай.  
Я ведаю, тут у кожнага хтосьці ёсць,  
каб грэць у далонях далонь і ўглядацца ў вочы.

Не мрой жа, такіх у шчаслівыя не бяруць,  
ты — цень ад крыла, ты не варты нічога, нічога!  
Але ёсць дарога дамоў, ёсць Дняпро і Друць,  
ёсць пацёрка поўні ў блакітнай руцэ Рагачова...

І можна яшчэ басанож увайсці ў лугі,  
пяшчоту запхнуўшы глыбей, каб не рвала скуру,  
ды слухаць, як лета пяе свой адвечны гімн  
і верыць сабе, не зважаючы на партытуру.

*Евгения Джен Баранова*

Седому туману вычэсывай волчыю шерсть,  
покуда заходится вечер в печальном танце.  
Я понимаю, у каждого кто-то есть,  
чтобы ладони согреть и в глазах купаться.

Не сомневайся, в счастливые не возьмут,  
ты тень от крыла — и ничего такого!  
Но всё-таки будет Днепр, и дом, и Друг,  
и бусина полночи в пальцах у Рогачёва.

И всё ещё можно босому зайти в луга,  
песчинку загнав поглубже под волчью шкуру,  
и слышать, как лето несёт комариный гам  
и верит себе, не слушаясь партитуры.

*Наста Кудасова*

\* \* \*

Крык бінтую маўчаннем лістоў  
і живу —  
найспавіцейшай з мумій.  
Гэта я — твой адданы ніхто!  
Гэта я па табе сумую  
так,  
што лета,  
сарваўшы ланцуг,  
збегла прэч ад нуды каляндарнай,  
і цяпер у нас ёсць толькі цуд,  
і дай Бог,  
каб  
не марны.

*Дмитрий Артис*

Забінтую свой крык в эсэмэс  
и, как мумия, дальше живу я.  
Это я — твой пустой интерес!  
Это я по тебе тоскую,  
так,  
что лето,  
как лопасть винта  
отрывается, вдаль улетаю,  
остаётся мне только мечта,  
и дай Бог,  
не  
пустая.

*Инга Кузнецова*

Крик бинтую молчанием строк  
и живу —  
неподвижнейшей мумией.  
Это я — твой обет и зарок,  
Твой никто. Я тоска и безумие.  
Даже  
лето,  
сорвавшись с цепи,  
убежало от дней беспросветных.  
И лишь чудо ждёт нас в степи,  
и дай Бог,  
чтоб  
не тщетно.



*Яна-Марія Курмангалина*

Крик бинтую строкой с листа  
существую —  
живейшей из мумий.  
Это я — твоя пустота!  
Это я по тебе тоскую,  
так,  
что прочь  
из своей тюрьмы  
убежала от всех пересудов,  
в мир, в котором есть только мы,  
только лето  
и только  
чудо.

*Наста Кудасова*

\* \* \*

туды, дзе глог і мята на сталё,  
дзе грэюць нас  
цюлені цэпелінаў,  
дзе мы жывём, не ўмеючы сталець,  
нікому і нічога не павінны,  
дзе летні дождж  
па вулках Летувы,  
зацалаваных нашым спрытным крокам,  
выстуквае “жывы, жывы, жывы!” —  
дождж,  
зразумелы нам на ўсіх гаворках...  
туды!  
туды, да шчаснае пары,  
дзе ўсё крычыць аб нашай маладосці,  
дзе мы — жывём,  
дзе мы — гаспадары,  
дзе нават смерць здаецца толькі госцем...

*Дмитрий Артис*

где ягоды и мята на столе,  
где греют нас  
тюлени цепелинов,  
где мы живём, не думая взростеть,  
ни перед кем ни разу не повинны,  
где летний дождь  
по улицам Литвы —  
проворными шагами на проспектах —

выстукивал «живи, живи, живи!» —  
на разных языках  
и диалектах...  
туда!  
туда, до радостных времён,  
где всё кричит о юности и росте,  
где мы — живём,  
где жили — испокон,  
где даже смерть окажется лишь гостем.

*Инга Кузнецова*

туда, где тмин и мята на столе,  
где греют нас  
тюлени цепеллинов,  
где мы живём, не думая стареть,  
ни перед кем ни в чём так неповинны,  
где летний дождь  
на улочках Литвы,  
заласканный неслышной нашей встречей,  
выстукивает: «живы, живы вы!» —  
дождь,  
что понятен нам на всех наречьях...  
туда!  
где счастья веселящий газ,  
где всё кричит о юности пригожей,  
где мы живём,  
где город любит нас,  
где даже смерть — лишь робкий гость в прихожей...

*Ольга Сульчинская*

туда, где хмель и мята на столе  
и тёплый хлеб  
на скатерти разложен,  
где мы живём и незачем стареть,  
и никому никто из нас не должен.  
где летний дождь  
по улицам Литвы  
гуляет с нами при любой погоде,  
«живём, живём!» — стучит по мостовым,  
нисколько  
не нуждаясь в переводе...  
Туда!  
туда, в счастливые года,  
где всё кричит про молодость и радость,  
своей судьбе  
мы сами — господа,  
а смерть — приезжий, потерявший адрес...

*Наста Кудасова*

\* \* \*

У спадзеве на бераг  
мы мкнулі да рэк,  
а яны —  
адалі нас мору.  
Я люблю цябе так,  
быццам сотнямі стрэмак  
імя тваё ўбілі мне ў горла,  
быццам хлынула ўсё, што пад скурай гуло,  
і сарвала карузную гаць,  
быццам нехта знаёмы  
настырным крылом  
загадаў мне  
кахаць.

*Инга Кузнецова*

В надежде на берег  
мы льнули к воде,  
а реки  
нас вынесли в море.  
Я люблю тебя так,  
будто сотни гвоздей  
вбили имя твоё в горло-горе,  
будто хлынуло всё, что под кожей спало,  
чтобы дряхлую гать затопить,  
будто кто-то знакомый  
упрямым крылом  
указал мне  
любить.

*Яна-Мария Курмангалина*

Шли к иным сторонам  
по речным по волнам,  
но —  
к безбрежным морям  
привели нас скитанья.  
Мне не выдохнуть слов,  
будто сотней штыков  
твое имя убито в гортани.  
Будто хлынуло всё,  
что по венам текло,  
было бережно в сердце хранимо.  
Будто некто ко мне  
прикоснувшись крылом  
загадал,  
что я буду любима.

*Ольга Сульчинская*

Мы мечтали пристать  
к берегам, но реке  
не терпелось  
нас вынести в море.  
Твоё имя звенит  
не струной вдалеке,  
а стрелой в моём раненом горле.  
«Я люблю тебя» кровью стучится в виски,  
Тянет болью подвздошных глубин.  
Будто кто-то, махнувший  
крылом колдовским,  
приказал мне:  
«Люби!»

*Анна Маркина*

И в надежде на берег  
достигли мы рек,  
а они —  
отдали нас морю.  
Я люблю тебя так,  
будто сотнями стрел  
твоё имя вогнали мне в горло,  
будто хлынуло всё, что под кожей плыло,  
заскорузлой гати не быть,  
будто кто-то знакомый  
настырным крылом  
указал мне  
любить.

## О массовом искусстве

*Два письма на одну тему*

*Геннадий Прашкевич*

### Благодарность или тёмная страсть?

На седьмой день —  
после того, как из бесформенной глины  
я сотворил  
свою землю и небо,  
своё солнце, свои звёзды и луны,  
своих птиц  
и даже своё подобие, —  
мир, мною построенный,  
уже был готов к осаде.

И я,  
как всякий усталый бог,  
спокойно стал ждать появления  
своего первого  
атеиста.<sup>1</sup>

Дорогой, Алексей, это я цитирую болгарского поэта Здравко Кисьова.

Цитирование — в тему. Я не раз размышлял о том, что происходило с пассажирами известного ковчега после его прибытия к горе Арарат. Я это сейчас не о зверях, птицах, рыбах и других проворных существах, я о человеке, которому всегда, во все времена было чем заняться. Я о троглодитах, пещерных жителях, которые при всей своей ужасающе трудной короткой жизни успевали оставить чудесные изображения оленей и мамонтов на стенах темных пещер, о первых умниках, наблюдавших звезды, создавших не только хитроумные ирригационные системы, но и письменность; наконец, я о том, что заставило людей не просто придумать Слово и Число, а всюю использовать Слово и Число не просто для бухгалтерских нужд, описей, судебных дел, указаний, законов, но и для сочинений, страшно сказать, *художественных*. Ведь, что

---

*Прашкевич Геннадий Мартович* — прозаик.

<sup>1</sup> Перевод Геннадия Прашкевича.

ни говори, а «Книга мёртвых» (древний Египет), «Полёт Этаны на небеса» и «Гильгамеш» (Шумер), «Рамаяна» и «Махабхарата» (Индия), весь Гомер, весь блеск веков, представленных великими поэтами, художниками, трагиками, обогатил, изменил, преобразил мышление человечества не только глубиной и эстетикой, но и массовостью своего производства.

Я называю первые пришедшие в голову имена, а ведь их так много, что Уильям Сароян в одной из своих статей с изумлением писал о том, что нет, видимо, ни одного места на Земле, которое не было бы отмечено проявлением поэтического таланта. Узнай я, писал Сароян, что существует где-то деревушка, в которой за тысячу лет ее существования не родилось ни одно увлеченное поэзией существо, я бы бросил все и полетел туда, чтобы увидеть, понять, осмыслить как, почему такое могло случиться?

Отсюда мой вопрос, Алексей.

Что толкает самого обыкновенного в сущности человека вдруг откладывать в сторону рабочий инструмент и *петь песнь*, как выражались древние? Медведь наступил человеку на ухо, а он сочиняет высокую музыку, слово плохо дается, рука выводит неверные линии, а он упорствует, дерзает, ему это надо, он пытается поразить себя и соседа, может даже думает о большем. Да, Господь создал нас по своему образу и подобию, но это же не значит, что самый потрепанный бомж после недельного запоя должен бренчать на лире и поминать Его имя всеу.

Я живу в мире литературы. В нем действуют те же законы, что везде вокруг, каждому приходится трудиться, а не просто бродить по значным поэтическим полянам с венком лауреата на голове.

Сегодня — солнце. Мы в карантине.

Медленно идет солнечный апрель 2020 года.

Имена великих все знают, буду говорить о малоизвестных.

Вот история некоего Савела Харина, был на Крайнем Севере такой художник-любитель (так он себя называл). Бородатый, как старообрядец, замкнутый, строгий, повидавший лиху, поскольку на север попал в конце тридцатых, сам этого не желая, а потом, получив волю (условно, с поражением в правах) остался навсегда под теми же низкими северными небесами.

Отсидел, вышел честный.

Доверили Савелу продуктовый ларек.

Поскольку начальство в тундре появлялось редко, освобожденный мозг Савела Харина всю работу: свою лавку он объявил коммунистической, то есть, вот вам, сами этого хотели: никакого лишнего контроля, почти полное доверие, все люди небогатые, друг друга знаете, так что, приходите, берите все, что вам нужно; рассчитаетесь, когда сможете.

И приходили, брали.

Иногда даже рассчитывались.

Но придирчивым советским ревизорам смелое начинание Савела не пришлось по душе: недостачу из него, понятно, вытрясли, и, поскольку открытого вредительства в произошедшем не усмотрели, отправили Савела заведовать Красным чумом — в другой полярный поселок, в новую жизнь. Именно в *новую*, поскольку там суровый Савел, до того росший просто, как гриб, вдруг открыл для себя искусство, точнее, живопись, или, еще точнее, то, что он сам считал живописью.

На Красный чум приходило несколько иллюстрированных журналов.

«Огонёк», «Красная нива», еще что-то. Понятное дело, доставляли их самолетом, бережливо. Считалось, грамота нужна людям даже безграмотным. Вот в тех

замечательных журналах Савел и увидел впервые «Трёх богатырей» и несчастную «Алёнушку», и печальную картинку «Не ждали», и красивую «Девочку с персиками». Подозреваю, что Савел увидел не просто Алёнушку, богатырей или какие-нибудь необычные поэтические мостки над неизвестным озером, он увидел нечто, в самое сердце поразившее его, нечто такое, от чего в жизни что-то осветилось, до того неведомое. Можно назвать это божественной искрой, правда? И это ввело сурового Савела в непреходящую эйфорию. Он принимал все. Любая картинка приводила его в восторг. Смазанная репродукция какого-нибудь самостоятельного живописца К.Притыркина из села Ковчуги и голая (обнаженной не назовешь) русалка на потрескавшейся технической клеенке порождали в его душе бурю, не меньшую, чем батальные полотна Василия Верещагина или «Брахмапутра» кисти Николая Рериха.

Но скоро посетители Красного чума начали обижаться.

Однако приходили они к Савелу, с претензиями. Однако где картинки из наших журналов? Мы их выписываем, деньги платим. Раньше в «Огоньке» и «Красной ниве» были картинки, а теперь только дыры от ножниц. А когда картинок нет, текст читать сложно. Кто вырезает самое интересное?

Савел объяснял: это я свою комнату украшаю картинками.

И самым наглым образом заявлял: приходите в гости, сами увидите.

Да, заявлял он, выписываете вы журналы, но эгоистично — только для себя, а ко мне каждый может прийти и увидеть. Можете называть мою комнату Домом радости. Мне радостно. Любуйтесь, какое у нас великое искусство! А то живешь, живешь, а вокруг только северные сияния...

Савелу возражали: платим *мы*.

Савел возражал: а я *для всех* собираю!

И открывал перед возмущенными подписчиками свою небогатую комнату.

Да, небогатая, полупустая, зато стены от плинтусов до потолка обклеены множеством журнальных репродукций, среди которых и портреты вождя были, не без этого, орать перед портретом вождя не станешь. Вот, показывал уважительно, ваши картинки, темные вы люди, никуда картинки не подевались. Входите и любуйтесь. Все собраны в одном месте, а дома вы даже на самый интересный журнал рано или поздно будете ставить закопченную кастрюлю. Вот смотрите, летает по воздуху мужик в рубашке и лаптях, сугубый ангел, другой такой же скромно оправляется под забором. Это *искусство*, темные вы люди. Это художник Шагал рисовал. Бывший чекист. Видите, его голубые мужики не лаются с завом Красного чума, а просто летают по небу. В лаптях летают, не скрывают ничего, в одних нижних рубахах. Может, это уже коммунизм, подумайте.

Савел убежден был в своей правоте.

Тем не менее Красный чум у него отобрали.

Правда, к тому времени слух о невероятной коллекции Савела, обрастая лохматыми деталями, облетел всю тундру. Известный художник (обойдемся без имен), прилетевший из Красноярска, явился к Савелу знакомиться. Втайне он ждал чего-то *художественного*. Втайне он всякого ждал, даже самого худшего, но комната Савела все равно его поразила. Было в ней пусто. Стол, лежанка, буржуйка с жестяной трубой, встроенной в окно, вот вся обстановка. Зато стены действительно густо обклеены цветными репродукциями. И художник Шагал соседствовал на этих стенах с художником Герасимовым, а никому неизвестный мазил Фирсов — с репродукциями рисунков Лермонтова.

«Где система? Где вкус?» — ужаснулся художник.

«Какой, однако, вкус?» — обиделся Савел. И добавил снисходительно: «Смотри, как красиво. Душа поет! Мне в Уэллене на смотре художественной самодеятельности премию спиртом дали. Садись, будем говорить об искусстве».

Поупиравшись, художник все-таки сел за стол. Выпили.

После третьей Савел признал: «Однако ты что-то знаешь».

И потребовал: «Рассказывай». И в процессе рассказа ужасался, высоко руки над головой вскидывал. Он же думал, что искусство — это просто красивые картинки, а оказалось, что искусство — это стили, направления, непрестанная борьба, даже классовая, чистые и нечистые, как везде. Как тут понять, почему конфетный фантик с медведями не является таким же произведением искусства, как «Утро в сосновом бору»? Придумал-то все равно Шишкин.

Поссорился с художником.

А я понимаю Савела Харина.

Я не раз вспоминал замечательного Савела на пустынных Курилах, за обрубистыми мысами, где крутились холодные течения, смеялись сивучи, а лопухи забивали заброшенные кладбища. Океан катал по песку обросшие ракушками пластмассовые поплавки, вода взрывалась под застывшими лавовыми потоками, мощно взрывалась и отступала, а над одинокими кекурами кричали чайки.

Я вспоминал Савела в выжженных Кызыл-Кумах. Там колодец на краю пустыни. Там синее, будто глазурованное небо и гигантский чинар, торчащий, как взрыв. Там поэт Амандурды, тощий, с козлиной бородкой, неторопливо жевал табак и струилась в бездонном небе золотая звездная пыль.

Много где я вспоминал Савела Харина, пытался понять, почему его, такого сдержанного, восхищали летавшие по небу шагаловские мужики в лаптях? Почему голая синяя русалка вызывала у него слезы искреннего умиления? Прекрасно представляю Савела в пещере среди троглодитов, он ведь сам по себе (в известном смысле) был троглодит. В пещерное время, в тот редкий час, когда сытое племя валялось на шкурах при свете коптящих факелов, именно Савел, один Савел мог заявить, что прямо завтра, наконец, снимет проблему пещерной тьмы. Как? Да очень просто. Он знает гору такую высокую, что с нее легко можно достать Солнце копьем. Вот он и подхватит на копье Солнце и притащит его в пещеру, всем будет свет.

В своей жизни я много встречал таких Савелов.

Одни сочиняли стихи, другие пытались рисовать, третьи резали по дереву или писали музыку. А кто-то вышивал крестиком, лепил из глины. Неважно, где это совершалось — в тундре или в столице, в Уэллене или в Новосибирске. Красота, в чем бы она ни выражалась, даже самая бедная красота, действует на всех. При этом она может оставаться чрезвычайно противоречивой. В некоторых странах женщинам специальными кольцами неестественно удлиняли шею, в других — доводили их ступни до совсем крошечного размера. Мучительно? Да. Зато красиво. Целые народы снимались с насиженных мест, потому что вдруг доходила до них неожиданная весть: где-то на дальних реках, за дикими озерами есть места более удобные, более красивые. Лев Эммануилович Разгон однажды (в Переделкино) рассказывал мне, что самые прекрасные закаты в своей жизни он видел над глухим лагерем Устывмлага, в котором в свое время тянул срок. Разве не противоречиво все это? Вот и мучаюсь, Алексей: как все понять? Как благодарность тому, кто дал тебе возможность остро и жадно ощущать мир, или как темную страсть, протестующую против навязанной тебе свободы выбора?



Алексей Буров

## Сущее и должное

Природа переполнена зримой красотой, дорогой Геннадий Мартович, смотри и смотри — никакой жизни не хватит рассмотреть и малую толику ее. Но человеку этой бесконечной красоты все ж недостаточно; он стремится дополнить ее своими картинами и скульптурами, и несопоставимость масштабов природы и искусства его ничуть не останавливает. Одних лишь созерцаний природы, сколь бы ни была она великолепна, нам мало. Мы хотим, чтобы красота не только входила в нас, но и происходила от нас, пусть даже на манер Савела Харина. Если не по силам расписать пещеру быками и конями, то хотя бы оклеим комнату вырезками из «Огонька». Кто хоть раз угостил друзей обедом — уже почувствовал себя Цезарем, гласит римская пословица. Савел Харин угощал односельчан чем-то несравненно более высоким и удивительным, чем какой-то обед — невиданной красотой летающих мужиков и безмятежных русалок. Не Цезарю уже он уподоблялся, а Аполлону, покровителю искусств и предводителю муз. Вот на какие эмпиреи взлетала его благородная душа, увлекая за собой любознательных красночумцев.

Научно определить или измерить красоту нельзя, но можно попробовать сказать о ней нечто важное. Красота влечет, но иначе, чем пища — голодного, ложе — уставшего, тепло — продрогшего, общение — одинокого, слава — честолюбивого или богатство — алчного. Хотя все эти влечения и могут облекаться в некие прекрасные образы, в их основе — базовые желания биологического или социального порядка. Иными словами, все они связаны с тем, что в старину относилось к *земному*. Прекрасное, однако же, увлекает иначе, служение ему в основе своей бескорыстно, оно не ради земного и его целей. От земного оно требует жертв, говорит о себе как о святом, небесном, божественном, о чем-то предельно высоком, чему можно лишь служить, но не ставить его на службу. Это небесное начало пронизывает природу, весь дольний мир, переплетаясь с инстинктами жизни, содействуя им и конфликтуя с ними. Особенной остроты и энергетики отношение земного и небесного достигает в эротическом влечении, соединяющем в себе инстинкт продолжения рода со стремлением к небесному. Мудрая Диотима, учившая молодого Сократа, говорила об Эроте как о могущественном демоне, побуждающем рождать в красоте, понимая такое рождение весьма широко. Именно Эрот побуждает художников или философов искать новых учеников и учителей, дабы в этих союзах рождались прекрасные произведения искусства или мысли.

Стремление к красоте лежит не только в основе искусства, но и математики, и математической физики. Особого рода эстетика элегантных узоров вечных идей — вот в чем было величайшее открытие Пифагора, вот почему он подлинно есть отец

---

Буров Алексей Владимирович — кандидат физико-математических наук, философ, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории им. Ферми, США.

математики. Культ этой эстетики, ее трансляция через поколения — в этом всегда состояла и состоит наиглавнейшая задача математических школ. «Некрасивой математики не существует», — твердо отчеканил видный английский математик прошлого века Годфри Харди. Разумеется, немало написано формул, красотой не блещущих, но написаны они не ради самой математики, а ради ее технических приложений. Не только математика сама по себе, но и основы математической физики были заложены пифагорейцами, до такой степени восхищенными математической элегантностью, что уверовали: сам природный мир в основе своей задан ею же. Удивительным образом они оказались правы в такой степени, что вряд ли снилось не только Ньютону, но и Максвеллу. Математика, порожаемая весьма особенным стремлением к красоте, оказалась лежащей в основе фундаментальных структур Вселенной. Эти структуры, которые человечество начало открывать лишь четыреста лет назад, оказались глубоко антропоморфными, исключительно согласованными с человеческими представлениями о красоте узоров идей и способностью описывать такие узоры. Плоды этой эстетики настолько мощно изменили цивилизацию, породив научно-техническую революцию, что фраза Достоевского «красота спасет мир» уже обязана учитывать и это измерение красоты, о котором Фёдор Михайлович, кажется, никогда не задумывался<sup>1</sup>.

Я, однако же, отвлекся от предложенной вами темы массового искусства, Геннадий Мартович: математика, конечно, к таковым и близко не относится, ни в одной стране, хотя ее везде и учат, притом в обязательном всеобщем порядке. Эстетический смысл математики от масс сокрыт, о нем даже мало кто слышал, и математика, как была при Пифагоре, так и остается донине одним из самых элитарных, неизвестных искусств. С приложениями ее произошла великая революция, они фантастически множатся с каждым днем, что, однако, еще вернее скрывает ее древнее ядро. Возвращаясь все же к заданной теме — что же располагается на массовом полюсе искусств, каковы наиболее популярные произведения искусства? В Соединённых Штатах, где я живу уже более двадцати лет, самой читаемой книгой, и с большим отрывом, является старинный сборник историй и наставлений под названием «Библия». Такой она была для первых колонистов Нового Света, такой остается и теперь. Из весьма богатой статистики чтения Библии отмечу лишь, что около половины американцев открывают Библию не реже двух раз в месяц. Читают ее, как правило, не ради развлечения, не ради любопытства, не ради исторических или природоведческих фактов, но как настройку на вечную мудрость и как источник силы духа. Библию не только читают дома, но и слушают и обсуждают в храмах. Библия — не только текст книги, но и основа проповедей, другого массового искусства. Лучшие проповедники — люди глубокого философского ума, разностороннего образования, мудрости и благородства души. Таков, например, католический епископ Лос-Анджелеса Роберт Бэррон, чья популярность как христианского мыслителя и проповедника уступает разве что Великому Понтифику. К сотням переводов Библии на английский язык епископ Бэррон решил добавить еще один, свой, иллюстрированный и прокомментированный по его вкусу — и нет сомнений, что эту книгу ждет большой успех. Первый том бэрроновой Библии выходит через месяц. Великолепнейшим

---

<sup>1</sup> В действительности фраза эта принадлежит не Достоевскому, а одному из его героев — пьяному и восторженному Мите Карамазову, который выкрикнул ее в разговоре с братом в приступе любовной экзальтации (*прим. ред.*).

проповедником был покинувший на днях этот мир Рави Захариас, евангелический христианин родом из Индии, ставивший на первое место среди человеческих стремлений жажду истины и смысла. Что такое современная проповедь? Она должна обращаться к умам и сердцам слушателей, колеблющихся и исполненных сомнений, она должна быть откровенной и глубокой, убедительно отвечать на самые острые вопросы, ни от чего не уклоняясь, находить новые сильные аргументы. Такой она и является в устах лучших проповедников. Помимо того, текст Библии и ее бесчисленных комментариев дополняется мощными иллюстрациями на стенах и витражах величественных католических соборов, в коллекциях музеев, на страницах книг, дополняется глубокими фильмами и музыкой. Джон Толкин, чью биографию вы недавно выпустили, Геннадий Мартович, писал, что в его книгах нет ни единой прямой отсылки к Библии, но они насквозь католические. Не зная Библии, нельзя понять ни прошлого, ни настоящего не только Штатов, но и Западной цивилизации в целом. Историк физики Геннадий Горелик называет Западную цивилизацию Библейской. Я с ним согласен, только добавляю, что она еще и Платоническая. Синтезу библейской веры и платонической философской традиции обязана своим существованием и социальным статусом не только Христианская Церковь, но и новоевропейская математическая физика.

Общественная жизнь требует согласия относительно нравственных норм, без чего она превратилась бы в сущий кошмар, войну всех против всех. Какими же средствами это согласие может достигаться? В отношении нравственных норм требуются веские аргументы, ибо в основе нравственного — проблема жертвы одним ради другого. Что убедит человека пожертвовать благосостоянием, нервами, здоровьем, а то и жизнью ради исполнения долга? Этому служат сильные, захватывающие истории, пронзающие сердце, заставляющие трепетать, смеяться и плакать. Нравственные истины могут высвечиваться такими историями, либо реально происшедшими с человеком, либо почерпнутыми им откуда-то. Базовый нравственный лексикон народа и состоит из общей сокровищницы подобных историй; таковые и составляют его подлинное святое писание, даря возможность взаимопонимания, доверия друг другу, а стало быть, и процветания. Базовый лексикон народов Запада поставляется прежде всего Библией, развиваясь и дополняясь ее многочисленными рефлексиями — теологическими, философскими, художественными. Никакого небиблейского общезначимого нравственного лексикона, резервуара парадигмальных историй, на Западе не существует. Две впечатляющие попытки заменить этот лексикон на нечто иное хорошо известны и в рекомендациях не нуждаются — это сциентистский научный коммунизм и нацизм с его эклектикой сциентизма, деизма и националистического политеизма. Третья попытка происходит на наших глазах — культ политкорректности. Общее для всех этих попыток — тоталитарность, подавление свободы, и это не случайно. Базовый нравственный лексикон есть мудрость, накопленная веками в форме притч, мифов, парадигмальных историй, поэтических речений, задающих убедительную, вдохновляющую нормативную базу и оставляющих свободу конкретного воплощения. Она глубоко религиозна, монотеистична, и это не всем нравится. Нечем, однако же, эту сокровищницу мудрости заменить, как нечем заменить, скажем, поэзию народа. Поэтому любое антирелигиозное движение, приходя к власти, не имеет никакого иного средства установить минимальное согласие в обществе, кроме навязывания своих правил. Правила, в отличие от гениальных историй, не обладают силой убеждать и вдохновлять, поэтому держаться они могут лишь на принуждении и страхе. Именно поэтому любое антирелигиозное общественное

движение с неизбежностью нацелено на тоталитарность, подавление критического мышления, и тем сильнее нацелено, чем решительнее отвергается религия и неотрывный от нее базовый лексикон. Получается оно так по самой сути дела, независимо от того, отдают в этом себе отчет его вожди и энтузиасты или нет, борются они под флагом свобод, под флагом справедливости или еще под каким-то флагом. Именно поэтому Христос, расширявший свободу, бросавший вызов абсолютизации мертвеющих религиозных форм, предпочитал говорить не языком ясных и четких нравственных правил, а языком притч и таинственных заповедей, не отвергая ни единой буквы Закона и Пророков и революционизируя их в то же время.

В базовый лексикон русских людей Библия, увы, практически не входит. Ее почти не читают и не обсуждают. На библейские сюжеты не ставят фильмов или спектаклей, а если кто изредка и ставит, то это проходит совершенно незаметно. Единственным исключением является роман Булгакова, о котором речь пойдет чуть ниже. Но что же в таком случае входит в русский базовый лексикон, культурный код? Пушкин, может быть? Достоевский с Толстым? Или там только Штирлиц с Чапаевым и Рабиновичем, да еще и со Сталиным в придачу? Не знаю. Не обстоит ли дело и с Пушкиным, как с математикой? Все вроде как учат, а толку? Эпиграфом к своей последней повести Александр Сергеевич поставил пословицу «Береги платье с нову, а честь с молоду». Вся повесть есть раскрытие этой исключительно дорогой для него заповеди, но многие ли слышат ее напряженное звучание, многим ли передается оно? Или *право на бесчестие*, дарованное последователями бесноватого Петра Верховенского, сделало человека чести Петра Гринёва совершенно чуждым и неинтересным массовому читателю? Не думаю, что многие скажут, кто такие Иосиф и его братья, Иов и его друзья, Руфь и Ноеминь, Марфа и Мария. И многие ли скажут, кто такие Гринёв и Верховенский?

Булгаковский Мастер написал роман о Понтии Пилате, прокураторе римской провинции Иудея времен императора Тиберия. Михаил Афанасьевич очень поспособствовал вниманию к тому роману, обравив его фантасмагорией о веселых и жутких проделках группы демонических существ в Москве тридцатых годов. Воланд и его спутники устроили такую рекламу истории об Иешуа и Пилате, что те давние события стали известны русским людям скорее в изложении Мастера и Воланда, чем четырех полузабытых авторов канонических текстов. Поскольку я собираюсь сказать несколько слов о той истории и ее связи с современностью, коротко напомним ее.

Ершалаимский Совет, Синедрион, обеспокоен растущей популярностью мирного несистемного проповедника Иешуа: его несанкционированные митинги могут перейти известную черту и вызвать жесткую реакцию ОМОНа. Ради общественной безопасности, Синедрион принимает решение о смертной казни Иешуа. Приговор к высшей мере требует утверждения прокуратора; Синедрион подает дело как подстрекательство к бунту. Иешуа приводят на суд к Пилату, и тот его лично допрашивает. Бросив напоследок арестованному риторический вопрос «что есть истина?», Пилат объявляет Синедриону о невиновности обвиняемого. В ответ лидеры Совета угрожают Пилату обратиться в более высокую инстанцию, уличая его в недостаточной лояльности кесарю. Аргумент производит действие: прокуратор уступает давлению, утверждая смертный приговор. При этом он символически умывает руки: мое решение было вынужденным; нет, мол, на моих руках невинной крови. Федеральная служба исполнения наказаний приводит приговор в действие; Иешуа медленно умирает распятым на кресте.

В этой истории важно то, что вроде бы честный, ответственный Понтий Пилат уступает давлению и утверждает совершенно очевидную для него крайнюю несправедливость, которую он утверждать поначалу отказался. По роману, Пилат уступил из трусости. Но тут возникает вопрос. Выходец из плебейского рода всадник Понтий Пилат, прежде чем стать прокуратором, доблестно сражался в легионах как офицер, благодаря чему в конечном счете и получил должность губернатора. Как же доблестный воин вдруг превратился в готового на подлость труса? А если не трусость, то что же заставило этого судью пойти на облыжный приговор? Отважный офицер, ответственно относящийся к своим государственным обязанностям губернатор, внимательный и умный судья — почему же он дрогнул, поддался давлению интриганов? Ну, может быть, он решил, что справедливость менее важна, чем эффективное сотрудничество федеральной и местной власти, что политическая необходимость требует жертв. Но и не исключено, что он все же испугался — интриг, оговора, увольнения с волчьим билетом, бесчестия. Одно дело, иметь храбрость в бою за доброе дело, среди славных товарищей. Другое дело — иметь мужество стоять за правду, за справедливость, в одиночестве, да еще и с риском быть оклеветанным и обесчещенным в глазах окружающих, друзей и потомков. Сократ говорил, что подлинно справедливый человек не поступится справедливостью даже под угрозой клеветнического бесчестия, даже не сомневаясь в успехе такой клеветы. Сократ, однако, видел путь справедливости как путь спасения души для жизни в лучшем мире, но вряд ли подобные идеи были близки строителю *Pax Romana* Пилату. Вспомним еще раз его брошенное напоследок риторически-скептическое «что есть истина?», на что он, разумеется, мог получить в ответ лишь молчание, да он и не ожидал ничего иного. Для Пилата не было, судя по всему, ничего значительней, важнее, чем утверждение наиболее разумно устроенной мировой державы. Он и служил этому делу всю жизнь, не за страх, а за совесть. Но что такое жизнь одного человека перед великой идеей мирового порядка? Разве не должно меньшее приноситься в жертву большему, по наивысшей справедливости? Он не хотел этой жертвы, приложил все разумные усилия, чтобы ее избежать, но всему есть свои границы. Есть коридор политических возможностей, он задан, так что деваться некуда, надо подписывать приговор. Вины на Пилате нет: он сделал все, что от него зависело в рамках возможного, и подписав приговор своей рукой, может демонстративно эту руку умыть; видите — она чиста.

Нет, игемон. Ни у прокуратора Иудеи, ни у кого другого нет такой воды, чтобы смыла невинную кровь с рук несправедливого судьи, каковы бы ни были резоны его несправедности. Может быть, и у самого Бога такой воды нет. «Мы всегда будем вместе в памяти людей, — говорит Иешуа Пилату, — вспомнят меня — вспомнят и тебя». И действительно, лишь три имени называется в Символе Веры. Вспоминаем и будем вспоминать именно вместе: Господа и Спасителя Иисуса Христа, давшую ему жизнь Пресвятую Деву Марию и отправившего его на мучительную смерть судью Пилата из рода Понтиев.

Зачем я стал вспоминать здесь эту историю? — могут меня спросить.

Выше я говорил о значении базового нравственного лексикона, поставляемого Библией, этой сокровищницей великих историй. Вот конкретный пример, как такой лексикон может работать. Важна ли для России проблема правосудия? Есть ли история о несправедном суде, более сильная, чем эта? Много ли обсуждается она русскими людьми?

Эйнштейн видел главной и общей задачей науки и искусства пробуждение и питание *космического религиозного чувства*, благоговейного восприятия чудесной красоты мира. Мне кажется, Савел Харин и Альберт Эйнштейн прекрасно бы поняли друг друга в самом главном. Харин бы заслушивался эйнштейновской скрипкой и дивился парадоксам теории относительности, а Эйнштейн расплакался бы от харинской картинной галереи и пошел бы вместе с Савелом за Солнцем на далекую гору. Но есть и другая задача искусства, которой Савел и Альберт не слишком были озабочены, не в укор им будь сказано: выявление нравственной истины. По большому счету, есть только две темы великого искусства: звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас, сущее и должное. По самому же большому счету, они сливаются в одну — ту, о которой Диотима говорила Сократу.

*Анатолий Цирульников*

## Белые журавли на серой земле

*Взгляд из России на китайскую деревню*

Подобно героям классического китайского романа XVI века «Путешествие на Запад»<sup>1</sup>, мы несколько столетий спустя тоже совершили путешествие, но в обратном направлении, на восток. Экспедицию организовал китайский Институт сельского образования Северо-восточного университета. Нам хотелось увидеть не только китайскую сельскую школу, но и ее социокультурное окружение. Поэтому нас интересовали хозяйствование, культура, история, быт, национальные меньшинства, сельские поля и урбанизация, народные мастера и промышленники, нефтяные вышки на рисовых полях и заповедники, серые земли, куда прилетают с Байкала и со всего мира белые журавли, — земли, на которых ничего, вроде, не растет, но которые оказываются источником жизни и процветания.

Мы увидели китайскую глубинку, которая почти незнакома российскому читателю, попытались погрузиться в неизведанную действительность, но все же это взгляд на китайскую деревню из России. Познавая другую культуру, мы с неожиданной стороны узнавали свою.

---

*Цирульников Анатолий Маркович* — ученый и писатель, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор. Главный научный сотрудник Федерального института развития образования РАНХиГС. Автор оригинальных трудов по истории школьных реформ, этнокультурным проблемам образования, развитию инноваций, проблемам сельской школы. И страстный путешественник. Много лет его очерки в «ДН» позволяли нашим читателям путешествовать по самым отдаленным уголкам России. Сегодня мы представляем несколько фрагментов его будущей книги о путешествии по китайской глубинке.

Последняя публикация в «ДН» — 2020, № 11.

<sup>1</sup> «Путешествие на Запад» — один из четырех наиболее знаменитых классических романов китайской литературы. На запад, в Индию, за священными буддийскими книгами отправляется из Китая пестрая компания — боязливый монах Сюань Цзан и его волшебные помощники, в числе которых сосланный на землю с неба дебошир, царь обезьян и «великий мудрец, подобный небу» Сунь У Кун, комический получеловек-полусвинья Чжу Ба Цзе и помилованный небесным нефритовым императором белый конь-дракон, который до этого был принцем. История их путешествия, основанная на народных легендах, наполнена авторской фантазией и юмором, и, как положено героическому эпосу, всяческими приключениями, испытаниями и соблазнами, которые герои преодолевают на пути к цели. Повествование из ста глав перемежается чудесными стихами. Впервые опубликовано в 1590 году без указания автора.

## Город и пригород

Стрижи носились,  
Душу веселя:  
Знак, что давно  
Засеяны поля.  
За кряжем кряж  
Теснился и сверкал.  
Над кручами шумели  
Сосны хором.  
Нагорный путь  
Змеился между скал,  
Как спутанный клубок  
Причудливым узором...<sup>1</sup>

Отправляясь в Китай, я мало что знал о нем. Он ассоциировался с бумажным фонариком детства. Со старым диафильмом: в коробочку вставлялась лента, глядишь в окуляр — и видишь картинку с драконом и желтой рекой...

Во времена русско-китайской недружбы поступала тревожная информация: хулиганы-хунвэйбины, студенты на площади Тяньаньмэнь. Кадры с острова Даманский: возбужденная толпа, люди, потрясающие красными книжечками с цитатниками Мао...

Потом будто провал во времени.

В двухтысячные годы неподалеку от Университета дружбы народов я увидел переходившего лесок китайского чиновника. Крупный мужчина в хорошем костюме шел уверенно, как по своей земле. Постепенно Китай приходил в Россию. Смутное представление, непонимание, даже раздражение сопровождало меня последние годы, пока я не оказался на китайской земле.

На пересадке в Пекине выпотрошили чемодан не хуже, чем в Израиле. Вытащили — к моему стыду — русскую еду. Я объяснил, что не могу есть китайскую (острую, жирную и соленую, как убеждали в интернете). В ручном багаже обнаружили перочинный ножик. Таможенница, молодая женщина, стала говорить что-то отрывистое по-китайски. Я был виноват, забыл правила перевозки, попытался объяснить, но, чем больше я горячился, тем холодней и злее становились ее глаза: «Дэнжери» — опасно, повторяла она. Потом положила «оружие» в целлофан и собралась конфисковать. Я спросил, вернут ли на обратном пути, она сделала вид, что не понимает. Когда она отвернулась, стоявший с ней рядом парень, другой таможенник, неожиданно бросил несчастный ножичек в мой саквояж и показал кивком, что могу идти. Оказался хороший парень.

Познакомился с наблюдавшим эту сцену товарищем по несчастью (его тоже переворошили). Москвич-компьютерщик из международной фирмы прилетел в Китай для учебы на две недели. Говорил с кем-то по телефону: «Представь, такая страна — а вайфая в аэропорту нет».

Пошли, перекусили в тамошнем кафе, поговорили о стране, кто что слышал. Карточки *visa* здесь, слава богу, действовали, а на бумажных банкнотах был изображен Мао Цзэдун.

И самолет в Чанчунь, где меня ждали, хоть и с задержкой, полетел...

Запах города был какой-то особенный — южный, хлебный, чуть сладковатый. Встретившая меня в аэропорту доброжелательная Сюэцзяо, с которой мы

<sup>1</sup> «Путешествие на Запад». Глава 80. (Здесь и далее цитируется в переводе А.Рогачёва по изданию: М., «Гослитиздат», 1959.)



переписывались и пару раз виделись в Москве, сразу повезла меня кормить. В ресторане — уютный маленький зал на четыре столика с диванчиком, — на стенах висели фотографии, на полках стояли книги. Накормила меня «сяоми хао» — маленьким рисом, «сань бэй цзи» — курицей в сладком соусе и «шунсе» — сырыми овощами. Очень вкусно, сразу стало ясно, что русскую еду из чемодана надо куда-то сбавить.

Сюэцзяо пишет диссертацию по сельской школе и говорит, что многие родители уезжают на заработки в город, а дети остаются с бабушками и дедушками. «Бабушкина деревня?» — спрашиваю я (это явление нам знакомо, так теперь в России называют деревню без родителей). Сюэцзяо согласно кивает.

Меня поселяют в Гранд-отеле с белой мраморной лестницей, черным роялем и пальмами, поднимающимися до второго этажа, и желают хорошего отдыха.

На следующий день меня сопровождали уже три девушки-магистрантки Северо-Восточного университета. Свои имена они написали иероглифами в моей толстой тетрадке: Инь Сюэцзяо (первое слово — фамилия, второе имя), Чжан Шици и Ли Яцзюнь из провинции Харбин. Одна девушка представилась по-русски Леной. Другая — Наташей. Почему-то так в Китае называют многих. Хотя, если перевести на русский дословно, их имена звучат гораздо красивей. Например, Сюэцзяо — снег, красота; «красивая, как снег», высказал предположение я. Сюэцзяо радостно закивала. Таким же образом я установил, что «ши ди» — это «первозданный мир», а «я цзюнь» — «интеллигентный цветок», что в общем соответствовало облику моих спутниц. Через такую лингвистику я начал осваивать азы китайского. «Ни хао» — добрый день, здравствуй. «Цзай цзянь» — до свидания, еще увидимся. «Во доу дун» — этим выражением я пугал китайских коллег. Сидят люди за столом, разговаривают, вдруг я со своим «во доу дун» («я все понимаю, что вы говорите»). Народ, естественно, вздрагивает. Потом, сообразив, смеется.

Еще в нашей компании — жаль ненадолго — оказалась магистрантка-переводчица Юля. Она русская. Из Иркутской области, со станции Зима. Закончила в Иркутске лингвистический институт и шестой год учится тут, в магистратуре по сравнительной педагогике. По-китайски говорит совершенно свободно. «А потом что делать думаете?» — «Когда-нибудь докторскую... Уезжать не думаю, потому что выхожу здесь замуж».

Станция Зима отсюда недалеко — полтора часа на поезде до Харбина и два на самолете до Иркутска. Евтушенковский городок вымирает. Заводы закрылись, папа Юли, чтобы кормить семью, работает на железной дороге. Мама — учит детей в школе. А Юля — в Чанчуне, что означает «длинная весна». «Из зимы в вечную весну?» — говорю я Юле. Мы смеемся. Впрочем, замечает она, весны тут не бывает — сразу лето.

Из Зимы в Лето. Домой в Сибирь Юля ездит часто, так что река забвения Лета ей не грозит.

## Новая деревня

В отдельном кабинете рестораника, где мы обедаем, на стене висит картинка времен культурной революции. Грамота с портретом вождя. «Почетную грамоту товарищу Ли Куитуй дали за то, — переводят мне, — что он как образец социалистического работника поздно женился и поздно родил ребенка. Все время работал на строительство социализма».

Подписано: «Совет Новой деревни».

Так называется и ресторанчик, где назначил нам встречу директор института сельского образования.

В институте готовят студентов к сельской жизни. Они к ней не готовы. «У нас тоже», — радостно сообщаю я (нашел наконец общую тему для разговора). Рассказываю, как одна наша выпускница педвуза мучается с печкой. Сюэцзяо и другие девушки-

магистрантки не удивлены. У них в селах тоже печки, даже кровати с печками. Потом увижу: каменная кровать, внизу прямоугольное отверстие, через него поднимается тепло из топящейся дровами печки под кроватью. Каменная лежанка — широкая, на ней умещается человек пять-семь.

Тут к нам присоединяются директор института У Чжихуэй с заместительницей. Она в черных джинсах и темных очках, а директор в строгом костюме со значком на лацкане пиджака в честь семидесятилетия Китайской народной республики. Веселый, бодрый, стриженный «под ежик» директор очень симпатичный.

Усаживаемся за вращающийся столик с китайскими закусками. «Хаочи, — говорю, — вкусно».

В «Новой деревне» — глиняная ограда с гроздьями перца, чеснока, початками кукурузы. В предбаннике рестораника сидят мужчины, играют в маджонг. Пьем перед едой белый сладковатый сок сои. Я показываю на стену с грамотой товарища Ли за то, что он поздно женился и строил социализм. А как сейчас в Китае?

Директор поясняет: революция в России шла в городах, а в Китае ее передвинули в деревню. Раскулачивать не стали, и это позволило провести кооперирование сельского хозяйства, сохранив рычаги роста — наиболее рачительных хозяев. Без принудительной экспроприации были проведены преобразования частной промышленности и торговли. Поставить на благо народа не только капитал, который у предпринимателя в кармане, но и тот, что у него в голове, — такова была цель создания государственно-частных предприятий. Бывшего владельца оставляли генеральным директором, лишь приставив к нему комиссара в лице секретаря парткома. Хуацяо, «заморские китайцы», были желанными гостями, в отличие от белоэмигрантов у нас. Детей кулаков и буржуев принимали в комсомол, брали в военные училища. И это лишало их родителей стимулов к сопротивлению победившей революции.

Впрочем, то, чего, в отличие от России, в КНР не делали в первые годы, наверстали потом, за десятилетие культурной революции. В общем, сначала было плохо, потом ситуация стала улучшаться. Начала развиваться промышленность. «Китай окреп маленько», — перевела Юлия Ипатенкова слова директора.

Крестьяне сдавали овощи и фрукты государству по низким ценам. В деревню приезжали люди из города, помогали налаживать хозяйство. Это длилось семнадцать лет, потом десять лет культурной революции, в целом — три десятилетия. Сейчас об этом мало кто помнит.

После культурной революции до конца 70-х известно что было. Земля оставалась народной, и большую часть урожая крестьяне отдавали государству. Не было стимула работать. И вот в одной маленькой деревушке произошел такой случай: урожай разделили на части и сказали — можно себе оставить. Это было нарушением закона, но администрация решилась. А потом... а потом начались знаменитые экономические реформы Дэн Сяопина. Начались с двух вещей, которые у нас до сих пор на периферии общественного сознания, — с деревни и образования.

«Сейчас много китайцев, — замечает У Чжихуэй, — ездят учиться по миру, и это начинает становиться частью нашего образования. Постепенно», — добавляет он.

У китайцев поговорка: переходя реку, нащупывай камни.

### **Ши-ши-ши. Дуй-дуй-дуй**

Вечером смотрел китайское телевидение: никаких бандитов и следаков. Главным образом — спорт: велосипедные гонки, бадминтон, захватывающие волейбольные матчи. Соревнования на длинных лодках, как у нас на гребном канале когда-то.

На первом канале в связи с семидесятилетием образования КНР шел историко-художественный фильм. Молодого Мао Цзэдуна играл красивый актер. Когда на экране появлялись гоминдановцы, музыка звучала тревожная, как в старых советских

фильмах про шпионов. Китайский командир отдавал приказ, солдат салютовал, отрывисто кричал: «Ши!» и бежал исполнять. Можно было догадаться, что «ши!» означает «есть!», «да!». Хотя, с другой стороны, китайцы в разговоре за столом кивали: «Дуй-дуй-дуй» — и это тоже означало согласие. Я поинтересовался, какое «да» правильной. Оказалось, и то, и это. Ши — просто «да», без рассуждений. А дуй-дуй-дуй — «да-да-да», я с вами абсолютно согласен, но... Восточные тонкости.

Первый канал начинал программу с документальной заставки. Никакого нервного крика, озлобления на всех и вся, зазнайства. Старые кадры перемежались с новыми, и было видно, как растет и развивается страна вместе с ученым-исследователем в современной лаборатории, крестьянином в поле, учителем в школе... Сменялись пейзажи — равнины, горы, морские просторы сопровождала спокойная и воодушевляющая музыка. И, ничего не понимая по-китайски, я вдруг понял, что это очень современная страна. Не оглядывающаяся без конца на прошлое, а устремленная в будущее. И идущая к нему спокойно, уверенно, с большим достоинством, неумолимо становящаяся первой в мире не по валовому доходу, а по чему-то большему.

### **В горных деревнях не так плохо**

Северо-восточный педагогический университет — одно из пяти высших учебных заведений Чанчуна. По китайским меркам, это небольшой город, семь миллионов жителей (средний по размерам китайский город — 14—15 миллионов., в Пекине и Шанхае — более 20). При этом в Чанчуне не чувствуешь, что все топчутся друг у друга на голове. Просторные, прямые, широкие улицы, в воскресенье в метро пусто, в понедельник вагоны заполнены, но не как у нас в часы пик. Машины на улицах едут медленно, пробки все же существуют.

Университет занимает огромную территорию, целый квартал. Каждый факультетский кампус имеет библиотеку, торговый центр, ресторан.

В Нормальном Северо-Восточном, когда-то называвшемся педагогическим, — 40 тысяч студентов, у каждого факультета свое здание. Несколько столовых самообслуживания, пруд с китайскими мостиками-беседками — можно даже ловить рыбу, спортивный комплекс, теннисные корты, волейбольные площадки. Добавьте многоэтажный отель-общежитие с отдельными корпусами для девушек и юношей. Правда, номера с туалетом и душем — только для иностранных студентов, свои, рассказали мне китайские магистранты, размещаются по шесть человек в комнате, после десяти вечера отключают свет, а феном пользоваться вообще не разрешается (студенты ходят в «помывочную» — нечто вроде общественной бани).

С другой стороны, при университете имеется детский сад со скидками для детей преподавателей (в Китае все сады платные, как и средняя и старшая школа). Плата в государственном университете составляет примерно пять тысяч юаней (около 50 тысяч рублей в год; по сравнению с платным образованием в России — ничто). В частном университете дороже, и там образование ниже уровнем (как правило, у нас тоже).

При приеме на работу в Китае (как и в России в последние годы) учитывают, какой ты закончил университет: если, например, бакалавриат в хорошем вузе, а магистратура в не очень хорошем, могут сказать до свидания.

Сходство нашего и китайского образования обнаруживается и в школе. По результатам китайского ЕГЭ видно: качество образования в селе ниже, чем в городе. Существует и так называемая «рыночная педагогика»: отношение к ребенку в зависимости от социального статуса семьи — кто твои папа-мама.

Не сказать, что для нас это новости. Хотя когда-то советской школе это было несвойственно. В моем классе в конце 50-х — начале 60-х годов учились внук председателя совета министров Алексея Косыгина и сын дворничихи из подвала. И ничего, мутузили друг друга, гоняли в футбол, получали от учительницы

по заслугам — не было особой сегрегации (впрочем, у дворничихи вырос дворник, а у председателя совета министров — академик).

Моя лекция в китайском университете в целом прошла удачно. При изложении теории китайские студенты начали позевывать точно так же, как зевали бы и наши, — и я поспешил перейти к практике. Показал впечатляющие картины Арктики, педагогическую экспедицию вдоль Северного Ледовитого океана при минус 65°, и как с помощью образования можно улучшить жизнь в экстремальных условиях. Из чего китайские студенты сделали вывод, что у них в горных деревнях не так плохо.

### **Я ученик. Вы — Учитель**

В ресторане праздничного красного цвета (красный — любимый в Китае цвет) — люстры-фонарики и юмористические картины со старинными героями.

Обед (пельмешки-«цзяоци» с речными креветками, овощами и приправами) делят со мной два магистранта и два университетских преподавателя. Молодой профессор занимается политикой образования, а его коллега — развитием сельской школы. Две вещи в России несовместные, даже за одним столом. А в Китае совмещаются.

Профессора и студенты в демократических взаимоотношениях. Общаются с интересом и на равных, что не исключает почтительного отношения студента к учителю. Забегая вперед: в нашей экспедиции по сельской местности я никак не мог привыкнуть к тому, что молодой магистрант нес мой саквояж, а молодая женщина-докторант открывала передо мной дверь. И сколько я ни пытался проявить галантность — нести свою ношу сам и пропускать даму вперед — мои спутники не соглашались. «Но почему?» — возопил я. «Это Китай, профессор, — пояснили мне. — Вы Учитель. Я ученик».

### **Принцессы в пионерских галстуках**

Типичные темно-коричневые, нависающие над землей сорокаэтажные дома. За ними — деревня. Город разросся. «Через пару лет не нужна будет здесь школа, все уезжают в город, — сетует симпатичная женщина с туго заплетенной косой, директор школы Лю Тянь. — Раньше говорили: где родился, там и пригодился. Сейчас — нет. Но в хорошую школу в городе трудно поступить, и жилье стоит очень дорого».

Она три года работает директором этой пригородной школы. Прежде преподавала математику в городской. По китайскому законодательству больше определенного числа лет на одном месте работать нельзя — мера против коррупции.

Перед воротами школы на доске объявлений список учителей: фамилия, имя, должность, телефон. Если детям или родителям что-то не понравилось, можно позвонить, пожаловаться, пояснили мне.

Есть и список учителей, состоящих в компартии.

Директор и преподаватели ездят в семьи, наблюдают за домашней обстановкой ребенка и дают советы. Идея школы — сотрудничество детей, учителей и родителей. На фотографии — рукопожатие, называется: «Стратегия пожимания рук».

Это начальная школа — шестилетняя. С большим стадионом, садом и огородом, где дети выращивают овощи и фрукты. Во дворе устройство наподобие циферблата со стрелкой — сельскохозяйственный календарь. Год делится на месяцы, месяц на периоды: «маленькие холода», «большие холода»...

Я переписал с циферблата: весной — «период дождей», «период, когда просыпаются насекомые», «праздник Цинмин, когда появляются ростки, а потом расцветают цветы».

Здесь учатся сто двадцать семь детей, начиная с шестилеток. За хорошую учебу и поведение детям выдают монетки, на них на ярмарке можно купить выращенные плоды.

Пообщался с группой девочек в пионерских галстуках. Все из третьего класса: Хэн Син, Сю По, Лию Цисюань, Хань Юсин... «Какой у вас любимый предмет?» — «пианино», «английский», «математика»... «А сестренки, братья есть?»

В семье, как правило, двое детей, но у этой вот девочки — четверо братьев и сестер. Политика «Одной семье — один ребенок!» ушла в прошлое. Приостановка темпов роста более чем миллиардного китайского населения, которое уже не могла прокормить деревня, сопровождалось жесткими, порой жестокими мерами. И не только социально-экономическими (работников государственных предприятий и учреждений, заводивших детей сверх допустимого лимита, могли уволить с работы, исключить из партии, лишить права на бесплатное образование и лечение). Как пишет долго проработавший в Китае известный советский журналист-востоковед Всеволод Овчинников, возможность рождения второго ребенка сопровождалась в то время письменным согласием отца на последующую стерилизацию. Это кажется средневековьем. Но снижение естественного роста населения спасло Китай от массового голода и дало запас времени, чтобы поднять уровень сельского хозяйства и дать толчок социально-экономическому развитию страны. Однако эхо той политики аукнулось в настоящем — нарушилось соотношение мальчиков и девочек, появилась «проблема невест».

На прощанье протягиваю блокнотики с картинками на обложках. «Берите, кому какой нравится». Все выбирают с принцессой. Все девочки на свете, даже в красных галстуках, хотят быть принцессами.

### Уроки китайского

Одноэтажное, похожее на ферму здание школы. «Встречаем вас с улыбкой» — написано перед входом. Под козырьком место, где оставляют зонтики и игрушки, — заберут после уроков.

В классе девочки и мальчики в черно-белых накидках и треугольных шляпах, похожие на студентов университета. Идет урок чайной церемонии. «На старые столы постелили сверху красивые скатерти, получается красиво», — говорит директор.

Три ряда, по одному ученику за столом. Тихая музыка располагает к спокойствию. Учитель показывает последовательность действий, ученик повторяет. Когда церемония заканчивается, класс читает вслух стихотворение. «Некоторые дети, — говорит мне директор, — носятся по коридору, а после чайной церемонии становятся спокойными».

В первом классе уселись за столиками в кружок, рисуют. Папу — он перевозит людей. Маму — она продавец в магазине. Учительница объясняет: многие родители работают в городе — на заводе, на стройке. Раньше были крестьянами, но с земли маленькие доходы.

Учительская — как офис, у каждого педагога рабочий компьютер. Но в школьном коридоре на подоконниках растут грибы разного сорта.

Третьеклассники вяжут из разноцветных шнурков китайские узлы и протягивают мне в подарок. В пятом классе учатся аккуратно раскладывать вещи в шкафчике. И складывать в чемоданы. Кто быстрее, на скорость.

Какие русские книги популярны в Китае у молодежи? «Как закалялась сталь» Островского. И, не поверите, Сухомлинский «Сердце отдаю детям»...

В маленькой школе денег, конечно, не хватает. Недостаточно субсидируют маленькие школы (поэтому-то «старые столы и накрыли красивыми скатертями»). Чтобы сэкономить деньги, директор приглашает своих знакомых — провести бесплатно урок, помочь детям. У нее всегда была мечта сделать школу нужной. Пусть она будет маленькая, неизвестная, но добрая, душевная. Каждый день Лю Тянь приезжает сюда на машине из города, и учителей привозит, а после уроков развозит.

«Разница чувствуется — тут и в городе?» — интересуюсь у директора. Конечно,

отвечает она. Когда сюда работать приехала, стала болеть — психосоматика другая. Потом немного привыкла. «Но к туалету на улице до сих пор не могу привыкнуть».

Маленькая сельская школа под боком у наступающего со всех сторон города. Можно сказать, она уже в городе. Уникальная ситуация или?..

«Тенденция», — считает молодой преподаватель университета Ли Тао. Очень большой темп развития городов. Они расширяются, с каждым годом все быстрее. Собственность на землю в городах государственная, а в селе коллективная. Земля принадлежит совету крестьян, каждому крестьянину выдается кусочек земли в аренду на тридцать лет. Но форма собственности постепенно меняется — земля передается государству, и оно распределяет ее по своему усмотрению.

Получается, что школа, а с ней и деревня, все-таки беззащитны? — пытаюсь я понять современную китайскую ситуацию. Отечественная-то понятна: за последние пятнадцать-двадцать лет «оптимизации» в России было закрыто около двадцати тысяч маленьких сельских школ, и это стало одной из главных причин того, почему с карты страны исчезло 20 тысяч деревень.

У нас, объясняют мне, более 900 тысяч школ, в которых учится менее ста учеников. В половине из них — меньше пятидесяти. Сохраняются десятки тысяч (!) — я потом эти цифры перепроверял — сельских школ, в которых учится менее 5 учеников. А в 8000 школ — в особенности в центральном и западном Китае, в горных местностях и на островах — сохраняется обучение с одним учеником. Член нашей экспедиции Ли Палин говорит, что лично знает школу, в которой одиннадцать учителей и один ученик. И школу не закрывают? Невозможно закрыть. В Китае существует закон, согласно которому, если есть хотя бы один ученик, школа не может быть закрыта!

А почему? «Такая политика, — объясняет Ли Тао. — Раньше, как у вас сейчас, количество денег, выделяемых школе, зависело от количества учеников. А сейчас любой, самой маленькой школе выдают столько же денег, сколько той, в которой учится 100 учеников. Восемьдесят процентов дает правительство, двадцать — провинция. Поэтому у провинции нет причин закрывать школу. И у государства тоже...»

Нам понять это трудно. Зачем они это делают? Не только из гуманистических соображений. В Китае хорошо помнят, что именно село, маленькие производства, цеха, ремесла, возникавшие в сельской местности в начале 80-х годов в семьях и на базе образовательных учреждений, стали источником процветания страны. И сегодня, при стремительной урбанизации, разнице в качестве жизни и уровне образования между городом и селом, порождающей все более острые социальные проблемы, правительство Китая вновь усиливает внимание к селу, сорок лет назад ставшему двигателем экономических реформ.

Поэтому в Китае сохраняются и развиваются деревни, и мы, сидя в кабинете директора школы, наслаждаемся большущими, почти с перепелиное яйцо виноградинами, выращенными на этой земле.

Ужинаем на воздухе, у пруда с рыбками. Мои спутники пьют китайское пиво, а я, увы, теплое соевое молоко (пиво врачи не позволяют). Весело чокаемся — «Ганьбэй!».

Фирменное блюдо этого заведения — китайский гусь, ничем не уступает пекинской утке. Вдруг поднялся ветер и начался ливень — юй! Пузыри на пруду. Чудо-юй! Ливень, гром!

Мои китайские спутники говорят: когда идет дождь — люди пьют (в смысле, выпивают). «У нас и без дождя тоже пьют», — замечаю я.

Юля-переводчица со станции Зима посвятила в китайские традиции. Оказывается, если молодые женятся, родители мужа покупают им квартиру, а родители жены, допустим, машину. Но если одна из семей финансово несостоятельна, родители не

дадут согласия на брак. «А любовь?» — «Богатство выше любви», — прагматично замечает Юля.

...Погода изменилась.  
В вечерней темноте ветер поднимает листья.  
Пришла осень.

Это вот, сам не знаю что, — сочинилось под дождь.

### Федерализм с китайской спецификой

Наша экспедиция отбывает в уезд Цзиньлин провинции Цзилинь.

Для понимания китайского административно-территориального устройства — информация из энциклопедии: в составе КНР 34 провинции (а также города центрального подчинения и специальные районы). Теоретически они жестко подчиняются центральному правительству, но на практике обладают широкими полномочиями в экономической сфере. Такую систему называют «федерализмом с китайской спецификой» (по аналогии с социализмом той же специфики). За исключением северо-восточных провинций (по которым мы путешествуем), границы большинства провинций Китая определены во времена династий Юань, Мин и Цин и с того времени остаются практически неизменными. Этим китайское административное деление отличается от советского и российского, которое, если посмотреть с исторической дистанции, находилось в состоянии перманентной перекройки, переименовывалось, дарилось и захватывалось соответственно национальному характеру и психотипу русских царей, генсеков и президентов.

«Китайская специфика» заключалась в том, чтобы по возможности (не всегда получалось) сохранять стабильность. Это не равнозначно застою и отсутствию административного разнообразия. И сегодня в Китае существуют округа, уезды, аймаки, хошуны, сомоны, лесные и особые районы, национальные волости, административные и естественные деревни (неофициально) и прочая, и прочая.

Уезды, в один из которых мы отправляемся, существуют с периода *Сражающихся царств*, то есть намного раньше других административных единиц Китая. Когда Цинь Шихуанди впервые объединил и унифицировал страну, было около 1000 уездов, сейчас их наполовину меньше.

В императорском Китае уезд был важной единицей, поскольку являлся низшим уровнем административно-бюрократической системы (управление на еще более низких уровнях было неформальным и выходило за ее рамки). Семьдесят лет назад правительство КНР упразднило половину уровней, оставив три (правда, сейчас их опять пять).

Я это к тому, что у нас с точки зрения бюрократических преобразований есть различия, но все же немало и общего.

Позавтракав в забегаловке — теплое соевое молоко и пирожки из пшеничной муки, а также большой пельмень и соленые древесные грибы — и купив билеты на чанчуньском вокзале, необычайно просторном и светлом, без толкотни, с многочисленными удобствами, включая массажные кресла для пассажиров (10 минут массажа — 5 юаней, плата по смартфону, не сходя с места), мы сели в медленный поезд до маленького (по китайским меркам) городка Байчэн — промежуточного пункта нашей экспедиции.

Представим участников, некоторые нам уже знакомы. Опекающая меня, всегда улыбающаяся докторант Инь Сюэцзяо; говорящая немножко по-русски и мечтающая уехать в Россию к своему парню магистр Ли Яцзюнь; еще один магистр — вежливый, воспитанный молодой человек по имени Ма Юян, или (так он предложил себя называть) просто Майкл; и наконец, замдиректора института Ли Палин. Во время

одного из полуофициальных ужинов представлявший Ли Палин директор заметил, что она в должности зама пережила пять директоров. «Как Сяопин!» — воскликнул прекрасно владевший китайским американский профессор из Стэнфорда. Все засмеялись. У Ли Палин запоминающаяся внешность: женщина-подросток с загадочным обликом, в черных джинсах и темных очках.

Итак, мы сели в поезд — зеленый, напоминающий наши старые электрички, только с туалетом, — и медленно поехали. Этот медленный поезд (не подумайте, что в Китае нет скоростных) ходит в уезд раз в день. Дорога занимает четыре часа, и из окна можно увидеть весь северо-восточный Китай. И спокойно поговорить, не торопясь, как лет пятьдесят назад, когда в Китае ходили только такие электрички. Поглядывая в окно, в котором проплывают станции и полустанки, защитные полосы, кукурузные посадки, рисовые поля с маленькими нефтяными вышками и редкие облака в синем небе с птичьей стаей, мы с моим другом и спутницей Сюэцзяо разговариваем о сельской жизни.

Сюэцзяо родилась на севере, в провинции Хэйлунцзян, там живут ее родители. Она приезжает к ним на два-три месяца поработать в селе неподалеку от уездного городка («Небольшой городок, — говорит Сюэцзяо, — всего триста тысяч»).

Проезжаем кукурузное поле, маленькие домики. Спрашиваю: это село или деревня? Сюэцзяо уточняет: а какая в России разница между селом и деревней? Говорю, что в деревне ничего нет, даже, бывает, магазина. А в селе были церковь и школа. «А в Китае, — говорит Сюэцзяо, — в каждой деревне раньше была школа». Сейчас, как и у нас, не в каждой.

Инь Сюэцзяо — тонкая, как тростинка, учит меня китайскому. «Дафу, — говорит, — счастье». Ей тридцать лет, боится не выйти замуж. «Почему?» Улыбается: «Уже поздно»<sup>1</sup>. Я говорю, что моя старшая дочка вышла в тридцать восемь, и теперь у меня есть внучка в Италии. «Дуй-дуй», — кивает Сюэцзяо, думая о своем. Это Китай. Ее молодому человеку тридцать два года. Он учится в Шанхае в нефтяном институте и приезжает к ней на скоростном поезде, 300 км в час, шесть часов в пути. Его родители очень хотят, чтобы он женился. У Сюэцзяо два брата. «В сельской семье больше детей, чем в городской?» — «Нет. Родители не хотят, нужно много сил, денег. Родители изменились, хотят, чтобы собственная жизнь была хорошая, качественная». — «А как же: чем больше детей, тем больше счастья?» — «Да, — смеется грустно она. — Так старые люди думают. Но их дети так уже не думают».

В поселке, мимо которого проезжаем, над одним из домов развевается красный флаг — что-то типа сельсовета. У железнодорожного полотна — защитная полоса, за ней зелено-жухлое кукурузное поле, дальше — желтое рисовое, а на пригорке крутятся ветряки. «Черная земля», — говорит Сюэцзяо, имея в виду — богатая. К полям проведены каналы, наполненные водой. В детстве Сюэцзяо поля были изрезаны канавками, ее бабушка и дедушка, стоя по колено в воде, собирали рис вручную. Сейчас — машины.

«У нас в уезде кукурузы мало, в основном рис». — «Когда его собирают?» — «В начале октября. На севере, — говорит она, — один урожай, а на юге — несколько. Поэтому на севере очень вкусный рис, а на юге не очень».

Останавливаемся на станции — один из уездных городов провинции Цилинь. Очень большие красивые дома, башни-замки. Богатый город. «Здесь нефть, — объясняет Сюэцзяо, — поэтому такой богатый».

А у нас, в золотодобывающем Алдане, на юге Якутии, до сих пор бараки и развалюхи. Может, поэтому мы не Европа и не Китай?

---

<sup>1</sup> Когда я заканчивал книгу, Сюэцзяо прислала мне чудесные снимки со своей свадьбы — с радостью ее поздравляю.



Лесополоса из плакучих ив и тополей. За ней посреди желтого рисового поля — маленькие машины-качалки качают нефть, оставляя после себя аккуратные земляные квадратики.

Из окна поезда коммунистического Китая не видно пагод, монастырей (компартия религию не одобряет), но духовность, гармония сохраняются. Китай разный. Самый богатый — на юго-востоке. На западе самые бедные провинции, а посередине — не богатые и не бедные...

За окном, на краю поселка пасется скот — коровы, овцы. Поселок — одна сплошная улица серых одноэтажных домов. Сюэцзяо показывает на смартфон: сегодня 18 сентября, в этот день в 1931 году Япония напала на Китай. Теперь в этот день все китайцы, ровно в 9 часов 18 минут дают длинный звонок. «Гудок?» — «Да-да, гудок, в память о войне...»

По меняющемуся пейзажу видно, что мы все дальше углубляемся в сельскую местность. Среди подсолнечного поля — избушка. Пустая, похоже. «В этом году много дождей, урожай не очень, — поясняет Сюэцзяо. — Поэтому люди уходят в город искать работу».

Для меня загадка, как китайской деревне (земля, пригодная для сельскохозяйственной деятельности, занимает всего тридцать процентов территории Китая, остальное — горы) удастся прокормить один миллиард триста пятьдесят миллионов «человеко-ртов»<sup>1</sup>. И при этом еще умудриться экспортировать сельхозпродукцию!

Вопрос не для Сюэцзяо. Но кое-что известно и ей.

Хорошие машины. Трудолюбивые люди. Правительство, которое не бьет по рукам. Приличные государственные субсидии. Кредитно-налоговые меры стимулируют перелив капитала в приоритетные отрасли...

Никакого секрета, все это нам хорошо известно. Но разница между словом и делом в России и Китае — громадная. А процессы похожи.

«...Молодежь хочет в город, думает, там хорошо», — рассказывает про китайскую жизнь Сюэцзяо.

Снимать квартиру в Китае очень дорого. Обычный заработок, рассказывает она, 2000 юаней, а самая дешевая квартира — 500 (как и в Москве, у приезжих на жилье уходит четверть дохода). В хорошем месте квартира людям не по карману, снимают в подвале. Работу в городе найти можно — в магазине, больнице, на заводе. Или помогать старому человеку — для этого не нужен высокий уровень образования. «В Харбине, — говорит, — можно заработать 1500 юаней, убирая мусор на улицах, убирая квартиру...»

Никто, в общем, не голодает. Прожить вполне можно, если детей нет или есть только один. Но — счастье?..

Конечно, не Голландия, не Швейцария. Огромная страна с контрастами между городом и селом, столицей и провинцией. Но все же...

Проект «Надежда» обретает все большую силу и реальность. До 80-х годов бедные уезды в Китае представляли собой одновременно зоны неграмотности. Из 170 миллионов неграмотных 150 миллионов составляла сельская беднота, прежде всего женщины среднего и пожилого возраста. Треть из них вообще никогда не ходили в школу. Остальные в 50-х годах посещали курсы ликбеза, но все забыли. Была поставлена цель: к 2010 году ликвидировать неграмотность среди сельской молодежи и людей среднего возраста. Добиться того, чтобы в каждой нуждающейся семье хотя бы один человек смог заниматься подсобными промыслами или трудиться в сельской индустрии (на так называемых волостно-поселковых предприятиях).

Не менее важно было усадить за парты сельскую детвору, которой порой приходилось бросать школу из-за материальных трудностей (особенно большой отсев был среди девочек).

<sup>1</sup> Термин востоковеда, журналиста-международника В.Овчинникова.

На решение этих проблем и была направлена «Надежда» — стартовавшая в 90-х в Китае благотворительная программа финансирования и поддержки сельской школы за счет добровольных пожертвований и помощи городских школ и горожан. На призыв откликнулось более ста миллионов жителей городов, тысячи заводских коллективов, сотни иностранных предпринимателей, ведущих дела в Китае. Проект «Надежда» вернул за парты около трех миллионов крестьянских детей, позволил открыть в бедных уездах свыше трех тысяч новых школ и столько же отремонтировать, оказать материальную помощь энтузиастам-учителям, добровольно отправившимся в сельскую глубинку. Огромный успех проекта был тесно связан с его четкой адресностью. Каждый спонсор точно знал, куда и кому поступали его деньги. Пожертвовав сто долларов, можно было вернуть за парту подростка из бедной семьи. За тысячу долларов — год содержать учителя или укомплектовать библиотеку в сельской школе. Немалое значение имело своеобразное «шефство» университетов и продвинутых городских школ процветающих приморских провинций над сельскими школами бедных уездов центрального и западного Китая. Многие тысячи сильных школьных директоров и учителей поехали помогать сельским школам. Это была не односторонняя помощь и наставничество, но активный обмен опытом. В программе приняли участие и городские ученики, причем, по словам очевидцев, трудно сказать, кому встречи с новыми друзьями принесли больше пользы. Из таких поездок в село городские дети приезжали повзрослевшими, на многое начинали смотреть иначе. По мнению исследователей, проект «Надежда» не только дал социально-экономический эффект, но помог возродить дух социальной солидарности, необыкновенно важный, особенно в условиях кризисной ситуации в стране.

По поезду проходит проводник, выкрикивая название станции: «Байчэн! Байчэн!». Можно перевести как «Белый город», а можно как «Зря сделали».

«У нас много таких двусмысленностей, — говорит мне Сюэцзяо. И улыбнувшись, добавляет: — Шутка».

### **В уездном городке**

В Байчэне — по-нашему, райцентре (дай бог когда-нибудь нам иметь такие хотя бы губернские города) — современная архитектура, современные дома, разве что с меньшим количеством этажей, стильные отели с тихой музыкой. Только меньше машин на улицах и больше мотоциклов, управляемых преимущественно женщинами, велосипедов и мопедов с маленькими фургончиками. В Байчэне 18 тысяч населения, а во всем уезде Чжэньлай — около двухсот тысяч. Нас встретили сотрудники института повышения квалификации учителей (немногословный замдиректора с тонкой сигаретой был весьма импозантен) и директор поселковой школы. Нам предстояло посмотреть разные школы и сообщества в уездном городе, поселке и деревне, а также поселения проживающих в Китае меньшинств.

Ланч проходил в ресторанчике. На круглом столе — куча блюд. Из закусок запомнились «чжупидун» — холодная свиная кожа и «лю жо цзяоци» — пельмени с ослиатиной. Часть еды разогревалась прямо на столе, в огромной кастрюле и на сковороде, под которыми шипело что-то вроде примуса. Хороша была также фаршированная капустой рыба в сладком соусе, на приготовление которой уходит не меньше шести часов.

В Китае быстры в инновациях, но неторопливы в традиции. После обеда Китай спит, как это было в Московии XV века.

В каждом уездном городе есть профессиональное училище. Здешнее появилось в начале этого века. Основные специальности: ремонтники техники, воспитатели детского сада и экономисты. Сочетание довольно интересное: с одной стороны, показывает запросы конкретного уезда, а с другой — как бы уравнивает экономику и

человека. В этой системе человек, может быть, не выше экономики, но и не ниже. И это воспитывается с раннего детства.

Ученик учится и работает — получает среднее и профессиональное образование одновременно, и когда окончательно становится работником в мастерской, здесь же повышает квалификацию. То есть ПТУ превратилось в учебно-производственный комплекс, элемент системы непрерывного образования. Идея не новая и у нас высказываемая, но тут реализованная.

Выпускники училища могут в восемнадцать лет получить права, пойти работать на завод (с ним у училища договор) или в среднюю школу, если не доучился, или в университет.

Соотношение теории и практики — 2:1. А соотношение преподавателей и студентов примерно 1:3 (78 педагогов на двести студентов). То есть обучение довольно дорогое, но, видимо, того стоит. Если дети из крестьянских семей, а таких в училище половина, государство платит стипендию — две-три тысячи юаней (примерно четыреста-пятьсот долларов). Бюджет складывается из государственного (в большей мере) и местного.

Поступить в училище может каждый, было бы желание. Про материальную базу китайского ПТУ говорить долго не буду — потрясающие своими размерами ангары, новые станки с цифровым управлением; оборудование только одного ангара обошлось в пять миллионов юаней. Справедливости ради: учебно-материальная база наших ПТУ китайской не уступала, но, как известно, испарилась вместе с училищами. Теперь чешут репу — как бы восстановить...

Но и из китайского ПТУ и уездного города молодежь уходит. Тому, по мнению преподавателей, есть причины. Дети хотят выбирать, а выбирать тут особенно не из чего. Урбанизация уезда растет не так быстро и отстает от потребностей молодежи. Конечно, говорит руководитель училища, они могут стать командирами производства, но командиров много не требуется — в основном, квалифицированные рабочие.

Возвращаемся уже в темноте в гостиницу под «Ой, рябина кудрявая...» — из магнитофона оперный голос поет по-китайски. Тут, далеко-далеко, воспринимается эта песня не как в России, без всякого раздражения, и даже со щемлящим чувством родины.

### **Едем в поселок**

С утра все чаще встречаются мотоциклы, велосипеды, фургончики на колесах, которые крутит глава семейства, а в фургончике — домочадцы. Женщины на мопедах. Иногда трактор проедет с прицепом, груженный зеленым луком или арбузами. За рулем этой малой механизации сидит человек с маской до глаз — то ли от пыли, то ли от плохой экологии. На окраине города пройдет то стадо овец, то гуси-утки, важно хлопая крыльями.

Мужчины в нашей машине курят длинные тонкие сигареты. Водитель с кем-то громко переговаривается (в ушах микрофон, соединенный со смартфоном, закрепленным на ветровом стекле).

По обе стороны дороги — широкие поля кукурузы и подсолнечника, на краю поля пастух с собакой пасет стадо. Кукуруза обычно вырастает выше взрослого человека, но сейчас местами — с ребенка: дождей много было.

К поселку ведет ровная шоссейная дорога, без колдобин и заплат. В стороне — зерноток, комбикормовая башня, фермы крепкие, не разваленные.

Вдруг поля кончаются. «Это серая земля, — поясняет Сюэцзяо, — тут ничего не растет». Солонцово-солончаковая зона, показывает она русский перевод на смартфоне,

да и в натуре видно — земля белая местами: соль выходит на поверхность лужами. Я еще не понимаю смысла этой серой земли...

Параллельно шоссе идет товарняк с цистернами нефти для Маньчжоули — Внутренней Монголии. По правую руку — солончаки, по левую — цистерны с нефтью. А за рельсами снова — желтые рисовые и серо-зеленые кукурузные поля.

Проезжаем китайских гайшников — никакого к нам внимания, смотрят в другую сторону. Наш водитель им погудел, чтобы обернулись, — поприветствовал. И пошла дорога: поселки, бензоколонки, кукурузные поля, ремонтные мастерские, магазины, рынки, дома, в основном одноэтажные, с черепичными крышами и печными трубами. «Поселок?» — спрашиваю. — «Да-да, — кивает Сюэцзяо. — Он называется Танту — Счастливым путем».

Сворачиваем в сторону и едем по проселочной дороге, тоже хорошей — в этой части Китая не видно плохих дорог, — обсаженной тополями. Они отгораживают рисовые поля с подпочвенным орошением.

Водитель, видимо, для меня, включает русские песни, одна бьет в голову: «Что ты продаешь, девочка распутная...» Китайцы вряд ли понимают слова. Но за этой распутной девочкой непременно — «Катюша» и «Подмосковные вечера» в исполнении растягивающего мелодию оперного баритона.

Наконец добрались до места. Ночевали в поселковой гостинице, в сравнении с уездным и губернским отелями существенно более скромной. Ржавчина в душе и таракан, выползший из трубы.

Но в номере развешаны елочные украшения и воздушные шары. К одному приклеено сердечко.

Проснулся в четыре утра. Хрипло перекрикивались петухи. Горели звезды. Пахло деревней. Да мы и были в большой деревне — что-то вроде нашего поселка городского типа, только в десять-двадцать раз больше — чаще всего от 80 до 140 тысяч населения. Такие поселки бурно растут и считаются в Китае флагманом урбанизации.

Я вышел на улицу. Около магазинов, ремонтных мастерских, гаражей — мусор, искореженное железо, в общем — свалка. Подъехала машина, вышли двое в оранжевых жилетах, один с метлой, другой с лопатой; через полчаса — убранная, чистая улица...

Перед нашей гостиницей домик с курятником. За ним — заросли кукурузы и рисовое поле. Крыши домов из шифера. Как у нас. Да и название поселка «Пинчирукой» можно перевести — «Будьте как дома».

Гром ученического оркестра радостно приветствовал наше появление. Я разглядел стоящие под навесом велосипеды и мотоциклы, на которых приезжают ученики. И пять оранжевых школьных автобусов, привозящих детей из окрестных деревень.

В поселке 10 000 человек. Треть населения — пенсионеры, десять процентов — молодежь, половина — трудоспособное население. Всего в округе, вместе с деревнями, 20 000 жителей.

В поселковой школе вместе с детсадом 800 детей. Работает в режиме полного дня, для детей из отдаленных деревень — интернат. Школа основная, девятилетняя, начальные — в деревнях.

Школьное здание считается новым (шестидесятого года), но есть и более старое. Построили сами учителя и дети. От труда их не отгораживают. Нынешний директор — учитель математики с тридцатипятилетним стажем. До него директором был импозантный человек с тонкой сигаретой, привезший нас сюда руководитель института усовершенствования учителей. Разные люди...

Осматриваем школьную территорию. Место, где зимой заливают каток. Уголок,

где дети играют. По утрам они тут часто поют и читают стихи. И просто наблюдают природу, описывают происходящее.

Тут вот выращивают рис («В этом году, — поясняют мне, — сильный ветер, дождь, рис наклонился, падает»). Там вон разводят сад. Трудясь, узнают, что, как и когда сажать, и выращивают много разных видов овощей, растений, цветов. Сад на территории школы называется «Садом многих цветов», и у каждого класса свой участок.

Территория школы — десять тысяч квадратных метров, включая сад, столовую и общежитие для учителей (по четыре человека в комнате). В столовой за один раз усаживаются четыреста учеников. Во дворе за стенкой — живые кролики, индюки, гуси (дети кормят их сами), дикие утки, пруд с рыбой, которую приходят ловить местные жители, и черная черепаха тут живет, и рыба «каяц».

Беседка, сад, длинная аллея с фотографиями родителей. «Это наша традиция, — поясняет Сюэцзяо, — дети очень уважают своих родителей. Раньше, если родитель умирал, взрослые дети три года не работали — только по дому. Думали о родителях».

О системе обучения — в этой школе и других.

Детей учат с раннего возраста в семье. Когда ребенок приходит в школу, он уже умеет читать, считать и немножко писать иероглифы.

В начальной школе изучают китайский язык и математику. С третьего класса — иностранные языки (раньше был японский). С седьмого — физику, с восьмого — химию. Историю, китайскую и мировую, как и географию, — тоже с седьмого класса. Но после окончания девятилетней школы очень немногие здесь остаются. Некоторые идут в уездное училище. А большая часть учеников переходит в школу высшей ступени, потом в институт и уезжает из села.

Школа с садом, прудом, парком школьных автобусов и восемьюстами учениками — таких у нас в селах нет. А это, сказал директор, не самая большая по базе и количеству учеников — обычная.

### После ужина танцы

Из поселка едем в деревню Чаоань, что означает «найти себе работу».

Чего-чего, а деревенской тишины здесь не было и в помине. Нас встретили сумасшедший гром оркестра и куча народу, все разодеты в пестрые наряды — преимущественно женщины с лентами, палками и мячами. Все двигались в танце под ритмичную музыку стройными рядами.

На представление, устроенное в нашу честь, а больше на нас, усаженных на почетные места за столом, с интересом смотрели собравшиеся из этой и других деревень (некоторые приехали за 30—50 км) жители, от младенцев до глубоких беззубых стариков и старух, опиравшихся на палки.

Самое удивительное — это не было «показухой». Как выяснилось, в окрестных деревнях существуют самоорганизующиеся группы людей, которые каждый день, в любую погоду выходят после ужина на деревенскую площадь и... танцуют. Даже бабушки и дедушки. Женщины и мужчины в расцвете сил, молодежь приходят после работы усталые, поужинают — и идут танцевать. «Вроде смены рода деятельности?» — «Да-да», — подтверждает Сюэцзяо.

Гром барабана, взвизгивание дудки — «дунбэй даянгэ», традиции триста лет. Зеленые, синие, красные, расшитые золотом костюмы — все сделано самими танцорами. Перед колоннами марширует с жезлом направляющая. На флаге название группы и деревни. В некоторых деревнях несколько танцевальных групп.

Когда танец заканчивается, женщины уходят переодеться, а их сменяют представители других групп. Сидевший рядом со мной «начальник деревни» (в переводе Сюэцзяо), по-нашему — председатель сельсовета, поясняет, что такой

праздник отмечается каждый год, и пятнадцать деревень собираются вместе. В каждой семье есть компьютер, танцевальные группы общаются через интернет.

В группе из деревни Чаоант самой младшей танцовщице семнадцать, самой старшей — шестьдесят шесть лет.

Танцуют и под современные ритмы. На женщинах черные майки с красными звездами на груди. Красные сапоги и пилотки. Черные колготки. Белые перчатки. Короткие красные юбочки. Выглядят очень сексуально.

Самая молодая группа — школьно-молодежная. Впереди колонны — спортивного вида стройная молодая учительница в черном, остальные в красном, на всех желтые кеды, двигаются, танцуют под монгольскую мелодию.

Никаких клубов (в смысле помещений) нет. Просто люди, которые сами организовались.

### **Трудно найти жену?**

Школа в деревне Чаоант — длинная, одноэтажная, напоминает колхозную ферму. В этой начальной шестилетней школе 21 ученик и 15 учителей. Директора зовут Ли Юэхай — «красивое море».

По моей просьбе в классе собрали родителей. Молодые женщины и мужчины. По-английски никто не говорит.

— Вы кончали эту школу?

— Да.

— Где работаете?

Дальше буду пересказывать своими словами.

Сейчас родители трудятся в разных местах, а до этого работали на рисовых полях.

Десять лет назад появились уборочные машины.

— Где учились выращивать рис?

— Нигде, сами. Родители помогали, учили.

— Сколько детей в семье?

Один-два. У этой, например, мамы мальчик и девочка.

— Дети помогают вам в работе?

Мало. Дети не хотят в работе родителей участвовать. И родители этого не хотят.

Симпатичные, современно одетые, модные такие родители.

— Как же тогда дети научатся?

Одна молодая мама сказала, что в школе будут учить. Она тоже дома этому не училась. Родители надеются: если у детей будет больше времени, они получат хорошее образование.

— А потом уедут?

Оживление в классе, родители переговариваются.

— Они надеются, — сообщает мне итоги обсуждения Сюэцзяо, — что дети, как птицы свободные, полетят. Из их класса никто не остался в селе.

— Но вы же остались? — обращаюсь к родителям. Они смеются.

— Уже остались...

В результате приходим к выводу: нужно какое-то время, чтобы уехавшие в город стали возвращаться.

— Чего в деревне не хватает, чтобы остаться?

Ответ, казалось бы, ясен — хорошей работы, производства. На севере, поясняют мне, хорошая земля, высокие цены на рис, можно зарабатывать на этом и другого не надо. А на юге земля не очень хорошая. Поэтому там заводы, фабрики создают, появляются разные профессии.

Получается, думаю про себя, лучше всего инновации идут там, где терять нечего или где высокий уровень конкуренции. А там, где не очень высокий, потребности в инновациях не возникает.

Меняем тему.

— Трудно в деревне найти мужа, жену?

Женщины смеются.

— Легко... У нас мальчиков больше в деревне. Вот молодому человеку трудно найти женщину.

Молодые семьи живут отдельно от родителей. Но бабушки и дедушки помогают, если позволяет здоровье. Бабушкам и дедушкам в среднем по шестьдесят лет. Мамам и папам — около тридцати.

Все же в будущем, как вы думаете, спросил я молодых родителей, останутся ваши дети в деревне или нет?

Одна молодая женщина сказала: они надеются, что у их детей будет много возможностей. Можно остаться в деревне, можно уехать в город. Лишь бы жизнь была хорошей, качественной.

### Шеф китайской деревни

Люди полют рис,  
А солнце их палит.  
Падают на стебли  
Капли пота,  
Каждое зерно  
Посеял кто-то...<sup>1</sup>

На рассвете, когда поднимается «ли хун» — солнце, желтое-желтое поле видно далеко, до холмов. Рисовые стебли доходят до колен и разделяется узкими канавками, в это время, незадолго до сбора урожая, — сухими, по ним можно далеко уйти по полю. Много шагов надо сделать, прежде чем рис станет рисом. Сейчас машины, но все равно жизнь осталась деревенской.

Я спросил здешнего «председателя сельсовета», который сидел в современном кабинете, в комфортабельном здании, за столом с компьютером: «Вас выбирают или назначают?»

Конечно, его выбирают — крестьяне. Нужно набрать две трети голосов при закрытом голосовании. На этом месте он работает уже пятнадцать лет. Отвечает за село и две деревни.

В чем состоит его ответственность? Электричеством, освещением занимаются фирмы. Теплом — сами крестьяне и специалисты. Дорогами — государство. Медициной — фельдшерский пункт. Если заболел — семьдесят процентов лечения оплачивает государство, остальное сам.

Из чего формируется бюджет? Все просто: крестьяне платят налоги. Государство председателю не дает ни копейки, только крестьяне. «И сколько набирается?» — «Сто тысяч юаней». В переводе на рубли примерно 890 тысяч на три населенных пункта. На что они тратятся, помимо зарплаты аппарата?

На посадку деревьев. Уборку сел. Ремонт техники. Чистку канала, из которого поступает вода на рисовые поля.

Рядом с председателем сельсовета сидит директор школы, и я интересуюсь, зачем ему председатель, какая между ними связь. Сюэцзяо выясняет и радостно сообщает: они друзья. «А как он поддерживает деревенскую школу?» Мне говорят: купил одежду детям на праздник, сделал им подарки. В этом году построил библиотеку и передал две тысячи книг!

Все это — от крестьян. Остальное — от богатых людей.

---

<sup>1</sup> Роман «Путешествие на Запад». Глава.81.

Пытался по привычке путешественника по Сибири встретиться с шаманом. Мне объяснили, что в Китае их нет, правительство не разрешает шаманить. Тогда я переметнулся к представителям народной медицины с их травами и иголками. Мне сказали, что они в городе, а в селе неквалифицированные. Чтобы этим заниматься, нужно иметь свидетельство о квалификации.

Бедные алтайские, хакасские, бурятские, якутские шаманы — в Китае они бы не выжили...

### **Яо, мяо, эвенки и русские**

Едем на северо-запад, в монгольскую деревню. Она находится неподалеку от Внутренней Монголии — автономного района на севере Китая. Называется Гашигин Цъуин («вся наша семья»). «Семья» знакомая — при въезде традиционные ленточки на деревьях, как у алтайцев, бурятов, якутов. Село, видно по домам, обихожное, крепкое, с достойным уровнем жизни.

Здесь живет меньшинство. Но меньшинство — лакмусовая бумажка, по которой можно судить о большинстве.

Видимо, предположил я, маленький народ, живущий внутри большого, в большей мере стремится сохранить свою уникальность?

У Чжихуэй пожал плечами. В Китае, сказал он, есть местность, очень закрытая, там живет одно национальное меньшинство. Когда они были там с экспедицией, то обнаружили, что жители ничего не знают о переменах и думают, что в стране до сих пор правит Мао Цзэдун. «Ситуация с культурой меньшинств иная, чем вы рассказываете, — сказали китайские специалисты. — Население меньшинств начинает работать на туризм, фольклоризируется».

Но это не означает, что меньшинства исчезают. В Китае сегодня пятьдесят с лишним национальностей. Кроме ханьцев (в число которых входят даже ханьские евреи и индонезийцы) — все остальные считаются меньшинствами: малознакомые нам хуэй, яо, мяо и хорошо знакомые — монголы, калмыки, эвенки, русские (последних в Китае в два раза меньше, чем эвенков).

Перед въездом в национальный монгольский поселок — статуя воина на коне. Хотя с равным правом можно было бы поставить учителя. Его олицетворяет живший за четыре столетия до Яна Амоса Коменского внук Чингисхана, монгол, император Китая Хубилай. В Китае тогда десять процентов жителей говорили на одном языке, остальные — на многих. Не было и речи о едином Китае, жители которого вели постоянные междоусобные войны.

Хубилай временно отказался от иероглифики, которую трудно было освоить простым крестьянам. Разработал на основе тибетского языка алфавит (имевший 50 знаков) и начал обучать народ. В 1269 году была открыта первая школа для простолюдинов (всего за время правления Хубилая таких школ, как свидетельствуют хроники, возникло 20166). В 1273 году был основан университет, который существует до сих пор, — Пекинский.

Считается, что этими мерами Хубилай объединил Китай и завоевал его не войной, как дед, а образованием.

На территории школы маленькое поле и небольшая юрта — «монголькыр». В школе учится двести восемь детей, половина учителей — монголы.

Нас встретила учительница Лян Лихуа. Симпатичная, искренняя. Пять лет назад директор школы Шао Ю-Тин попросил прислать преподавательницу из Внутренней Монголии. Она по-китайски не говорила, но выучилась. Хорошо знает традиции и культуру родного народа, учит детей монгольскому...

В коридорах школы на подставках, стендах — традиционные монгольские игры



и игрушки, письменность в соотнесении с китайской<sup>1</sup>. Скачки, борьба, стрельба из лука. Национальная одежда. Национальные праздники. На фотографии: степь, юрты, женщины и мужчины собрались вокруг огня. Фигурки для игры в кости — конь, верблюд, корова, овца — животные степняков-кочевников.

Шахматы. Музыкальные инструменты, древний «меринхор» с двумя струнами. Традиционный танец «анди». Дети изучают все это.

Беседовал с восьмиклассниками. Из школьных предметов нравятся история, математика, китайский. Трое из класса умеют скакать на лошади и бороться. Из лука никто не стреляет. Больше половины класса — китайские дети, изучают китайский язык. Монгольские дети — китайский и монгольский. «Дома говорите по-монгольски?» — «С бабушкой и дедушкой, а с папой и мамой — по-китайски».

На третьем этаже школы прочел: «Если у вас есть сила, вы герой однажды. Если у вас есть ум — вы герой всегда». Спрашиваю сопровождающую меня учительницу Лян Лихуа: «Ваша школа — уникальная или еще такие есть?» Отвечает честно: «Уникальная».

«У нас, — вспомнил слова директора института сельской школы, — малые этносы растворяются в культурном и прочих смыслах».

### Культура в прошлом

Едем по шоссе. Какая-то птица, как на старинной китайской гравюре, — черная с белым, — вспорхнула с рисового поля на ограждение. Китайская культура, сельский уклад, традиции уходят под напором ускоряющейся урбанизации. Редкие, вспорхнувшие картинки-мгновения...

Народного мастера, чуть ли не единственного в уезде, не нашли, уехал, говорят, в город. Получается, что архаики в Китае (на северо-востоке, во всяком случае) уже фактически нет. История, национальная культура остались на очень глубоком уровне, в подсознании.

Формула прогресса, социокультурной модернизации («обществоцивилизационные качественные преобразования на национальной основе»), которую я когда-то вывел, опираясь на опыт Японии, «молодых драконов» Юго-Восточной Азии и некоторых наших регионов, здесь, в Китае, вызывает сомнение. Архаики в России, особенно в Якутии, Бурятии или Хакасии, гораздо больше, чем здесь.

Но ведь не может не быть в Китае народных мастеров. Тут принято, например, наклеивать на окна, двери и стены красивые вырезки из бумаги, что создает радостную атмосферу. Существует даже Международное общество бумажной вырезки. Произведения известной потомственной мастерицы Ли Фэнъин экспортируют в Россию, Швейцарию, Японию, Соединенные Штаты. В уезде Цзиньбянь мастерица учит народному искусству всех желающих, и дети, чуть повзрослев, даже зарабатывают на своих изделиях.

Не знаю, можно ли отнести к народным мастерам людей, обладающих искусством каллиграфии. Оно известно в Китае с древних времен, ценится и сегодня. Некоторых художников, работающих в традиционной манере го-хуа, как на старинных китайских рисунках, тоже можно считать народными мастерами. Где-то они есть в Китае, в гуще культуры, народные мастера.

Надо искать.

И нашли! Мастера. Точней, мастерицу, хозяйку небольшой фабрики по изготовлению плетеных ивовых корзин. Фабрика представляет собой несколько небольших помещений, в которых хранятся ивовые прутья и изделия на любой вкус.

---

<sup>1</sup> В отличие от Монголии, где используется кириллица (русский алфавит плюс две дополнительные буквы), в монгольских поселках и во внутренней Монголии Китая используется дошедшее до наших дней старомонгольское письмо, вертикальное — буквы пишутся слева направо и сверху вниз. *Википедия. Монгольские письменности.*

Плетут корзины сама хозяйка и ее работники. Имя у хозяйки даже для Китая необыкновенное — Тео Джопила, что означает «Солнце многознания». Она с семнадцати лет делает такие корзинки. У папы, говорит, хорошие руки, он настоящий мастер. И дедушка тоже был. И бабушка чуть-чуть. А ваша дочь? Нет, не умеет, она работает в другом городе, в больнице. «А внуки?» — «Дочь пока не вышла замуж».

Джопила плетет корзинку из светлых ивовых прутьев, корзинка получается свежая, солнечная. Есть свои секреты: где и когда срезать прутья, как заливать водой, варить — до тех пор, пока мягкими не становятся, высушивать, и потом можно использовать круглый год.

«Сколько у вас работников?» — Здесь, на фабрике, двадцать человек. Еще восемьдесят в деревне. Вообще, в уезде две такие фабрики, как у нее, раньше было больше.

«Как отбираете работников?»

Джопила вопросительно смотрит на меня.

«Ну, как решаете, этого стоит взять, а того нет?..»

Рассказывает: обычно это крестьянка или крестьянин из села, где нет работы, уехали в город. И чуть-чуть умеют плести. Тогда она их учит дальше. Но чуть-чуть.

Эти корзины приносят китайской экономике прибыль. Их через интернет приобретают в Америке, в Германии...

«Сколько человек в Китае умеют это делать?» — спрашиваю Джопилу. Здесь, на северо-востоке, отвечает, очень мало. «В школах не учат?» — «Раньше учили, сейчас нет». Она сама иногда проводит курсы для взрослых и для детей.

Они есть, мастера, думаю я. Просто их найти трудно. Но если постараться, можно. Хорошо бы, как у нас в Якутии, создать ассоциацию народных мастеров и соединить со школой, образованием. Чтобы возникли новые рабочие места, выросла социальная инфраструктура, и молодежь оставалась в селе. Сейчас, когда китайское государство снова поворачивается к селу (глядишь, дождемся и в нашем), это мог бы быть комплексный проект развития сельских поселков. Средств на это нужно — в сравнении с миллиардными мега-проектами — мизер. Почему бы не попробовать?

### **Белые журавли на серой земле**

Едем на серые земли, куда прилетают белые журавли с Байкала. Говорят, тут особенно вкусные для них растения, и журавли остаются на месяц. Отсюда перелетают на юг Китая, на озеро Блэйяньху, и замыкают кольцо, возвращаясь на родину. В октябре прилетают, в марте возвращаются.

Зачем белым журавлям серая земля, понятно. А зачем людям эта земля, на которой ничего не растет? Тем не менее, чтобы сохранить эту серую землю, китайское правительство вложило более миллиарда юаней. Не только же из-за белых журавлей? Оказывается, раньше, когда была нехватка воды, из этих мест, из реки Нэньцзян и озер, брали воду для выращивания риса в нескольких провинциях, и чтобы подводить ее к рисовым полям, нужно было эту серую землю сохранять нетронутой.

Добираемся до национального парка «Мымыкла» — несколько километров от Внутренней Монголии. Идем вдоль озера, оно все в лотосах, но цветов уже нет, отцвели.

По телефону знакомый учитель местной школы сообщил нашему водителю место в национальном парке, куда прилетают обычно белые журавли. Мы нашли его. На озере их еще не было, но в вольерах было много журавлей, белых и серых, с черными хвостами и красными головками. Некоторые, прилетевшие в прошлом году, были больны, получили травмы, их выхаживали. Другие родились здесь и были еще слабы, чтобы улететь, мам-журавушек и деток-журавлят надо было кормить, адаптировать к природе и... научить летать, — сказал работник национального парка.

«А кто же учит журавлят летать?» — спросил я. Он удивился: «Люди. У нас есть для этого специалисты. Лечат, растят, учат летать».

Белые журавли в Китае означают счастье. Если достиг успеха, говорят: «Журавль прилетел». А если прилетел — будет счастье.

### Не надо бояться

На окраине Байчэна, там, где заканчиваются многоэтажки, появились теплицы. В одну мы заехали: хозяйка с семьей здесь выращивает виноград. Крупный, сладкий, многие предпочитают его магазинному.

Хозяйка, Ли Юфей, родом из села. Окончила среднюю школу, переехала, как многие, в город, но судьбу построила по-другому. Оценила рынок. Купила землю на окраине города, поставила с родственниками теплицы — шесть тысяч квадратных метров — посадила саженцы в удобренную землю. И оказалась семья как бы в городе, но в деревне.

Много таких? — спрашиваю хозяйку. Очень много. Сажают огурцы, помидоры, «дадоу» — бобы, они хорошо идут с мясом, фрукты, виноград...

Ее виноград продают в городских магазинах, она с ними сотрудничает. Но многие люди предпочитают сами приехать сюда, собрать виноград и оплатить.

Кажется, будто это то же самое, что открыть кафе, парикмахерскую, магазин. Но магазин можно закрыть, открыть новый, а землю же не закроешь.

«Есть ли специальная служба, которая оценивает рынок, спрос в этом городе и дает совет — что стоит выращивать, сколько?» Нет, отвечает хозяйка, такой службы. Но в Байчэне сто восемьдесят тысяч жителей, а таких хозяйств не так много. Не надо бояться.

Из ютуба: Музыка сама все объяснит.

Знаменитый композитор Тан Дун — родом из деревни Хунань, ранее известной тем, что в ней родился председатель Мао. Во времена культурной революции за Бетховена или Баха «человеку могли сделать так», — Тан Дун на экране изящно провел ребром ладони по шее.

В деревне, где рос мальчик, место Баха занимала «органическая музыка» — играли на камне и воде, это было соединение природы и магии. Когда культурная революция кончилась, Дун впервые услышал симфоническую музыку, и она потрясла его. Он решил стать композитором и поехал в город поступать в консерваторию. Пришел на собеседование. Экзаменатор удивился, увидев его «скрипку» в три струны. Его попросили сыграть Моцарта или Шуберта, он понятия не имел, кто это такие. На него посмотрели с сожалением и сказали: ну, сыграйте что можете.

А в комнате, где проходило собеседование, висела карта Китая. И Дун предложил: покажите на карте место, и я покажу, какую музыку там играют.

Экзаменатор, известный профессор, ткнул пальцем в одно место на карте, в другое, третье, и когда Дун продемонстрировал на своем трехструнном инструменте музыку этих мест, сказал: у вас большое будущее.

Дуна взяли в консерваторию. Он учился в разных местах, у разных учителей. В Германии, в Австрии осваивал фуги, долго прожил в Нью-Йорке, учась у классиков джаза и современной музыки. Ему нравился Нью-Йорк, город, где на одном пяточке сосуществуют разные культуры и свободно перебрасываются музыкальными фразами и интонациями. И он подумал: как бы соединить музыку западную и восточную, хроматическую и органическую. Соединил и стал великим композитором. Его знают во всем мире. Произведения Тан Дуна — современная классика, их исполняют самые знаменитые музыканты и дирижеры.

Ведущая телепередачи смотрит на худенького элегантного человека, широко открыв глаза. «Вот так вы открыли мир?» — спрашивает она. А он отвечает: «Не человек открывает мир, а мир открывает человека».

Это из древней китайской философии Дзэн.

«...Вся музыка, и восточная, и западная родилась в деревне, — говорит Дун. — Мы все оттуда. Сегодняшний глобальный мир — это глобальная деревня. А завтра, может, будет галактическая... Однажды, — продолжил Тан Дун, — я должен был услышать в исполнении оркестра свою новую симфонию, боялся, что она прозвучит как-то не так, и поделился своими опасениями с женой. “Бетховена уже нет, а его музыка звучит без него. Музыка сама все объяснит”, — сказала она».

### **Школа Дао**

Действующие храмы в Китае есть, но их очень мало — в горах, в Тибете. Хуан Игэхан, совсем маленького роста девушка, сводила меня в бывший даоистский монастырь Уэн Мяо. Спасибо ей за маленькое путешествие. Оно сходно со значением иероглифа «Дао» — дорога, путь. Все в мире находится в пути, движении. Человек входит в него и постигает Дао, живет в согласии с миром.

Человек не должен бездействовать, но деятельность должна быть согласна с естественным ходом миропорядка. Всякое действие, противоречащее Дао, означает пустую трату сил, приводит к неудаче, гибели.

Три чудовищные собаки на крыше монастыря означают сон, древнюю мистику. Внутри — картины дворцовой жизни и жизни простолюдинов. Учителей и учеников. Большие, в два человеческих роста статуи знаменитых учеников Конфуция стоят у стены с двух сторон зала. Посередине — учитель. «Живи так, как хочешь ты, а не как ожидают от тебя другие. Неважно, оправдаешь ты их ожидания или нет, умирать ты будешь без них. И свои победы одержишь сам!»<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Конфуций. <https://socratify.net/quotes/konfutsii/249666>

---

*Кирилл Кобрин*

## Второй китайский дневник

*Из будущей книги «На пути к изоляции.  
Дневник предвирусных лет, 2018 — февраль 2020 года»*

Моя китайская история началась еще в 2015-м, когда академический приятель поинтересовался, мол, не хочу ли я поработать в Поднебесной. Один китайский коллега, профессор с юга-запада страны ищет специалиста, который хотел бы провести год, два, а то и больше в его университете. Мне идея понравилась — в силу склонности к авантюрам, да и Китай всегда много для меня значил. По-своему, по-поколенчески, конечно, но значил. В общем, я согласился. Дальше последовали неторопливые муки мандаринской бюрократии, один раз я уже было стартовал в Поднебесную, но в последний момент выяснилось, что, увы, не могу, ибо там кто-то неведомый допустил ошибку в документах, прошло еще пять месяцев от самого последнего срока, наконец, в феврале 2017-го я оказался в городе Чэнду, провинция Сычуань. Пробыл я там год, потом контракт мой скукожился из двенадцатимесячного в одномесячный, и я второй раз вышел, пошатываясь от недосыпа, из аэропорта Чэнду только в начале сентября 2018-го. Тогда я уже догадывался, что это либо последний, либо предпоследний визит — область моих академических и педагогических интересов находится далековато от магистральных путей стремительного продвижения вперед китайского Университета и Академии. Впрочем, как и в других странах и регионах. Надо смириться и понять, что мало кому нужен. «Humility» — так называется одна из лучших (и развеселых) песен на предпоследнем альбоме группы Gorillaz. Воистину, humility. Аминь.

В общем, в начале сентября 2018 года я летел из своей Риги в некогда свой Чэнду с уже заготовленной наперед ностальгией, в компании которой намеревался провести месяц там, где некогда провел год. Ностальгия пригодилась, конечно, но не очень. Полгода в Европе после года в Китае сцементировали какое-то новое ощущение жизни, новую топографию сознания, где уже окончательно не осталось магнитных полюсов. Мир во всех своих частях, больших и малых, даже в своих подробностях,

---

*Кобрин Кирилл Рафаилович* — российский писатель, историк, журналист, редактор. Родился в 1964 году в Горьком. Окончил исторический факультет Горьковского университета. Кандидат историч. наук. Автор более двух десятков книг, в том числе вышедших в последние годы: «Разговор в комнатах. Карамзин, Чаадаев, Герцен и начало современной России» (2018), «На руинах нового: эссе о книгах» (2018), «История: Work in Progress» (2018), «Поднебесный Экспресс» (2019). Финалист премии НОС. Редактор журнала «Неприкосновенный запас» и соредaktor арт-литературного онлайн-проекта post(non)fiction. Живет в Риге.

мелочах стал волшебным равен самому себе, уже не обещая ничего нового, но и не обманывая несбывшимися надеждами. Хотя, конечно, надежд уже давно не принято испытывать — и мир тут ни при чем. Но все-таки, чисто географически еще — по крайней мере, для меня лично — существовали места, в которых от себя можно было бы ожидать неведомого. Север, Юг, Запад, Восток, города или природа — неважно. То ли возраст взял свое, то ли истерическая частота перемещений, моей жизни в 2018-м свойственная, сказать сложно, но факт остается фактом — к сентябрю того года все вокруг соответствовало себе самому. Что, конечно, открывало для меня новые горизонты и даже возможности для наблюдения и размышления. А наблюдать и размышлять я обожаю. Как и читать. И слушать музыку. Собственно, больше почти ничего.

Короче говоря, я полетел в Китай из Риги, с пересадкой в Москве, провел в Чэнду небезынтересный месяц, из Чэнду полетел (с пересадками в Сан-Франциско и Денвере) в Демойн, откуда поехал в Гриннелл (что оказалось своего рода разведкой перед боем — ровно через год в том же самом Гриннелле я просидел уже целый семестр)<sup>1</sup>, откуда поехал в Сент-Луис, откуда — с пересадкой в Вашингтоне и Цюрихе — прилетел в Питер, откуда сгонял в Нижний Новгород, откуда — через Москву — в Красноярск, из которого через Москву вернулся в Ригу. На все про все ушло чуть больше двух месяцев.

Выстукивать это все сейчас на клавиатуре — и особенно перечитывать — жутковато, но захватывает. Ведь это тот самый мир, что кончился на наших глазах, что кончился в наших жизнях — по крайней мере, в моей, за остальных не скажу — в начале 2020-го. Не исключено, что нервическое мельтешение людей внутри и поверх барьеров продолжится и после того, как Волшебная Вакцина заборет Злодейскую Корону, но лично мое существование уже не будет прежним. Не вернется легкость пересадки в каком-нибудь Пекине или Осло, когда опухшими от долгого сидения в пыточном кресле ногами бодро вышагиваешь к своим воротцам, катя чемодан, поглядывая по сторонам в поисках воды подешевле, кофе подешевле, со-аэропортников позабавнее, когда за стеклянными окнами металлические птицы присасываются к терминалу ребристыми рукавами. Эротика, соматика, эмблематика всего этого для меня кончились. Впрочем, и слава Богу.

В этом смысле месяц во Внутреннем Китае, вдалеке от мест, где говорят на иных языках, кроме мандаринского (причем еще в местном его изводе), где от души едят, пьют зеленый чай и играют в маджонг, где дышать на улице нечем, зато курят еще настоящие сигареты, где Великая Стена Цензуры отрезает тебя от внешнего мира, и ты, потрепавшись над экраном айпэда, приходишь к выводу, что сие не так плохо, и даже мнишь себя каким-нибудь древним поэтом, вроде Тао Юаньмина, и так далее, и так далее, — все это вернуло мое сознание, вывихнутое из своих суставов перелетами вокруг мира, на свое место. Собственно, об этом и нижеследующие записи.

И последнее. Перечитывая собственные дневники 2018-го, 2019-го и самого начала 2020-го, конечно же, накладываешь на них тот сюжет, что разыгрывается с нами всеми нынче. Получается своего рода постфактум-причинность; будущее, в котором я оказался, стягивает к себе всё бывшее настоящее, вдруг ставшее прошлым — настоящее гигантских стеклянных будок под названиями Шереметьево, Гэтвик, Скинхолл и так далее, настоящее битком набитых огромных железных птиц с

---

<sup>1</sup> См. мой американский дневник осени 2019-го в «ДН» (№ 9, 2020).

тупыми носами. Перед искушением сложить все бывшее в инсталляцию под названием «На пути к карантину» устоять невозможно. Я и не устоял. Собрал дневники в книгу, надеюсь, она скоро выйдет. Здесь же я предлагаю читателям отрывки из нее.

Рядом с текстом мы публикуем чуть больше дюжины моих китайских фотографий. Ничего особенного на них нет — нет в них самих ничего особенного. Я никакой не фотограф, просто — как миллиарды прочих людей — что-то запечатлеваю на камеру смартфона. Потом, конечно, возжусь и разбираю, чищу, так сказать, подвалы. От чисток сохранилось примерно 50 китайских фото, сделанных мною в 2017-м, 2018-м и 2019-м (когда я неожиданно опять оказался в Чэнду, и опять на месяц). Экзотику я не снимаю, за видами не гоняюсь. Просто создаю видеоряд к тому, что думаю. Потому подбирая фотографии к этой публикации, я вдруг обнаружил: некоторым сюжетам моих китайских дневников соответствуют серии снимков. Вот трушобы, о которых я велеречиво рассуждаю. Вот воспетые ниже тачки садовников и уборщиков парков. Вот просто люди. Вот дома современные. Вот еще люди вечером сидят на небритых деревянных ящиках и картонных коробках из-под товаров мелочных лавок за их спиной, и, причмокивая, чавкая, поглощают огненную лапшу, запивая ее жидким пивом и огненной же водой байдзю. Если кому-то из читателей все это о чем-то расскажет — отлично. Если нет, увы. Тут уж ничего не поделаешь. Восток есть Восток, и далее по тексту.

14 декабря 2020 года

6 сентября 2018, Рига—Москва—Чэнду

Опять аэропорты и самолеты; уже сбился со счета — который раз лечу в этом году. Начинал этот дневник с полетов и продолжаю его то в скользком металлическом кресле, ожидая посадку, то вот, как прямо сейчас, корчась на совсем уже скверном разболтанном самолетном троне. Спинка ходит туда-сюда, оттого упор приходится на поясницу, та принимается ныть уже через полчаса после взлета, боль охватывает нижнюю часть туловища на манер резинового жгута. Но это если не развалиться, осторожно выставив ноги под кресло впереди (экзотический «Сухой», что несет меня в своем тощем брюхе из Риги в Москву, такую возможность — с определенными оговорками — дает), то есть, если не читать и не писать, а просто подремывать или даже смотреть в окно — размышляя или просто так, в данном случае, неважно — то резинового жгута не будет; впрочем, тогда будет другой какой-нибудь, в зависимости от возраста, пола, комплекции, настроения и проч. Но мы не из таких, мы читаем и пишем, так как когда еще? Где еще? Воздушные перемещения по миру, перемежаемые продвижением через стеклянные мясорубки аэропортов — лучшая возможность заняться лучшим делом, от которого обычно... нет, не отлыниваешь, от которого жизнь отлынивает нас. Здесь-то, в самолетном брюхе, понимаешь, что действительно важно, а что нет.

Об этом примерно писала Токарчук в «Бегунах», но все-таки, несмотря на ее почтенный нонконформизм радикально-либеральной польской женщины и на ее замечательные дреды, она порой все-таки склоняется к жанру (условно!) «ресторанной критики», только не о ресторанах, а о чем угодно, что попадает в поле ее внимания и интереса. Оттого — отдавая должное ее прозе и самой идее превратить аэропорт в одного из героев оной — перечитывать «Бегунов» не хочется, хотя и надо бы для моих писательских нужд. Не то чтобы я все хорошо помнил оттуда, нет, помню общий дух,

---

Кирилл Кобрин

## Поднебесная на пути к карантину

На этих фотографиях ничего особенного нет — я никакой не фотограф — как миллиарды прочих людей, — что-то запечатлеваю на камеру смартфона. Экзотику я не снимаю, за видами не гонюсь. Просто создаю видеоряд к тому, что думаю. Потому, подбирая фотографии к этой публикации, я вдруг обнаружил: некоторым сюжетам моих китайских дневников соответствуют серии снимков. Вот трущобы, о которых я велеречиво рассуждаю. Вот воспетые ниже тачки садовников и уборщиков парков. Вот просто люди. Вот дома современные. Вот еще люди вечером сидят на небритых деревянных ящиках и картонных коробках из-под товаров мелочных лавок за их спиной, и, причмокивая, чавкая, поглощают огненную лапшу, запивая ее жидким пивом и огненной же водой байдзю. Если кому-то из читателей все это о чем-то расскажет — отлично. Если нет, увы. Тут уж ничего не поделаешь. Восток есть Восток.























что ли, ощущение, запашок старого доброго гуманизма, который автор пытается запустить в совершенно агуманные гигантские стеклянные сараи аэропортов. И тогда это уже не Ольга Токарчук, а Аллен де Боттон, любимец интеллигентного среднего класса с культурными запросами и даже с легким чувством вины по поводу недостатка времени на серьезный интерес к Культуре. Время уходит на жизнь; получается, что «жизнь» и «культура» — вещи разные, вторая как бы украшение первой, и за толковое и понятное разъяснение такового украшения отвечает условный де Боттон. Тошно от всего этого, тошно. Но книга Токарчук все равно отличная.

Да, но аэропорты и самолеты. Тут концентрация как универсального цайтайста, так и партикулярного национального; идеальная точка, в которой разыгрывается диалектика общего и единичного. И в этом смысле тоже нынешние аэропорты ближе всего к музеям и большим галереям современного искусства. И те, и другие в своей идее исходят из идеи острой, «горячей» современности; они как бы *cutting edge* нашего мира, маяки будущего, но уже заселенные сегодняшними людьми. Они наглядные уроки и примеры идеального грядущего, которое, впрочем, уже наступило: мы же, черт возьми, летаем из Риги в Чэнду, как я нынче, мы же наслаждаемся всякими биеннале и прочей роскошью для глаз! И вот здесь универсальное, всеобщее оборачивается местным, локальным, партикулярным. Будущее, заключенное в стеклянные кубы и прочие фигуры из школьного кабинета геометрии, будущее, где много чистой пустоты, которую мы призваны заселить, оно, во-первых, не наступило, как мы видим, во-вторых, не наступит никогда, как это стало очевидно; наконец, оно приелось и надоело. Вот я и — подобно Токарчук — долго радовался пространству, прозрачности, ясности и гигиене аэропортов, но... надоело, не радует, так сказать. Да и в местах современного искусства все меньше хайтека и Одиссеи-2001, и все больше руин и мусора. Но даже не это главное. Тупая настойчивость разговоров о «поисках идентичности», что велись последние лет сорок, если не пятьдесят, будто идентичность — это завалившийся под кровать презерватив, привела к тому, что нынче все идентичны непонятно чему, точнее, понятно — самим себе, как утверждается. Ох, услышь настоящий буддист выражение «самому себе», которому нужно как-то соответствовать, помер бы тут же от веселого добродушного смеха, далайламовского по интонации и саунду. Ох, рассмешили... чему же тут соответствовать, когда вы сами (мы сами) объект соответствия, к которому приковываете субъект соответствия (то есть себя), сочинили, даже не сочинили, а смастерили из всякой случайно подвернувшейся под руку ерунды? Соответствуете вы, друзья, собственному желанию чему-то соответствовать, страху остаться в одиночестве, спокойно пораскинуть мозгами, сделать что-то особенное. Все эти свежее- и счастливо обретенные идентичности, от национальной или религиозной до сексуальной, они превращают в труху абсолютно все, чего только касаются, с чем вступают в контакт.

Так в монструозных (или иногда скромных) квазифутиристических стеклянных покоях аэропортов и музеев современного искусства заводится, как плесень, идентичность, она разъедает стеклянные конструкции, обрамляющие надежно встроенное стекло как бы будущего, сквозь которое всегда виден простор, взлетное поле для путешествий в неведомое, арт, уже не озабоченный тем, чтобы малевать грязными кистями на каком-то там холсте. Все чисто. Но проходит время и плесень идентичности покрывает все, грязнотпой особенного зарастает потихоньку стройная логика всеобщего, аэропорты и институции *contemporary art* превращаются то ли в выставку достижений «национального духа», то ли в помойку, куда выкидывают не совсем нужные в локальной жизни вещи, идеи, даже людей. И вот уже не нужно



посещать Британию, достаточно провести пару часов в невыносимо-вульгарном Гэтвике. И показательнее (наглядно показательнее) любой коллективной монографии об устройстве нынешней российской культурно-политической и социальной жизни — какая-нибудь затребованная начальством жалкая выставка про то, как мы все гордимся собой, выставка во вроде бы сверхпродвинутом месте современного искусства, хипстерятнике с *oat milk latte*.

Последние несколько рассуждений я выстукиваю по экрану айпэда уже в самолете Сычуаньских авиалиний, неспешно (всего 800 км в час) перемещающем меня — в компании примерно двухсот пятидесяти туристов, возвращающихся в родную провинцию из мест обитания северных варваров — из Москвы в Чэнду. В отличие от госхипстеров и британских обывателей с покусениями на шик, мне эти люди нравятся. Они идентичность не ищут. Они довольны жизнью. Они сели в самолет, пообсуждали, обстоятельно подзакусили и потихоньку отваливаются в сон. Они знают, зачем живут. Что же до меня, то я знать этого просто не хочу.

*10 сентября 2018, Чэнду, провинция Сычуань*

В последние года три мне кажется, будто я оказался во втором, *light*, издании берлинских историй Ишервуда. Там метастазы нацизма потихоньку проникают в обычную жизнь, герои сразу и не реагируют должным образом, подумаешь, какие-то идиоты в коричневых рубашках, вечные шуточки про евреев (становятся, впрочем, все грубее), ничего особенного, еще не то в Берлине бывало в 1918-м или 1919-м, даже в 1921-м. А потом — бац! — и они оказываются уже в другой реальности, из которой надо срочно делать ноги, благо ты иностранец. Местным — тем местным, про кого нехорошо шутили, а не тем, кто шутил, — сбежать, как мы знаем, оказалось сложнее, немногим удалось. Так вот, все то же самое чую там и сям, в разных концах мира, где оказываюсь. Ходил сегодня обедать с моим здешним приятелем, санскритологом и специалистом по тибетскому буддизму, он приехал в работать Чэнду из Пекина, милейший и тишайший человек — и поговорить с ним всегда интересно и поучительно. А сегодня, не успев даже прихватить палочками дрожащий кусочек «бабушкиного тофу», он вдруг стал рассуждать о том, как мне, наверное, в Европе тяжело, заели «нас» совсем мусульмане, оккупируют целые кварталы Парижа и Берлина, молятся прямо на улицах, режут баранов и вообще. Все это ужасно и опасность для мира номер один. Я как-то даже закашлялся, услышав такое, — не в смысле, что подобного никогда не слышал, нет, просто от такого собеседника не ожидал. Начал было говорить, мол, все не так, мол, это массовая истерика и проч., но потом понял, что бессмысленно; как сказал бы по данному поводу бог предшествующей буддизму религии: тот, кому суждено в это верить и это говорить, будет в это верить и это говорить. Я перевел все в шутку, шутка не удалась, помолчали и взялись за другую, безопасную тему, про университетские дела. Если это не новые «берлинские истории», то что тогда «берлинские истории»?

Расставшись, по пути домой вспоминал, что нацисты какие-то мандалы искали в Тибете, но не нашли. Хорошо хоть не меч короля Артура.

*11 сентября 2018, Чэнду, провинция Сычуань*

Еще немного про аэропорты — ведь уже меньше чем через месяц опять лететь, опять на другой конец света, теперь уже относительно того конца, где нахожусь сейчас. В музеях и галереях современного искусства эротическое или порнографическое, сколь бы вызывающим ни было, жестко лимитировано, будучи ограниченным в

пространстве отдельных залов или даже выставок. Но за этими пределами — и внутри пределов институций современного искусства — царит спокойная обеззараженная асексуальность. В аэропортах же сама атмосфера пронизана тщательно отфотошопленной сексуальностью, почти непристойной. Толпы и ручейки пассажиров перемещаются под взглядами мастерски замакияженных красоток, которые, кажется, ничего и не рекламируют, а только себя, точнее, тот мир, который включает данных красоток. Ну откуда сразу догадаться, что Кристен Стюарт зазывает тебя на бутылочку «Шанели», а вот эта мышцатая пара в белом исподнем решила имитировать перепихон на фоне океанских скал и голубого неба ради каких-то там кремов/дезодорантов? Но главное, главное, вовсе не то, чем заняты эти прекрасные тела, главное — их лица, глаза. Все они смотрят на тебя. Все они зовут тебя — измученного аэропортовским шмоном, разборками с жульнической авиакомпанией, кошмарным перелетом в Кресле Имени Рассказа Ф. Кафки «В исправительной колонии», голодного, тревожного, потного — войти в благоухание их жизни. Вот она, их идеально пересозданная дизайнером плоть выставлена прямо для тебя, заходи же в этот мир, купи скляночку *Kenzo*, дурашка-ротозей, милый мелкий буржуа, ведь на тебе держится этот мир, на тебе. Спеша по своим делам, ты выкупаешься в прекрасных влажных глазах Кристен Стюарт, мохнатые гусеницы бровей Кары Делевинь проползут по твоим обтянутым потрепанным *North Face*-ом плечам, а долгоногие ангелочки *Victoria Secret* будут преследовать тебя, осененные пернатыми крыльями, будто польские гусары XVII века. Так ты и улетишь на своем *Ryanair*-е в полном убеждении, что покинул, потерял ты не ад, а рай.

И скажите, пожалуйста, разве может сравниться с таким переживанием Прекрасного презренный *contemporary art*?

19 сентября 2018, Чэнду, провинция Сычуань

Оказавшись снова в Чэнду, где относительно недавно провел целый год, вроде бы тут же попал в наезженную колею, хотя кое-что поменялось — скажем, еще больше домов настроили или закрылась веганскаяпельменная у Южных ворот кампуса («пельмени» — слово какое-то грубое, хотя и отражает суть дела; да, то самое, что китайцы изобрели и что потом переняли северные и западные варвары. На мандаринском это звучит «чжаоцзе», как-то так). Чуть было не написал, мол, и с интернетом стало получше, в смысле соединения, но не тут-то было, прямо в эти самые секунды связь прервалась, и мой недремлющий VPN поспешил прощупывать иные протоколы. Так что в Чэнду все как обычно.

И, как обычно, оказавшись здесь, выпадаешь из привычных координат, определяющих тот или иной объект в качестве, скажем, «прекрасного» или «безобразного», — хотя чаще всего просто «никакого». Здесь, в Чэнду, я решительно не понимаю, что *объективно* можно назвать таковым; все зависит от своеволия, прихоти или просто от случайности. К примеру, дом, этажей тридцать, что возвели напротив кампуса за последние несколько месяцев (когда я уезжал, там даже стройплощадки не было), он, в сущности, чудовищный, нелепый и уродский. Весь в каких-то перегородочках, изогнутых на китайский манер. Глядя на него, я почему-то думаю о «казни отрезанием тысячи кусочков». Монструозный — вот. Слово правильное. Но сейчас я смотрю в окно, там тьма, ночь, а по этому дому — согласно нынешнему, ультрамодерному китайскому обычаю — вверх-вниз бегают голубые ручейки света. Здания не видно, видны только ручейки. Это же мило, ах, не так ли? Возникает ощущение, что несмотря на ночь, в этом мире есть движуха, и она — хотя бы из

уважения к просвещенным гуманоидам — мимикрирует под природный, натуральный порядок вещей. Пусть не чистейший ключ бьет из поросшей мхом скалы, а электричество гоняют туда-сюда по пыльным стеклянным (скорее, все-таки, пластиковым) трубкам высотой в сотни метров; и это не скала, воспетая древними китайскими поэтами, а громадина из бетона, в спешке поставленная невидимой рукой девелоперской спекуляции, громадина, судьба которой определена уже сейчас: стоять полупустой несколько лет (квартиры покупают для инвестиций, прежде всего), потом худо-бедно заселят, потом по стенам побегут трещины, начнут течь трубы, отваливаться плитка в ваннах, все как здесь обычно, после чего придет другой девелопер, лет через 10—15, и безжалостно обрушит нашу искусственную скалу, чтобы на ее месте построить новую, еще выше.

Все так, но к «красоте» в данном конкретном случае этот социально-экономический сюжет отношения не имеет. «А почему? — спросите вы. — Ведь эстетическое есть концентрация социально-экономических отношений, цайтгайста и всего прочего, не так ли?» Верно. Но я-то тут чужой и ничего не понимаю, потому у меня домыслы социально-экономического свойства отдельно, а образы «прекрасного» отдельно. Вот такая история приключается с европейцем, оказавшимся в Китае.

Итак, я все ищу здесь чистое прекрасное, не потому что эстет, а потому что всякая иная концепция Красоты для меня здесь закрыта. По сути, я и есть тот самый древний китайский поэт, который видит «просто реку» или «просто дерево», или «просто гору» безо всякого там марксизма или экзистенциализма со структуриализмом. Можно тут же обвинить меня в намеренном вранье, ибо какой-нибудь Ду Фу или Ли Бо, как и прочие почтенные древние поэты, ничего «просто так» не видели и — особенно — не говорили, а использовали жестко определенную систему образов и слов, шаг вправо, шаг влево — расстрел из луков императорской гвардии. Согласен. Но идея той самой традиции, в рамках которой трудились названные и не названные выше поэты, она же исходила из того, что природные объекты, наблюдаемые стихотворцем, в одиночестве осушившим не одну чашу рисового вина в павильоне у реки, есть аллегории (нет, слово тут не очень подходит, оно западное, ну как в китайском контексте отличить аллессию от символа, скажем?), так вот, они все есть знаки. Знаки незыблемого порядка вещей, который поэт должен знать и изображать, используя определенный запас каллиграфических знаков. Но знаки же, помимо того, что они «знаки чего-то», они и сами по себе являются отдельными вещами. Просто вещами. В китайском — просто иероглифами. В моем случае — тоже своего рода иероглифами, но непостижимого значения. А ведь иероглифы очень красивы на наш, европейский взгляд, не так ли? Вот я и пытаюсь найти те, что совершеннее других. (Здесь я оказываюсь в опасной близости от «Империи знаков» Ролана Барта, так что умствования прекращаю.)

Вообще-то мне кажется, я такой объект нашел, визуально-совершенный, причем практическое применение его мне очевидно, но все же, он остается загадочным. В первый раз я столкнулся с ним, думаю, 24 или 25 февраля 2017 года, через несколько дней после того, как прилетел в первый раз в Чэнду. Несколько дней ушло на основательный — и, как выяснилось, предварительный — этап китайских попыток в неотопливаемых бюрократических коридорах; боясь окончательно потерять рассудок, я попросил помогающую мне местную аспирантку вывести заморского профессора куда-нибудь прочь, за пределы кампуса, лучше в парк. За углом он и был, тот самый парк Ваньцзянлоу, позже ставший настоящим моим убежищем, приютом и лучшим в этой части мира местом отдохновения. Мы зашли в него через платный вход, что

ведет в мемориальную часть, посвященную древней поэтессе Сюэ Тао, погуляли по прекрасным бамбуковым аллеям, заглянули в несколько выполненных в старом китайском духе павильонов (на самом деле, все, конечно, относительно — и просто — новое, от первого столетия правления маньчжурской династии Цин до сегодняшнего дня), после чего через круглое отверстие в грязно-розовой стене с грязно-серой, похожей на доспехи воинов императора Цинь Шихуанди, черепицей проникли в большую часть парка, бесплатную, народную. Там я и увидел ее.

Как назвать этот предмет? Двухколесная тачка? Хозяйственная двуколка, запрягаемая человеком? Ну, не «запрягаемая», конечно, а «приводимая в движение». В любом случае, это была любовь с первого взгляда, заполнившая собой немалую часть приложения *Photos* моего макбука. По сути, это жестяное корытце со срезанными вниз короткими поперечными сторонами, так что перед двуколки смахивает на носовую часть авианосца или десантного корабля; корытце поставлено на ось с двумя колесами, чаще вариантами велосипедных, но иногда почти тележными, напоминающими что-то деревенское из русской классики XIX века. Но все же, большинство колес как раз выглядят легко и элегантно, с двойным набором лучиков-спиц, центробегущих к ободу. К корытцу сзади приделаны две длинные ручки, с загибом на конце, чтобы было удобнее толкать вперед. На корытце чаще всего можно наблюдать прекрасную большую плетеную корзину, объемистую, легкую и основательную одновременно. Обычно она набита мусором, но преимущественно не человеческим, а природным — листьями, лоскутами бамбуковой коры и проч. Самые совершенные натюрморты данного вида довершают пушистые метлы, иногда — в паре с загнувшимися граблями, но не тупого советского образца, что я помню с детства, а такими, будто кто-то вытянул тонкую железную руку, чтобы что-нибудь этакое злодейски расцарапать, но забыл, так оно все и осталось. Иногда имеются дополнительные детали: густые пластиковые оранжевые щетки на длинной деревянной ручке, вместительные жестяные совки и проч. — но нечасто. Самое удивительное, что данные штуки («двуколки дворников»? «мусороуборочные тачки»? это и не назвать никак прямо: вот он — идеальный объект Прекрасного!) обычно встречаются в аллеях парков и скверов в полном одиночестве, дворники запропастились, оставив набор своих орудий труда на радость охочим до возвышенного гостям страны.

Да, это действительно идеальные объекты Прекрасного, в них все совершенно, ни прибавить, ни убавить. Заметим, что как только дело доходит до него, Прекрасного, люди совершенно не нужны. Собственно, их здесь и нет. Я бы сравнил эти двуколки с лучшим жанром старого европейского искусства — натюрмортом, причем натюрмортом фламандским, XVII века. Там же не только цветы, там ягоды, там букашки, там бабочки и гусеницы, там лимоны с почти снятой кожурой, желтым штопором уходящей вбок, там устрицы, бокалы то ли полупустые, то ли полуполные, там трубки с пеплом в крохотных чашечках, там книги, черепа, музыкальные инструменты — в общем, самое лучшее и самое главное, что могла/может предложить жизнь. И все это говорило лишь одно (ибо аллегория): жизнь конечна. Суета сует. Успокоимся же на том и примемся ожидать деятельную безносую тетеньку с косой благожелательно, неторопливо, без резких движений: набьем опять трубочку, подольем пива или белого винца в зеленоватые бокалы, понюхаем начинающую увядать розу, возьмем аккорд-другой на лютне. Ну и почитаем, конечно, всласть напоследок. Это в Европе. А здесь столь же Прекрасное, но в другой стадии того же процесса. Все вот это наше ожидание кончилось как раз тем, чего мы ожидали. Бренные остатки жизни лежат на дорожках бамбуковой корой и сухими листьями. Жизнь, так сказать,

высохла и опала. И вот на сцене появляется деятельная тетенька в оранжевом спецжилете, но не с косой, а с хвостатой метлой, толкая перед собой двучолку. Все смела, вымела, мусор уложила в корзинку и отправилась передохнуть. Двучолка же — само совершенство — стоит нам, еще прогуливающимся по аллеям парка Ваньцзянлоу, в назидание, как уже не аллегория, а знак, иероглиф.

Смерть выметает нас.

Не знаю, не подводит ли меня память, но подобное озарение переживал ровно 17 лет назад на Гласневинском кладбище в Дублине. Но там другое, там, скорее, литературное, все-таки похороны Падди Дигнама даром не прошли.

*25 сентября 2018, Чэнду, провинция Сычуань*

Все-таки раньше я никогда не жил в окружении трущоб. Да, на Автозаводе в Горьком, там были новостройки, старые или относительно свеженькие, многие в ужасном состоянии, но хаос, что глухо набухал внутри панельных стен, редко проникал наружу. То есть так: он проникал, конечно, были воняющие мочой лифты, выломанные перила, разбитые стекла и проч., но общая, пусть отвлеченная, идея пристойности, даже приличия, порядка — кстати, присущая пролетариату, профессиональным рабочим в большей степени, нежели мелким буржуа — не давала довести эти районы до состояния трущоб. Они остановились на полпути, в данной точке деградации, пару десятилетий были чем-то средним между приличным жильем и совсем уже бидонвилем, а потом даже стали выкарабкиваться, но не назад к полной пристойности, ибо ее уже быть не могло — ведь то была пристойность советского образца. Нет, жизнь в таких местах двинулась в сторону — новой, постсоветской, пестренькой, пластиковой пристойности, но, все же, живой, устаканившейся в эстетическом разрешении, достаточном для мелких лавочников и средней руки ментов. Плюс — я говорю уже только о местах Автозавода, где когда-то обитал (причем целых 36 лет) — нынче население там сильно состарилось, это уже не пролетарский район, а общежитие для вышедших на заслуженный отдых ударников труда. А такие обычно не ссут в лифтах, не бьют стекла и не отрывают деревянные плашки от лестничных перил, чтобы вдарить по морде несколько зазнавшемуся собутыльнику. В общем, здесь эстетика стопроцентно воплощает социокультурные и социопсихологические обстоятельства жизни. Она уместна и — в каком-то смысле — она прекрасна. Знаю, немногие со мной согласятся. Ну что поделать.

Трущоба же — другое. Это страшный медлительный социальный хаос, многолетний, тяжкий на подъем, явленный нам в своей монотонной дискретности, грязи, пестром однообразии. Трущоба — это когда чужая неаппетитная жизнь перед нами и всем на это наплевать: и тем, кого видно, и тем, кому видно. Особенно, если учесть, что первые и вторые взаимозаменяемы. Тошноту и инстинктивное отвращение вызывает не бедность бедняков. В этой части мира бедняки, увы, чаще всего просто фактом своего существования обречены на бедность; да и разве я, чужак, прогуливающийся по чэндусскому университетскому кампусу, в котором отчего-то живут не только студенты, но и пара сотен тысяч людей, неведомо как оказавшихся внутри мощных стен, разве я могу похвастаться каким-то там богатством? Нет, конечно. Я такой же бедняк, только мне немного повезло. Чудовищно то, что все это считается нормой и никто это не пытается не то чтобы изменить, улучшить и прочее, нет, никто не пытается даже немного хотя бы внешне привести в порядок. Адов круг бедности и нищеты состоит из трущоб.

Когда-то трущобы считались живописными. Не все, конечно; свои — обычно нет. Но вот чужие, особенно там, на юге, в Италии или Испании, не говоря уже о Ближнем Востоке — о да! Сколько тысяч картин — об этом, о прекрасной бедности прекрасных загорелых людей, которые даже в лохмотьях выглядят несравнимо лучше нас, рыхлых, бледных, скучно хорошо одетых северян. И, конечно, решающую роль сыграло в этом белье. Да, то самое, что после стирки вывешивали на веревках сушиться — за окнами, во дворах или даже через улицу, сверху, на радость туристам. Вряд ли оно было идеально-чистым; застиранные простыни и замызганные портки/рубашки, вряд ли. Но разве это важно для романтически настроенного художника, который никогда не примеривает чужую социальную ситуацию на себя? Психологическую — сколько угодно! Ах, я страдаю, как и они! Ух, они влюбляются, как я, даже энергичнее, со средиземноморским огоньком! Но никакой, даже самый нищий английский, французский или русский художник никогда — еще раз, никогда!!! — не испытывал самой простой солидарности, помимо антропологической, данной нам, людям — социальной.

Оттого я не люблю трущобы. Впрочем, еще и потому, что не люблю людей. Трущобы перенаселены. Зато я люблю руины. Они пустынные.

*Ночь на 5 октября 2018, Чэнду, провинция Сычуань*

Кажется, целую неделю не мог заставить себя уйти подальше от кампуса. Либо дома сидел, либо бродил внутри стен *Wangjiang* и вокруг. Так можно и окуклиться со своими западными и русскими делами — в компьютере, в книжках, в мыслях. Это нехорошо. Отправился вчера в центр, на площадь Тяньфу, смотреть, как китайский народ празднует 69-ю годовщину образования Китайской Народной Республики. На самом деле, четвертый день празднует, вся неделя нерабочая, мой район опустел совсем, зато в центре — толпы. Но вот что удивительно. Вроде буквы не понимаю, речи не разбираю, но общий дух народного массового гуляния/променада вполне ухватил и опознал. Он тот же, собственно, везде, где я когда-либо бывал; с поправкой на национально-культурные особенности, конечно. Скажем, здесь на улицах нет алкоголя — он запрятан в бары и рестораны, он функционирует здесь совсем по-иному, нежели я привык; на самом деле, его как бы и нет, не считая специально отведенных мест. Отсюда ощущение, что китайский праздник — детский; народ ходит, беззаботный и веселый, жует сладости на палочках, что тут же продают торговцы (вот еще интересно: никаких специальных прилавков со снедью и фестивалей еды, как в Европе; но это понятно, всякой снеди здесь на улице и так больше, чем нужно), размахивают национальными флагами, но таких тоже довольно детских размеров, маются от внезапно возникшего свободного времени, обязательного ничегонеделания. Тоже ведь детское — когда младшеклассников выводят в музей или на экскурсию они, вдруг выброшенные из школьной рутины по расписанию, теряются, начинают как-то странно и непривычно себя вести; Впрочем, на самом деле, просто веселая суета, в сущности, послушных особей. Конечно, на все это наложена политическая рамка — именно политическая, а не идеологическая, ибо какая сейчас тут идеология? Она, рамка, довольно простая и понятная — настойчиво рекомендуют скромно радоваться жизни и не рыпаться.

В праздничные дни политическая рамка явлена эстетически; точнее, она сама собой складывается эстетически — комбинация флагов и транспарантов, новейших небоскребов, настешь открытых торговых центров, статуй Великого Кормчего, разноцветных толп (после монохромных френчиков маоизма китайцы оторвались по

полной; мало кто может сейчас сравниться с ними по части пестроты одежд), полицейских, опирающихся на свои длинные резиновые палки, будто римские легионеры с картин раннего Ренессанса облакачиваются на свои копья у подножья Креста Господня, велосипедов зеленых, велосипедов желтых, велосипедов красных, плюс, конечно, явно построенные стархитекторами общественные здания, ультрамодерные — Музей истории, Музей изобразительного искусства. В первый я хотел зайти, раньше и не был никогда, но там длинная очередь снаружи, на час-полтора — и это при том, что специальных выставок в музее, судя по всему, нет — я изучил афишу, только постоянная экспозиция, которую можно увидеть в любой непраздничный день в почти полном одиночестве. Ок. Как-нибудь потом, если «потом» будет. Пришлось идти смотреть искусство, хотя я тот музей посещал полтора года назад и внимательно все изучил. В этот раз там были новые выставки, но понять, что именно выставлено, невозможно: по-прежнему ни слова ни на одном языке, кроме китайского. Сопоставив даты на объяснялках в разных залах — ну и присмотревшись к вывешенному там арту, — я понял, что в одном зале представлено поколение условных «тридцатилетних», а в другом — условных «пятидесятилетних». Любопытно, что, по большей части, палитра у них одна и та же, преимущественно черно-белая — я говорю, конечно, о настоящих художниках, они тут модернисты (постмодернистов почти не заметно); но вот уже на втором этаже, там как висел дешевый кич, типа того что можно купить на Арбате или Карловом мосту, так и висит. Это, наверное, местные реалисты.

Да, а на первом этаже попадаете интересное; вот влияние Кати Кольвиц (графика с нехилым закосом под экспрессионизм), иногда натыкаешься на поп-арт, правда какой-то совсем не радостный, и, конечно, фотореализм, здесь его, кажется, любят. Одна вещь мне ужасно понравилась: на сероватой поверхности еще более серый обрывок или кусок рисовой бумаги, а то и тряпка, быть может, на ней — слегка более серый «Капитал» Маркса, в двух томах, китайское издание. Верхний том чуть-чуть повернут, нижний — совсем темный, будто колодец. Именно: похоже на Колодец Истины с приоткрытой крышкой. Довольно мрачно. Но ведь Истина и должна быть не шибко веселой, не так ли? Пытался сфотографировать картину на память, но мешали блики на стекле, да и люди тоже, они всегда мешают. Сажу сейчас дома, разбираю в айфоне визуальные свидетельства путешествия в сердце китайского праздника и вот обнаружил, что на снимке картины с «Капиталом» сам фотографирующий стал частью арт-объекта. М.б. так оно и задумано? Типа каждый может увидеть свое отражение в марксовой мудрости.

*5 октября 2018 (уже днем), Чэнду, провинция Сычуань*

Нет, наврал насчет алкоголя, который совсем скрыт от взора прохожего. Если вечером, часов в десять-одиннадцать прогуливаться не по большим улицам, а по маленьким параллельным, или заглядывать во дворы, в пещерки и щели внутри домов, где гнездятся дешевые едальни и лавки, то взгляд натывается на продавцов, поваров, просто локальных людей, которые после долгого рабочего дня сели подкрепиться по-настоящему. Обычно на улице, вместо стола — ящик или табуретка, на нем — тазик или большая кастрюля с темно-бордовой гжучей горячей жидкостью, оттуда, будто на старинной гравюре о похождениях ландскнехтов-наемников, торчит лес деревянных пик, на пики нанизаны кусочки мяса, овощей, тофу, дырчатых ломтиков корня лотоса, но их не видно, они утоплены в бордовое, насыщаются палящим жиром, усталые китайцы вытаскивают их на электрический свет божий из таза/кастрюли,

счищают кусочки в индивидуальные миски, полные риса, прихватывают палочками и отправляют в рот, посылая вдогонку несколько рисовых комочков, быстро, деловито, не прекращая громкого разговора, у некоторых на ящике/табуретке стоит бутылка дешевого байцзю и маленькие стаканчики. Это, конечно, старая фламандская бытовуха в чистом виде, Брауэр или Тенирс. Собственно говоря, что может быть прекраснее.

*7 октября 2018, Чэнду, провинция Сычуань*

На самом деле, не только Брауэр или Тенирс, конечно. Вчера вечером прощально гулял по Чэнду, разглядывал харчующихся работяг, так вот, там еще и Латур, и Караваджо, наверное. Свет. Свет исходит из отверстий в доме, пещер, из пустот, забитых, несмотря на этимологию последнего из использованных мною здесь существительных множественного числа, всякой всячиной, либо дешевыми товарами, либо там прилавков и столы-стулья для посетителей, которых уже нет, ибо все, поздний вечер, закрыто. А на улице темно. Вкушающие сидят на улице на своих пластиковых стульях или ящиках, освещенные светом, довольно ярким, сбоку или сзади, части их лиц, их руки выборочно — и довольно драматично — выхвачены этим светом, что придает мирной бытовой сценке несколько зловещий характер. Я уже не говорю про разноцветные грошовые рекламы, которыми увешаны эти улицы; они в ровную палитру латуровско/караваджевского драматизма добавляют немного современности, что-то такое из триллеров про Грязного Гарри, где хмурый Клинт Иствуд преследует маньяка в пустом парке с аттракционами, при таком же мигании дешевой иллюминации.

Так вот и ходил вчера, поглядывая, как бегущая строка над сомнительного свойства гостиницей (24/7, сдаем на час тоже) переливается в жирной жиже сычуаньского горшочка-самовара. Да-да, бессмертный чеховский осколок бутылочного стекла на пристани.

*8 октября 2018, Чэнду—Сан-Франциско—Денвер—Демойн*

У неолиберального капитализма эпохи транснациональных корпораций, нынче спустившего с короткого поводка злобных шавок национализма, иногда случаются факапы. И порою нам, обычным людям, перепадет странное. Колледж, позвавший меня прочесть лекцию-другую в Америке, купил авиабилеты удивительного свойства; как выяснилось, из Чэнду в штат Айова бизнес-классом перемещаться дешевле, нежели в экономическом. По крайней мере, в данный день дешевле. Так сошлись звезды на американском флаге, высветив мне, странствующему историку по неказенной надобности, дорожку сначала в *First Class Lounge* аэропорта города Чэнду, а потом в покойное кресло большущего Боинга, кресла, вокруг которого суетятся сильно немолодые американки в униформе, предлагая мистеру Кобрину и то, и это, а мистер Кобрин в глухом отказе, ибо, во-первых, с утра не пьет и, во-вторых, веган, причем веган, не прорвавшийся сквозь недружелюбный интерфейс *United Airlines* на предмет заказать в полет *special meal*. Вот мистер Кобрин и страдает, несмотря на нахождение в покойном кресле бизнес-класса. За всё в мире транснациональных корпораций и злобных шавок национализма надо платить, даже за факапы оных.

Зато можно вытянуть ноги и почитать кое-что из текстовых погребов *Instapaper* на айпэде. Отличная вещь: складировать туда интересное, на что наткнулся в сети, а потом, скажем, в самолете, оффлайново перебираешь. Пока сидел в Чэнду, от страха, что Великая стена вот-вот стянет удавку на шее моего отважного *VPN*, нормальный интернет кончится и мне, в конце концов, будет *нечего читать*, кроме книг о Шолохове и американских баптистских Библий 1930-х из университетской библиотеки,



я прилежно набивал закрома *Instapaper* всяческой всячиной. *VPN* выстоял, читалось в этот раз в Чэнду лениво, даже две трети содержания Киндла остались не открытыми, но сейчас, в покойном кресле первого класса любопытно изучать текстовое воплощение собственных китайских страхов и надежд на свой интеллектуальный ренессанс в период жизни, когда уже вроде пора приступать к упадку. Вот несколько свежих статей про моду на брутализм. Вот интервью с композитором Невским о Гайдне. Вот арт-критик пишет о шорт-листе премии Тернера (хвалит сильно, уже знаю за что; читать не буду). Вот легкий, веселый и жутковатый, как обычно, отчет Элиота Вейнбергера о новейшей американской жизни — для *London Review of Books* (истории из жизни трампоидов заканчиваются сюжетом о нашествии «сверхагрессивных зеленых канадских крабов» на штат Мэйн — они начисто сжирают все на своем пути, местные ракушки, полезные водоросли, американских зеленых крабов и даже лобстеров, на них пришельцы нападают группами). А вот уж не помню откуда взявшаяся статья британского переводчика Фуко о том, как тот в конце семидесятых — начале восьмидесятых ставил под вопрос государственный суверенитет, в случаях, если речь идет о спасении людей, беженцах, гуманитарных катастрофах. Фуко использует понятие «солидарность» для обоснования подобного вмешательства во внутренние дела государств, и он прав. Без антропологической солидарности в мире будут править злобные шакалы (см. выше). Помню лет тридцать пять назад я читал «Игру в классики» Кортасара; герои романа все время загадочную «солидарность» то ли ищут, то ли пытаются дать ей определение, и я, юный советский болван, все никак не мог понять: что это? зачем? Сейчас понимаю.

Но в настоящее неистовство меня привела статья некоего Джорджа Кафки (*sic!*) на сайте *failedarchitecture.com*. Не сама статья, она вполне обычная, немного ученическая, но не хуже того — нет, сюжеты, о которых Кафка пишет. Первый — история знаменитого жилого комплекса *Robin Hood Gardens* в Лондоне, памятника эры брутализма и госпрограмм социального жилья. Как многие другие такие штуки, он производил на меня сильное впечатление — агрессивный модернизм, к которому не сразу привыкаешь, а привыкнув, не устаешь восхищаться. Так у меня было с Барбиканом, с Брансвиком, с Парк-Хиллом, много с чем еще. Мне даже обычные лондонские многоэтажки, населенные беднотой, нравятся; среди них, если присмотреться, нет одинаковых, всегда найдется одна-другая особенная деталь. В общем, Сады Робин Гуда сломали, несмотря на протесты, негодование, на модную сегодня одержимость брутализмом. Будет там что-то девелоперское. Но ведь это наше наследие, ах! — вскричала прогрессивная арт- и музейная общественность, и вот уже два квартирных блока *Robin Hood Gardens* избегают общей судьбы комплекса, их буквально выпиливают из подлежащего сносу здания и доставляют не куда-нибудь, а в Музей Виктории и Альберта. Надлежит им стать экспонатом, паре квартир, где жили либо безработные, либо — согласно некогда введенным лейбористами квотам — медсестры и молодые учителя. Простые люди вознесены к социальным вершинам, как прекрасно! Но только уже после того, как дом их разрушили, а самих простых людей наверняка сунули в какую-нибудь дыру — времена в Британии сейчас другие, тяжелые, не до скромных бедняков, брекзит занимает мысли отцов и матерей нации. Но это же неважно, не так ли? Главное, что теперь память о жилплощади простого человека бродит призраком по залам и коридорам, осененным именами королевы Виктории и принца Альберта. Воистину, народная монархия. Кстати, выпиленные из *Robin Hood Gardens* квартирки даже в Венецию на архитектурную бьеннале возили.

Дальше Джордж Кафка рассказывает еще о двух случаях музеефикации; сначала — о переезде Музея Лондона в огромное помещение закрытого недавно Смитфилдского рынка. Раньше через его пустые торговые ряды, обозначенные изящными светло-зелеными литыми чугунными колоннами, можно было срезать дорогу, если идти из Сити в Холборн или Кларкенвелл, но я делал это редко, место навсегда провоняло кровью животных — ведь центральные ряды занимали мясники. Я не застал Смитфилдс работающим, но еще пару лет назад, прогуливаясь в сторону Барбикана и волнистого модернистского дома, где обитал Пуаро, живо воображал себе, что и как тут было раньше; память услужливо подкидывала картинки из кино: из «Иступления» Хичкока и холмсианы с Джереми Бреттом, серия про голубой карбункул. Да, а сейчас там будет музей того, что там было.

Наконец, Дж. Кафка переходит к третьей истории, о белотрубной электростанции Баттерси, знакомой каждому, кто имел то ли удовольствие, то ли несчастье быть поклонником группы *Pink Floyd*; как известно, на обложке *Animals* к трубам привязаны надувные персонажи песен этого альбома. Баттерси — символ британского индустриализма и модернизма, воплощение местного варианта модерности. Таких зданий в Лондоне несколько; одно из них, через реку от Собора Св. Павла, тоже электростанцию, почти двадцать лет тому превратили в *Tate Modern*. Нынче времена другие, потому вокруг перестроенной ТЭЦ будет миллионерский жилой квартал, американское посольство (посольство уже построили и открыли; твиттерист Доналд осерчал на что-то, взбрыкнул копытцами и перерезать ленточку отказался) и, конечно же, лондонская штаб-квартира *Apple*. Инвесторы всей затеи то ли малайзийские, то ли еще какие из тех же краев. С Британией в данном случае все понятно — с ее модерностью, с ее индустриализмом, с ее былыми претензиями (в прошлом нередко оправданными, кстати). Но что загадочно, так это отсутствие мозга у «креативного среднего класса», подвизающегося в рекламе и пиаре. На сайте девелопера читаем: «Battersea Power Station is solid history. This giant at the river's edge encapsulates an era: a time of grand vision and vigorous industry. Once, this might have made it simply a monument. Not now. Today the Power Station is back at the epicentre of the capital's commercial and cultural life. Its future looks set to eclipse even its own majestic past. And you are invited to be a part of it»<sup>1</sup>. Вот в этой точке я пришел в неистовство. Эти херовы толстосумы имеют наглость звать меня в свое будущее, мол, давай, присоединяйся, милоч, подкинь нам пару миллиончиков!

Неолиберализм нагл, восторжен и туп. Его визуальные репрезентации — архитектура, арт-рынок — взошли на кокаине, как на дрожжах. Могильщик нынешнего капитализма — тот, кто учтив, спокоен и умен, тот, кто может позволить себе лишь стаканчик-другой в дешевой распивочной. Победа будет за нами.

---

<sup>1</sup>У электростанции Баттерси — веская история. Этот гигант на краю реки воплощает эпоху, времена великих замыслов и могучей индустрии. Однажды все это могло превратить Баттерси в памятник. Но не сейчас. Сегодня Электростанция возвращается в эпицентр коммерческой и культурной жизни столицы. Ее будущее, судя по всему, затмит ее собственное величественное прошлое. И вас приглашают принять участие в этом будущем».

### P.S. Шанс мыслить по-другому

Александр Пятигорский в последние годы жизни много думал о возможности создания «не-антропоцентричной» философии. Речь шла не о философии, предметом которой было бы все, кроме человека. Нет, Пятигорский имел в виду другое — что сам человек не является привилегированным местом, откуда мышление происходит, не является *местом мышления*.

Нет идеи более странной — и более привлекательной. По крайней мере, так представляется сегодня. Конечно, речь идет не о религиозной философии, не о монотеистической религии, где источником всего, в том числе и мышления, является Бог. Бог мыслит — и благодаря этому мыслим мы. Бог наделил свои создания сознанием — и мы, думая, возносим ему, тем самым, хвалу. «Не-антропоцентричная» философия имеет в виду совсем другое, по крайней мере, та, которую пытался создать Пятигорский. В ней предполагалось, что есть некое место мышления, которое не является равно ни Богом, ни человеком; это точка (или пространство), попадая куда, мы начинаем мыслить. Идея одновременно характерная для некоторых школ буддизма, с их идеей неидентифицируемого сознания, которое мыслит мир как Пустоту — и, одновременно, вполне западная, в русле философской феноменологии.

«Что за абсурд! — воскликнет читатель. — Если мыслит и не человек, и даже не Бог, так кто?» В том-то и дело, что «кто» здесь совсем не требуется. Люди отдельно, мышление отдельно. Иногда они совпадают, иногда нет. Конечно, я не говорю о «потоке сознания», как бы реконструированном Джойсом в «Улиссе». Там именно *поток*, в котором сознание утонуло, оно несется вместе с течением жизни и психических реакций человека на жизнь. Но даже в этом романе, уже под конец, начинаешь подозревать, что внутренний монолог (переходящий в диалог и даже в травестийную пьесу со многими героями) Леопольда Блума существует помимо него. Блум отдельно, поток его сознания — отдельно. И уж тем более это верно, когда мы говорим о реальном сознании, которое не «реагирует на что-то», а «мыслит», о сознании с его собственной «повесткой».

Итак, точка или зона, или даже пространство сознания, попадая в которое мы начинаем мыслить. Если выйти из кабинета философа, то мы попадем под непреодолимое обаяние метафоры. Эта метафора — о том, что есть такое место (или места), попав в которое мы освобождаемся от надоедливой себя, как *human beings*, и действительно оказываемся в мире, задуманном и существовавшем без нас. Точнее так: *до нас* и — уже после появления человека — *без нас*. Вопрос не в том, мыслили ли динозавры и давно превратившиеся в прах или в нефть растения, вопрос в том, можно ли вообще это помыслить? И можно ли помыслить наш нынешний мир — но не с точки зрения нас? Не с точки зрения идиотского, себялюбивого, нарциссического, жесткого, подлого и тупого племени людей?

Люди с какого-то момента стали пытаться изображать мир без себя, прежде всего, в живописи. Как известно, были (и есть) пейзажи, на которых изображены следы присутствия человека — и есть пейзажи, на которых, вроде бы, этих следов нет. Но дело в том, что по сути эти два подхода к изображению мира вовсе не отличаются друг от друга, как это кажется поначалу. Просто на одних картинах человек визуально присутствует продуктами и результатами своей деятельности, а на других он *присутствует своим отсутствием*, которое призвано впечатлять зрителя не тем, что на изображении *есть*, а тем, чего там *нет*. Более того, сама идея нарисовать место, где отсутствует

человек, — она слишком человеческая. И даже не потому, что картина нарисована человеком для людей, что она материально представляет собой комбинацию сделанного одними людьми холста с произведенными другими людьми красками, в обрамлении рамы, которую смастерила еще одна группа человеческих созданий. Сама идея изобразить место, где отсутствуют «такие, как я», предполагает присутствие этого «я».

Так что же, Пятигорский был неправ и «не-антропоцентричное» сознание и мышление невозможны? Ведь искусство представляет собой одну из разновидностей мышления, один из видов — если не самый главный, на самом деле, — сознания. Значит ли все это, что мы обречены быть рабами себя, своих границ, своих страстей, своего мелочного антропо-эгоизма? Что мы и дальше будем болтать о величии Природы, скрывая за этим незатейливую идею: пока мы не назовем Природу «великой» и не осчастливим ее заглавной буквой, она как бы и не существует? Наконец, что мы и дальше, под шумок всех этих разговоров, будем ту самую великую Природу эксплуатировать, грабить, принуждать, держать в рабстве у себя — то есть, у ее же ничтожнейших созданий?

Ответ на это сложен, почти невозможен. Это примерно как представить себе, как будет выглядеть мир, в котором нас (конкретного меня, Джона Смита, Улдиса Райниса, Ивана Иванова) нет. Мир до лично моего рождения и после лично моей смерти. Конечно, в нашем распоряжении рассказы родителей и старших друзей, есть фото- и видеодокументация, есть письма. Ну и существует же такая вещь, как *common sense*, она подскажет, что ничего из ряда вон выходящего до момента лично моего появления на свет не происходило — как и не произойдет после того, как лично я этот свет покину. Иными словами: объективно мы — чисто теоретически — можем себе представить такое; но практически это очень сложно, почти невозможно. Только две вещи позволяют хотя бы приблизиться к такому понимаю (религии в расчет не беру): философия и искусство. О философии мы уже поговорили, пришло время сказать пару слов о таком искусстве, которое могло бы художественно помыслить мир без меня, тебя, без нас.

Думаю, подобное искусство возможно — хотя бы как идея, как идеал. Эта возможность заключена в самой природе художественного мышления. Если это действительно «мышление», а не автоматическое воспроизведение ремесленных навыков, искусство — да простит мне читатель очевидную банальность — представляет собой непохожего двойника философии. Суть их одна и та же: не познание, конечно, упаси боже, нет, а попытка догадаться о том мире, в котором мы существуем (или, если верить буддистам и кое-кому еще, не существуем). Вот есть мир, а вот есть мысль о мире — философская или художественная, в данном случае, неважно. Эта мысль порождается сознанием, сознание это — определенного типа. Это сознание существует в каком-то месте, в какой-то точке. Попробуем поместить эту точку за пределами нас.

Что все это значит для искусства? Первый, очевидный вариант: представить себя, мыслящего, кем-то или чем-то, кроме себя самого. Птицей, рыбой, растением, камнем. Точнее, начать художественно мыслить из точки, называемой «птицей», скажем, и так далее. Идея заманчивая — и даже, наверное, продуктивная, в каком-то смысле, но она не даст нам принципиально нового мышления, принципиально нового искусства. Ведь художник будет только прикидываться булыжником или пальмой, но на самом деле он будет оставаться собой. Во всем этом есть какое-то наивное лицемерие — примерно, как Лев Толстой вообразил себя старой клячей, сочиняя «Холстомера». У него ведь не животное рассказывает о своей жизни в рабстве у людей, это писатель, для убедительности накинув на плечи шкуру убитой лошади, повествует

о несправедливом мире «нас», людей. Лошадь использована здесь только как прием, животное опять оказалось в рабстве у человека. Кроме человека, в мире опять ничего нет.

Но есть и другой вариант. Не прикидываться ни животным, ни растением. Но увидеть мир, как совокупность отдельных вещей, отдельных феноменов, которые существуют сами по себе, вне какой-либо связи между собой. Вот феномен «человек». Вот феномен «камень». Вот феномен «лошадь». Все они находятся в одном пространстве. И это пространство есть пространство нашего мышления. Здесь мы возвращаемся к началу, к идее Пятигорского о возможности «не-антропоцентричной» философии. Она ведь не предполагает, что человека вообще нет. Она предполагает, что человек не является ни единственным, ни главным в точке или месте мышления. Что человек — один из многих. Эта мысль кажется мне очень важной — если не для философов (честно говоря, я ничего про них не понимаю), то для художников, для искусства как такового. Тут открывается огромная возможность — создавать художественный мир, который не «выражает что-то» (а выражает он всегда одно и то же — человека, его дела, эмоции, мысли), а просто *существует*. Мир есть здесь и сейчас, а в мире есть разные отдельные феномены, от камней до людей, от животных до мобильных телефонов. Феномены эти связаны только одним способом — своим существованием, не более того. Никаких иерархий и генеалогий, вроде: этот сделал это, тот породил то, оттого данный феномен выше или важнее другого. Наоборот, все равны, ибо находятся на горизонтальной плоскости. Только в таком пространстве человек перестает быть источником и мерой всех вещей. Более того, в идеале такое пространство, созданное искусством, может стать пространством нового философского мышления. У искусства появляется шанс обыграть философию на ее же поле.

Научиться такому невозможно, можно только догадаться. Догадка нередко приходит в результате смены привычного окружения, ритуалов, рутины, в результате «слома автоматизма», как сказал бы Виктор Шкловский. В этом смысле художникам очень полезно бывать в самых неподходящих, вроде бы, для себя местах — ну, хотя бы, посетить брошенное здание какого-нибудь естественнонаучного факультета университета. Научное знание строится на иерархии, наверху которой находится человек, вооруженный микроскопом. У художника есть шанс превратить вертикаль в горизонталь, поместить рядом биолога, его микроскоп и растение, которое тот разглядывает. В таком пространстве уже есть шанс начать мыслить.

*Александр Люсый, Чжоу Лу*

## Сам себе китаист: исследовательское шоу

*Путь к «китайскому тексту» русской культуры  
с точки зрения внутреннего и внешнего диалога*

Значительный канон китайских образов на русском языке создавался в результате китайско-русского культурного взаимодействия несколько веков и не мог не сложиться, пользуясь современной терминологией гуманитарных наук, в «китайский текст». В текст, понимаемый как свертхтекст литературы и культуры в целом, имеющий определенную внутреннюю структуру и связанный с множеством других текстов и иных культурных феноменов.

### *К удивлению зрящих*

Первым реальным посредником (*медиатором*) во взаимодействии Руси и Китая в XIII веке стали монголы, под власть которых обе страны попали почти одновременно. В китайских источниках XIV века есть упоминания «русского полка», вероятно, сформированного из угнанных жителей Руси, а китайские военно-технологические (осадные) ноу-хау того времени монголы использовали при штурме русских городов.

Собственно в тексте русских источников Китай впервые упоминается в XV веке во включенной в состав Второй Софийской летописи под 6903 г. (1394 или 1395 г. по сентябрьскому летосчислению либо 1395/1396 г. по мартовскому) «Повести о Темир-Аксаке» (т.е. о Тимуре Тамерлане) в контексте перечисления покоренных Тимуром территорий: «А се имена темъ землямъ и царствомъ, еже бе поплннилъ Темиръ Аксакъ: Чагодай, Хосураний, Голустаний, Китай, Синяя Орда...»<sup>1</sup>

В XVII веке пространства сомкнулись, пришло время практических текстов, которые подтверждают заявленный нами общий контекст. Таковым стал труд известного дипломата на русской госслужбе Николая Спафария — «Описание первой части вселенной, именуемой Азией, в ней же состоит Китайское государство с прочими его городами и провинциями». Это первое систематическое описание Китая в России, в которое включены не только доступные взгляду путешественника приметы, но и вся известная информация о политическом, социальном устройстве страны, ее культуре,

---

*Александр Люсый* — доктор филологических наук, профессор кафедры теории и истории культуры Института кино и телевидения (ГИТР), Москва.

*Чжоу Лу* — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и русской литературы Чжэцзянского университета в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян, Китай.

науке, хозяйстве и привычках населения как бы предвеляет систему китайских текстов русской культуры, которую еще предстоит создать.

Это при том, что в старину сведения о Китае представляли собой своего рода элитное знание, будучи доступны узкому кругу руководства и чиновников. Большинство дипломатических описаний существовали в одном или нескольких рукописных экземплярах, не выходя за пределы приказов, и не были доступны более широкому обществу. Исключением стали как раз 40 сохранившихся копий «Описания» Н.Г. Спафария.

Современный дипломат и культуролог А.В. Лукин в книге «Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII—XX веках» (М.: АСТ: Восток — Запад, 2007) представил самую общую китайскую образную диалектику в российском сознании таким образом: в царской России — от загадочного и экзотичного соседа к слабому союзнику, в СССР — от младшего брата-пролетария к идейному оппоненту-ревизионисту, в постсоветской России — между примером для подражания, партнером или опять ревизионистом, но пространственным.

Нам же важно пробуждение в русской литературе интереса к самому «китайскому уму», что произошло в середине XVIII века на волне моды на «китайщину», пришедшую в Россию из Европы. Именно эта, заимствованная у запада, мода стала в эпоху Просвещения новым русско-китайским культурным посредником. Вольтер, Монтескье и другие европейские просветители нашли в философии конфуцианства, которая уделяла значительное внимание этико-политическим и моральным аспектам во взаимоотношениях между правителями и гражданами, поддержку своим идеям о просвещенном абсолютизме, основанном на «союзе монархов и философов».

Антиох Кантемир в сатире «Об истинном блаженстве», рисуя идеал спокойной жизни в удалении от бурных страстей и общественной борьбы в духе Горация, говорит о «странном китайском уме».

Искусство само твой дом создало пространный,  
Где всё, что Италия, Франция и странный  
Китайск ум произвели, зрящих удивляет<sup>2</sup>.

Любопытно, что европейские Италия (родоначальница Возрождения) и Франция (родина Просвещения) фигурируют здесь именно как страны, хотя и с повышенной знаковостью. То же, кстати, относится и к последующим в этом перечислительном ряду источникам драгоценностей для вельможи Индии и Перу. Китай же тут не страна и место на карте мира, а некий ум, призванный удивить. «Причина видится в том, что в середине XVIII века Китай как страна был известен в России все же мало и плохо, гораздо хуже, чем завозимые из Европы диковинные китайские товары, иметь которые считалось мерой престижа и достатка. «Станный китайский ум» стал известен в России существенно раньше, чем сам Китай. По всей видимости, этим обстоятельством объясняется использование эпитета «странный», которым определялся недоступный разумению культурный феномен и стоящий за ним китайский интеллект», — так объясняют сейчас китайские «странности» Кантемира Цао Сюэмэй и О.В. Дефье<sup>3</sup>. Однако это выражение стало не просто фиксацией конкретно-исторического состояния, но формулой, открытой в будущее.

Параллельно распространению в России европейского культурного и научного влияния усиливалось и внимание именно к уникальным свойствам китайского ума. Развивая китайские позитивные «странности» Кантемира, М.В. Ломоносов включает творческие способности «замысловатых хинов», как он называет китайцев, в контекст лучших достижений европейской культурной мысли, представленной в его «Письме о пользе стекла» (1752) богами, героями и мыслителями Античности, учеными Средневековья. Профессиональное восхищение китайским гением нарастает в этом

образце «научной» поэзии, где ученый и поэт «поет... в восторге похвалу / Не камням дорогим, ни злату, но Стеклу»<sup>4</sup>, воздаст должное искусности «замысловатых хинов», прославивших себя умением «огромность тяжкую плода лишенных гор», «художеством своим» преобразить «в Фарфор». Китайцы, по словам М.В.Ломоносова, «Красой его к себе народы привлекают, / Что, плавая, морей свирепость презирают»<sup>5</sup>.

Петр I любил украсить прорубленное в Европу «окно» китайскими изделиями в Петергофе, Александр Меншиков не отставал от него в своем Ораниенбауме, Елизавета I превратила в столицу русской «китайщины» Царское Село. Наибольшая же популярность «китайского ума» и «китайщины» наблюдается в эпоху царствования Екатерины II. В своем увлечении китайской культурой сквозь призму французского просвещения, как бы предопределяющие архитектурный стиль Царского Села с его китайским колоритом, императрица особое внимание уделила передовым формам правления и воспитания подданных. И тень Конфуция как бы постоянно отражалась при этом в зеркалах китайских павильонов. «Китайский ум» отразился и в ее собственном педагогическом опыте «Бабушкиной азбуки», которую Екатерина писала в назидание своим внукам. Такие части «Азбуки», как «Китайские мысли о совести» и «Сказка о Царевиче Февее», по наблюдениям Цао Сюэмэй и О.В.Дефье, наделены афористическим и мотивным сходством с философски поучительными изречениями и притчами Конфуция.

Г.Р.Державин в стихотворении «Развалины» (1797), в связи с предопределенным воцарением Павла I упадком Царского Села, *конфуцианка на троне* маскирующе приодетая в Киприду, вспоминает былое процветание «китайской деревни» так: «Здесь был театр, а тут — качели, / Тут азиатских домик нег...»<sup>6</sup> Тем самым, на наш взгляд, здесь дана последующая перспектива сразу трех китайских текстов русской культуры: театр как просветительский имперский текст, качели как взлеты и падения советского китайского текста, укромное убежище китайского эмигрантского текста русской культуры, о чем предстоит разговор ниже.

В XIX веке «китайский текст» оказался оружием в руках оппозиционной общественной мысли, став символом деспотизма и застоя. Для Виссариона Белинского смысл понятия «китайщина» сместился от знака приобщения страны к общеевропейскому культурному развитию к показателю отсталости<sup>7</sup>, хотя он при этом высоко оценил незавершенный фантастический роман Владимира Одоевского «4338-й год: Петербургские письма» («богатым остроумными мыслями»<sup>8</sup>), в котором главный герой, современник автора, посредством «месмерических опытов» переселяется в тело китайского студента Ипполита Цунгуева в ситуации, когда в мире осталось только две заметные страны, Россия и Китай, обреченные на союз под угрозой космической катастрофы. «Меланхолия», однако...

В представлении Александра Герцена, сторонника «крестьянского социализма», Россия как молодая и яркая культурная сила, находилась между двумя застойными полюсами Европы и Китая<sup>9</sup>.

Подобные взгляды реанимировались и преломлялись в начале XX века в воззрениях В.Соловьёва, А.Блока, Д.Мережковского. Более позитивный поворот к азиатской идентичности наблюдается у евразийцев 1920-х годов, хотя один из основателей движения Н.Трубецкой исключил Китай из своего единства евразийского культурного пространства, заявляя, что китайский религиозный менталитет абсолютно чужд славяно-туранской идентичности, которую он стремился определить<sup>10</sup>. Более инклюзивное видение паназиатской тождественности характерно для высказываний поэта-футуриста Велимира Хлебникова. Сохранился его недоработанный текст «А Китай растёт в землю...» (1913), иронически стилизованный под грамоту посольского дьяка допетровского времени.

По существу это декларация «азиатской» геополитической ориентации России: «А Китай растёт в землю, и от дружбы с ним станем хозяевами оной земли, рекомой



Азией, яко янки <хозяевами земли>, рекомой Омерикой. А сам Китай зла не замышляет. А игра малая идёт, чтобы копьё Китая насторожить, аки рогатину, на сердце русское. А ведут её янки, а втихомолку и другая. Самим же <русским>, поселившись на берегу морском, торговать безвозмездно и беспоплино и стать, яко бриты глаголемые в Индии. Но треба не пускать <друга> на берег, а то будет худо, когда <нрзб.>. И многие озоруют, чтобы навлечь на нас гнев Китая. А забыли про гнев русский. И кто примет первый печаль, неизвестно»<sup>11</sup>. В манифесте 1918 г. «Индо-русский союз» (иначе — «Манифест Младоазии») он призывает новую Россию к «немедленному соединению с южным Китаем для образования мирового тела великой Швейцарии Азии»<sup>12</sup>.

### «Варвар бледнолицый»

Текстологическая интрига текущей познавательной ситуации заключается в том, что современные российские и китайские исследователи сейчас погружены преимущественно в литературу русской эмиграции, тогда как для европейских и американских славистов куда интересней оказывается советский «китайский текст».

Творчество многих писателей русской эмиграции первой волны в Китае можно отнести к первому ряду русской литературы как таковой — Л.Н.Андерсен, А.А.Ачаир, Вс.Н.Иванов, А.Несмелов и многие другие. Их вольное или невольное приобщение к «китайскому уму» рождает теперь «ум текстологический». Среди последних обобщающих трудов по этой теме выделяется диссертация Цуй Лу «Рецепция китайской культуры и ее отражение в поэзии русской дальневосточной эмиграции 1920—1950-х гг.» (СПб., 2019), в которой показано, как «китайский текст» в поэзии дальневосточной диаспоры стал открытием новых смыслов человеческого существования в условиях эмиграции, способствуя формированию эмигрантского мифа, нашедшего воплощение в поэзии как идентификации себя в культуре.

Эмигрантский миф как способ конструирования художественной картины мира образовался в поэзии эмиграции через оппозиции: «Россия — Китай», «Запад — Восток», «свой — чужой», «прошлое — настоящее», «бессмертие — смерть» и т.д. «Китайский ум» привнес в поэзию дальневосточного зарубежья мифологему *космоса* и *хаоса*. И они начинают взаимодействовать с событийным планом сознания как набором устойчивых мотивно-образных и смысловых доминант. Харбин, ставший «столицей» русской эмиграции в Китае, сделался истоком спасительного воспоминания, которое позволяло воскресить в памяти русскую культуру. Харбинский миф как утопический миф о воссоздании дореволюционной России в китайском городе явился неким семантическим инвариантом «китайского текста». С ним взаимодействует мотив возвращения прошлого в соотношении с мифологемой *космоса*.

Собственный взгляд на страну пребывания у дальневосточных поэтов складывается двойственно — в режимах отталкивания и притяжения, на фоне взаимоналожения представлений о Харбине как второй Родине и Китае как «чужом» пространстве. Для поэзии русского дальневосточного зарубежья характерно обращение к ориентальным образам как архаическим кодам китайской культуры. Поэты-эмигранты создают миф о вечном Китае, где «Китай» сохраняет в себе черты некоего внетекстового субстрата их «китайского текста». Русские поэты воплощают в созданном ими «китайском тексте» две глубоко взаимосвязанные семантические доминанты, которые основаны на мысли о ежедневном убогом прозябании китайского «маленького человека» и одновременно о существовании вечных истоков древнейших родников духовной культуры. В то же время в поэзии русских эмигрантов в Китае мифологема *возвращения* связана с созданием нового варианта жизнеустройства в приютившей их

стране. Сам эмигрантский миф возникает как необходимость создания литературы переходного типа.

Поэзия русской эмиграции традиционна по форме. Но ей удалось найти формальное соответствие между русской и восточной поэтической традицией, что реализует индивидуальный миф о человеке, живущем на грани двух культур. Доминантным для многих поэтов оказалось автобиографическое начало. Потому «буддийский текст» в их творчестве оказывается важным для осуществления идей самораскрытия, отражая духовный опыт как путь самопреодоления и «расширения» границ сознания в узкой нише вынужденного существования. В результате возникло гармоничное сочетание мотивов «замкнутости» сознания созерцателя и его бытия как «всемирной отзывчивости», что обусловило образование новой идентичности русского эмигранта в китайской культуре.

От китайского эмигрантского текста перейдем к заявленному выше параллельному советско-китайскому культуротворческому проекту. Вместе им не сойтись? Или они все же рано или поздно сойдутся — как «вода и пламень»? И то, и другое направление апеллирует к В.Н.Топорову, писавшему о задавшем тон «текстуальной революции» «петербургском тексте» русской литературы: «...Здесь начало историософского и метафизического осмысления <...> при котором целью становится не выбор между двумя противоречащими друг другу и взаимоисключающими или-или, но совместное держание их: космического порядка, правила, закона, гармонии и хаотического беспорядка, непредсказуемости, произвола, дисгармонии»<sup>13</sup>.

Онегинская метафора такой встречи не случайна. По словам Е.В.Капинос, история русской жизни Китая оставила след в гибридной словесной форме, сочетающей, наподобие «Онегина» и постонегинских поэм, стих и прозу, лирику и эпiku. А Валерию Перелешину (1913—1992) суждено было оставить еще не вполне прочитанный аналог «Онегина» — «Поэму без предмета», историю русского Китая в поэтической форме. «Поэма...» в комплексе с примечаниями и мемуарной прозой были призваны воссоздать и сохранить эмоциональную и поэтическую атмосферу русского Китая, хронику китайских литературных и политических событий, имена и портреты реальных действующих лиц русско-китайской истории.

«Лиро-эпическое начало "Поэмы без предмета" усилено ироническим пунктиром расхожих цитат из Слова о полку Игореве ("В Путивле пела Ярославна / зегзицею... дубрав? дубров? / И генеральша пела славно / романсы русских мастеров" — LXVI, Песня четвертая), что одновременно и формирует, и пародирует "летописные" установки произведения».

Как и большинство поэтов-эмигрантов, Перелешин идет по пути чистой классики, демонстративно отстраняясь как от советских словесных, так и социальных экспериментов.

Клюют на «новые идеи»  
бездельницы и сорванцы:  
нечёсанные лорелен,  
длиннобородые юнцы.  
Андрей, взбравшись на подмостки,  
расплёскивает ополоски  
позавчерашнего вина  
(где в Маяковском новизна?):  
Н.К.В.Д., плати за дело!  
А «честный парень», отпросясь  
у пристава, разносит грязь,  
хрипит, горланит оголтело,  
за веру беспощадный к нам,  
к американцам — за Вьетнам.

Однако онегинская форма, в самой природе которой заложены стилистические и стиховые контрасты, позволяет Перелешину-поэту вместить наполненную оригинальными приемами в области поэтики стихотворную историю русского Китая, включая в себя разнородный опыт поэтической культуры XX века. «Онегинская форма у Перелешина не только подогнана под новый материал (вместо пушкинской поэтической энциклопедии золотого века, каковую представляет собой "Онегин", Перелешин предлагает поэму-энциклопедию русской литературы Китая), но и обогащена новыми чертами. И выразительнее всего в "Поэме...", как кажется, лексические эксперименты, проведенные Перелешиним по "онегинским" образцам»<sup>14</sup>.

В отличие от большинства из своего литературного окружения Перелешин вполне профессионально владел китайским языком, занимаясь переводами с китайского на русский.

И я, долгот не различая,  
Но зоркий к яркости обнов,  
Упал в страну шелков и чая,  
И лотосов, и вееров.  
Пленённый речью односложной  
(Не так ли ангелы в раю?)  
Любовью полюбил несложной  
Вторую родину мою<sup>15</sup>.

Китайский язык становится своеобразным персонажем, т.е. вводится в текст не напрямую, а тоже изображается. В первую очередь это имена собственные и названия «китайских» вещей, которые уже освоены русской культурой.

...Не на коне, не на кобыле,  
а на скипучем «*сань лунь-чэ*»  
въезжаю — варвар бледнолицый —  
и встречен Северной столицей,  
хотя другие города  
соперничали с ней тогда:  
*Нанкин*, где клика *Ван Цзин-вэя*  
<...>  
*Чунцин* уездный, где в глуши  
отсиживался *Цзин Цзе-ши*.  
(*Песнь четвертая, VII*)

«Охота к перемене мест» обернулась у Перелешина другой метафорой жизненного пути — «волшебным складнем»:

Став гражданином Парагвая,  
Он часто ездит на Восток,  
В Бейрут, Калькутту и Банкок,  
потом от скуки изнывая,  
В Перу недолго погостит,  
И снова в Африку летит.  
Вот это жизнь — волшебный складень,  
Где рядом холод и жара».  
(*Песнь вторая, LV—LVI*)

«Противостояние "перспективы стиха перспективе сюжета" в структуре пушкинского романа определяет, на наш взгляд, сущность модернистского подхода к "Онегину". Сюжет героев преодолевается метасюжетом, включающим в себя авторский взгляд на сам процесс создания текста и почти вещественное переживание результатов этого процесса, эстетическое осознание пластики самого стиха, его силы, энергетики, «динамики»<sup>16</sup>. Новый «Онегин» XX века раскалывается на «сценки»,

«картинки» и словесно-звуковые линии. Онегинская модель функционирует как собрание «компактных и многомерных фрагментов», представляющих «различные аспекты образа автора, его сознания и поэтического мышления». В то же время в тексте есть плоскость, развернутая от «текстуального блока» истории литературного Харбина и Шанхая в сторону лирического сюжета, своеобразной любовной биографии автора. Любовь к студенту Лю Сину, «прикрытая» историями других героев, не выстраивается в последовательную историю, а «распадается», как сюжет-веер, сюжет-складень, сюжет-книга с путешествиями в далекие времена.

Линейный сюжет, линейная история и линейная возобновляемость рода отменяются Перелешеным практически одновременно. Тема однополой любви, отменяя мотив вечной возобновляемости рода, позволяет по-своему «форматировать» время, прерывая неиссякаемый его поток все новых и новых рождений, и тем самым переводя существование из актуальной модальности в эвентуальность (возможность при определенных обстоятельствах). В сборнике «Южный дом», который наряду с 6-й и 7-й песнями «Поэмы без предмета» посвящен Лю Сину, это звучит так:

И к чему же так скоро устала бы  
Наша кровь повторяться в веках.  
(«Усталым»)

Причины расставания лирического героя с Лю Сином были предопределены стремлением последнего к традиционному возобновлению времени:

Мне, — ты скажешь, — ясно назначение:  
Я только дверь, и собрались за ней  
Пришедшие родиться поколения  
Раскосых, жёлтых, маленьких людей.  
(«Неизбежное»)

Время «Поэмы...» не возобновляемо. Русский Китай Перелешина — мир нерожденных и умерших, что тематически роднит «Поэму без предмета» с «Поэмой без героя» Ахматовой, с поэмой «Форель разбивает лёд» М. Кузмина, с пятой главой «Онегина», где Татьяна видит сон, предвещающий смерть Ленского.

Возникает искушение обозначить два историко-пародийных полюса русской литературной эмиграции — Набоков (западный) и Перелешин (восточный), хотя они в итоге «обменялись полушариями» (Набоков завершил жизнь в Европе, Перелешин — на «третьей Родине» — в Бразилии). Герой набоковского рассказа «Облако, озеро, башня» «раскрыл томик Тютчева, которого давно собирался перечитать («Мы слизь. Речённая есть ложь»...)). Перелешинский принцип — не сдвиг, а глобальный перевод в разных смыслах этого слова. Его перевод одного из истоков «китайского ума» как такового «Дао Де Цзин» осуществляет полемическое, но не пародийное подключение к тютчевской традиции:

Если Истину произречь,  
Суть погибнет, а выйдет речь.  
Если имя ты назовёшь,  
То не имя оно, а ложь.

### *Искушение идеей*

«Китайский текст» русской литературы, как и любой эмигрантский текст, представляет собой в какой-то мере экстраполяцию Петербургского текста русской литературы, вынесенного авторами на подошве своих сапог в новые пространства<sup>17</sup>. Образы Харбина и Шанхая в разной степени оказывались воссозданиями Петербурга. Однако первостепенной основой этого текста, исходя из особенностей китайской культуры, является не концепт города, места, дома, а концепт Пути, который получил конкретно-историческое выражение в образе КВЖД как месте реальной встречи эмигрантского и советского текстов, в нашем случае — условных Онегина (Перелешина) и — Ленского. Рискнем предложить на эту роль Сергея Третьякова.

«Мы, на черноземе нашего Октября, вскармливающие непомерную китайскую революцию, лихорадочно и законно вгоняем в себя любое знание о Китае, как малокровный вгоняет под кожу шприцы мышьяка.

Наше прежнее знание Китая похоже на изуродованную руку. Ее надо сперва сломать, а потом снова срастить правильно.

Время литературной алхимии, для которой Китай в коллекции народов есть камень загадочный и неопределимый, — миновало.

Политические статьи и схемы дают алгебру китайских событий. Имена стираются, люди сплываются в амебы классов, а глаз алгебраика следит за движением и прожорливостью этих амеб.

Мы требуем именованных чисел.

Статьями, очерками, дневниками, записями очевидцев накапливается сегодняшняя арифметика Китая.

Мы требуем глубокого бурения.

Так возникла, закрепились и понравилась мысль: проточить древесину нового Китая чьей-нибудь биографией, как жук-древоточец прогрызает балку.

Ненавистна выдуманная повесть и сочиненный роман.

Почетное когда-то звание сочинителя в наше время звучит оскорбительно.

Настоящий сегодняшний ремесленник — "открыватель нового материала", бережный, не искажающий формовщик его»<sup>18</sup>.

По мнению Татьяны Хоффман, такое «наблюдение за участниками» — прямая предтеча знаменитого метода антропологии, стирающего рамки перспективы пассивного потребителя-туриста, что позже будет привязано к имени Бронислава Малиновского. Однако общий контекст деятельности С. Третьякова представляется нами куда шире. Он, в сущности, предшественник и Э.Саида в его критике ориентализма, задавшего парадигму современных постколониальных исследований.

Третьяков адаптирует такой футуристический инструмент как «сдвиг» для того, чтобы спроектировать рождение революционного сознания из повседневной жизни<sup>19</sup> китайского рабочего кули (kuli, буквальный перевод — «горькая участь») или рикши. С одной стороны, не столько художественный, сколько исследовательский китайский проект Третьякова о Китае носит интерактивный характер как сочетание наблюдения и повествования. С другой, принципиальна установка на документальность, а не на вымысел и нарратив в принципе. «Документальное шоу» — вполне адекватное, хотя опять-таки все же не окончательное, название для формы репрезентации «китайского текста» С.Третьякова, найденное Т.Хоффман. Документ здесь «заряжен» «правильной» энергией — сочувствия и отвращения, солидарности и противостояния, любви и ненависти. Читатель-зритель должен действовать в соответствии с чувствами, передающимися документальным или, точнее, исследовательским шоу, составной частью которого являются оговорки насчет нехватки знаний геологии, агрономии,

ботаники и мелиорации, которые вооружают умением расшифровать Китай как текст культуры.

Чем-то история взаимоотношений Третьякова со своим студентом Дэн Ши-хуа напоминает нам упомянутые выше отношения Перелешина с Лю Сином, с полной заменой Эроса Социо-Логосом.

«Он благородно предоставил мне великолепные недра своей памяти. Я рылся в нем, как шахтер, зондируя, взрывая, скалывая, отсеивая, отмучивая.

Я был попеременно следователем, духовником, анкетщиком, интервьюером, собеседником, психоаналитиком.

Все что оформил, я затрудняюсь назвать иначе, как интервью. Но интервью это охватывает жизнь одного человека, поэтому я и прибавляю к нему частицу «био»<sup>20</sup>.

Третьяков воспринимает и представляет Китай как сцену, полную *био-аттракционов*, перемежающих объяснения его исторического развития с точки зрения марксизма. Таким образом он пытается, по наблюдению Т.Хоффман, «обессилить» китайский театр как квинтэссенцию традиционной культуры. Однако при этом его коллекция эскизов продолжает функции традиционного китайского театра: мы сталкиваемся с некой стандартизацией привычек и ролей, как это в пародийной форме происходит и в «Принцессе Турандот».

Документальное повествование открывает перспективу современного социального, а не классического, просветления. И важной целью нового документально-образовательного проекта было ниспровержение «лжи эмигрантов», выводящих ее на чистую воду *агитсуда*.

По словам Эдварда Тиермана, советская *интернационалистическая* эстетика как таковая в 1920-е годы создавала образы Китая как яркие, актуальные микрокосмы научно детерминированного процесса мировой революции. В советском китайском тексте литература (в частности, путевая документальная проза) конкурируют с фотографией и кино. Классический балет делает ставку на мейерхольдовскую биодинамику, и полем битвы в каждом случае является «Китай»<sup>21</sup>. Панорамное авиазрение при перелете в Китай создает какой-то принципиально новый жанр полного обновления эстетики и нового, буквального, чтения «китайского текста»:

«Горизонт стремительно расширяется. В лад оборотам пропеллера набухают обороты речи. Сочиняется:

взобравшись по воздушной лестнице, самолет бежит по ровному, накатанному, прозрачному плато.

А можно и так: поля, деревни, дороги, леса свалены в кругозор, как овощи в кухаркин фартук.

Можно сказать: чересполосица напоминает лоскутное одеяло (очень плохо).

Можно сказать: чернильные кляксы вспаханных паров (неверно, потому что таких линейно вычерченных клякс не бывает).

Язык тянется к фразе — трава перестает быть травой и кажется плесенью, тиной на дне аквариума, ибо глаз не в состоянии уже уловить травинки, хотя ловит еще известковую каплю ромашек. Тут же возникают сравнения рубчатых картофельных полей с зеленым сукном диагональ. Мозг с омерзением отбрасывает сравнения с протертым сукном (больно уж сравнение протертое, несмотря на схожесть).

Огромное, иссиня-вспаханное поле треснуло тропинкой, как грифельная доска (опять образ). Над чернотой этого поля чувствую сброс самолета, от которого под ложечкой делается сладкая изжога. Сброс — потому, что черное поле теплее зеленого, от него горячий воздух вверх. Этот сброс обрывает серию литературно-художественных выводов. <...>

От приближения самолета рисовые зерна баранов слипаются в комочки стад. Черные полосы пахоты на желто-зеленом фоне жнивья и полей складываются буквами. Чаще это "О", "Т", "Ш". Реже "Р" и "Ф". Шрифт прямоугольный, афишный.

"О" — это значит начали поле опаживать, но не допахали середины. Поискав глазами, найдешь либо тут же у черноты плуг и пахаря, либо по борозде уследишь, куда он ушел.

На каучуковой шине колеса — царапина. Пролетали сквозь дождь. Он бьет горизонтально. После дождя увидал, что царапина передвинулась значительно ближе ко мне. Это дождевые капли повернули колесо.

Избы — квадратные ватрушки. Загибы теста — крыши, варенье в середине — чернота двора (сравнение не мое, а спутницы).

Она же удивляется, до чего пуста земля, как ее много и где те, кто ее обрабатывают. Действительно, на этой ровной и чистой земле (столбов нет, они обратились в точки) человек занимает удивительно мало места.

Тут-то и начинается тоска по знанию. Полет раскладывает внизу изумительную геометрию полей, геометрию человеческого труда, разлиновавшего землю и выкрасившего параллелограммы, прямоугольники и трапеции краской разных посевов. Чертеж этот фактурно разделан по одному бороной, по другому плугом, по третьему зеленым каракулем лесов, по четвертому мокнущими лишаями болот. Но прочесть этот шифр геологии, агрономии, ботаники и землеустройства не хватает пассажирских знаний.

Смотреть на жизнь в повернутый бинокль полета — хорошая точка для наблюдения человека не как царя природы, а как одной из животных пород, населяющих земную кору и изменяющих ее облик наиболее заметно в ряду таких сил, как вода, кроты и сорные травы.

Все индивидуальные различия загашены высотой. Люди существуют как порода термитов, специальность которых бороздить почву и возводить геометрически правильные сооружения, — кристаллы из глины, соломы и дерева. Подобно дождевым червям, нарываю они черные пирамидки, оставляя червоточину пустот заполняться водой, — торф»<sup>22</sup>.

Из этого фрагмента видно, что документальность сопровождается «опьяненным» дискурсом, как его, вслед за Б.Николсом, называет Э.Тьерман, дискурсом вдохновения и одержимости, представляют китайскую революцию как священный процесс очищения от насилия и колониализма<sup>23</sup>.

Метод постижения и воспроизведения «китайского текста» другим советским писателем Б.Пильняком вызывают ассоциации с творчеством Х.-Л.Борхеса и М.Павича, а также с философией Ю.Кристовой, которая, оценивая осуществленную М.Бахтиным типологию литературных универсумов, полагает, что они «расчлениют линейную историю на блоки, образованные знаковыми практиками»<sup>24</sup>. В «Повести петербургской» («Санкт-Питер-Бурх» Б.Пильняка (памяти А.Блока) текст строится как бы в процессе игры: карты — как затвердевшие эпохи: «Столетия ложатся степенно колодами. Столетий колоды годы инкрустируют, чтоб тасовать годы векам — китайскими картами. — "Ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает, из чего они сделаны." — Как же столетьям склоняться — перед столетьями? — они знают, из чего они слиты: не даром по мастям подбираются стили лет. <...>

Столетия ложатся степенно, — колодами; — какая гадалка с Коломны в Санкт-Питер-Бурге кидает картами так, что история повторяется, — что столетий колоды — годы повторяют раз, и два?! — Две тысячи лет назад, за два столетия до европейской эры, император Ши-Хоан-Ти, династии Цин, отгородил Империю Середины от мира — Великой Китайской стеной, на тысячу ли, — Ши-Хоан-Ти, коий сверг все чины и регалии, всех князей, нанеся сим "смертельный удар феодализму" и став — богдыханом, как царь Петр в династии Романовых, "прорубил окно" и стал: Императором, лишь, — не успев состариться до Богдыхана»<sup>25</sup>.

Остаточная линейность истории сохраняется, столетия падают одно за другим, карта за картой, история повторяется, демонстрируя то русские, то китайские нарративы. На уровне личного восприятия подобная партия разыгрывается в «Китайской

повести» писателя: «...Я стою на берегу Ян-Цзы. Во всем мире одинаково детишки строят из песка песчаные города, в России тоже. Китайские деревни похожи на это детское строительство: плоскокрышие глиняные дома, глиняные заборы, лессовые желтые переулки, — все, выжженное желтым солнцем. Говорят, некоторые породы термитов также строят термиты свои города. Европейцы любят китайцев сравнивать с термитами и с желтыми муравьями, потому что китайцев везде очень много, и — на глаз европейца — во-первых, стирается индивидуальность каждого в отдельности китайского лица, а, во-вторых, непонятно, куда, зачем, откуда идут эти бесконечные китайские толпы. Эта китайская деревня, имени которой я никогда не узнаю, тянется на десяток верст. Другого берега Ян-Цзы почти не видно, эта река раз в пять шире Волги, река, где ходят океанские купцы и броненосцы; — по реке, под деревянными своими парусами, — на глаз европейца задом наперед, ибо корма поднята, а нос плосок и опущен...»<sup>26</sup>. У С.Третьякова был взгляд-фиксация, у Б.Пильняка — взгляд-выворачивание. В отличие от пафоса интернационалиста здесь, скорее, происходит утверждение себя («все это не обо мне») и в конечном счете нации как истинного дома. Нота русскоцентричной тоски по дому, которая проходит через китайскую историю Пильняка, отчасти напоминает «внутреннюю эмиграцию» в не ставшем вполне своим социальном проекте.

Неоднозначную символическую роль играет в «китайском тексте» фигура китайского участника гражданской войны в России, красного партизана и солдата-мигранта (*ходя*), в равной степени способного отстаивать интернациональную солидарность (как в романе Н.Островского «Как закалялась сталь») или бороться с иностранной угрозой (как в повести Вс.Иванова «Бронепоезд 14-69»).

Участник «белого» движения М.Булгаков был, как известно, несостоявшимся эмигрантом. Его «Китайская история» (1923) — опыт постижения миграционного «китайского сердца», вырванного из своей среды и пересаженного в горнило Гражданской войны.

Не можем не поделиться идеей совместной российско-китайской экранизации этого рассказа в духе грандиозных художественных (в частности, пиротехнических) экспериментов художника-акциониста Цай Гоцяна, на откуп которому была фактически отдана в Москве в 2017 году эстетическая сторона юбилея Октябрьской революции (как можно расценить его выставку «Октябрь» в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). Ведь наркотический сон-соблазн выброшенного на обочину жизни ходи представляет собой компактный сценарий: «Ходи же жил в хрустальном зале под огромными часами, которые звенели каждую минуту, лишь только золотые стрелки обегали круг. Звон пробуждал смех в хрустале, и выходил очень радостный Ленин в желтой кофте, с огромной блестящей и тугой косой, в шапочке с пуговкой на темени. Он схватывал за хвост стрелу-маятник и гнал ее вправо — тогда часы звенели налево, а когда гнал влево — колокола звенели направо. Погремев в колокола, Ленин водил ходю на балкон — показывать Красную армию. Жить — в хрустальном зале. Тепло — есть. Настька — есть. Настька, красавица неопишанная, шла по хрустальному зеркалу, и ножки в башмачках у нее были такие маленькие, что их можно было спрятать в ноздрю. А Настькин сволочь, убийца, бандит с финским ножом, сунулся было в зал, но ходя встал, страшный и храбрый, как великан, и, взмахнувши широким мечом, отрубил ему голову. И голова скатилась с балкона, а ходя обезглавленный труп схватил за шиворот и сбросил вслед за головой. И всему миру стало легко и радостно, что такой негодяй больше не будет ходить с ножом. Ленин в награду сыграл для ходи громоносную мелодию на колоколах и повесил ему на грудь бриллиантовую звезду. Колокола опять пошли звенеть и вызвонили, наконец, на хрустальном полу поросль золотого гаоляна, над головой — круглое, жаркое солнце и резную тень у дуба... И мать шла, а в ведрах на коромыслах у нее была студеная вода»<sup>27</sup>.



Однако указанный в этом сне путь вел не домой, а в штаб Красной армии. И здесь не самолет, а пулемет исполняет функции «машины письма» и школы нового зрения. «И когда небо из серого превратилось в голубое, с кремовыми пузатыми облаками, все уже знали, что как Франц Лист был рожден, чтобы играть на рояле свои чудовищные рапсодии, ходя Сен-Зин-По явился в мир, чтобы стрелять из пулемета. Первоначально поползли неясные слухи, затем они вздулись в легенды, окружившие голову Сен-Зин-По. Началось с коровы, перерезанной пополам. Кончилось тем, что в полках говорили, как ходя головы отрезает на 2 тысячи шагов. Головы не головы, но действительно было исключительно 100 % попадания. Рождалась мысль о непрочности и условности 100! Может быть, 105? В агатовых косых глазах от рождения сидела чудесная прицельная панорама, иначе ничем нельзя было бы объяснить такую стрельбу»<sup>28</sup>.

Ходя в итоге погибает, но его смерть — это все-таки форма возвращения домой, ведь он вновь при этом видит поросль золотого гаоляна и хрустальный зал. Т.е. смерть понимается не как небытие, а как переход в иной хронотоп. Это характерный прием и для современной русской литературы о Китае. Опять создается своеобразная «внутренняя Монголия» как простор дальнейших встреч, наиболее масштабно развернутая в творчестве Виктора Пелевина. Каждый писатель теперь сам себе «китаист», как называется по-своему состыковывающая пространства и времена романная антиутопия Елены Чижовой («Китаист»).

Остается отметить, что мифологические образы, воплощением которых является «китайский текст» русской литературы, не могут на разных исторических этапах рассматриваться как отражение фактических черт и признаков, присущих Китаю и китайцам. Это всегда прежде всего литературная саморефлексия, зеркало для самой русской литературы и России в целом, результат творческого переосмысления и эстетической реакции российского художественного сознания на европейские культурно-политические влияния и проблемы внутренней общественной жизни. Т.е. не столько «критика», сколько самокритика. Уточнение контуров «китайского текста» открывает перспективы для дальнейшего взаимного познания.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

<sup>1</sup> Цит. по: Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII–XX веках. — М.: АСТ: Восток — Запад, 2007. С. 34.

<sup>2</sup> Кантемир А.Д. Собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1956. С. 147.

<sup>3</sup> Цао Сюэмэй, О.В. Дефье. Образ и мотивы «китайского ума» // Вестник КГУ. 2017, № 3. С. 112.

<sup>4</sup> Ломоносов М.В. Избранные произведения: в 2 т. Т. 2. — М.: Наука, 1986. С. 234.

<sup>5</sup> Ломоносов М.В. Избранные произведения: в 2 т. Т. 2. — М.: Наука, 1986. С. 236.

<sup>6</sup> Державин Г.Р. Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота: в 9 т. СПб.: Типография Императорской академии наук, 1864–1883. С. 96–97.

<sup>7</sup> Белинский В.Г. Китай в гражданском и нравственном отношении. Сочинение монаха Иакинфа // Белинский В.Г. Собрание сочинений: в 9 т. — М.: Художественная литература, 1982. — Т. 8. С. 598–599.

<sup>8</sup> Белинский В.Г. Полн. собр. соч. в 13 т. Т. 8. М., 1956, с. 156.

<sup>9</sup> Герцен А.И. Былое и думы // Герцен А.И. Сочинения: в 9 т. — М.: ГИХЛ, 1957. С. 67–70.

<sup>10</sup> Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 1999. С. 136–162.

<sup>11</sup> Хлебников В. Собрание сочинений: в 6 тт. Т. 6. Книга первая. Статьи (наброски). Ученые труды. Возвращения. Открытые письма. Выступления. 1904–1922 / Под общ. ред. Р.В.Дуганова. Сост., подгот. текста и примеч. Е.Р.Арензона и Р.В.Дуганова. С. 211.

<sup>12</sup> Хлебников В. Собрание сочинений: в 6 тт. Т. 6. Книга первая. С. 272.

<sup>13</sup> Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. СПб.: Искусство-СПб, 2003. С. 6.

- <sup>14</sup> Капинос Е.В. «Онегин» по-китайски: «Поэма без предмета» В. Перелешина // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. М., 2017. № 7. С. 249.
- <sup>15</sup> Перелешин В. Поэма без предмета. Холион: Нью Ингленд Паблик, 1989. С. 24.
- <sup>16</sup> Капинос Е.В., Куликова Е.Ю., Силантьев И.В. Русский Китай как историческая летопись и как лирический сюжет («Поэма без предмета» и «Два полустанка» В.Перелешина) // Сибирский филологический журнал. 2017, № 2 С. 97.
- <sup>17</sup> Люсый А.П. Текстомиграции: особенности локального текста в литературе русского зарубежья // Вестник Московского лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2017. № 2 (769).С. 66—77.
- <sup>18</sup> Третьяков С.М. Дэн Ши-хуа [Био-интервью]. М.: Гослитиздат, 1935. С. 15.
- <sup>19</sup> Hofmann T. THEATRICAL OBSERVATION IN SERGEI M. Tret'iakov's 'Chzhungo' // Russian literature. 2019. № 103—105. С. 159—181.
- <sup>20</sup> Третьяков С.М. Дэн Ши-хуа [Био-интервью]. М.: Гослитиздат, 1935. С. 15—16.
- <sup>21</sup> Tyerman E. The Search for an Internationalist Aesthetics: Soviet Images of China, 1920—1935. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences. NewYork: Columbia University, 2014. С. 34.
- <sup>22</sup> Третьяков С. Сквозь непротёртые очки // Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: Федерация, 1929. С. 37—41.
- <sup>23</sup> Tyerman E. The Search for an Internationalist Aesthetics: Soviet Images of China, 1920—1935.Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences. NewYork: Columbia University, 2014. С. 37.
- <sup>24</sup> Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М.: РОССПЭН, 2004. С. 13.
- <sup>25</sup> Пильняк Б. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2003. С. 394—395.
- <sup>26</sup> Пильняк Б. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2003. С. 110.
- <sup>27</sup> Булгаков М.А. Собрание сочинений : в 5 т.М. : Худож. лит., 1989—1990.Т. 1. С. 452.
- <sup>28</sup> Булгаков М.А. Собрание сочинений : в 5 т. М. : Худож. лит., 1989—1990. Т. 1. С. 255—256.

---

# Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась

*Литературные итоги 2020 года*

*В этом номере — размышления Николая АЛЕКСАНДРОВА,  
Ольги БРЕЙНИНГЕР, Константина КОМАРОВА,  
Елены ЛЕПИШЕВОЙ, Алексея САЛОМАТИНА*

Традиции «ДН» подводить итоги минувшего литературного года — 15 лет. Пролистав три первые журнальные книжки, начиная с 2007 года, можно получить если не полное, то весьма объемное представление о наиболее интересных и обсуждаемых произведениях и авторах, о самых горячих полемиках и премиальных сюжетах, об опыте и насущных проблемах толстых журналов, книжных издательств, литературных сайтов и блогов — в перекрестье субъективных оценок и суждений писателей, критиков, блогеров из столичной и нестоличной России, «ближнего» и «дальнего» зарубежья.

Как всегда, мы предлагаем участникам заочного «круглого стола» три вопроса:

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?
2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?
3. Литература в обществе «удаленки» и «социальной дистанции»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

*Николай Александров, литературный критик (г. Москва)*

## Уединенное чтение в эпоху соцсетей

1. Я начну не с «текстов», а с книжек. Просто потому, что появление этих книг внушает надежду и оптимизм, во-первых. Во-вторых, они рассчитаны на долгое чтение, к чему, собственно, и подталкивает время коронавируса, в-третьих, потому что это действительно выдающиеся издания, которые останутся с нами надолго. Итак. Издательство «Ладомир: Наука» выпустило в серии «Литературные памятники» «Декамерон» Джованни Боккаччо в трех томах в классическом переводе Александра Веселовского, но с восстановленными купюрами. Плюс к тому — примечания, комментарии, статьи — все как полагается. Чтение для локдауна — изумительное. И своевременное. Второе издание не менее замечательно — «Детские и домашние

сказки» братьев Гримм в двух томах. Все это классика и хрестоматия, разумеется, но пока классика так издается, есть во что верить. Кроме того, в не менее знаменитом, чем «Литературные памятники», «Литературном наследстве» (многие думают, что этот проект давно умер) вышел 112-й том в двух книгах. Это «История становления самосознающей души» Андрея Белого, подготовленная М.Одесским, М.Спивак. Х.Шталь. Эти книги стоит хотя бы подержать в руках, хотя бы посмотреть, полистать, даже если вы равнодушны к Андрею Белому и его безумным мистическим идеям. Здесь одни рисунки чего стоят. И это издание вполне сопоставимо с недавней литературоведческой сенсацией — комментарием Александра Долинина к «Дару» Владимира Набокова.

И еще одна книга. Уж точно совсем безумная (то есть полностью соответствующая своему герою) — «Фёдор Дмитриев-Мамонов. Дворянин-философ. “Известия”, рукописные книги, медали и “системы” с материалами к его биографии и комментариями Михаила Осокина». Как ее можно не только прочесть, а читать (тысяча с лишним страниц), как ее можно было издать — не представляю. Сам факт ее выхода — уже чудо. Вот это точно, в еще большей степени, чем Андрей Белый, — герметичное чтение, закрытое, отдельное, уединенное, когда не книга ищет читателя, навязчиво предлагая себя, а читатель ищет книгу. Когда книга самодостаточна, когда она делает любезность читателю тем, что вышла в свет, потому что на самом деле предпочитает держаться в тени. И, к слову сказать, это и есть одна из тенденций сегодняшнего дня. Чтения разного рода (по большей части электронного, а не бумажного) настолько много, настолько современное пространство им засорено, что оно неизменно теряет в своем качестве, девальвируется, превращается в шум (в эпоху пандемии особенно осязаемый, кстати), пустой текст. Настоящая книга вынуждена прятаться, то есть изначально быть раритетом. Она, говоря словами уважаемого мной Константина Бурмистрова, сопротивляется публикации, стремится быть не изданной.

Если говорить о литературе более или менее актуальной, то из переводных книг в сухом остатке этого года для меня — замечательный исторический роман Хилари Мантел «Волчий зал», написанный с необыкновенной точностью и экспрессией, «История Англии» Питера Акройда, удивительно изящная повесть Жан-Клода Мурлева «Старые друзья» (автора многим памятного «Горя мёртвого короля») и «История чтения» Альберто Мангеля, потрясающая по идее и исполнению. Еще один пример медленного чтения.

В отечественной словесности я бы отметил Аллу Горбунову — «Конец света, любовь моя» — роман в рассказах, я бы так сказал, о последнем времени и последних временах, о страхах и травмах, поджидающих человека, вступающего в сознательную жизнь, о неприглядном, почти фантастическом аде, который оборачивается повседневностью, о свободе и любви, без которых жизнь невозможна, и об отчаянной попытке преодолеть, выразить себя, сказаться, стать, быть в этом тянущемся бесконечно конце света. Здесь, конечно, в первую очередь бросается в глаза письмо, в котором остро чувствуется поэтическая составляющая, даже если не знать, что Алла Горбунова поэт. Книга еще одного поэта (и о поэтах, поэтах блокадного времени) достойна внимания — Полины Барсковой «Седьмая щёлочь». И, если уж зашла речь о поэтах, я бы отметил сборник «Волынщик над Арлингтоном» Юлия Гуголева, лауреата обновленной премии «Поэт». Лично меня в Гуголеве восхищает свободная и точная игра со словом, когда простые явления и вещи: лифт, мясорубка, экскаватор, памятный в московских дворах призывный глас «Старые берем!», смятые тапочки, странный пассажир в автобусе, преображенные поэтической кулинарией, — превращаются в историю, когда волшебный метафорический осколок легко разрастается в целый мир.

Я с интересом прочел «Секретики» Петра Алешковского и «Крысолова» Дмитрия Стахова. Меня, к моему удивлению, не разочаровал Пелевин и его (слишком уж объемный, правда) роман «Непобедимое солнце». Я порадовался за успех Александра

Иличевского в «Большой книге» (хотя, скажу в скобках, по моему мнению, «Большая книга» по представительности, литературной репрезентативности в этом году уступает НОСу). «Чертёж Ньютона», на мой взгляд, едва ли не лучший его роман. А в еще большей степени меня порадовал его сборник эссе «Воображение мира». И отдельно хочется сказать вот о какой книге. Это роман Аллы Хемлин «Интересная Фаина». Он как-то прошел незамеченным (что, впрочем, как раз скорее говорит в его пользу). Это рассказ о странной, блаженной девочке Фаине, о ее судьбе, насыщенной событиями почти детективными. Действие происходит до революции. Батуми, Одесса, Киев — разные люди и разные миры, отраженные в аутичном сознании Фаины. Из этого сознания (правда, уже из другого, послереволюционного времени) и ведется повествование невероятным, удивительным языком. Мастерство письма не может не вызывать восхищения. Так мало кто уже умеет писать. Это абсолютно индивидуальный язык, — придуманный, но как будто подслушанный, который в своем странном, наивно-искаженном измерении тем не менее отражает реальную речь (причем разнообразную — все-таки дореволюционные Одесса и Киев). Такое вживание, превращение в Другого, такой причудливый способ повествования и хитрая игра со временем — редкость сегодня. И это, наверное, главное «художественное» впечатление года.

2. Пожалуй, единственное, что могу назвать — «Симон» Наринэ Абгарян. «Симон» написан в узнаваемой манере, отсылающей к традиции советской прозы 60—80-х годов. Замкнутый, семейный, по сути, деревенский мир армянского городка Берд, патриархальный колорит национальных устоев, на фоне не слишком явных безликих знаков советской жизни. Вполне традиционное письмо, но не вызывающее отторжения, скорее наоборот.

3. О времени коронавируса к сказанному можно, наверное, добавить вот еще что. На собственно словесность пандемия не особенно повлияла (да и не могла, кажется). Скорее уж повлияла на литературный процесс, в котором поубавилось светскости. Но это не помешало, например, яростным дискуссиям в социальных сетях по разным актуальным поводам. По поводу результатов «Большой книги» в частности. Показателен здесь сам характер полемики и уровень аргументации. Показателен не столько для времени пандемии, сколько для эпохи социальных сетей.

*Ольга Брейнингер, прозаик, литературный критик (г. Москва)*

## Эрос и Танатос русской литературы в 2020 году

2020-й был щедр на плохие события и хорошие книги. И на хорошие литературные тенденции в целом. В премиальных списках уверенно перемежались имена современных классиков и представителей поколения тридцатилетних, авторы бестселлеров и маргинальные имена.

2020-й оказался щедр на очень хорошие романы, и «лучших книг года» у меня оказалось сразу две. Или даже три.

Первая — конечно же, «Земля» Михаила Елизарова. Роман, написанный не по правилам и вопреки всем правилам. Обрывающийся на кульминации, не утруждая себя ни развязкой, ни обещанием продолжения. Медленно тянущийся сквозь первые

---

*1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?*

пятьсот страниц и стремительно летящий на последних трехстах. Роман о семье, загадочных «биологических часах», о стройбате и человеческом упрямстве. Роман с фальшивой и претенциозной главной героиней, поверхностной настолько же, насколько поверхность ее тела испещрена татуировками. Роман о смерти и русском Танатосе, полный бандитских разборок и философствований о смерти и почти не уделяющий внимания философии смерти — лишь ее беспощадному, скучному быту.

«Сад» Марины Степновой — второе читательское удовольствие года. Казалось бы, полная противоположность «Земле» Елизарова. Женская тема и героиня, в отличие от мужского, брутального мира Елизарова. Там — могилы, кладбища и серое увядание. Здесь — буйство красок и плодов в саду, цветение, роды, роженицы, зарождение и течение жизни. У Елизарова — Танатос; у Степновой — Эрос. Густой, тягучий язык. Множество отсылок к классической русской прозе девятнадцатого века — тематических, нарратологических, очевидных и хорошо замаскированных.

И тем не менее, у этих двух романов гораздо больше общего, чем может показаться. «Земля» и «Сад», как двуглавый орел, показывают две стороны современной русской жизни. И неважно, что роман Степновой разворачивается в девятнадцатом веке — он современнее самых современных романов с «повесткой». Тем более, что внешнее противопоставление «мужского» романа «женскому» — не вполне верно: Туся — именно та женщина, которая добивается права вести себя как мужчина, любой ценой. К тому же, как Эрос не существует без Танатоса, так и сад не существует без земли. И, наоборот, в финале «Сада» Туся уничтожает его, сама выступая разрушительницей. Конечно, это отсылка к чеховскому «Вишнёвому саду» (а также к Тургеневу, и Салтыкову-Щедрину, и другим) — но это и смена традиционного новым, и завершение цикла жизни и смерти, цельность Эроса и Танатоса.

И здесь странным образом выходит на арену моя третья «лучшая книга» года, сборник рассказов Владислава Городецкого «Инверсия Господа моего». Несмотря на то, что его пронизанный технологиями художественный мир — а, соответственно, и язык — очень выламывается из ландшафта современной прозы, конфликт традиционного и нового является для Городецкого краеугольным. По сути, все рассказы сборника — собирающиеся в сумме в грозную антиутопию — посвящены конфликту старого (у Городецкого — религиозного мира) и нового (технологического). Эта третья книга, на мой взгляд, добавляет последний штрих к портрету 2020 года.

2020-й был щедр на плохие события, но литература не подвела.

*Константин Комаров, поэт, литературный критик (г. Екатеринбург)*

## «Вещать о литературе, сидя у экрана в домашних тапочках...»

1. Во первых строках хочу поздравить журнал «Формаслов» с тем, что он набрал в ушедшем году мощный ход, обзавелся собственным издательством и электронной библиотекой, развивается в разных направлениях и становится одним из самых интересных и статусных сетевых литературных изданий. Главные редакторы

---

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

журнала — Анна Маркина и Евгения Баранова — большие молодцы. Недавно я составлял для замечательной рубрики «Формаслова» «Выбор писателя» подборку стихотворений, опубликованных в «Журнальном зале» за второе полугодие 2020-го и особенно легших мне на душу. Набралось под несколько десятков поэтов. Волевым усилием ограничился десяткой — перечислю их: Юрий Казарин, Александр Кабанов, Владимир Гандельсман, Александр Кушнер, Ксения Аксёнова, Евгения Изварина, Ирина Евса, Сергей Золотарёв, Вадим Месяц, Елена Лапшина. Особо выделяю совершенно «термоядерные» подборки Елены Лапшиной в «Новом мире» и Александра Кабанова в «Дружбе народов». А ведь это только ЖЗ и только второе полугодие. Можно с чистой совестью констатировать, что русская поэзия жива и пандемией не повержена, а «толстяки» остаются ее опорным краем. Из поэтических же публикаций собственно «Формаслова» лучшей в ушедшем году мне представляется подборка Галины Климовой «Дышать во всю длину строки».

В процессе написания своих ежеквартальных обзоров для журнала «Сибирские огни» убедился в том, что и портал «Журнальный мир» держится на плаву, представляя целый ряд достойных внимания региональных изданий, многие из авторов которых представлены и в ЖЗ.

Таким образом, мое журнальное чтение в этом году (особенно — по части поэзии) было крайне плодотворным и благотворным.

Если говорить о книгах, вышедших не в этом году, но прочтенных в этом, то я запоздало открыл для себя Евгения Водолазкина: «Лавр» — очень мощный роман, «Авиатор» послабее и «повычурнее», но тоже произвел впечатление. Очень порадовала «История мира в пяти кольцах» Вячеслава Курицына, вышедшая в прекрасном екатеринбургско-московском издательстве «Кабинетный ученый». Спорт для Курицына становится ключом к осмыслению в парадоксально-ироническом ключе вопросов бытийных. Его книга — это «коллекция подчас фантастических, но реальных и спортивных новостей. Анализируя их, автор приходит к глобальным выводам о парадоксах цивилизации, о свойствах информационного поля и о природе человека» (из аннотации).

Не снижает планки психологического накала при описании самых, казалось бы, обыденных (а на самом деле жизнеопределяющих) событий один из самых дорогих для меня современных писателей Роман Сенчин. Об этом свидетельствует его новая «крымская» повесть «У моря», вышедшая в журнале «Урал», и рассказы «Девушка со струной» и «Долг» в «Дружбе народов».

Из только что прочтенного и еще непосредственно «плещущегося» в памяти отмечу небольшой, но очень концентрированный, просодически насыщенный поэтический сборник курского поэта Романа Рубанова «Соната № 3», вышедший в серии «Сингл» (концепция которой Рубановым и разработана) интенсивно развивающегося издательства «СТИХИ», а также еще не вышедшую книгу «Три города Сергея Довлатова» (состоящую из замечательных, глубоких мемуарных эссе Андрея Арьева, Елены Скульской и Александра Гениса), которая, не сомневаюсь, станет событием уже 2021 года.

В области литературной критики главная радость — проект «Легкая кавалерия» на базе журнала «Вопросы литературы». «Кавалерия» на наших глазах становится ключевой площадкой острого, информативного, аналитического, оперативного критического высказывания. Готовится к выходу книга «Как мы пишем», собранная из самых заметных «наскоков» «кавалеристов». И это греет душу.

Ну и наконец не могу не отметить, что значимым для меня событием стал выход в издательстве «Русский Гулливер» собственной книги поэтического избранного — «Почерк голоса».

---

*1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?*

2. Основным источником знаний о литературе ближнего зарубежья для меня традиционно служит журнал «Дружба народов». Этот год не стал исключением. Прозу Сухбата Афлатуни читал с не меньшим увлечением, чем критику Евгения Абдуллаева. Также отмечу романы Ованеса Азнауряна «В ожидании весны», Михаила Гиголашвили «Иудея, I век», Шамиля Идиатуллина «Последнее время». Запомнились произведения Вики Чембарцевой, Тамерлана Тадтаева, Гурама Сванидзе, Алана Цхурбаева. Из поэзии — Вячеслав Шаповалов, Заир Асим, Сергей Пагын, узбекский поэт Фахриёр (в переводе Санджара Янышева). С неослабевающим интересом слежу за деятельностью студии сравнительного поэтического перевода «Шкереберть». Очень любопытно интервью Юрия Татаренко с триадой основателей «ташкентской поэтической школы» — Е.Абдуллаевым, В.Муратхановым, С.Янышевым.

Неизменно хороши рассказы киевлянина Максима Матковского, которые читаю в фейсбуке.

3. Демаркационной линией на шкале влияния пандемии на литераторов, судя по их интервью карантинного периода, стали жанры, в которых они работают. Так, для поэтов (могу подтвердить это и по собственному опыту), похоже, мало что изменилось: такова уж специфика уединенного поэтического творчества и некоторой «обособленности» поэзии внутри общего поля литературы. Поэзия осталась «на самообеспечении». Реализации среди друзей и знакомых мизерных тиражей поэтических сборников никакой карантин не помеха. Прозаики, по моим впечатлениям, пострадали чуть больше, но тоже не катастрофично: сидят и пишут. Вероятно, скоро мы увидим (и уже понемножку видим — в произведениях Е.Водолазкина, Д.Данилова и др.) разнообразные плоды художественного осмысления пандемийного бедствия — романы, повести, рассказы и т.д.

А вот драматурги и сценаристы действительно взвыли, потому что их творческое и человеческое благополучие, по понятным причинам, зависит от постановок и съемок. Не позавидуешь и книжным магазинам, издательствам, типографиям.

Но нет худа без добра. Как человек довольно консервативный я вряд ли стал бы осваивать «зум» по доброй воле. Будучи вынужден это сделать, я теперь с удовольствием работаю онлайн — провожу онлайн-вебинары по литературному мастерству, творческие встречи, участвую в круглых столах, дискуссиях и поэтических чтениях, преподаю. Думаю, в этом открытии дивного нового мира я не одинок. Конечно, живого общения ничто не заменит, и онлайн — это эрзац, однако он обладает и рядом вполне прагматических достоинств: оперативен, удобен... Поэтические чтения в «зуме», например, создают эффект специфической камерности, как будто поэты пришли к тебе в гости на рюмку чая. Вещать о литературе, сидя у экрана в домашних тапочках, — это новый, интересный, обогащающий опыт...

Благодаря онлайн событийное «обмеление» литературной жизни лично мной почти не ощущалось. Да и оффлайн, надо сказать, удалось поучаствовать во многих примечательных событиях (Филатов-фест, Школа писательского мастерства, мастер-класс переводчиков от Фонда СЭИП и др.).

Мир не станет прежним, это уже аксиома. Но я стараюсь смотреть на происходящее сколь можно оптимистично, вспоминаю Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Что касается стратегий выживания, то, на мой философский взгляд, стратегия эта одна, она универсальна, сформулирована еще во времена Древнего Рима и актуальна не только для «минут роковых» и не только для литераторов: «Делай, что должен, и будь что будет!» В конце концов, дух дышит, где хочет, и Слово никакой «социальной дистанцией» не ограничишь. Авось прорвемся...

---

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.



Елена Ленишева, филолог, литературный критик (г. Минск)

## Повестка «здесь-и-сейчас»

1. *«Я — легенда»: литература в мире post.* Я, вероятно, буду единственным респондентом, который в литобзоре за 2020 год не упоминает о премиях — референтных знаках качества книжных новинок, чтобы (как выразился один из диссертантов) «не уподоблять литературу соревнованию».

По стрельбе. Добавлю в ответ на повестку «здесь-и-сейчас», сделавшую литературу веб-окном в мир, эстетическое освоение которого лишь подстегивает насильственная несвобода, будь то беспрецедентная пандемия или окошко минского автозака. Погружение в «посюстороннее» (термин, предложенный учеными ЕГУ применительно к постметафизическому мышлению) — такой видится мне магистральная авторская стратегия, нацеленная на становящуюся повседневность, мир *post*. Это мир, переживший череду катастроф, от постсоветского тротилового послекусия на просторах бывшей империи до преодоления постмодернизма на просторах эстетики. Созидание на обломках — свидетельство антропологической стойкости авторов и особой задачи литературы, *Dasein* которой не изящная словесность, а экзистенциальный выбор.

Исторические предпосылки здесь очевидны. Это, безусловно, пандемия как завершающий аккорд неустойчивости мира. Но это и социально-политические катаклизмы, явные (коллапс госсистемы в Беларуси) и латентные (реальная картина антиглобализации в ответ на пандемию, предкризисные явления российского социума с коррозией национальной идеи под влиянием «имперских амбиций»). Все это аккумулирует спектр настроений от ироничного признания «незакрытого гештальта» личных и коллективных травм («Сестра четырёх» Е.Водолазкина, «Риф» А.Поляринова) до констатации катастрофы («Последнее время» Ш.Идиатуллина, «Путь Тарбагана» М.Лабыч, «Сад» М.Степновой). Новейшая литература создается в координатах постметафизики, фиксирует «присутствие» в тревожном моменте. (Подробнее см.: Лехциер В. Поэзия и ее иное: философские и литературно-критические тексты. — Екатеринбург—Москва: Кабинетный ученый — это книга тоже 2020 года.)

Характерно для нее и тяготение к «переходности» художественных форм, и — шире — «поэтика черновика» (В.Лехциер), потому что новинки нарочито не «встраиваются» в проторенную колею. В отличие от предшественников начала 2000-х, написанных людьми, стремившимися *выжить* в экзистенциальном и эстетическом плане, сейчас мы имеем дело с текстами *выживших*. Помните фильм «Я — легенда» с Уиллом Смитом? Конец света уже наступил, на земле никого не осталось, кроме монстров и чудом уцелевшего главного героя, который вступил с ними в борьбу, но в целом приспособился к существующему порядку вещей — гибели собственной семьи, апокалипсису, одиночеству.

Так и здесь: вслед за нежизнеспособностью еще недавно трендовых практик (растиражированностью приемов постмодернизма, кастовостью «высокой прозы», социальной ангажированностью «другой прозы») наступила художественная бифуркация. Это и взаимопроникновение элементов «высокой» словесности и масла («Путь Тарбагана» М.Лабыч, «Непобедимое солнце» В.Пелевина), и усиление межжанровой диффузии («Последнее время» Ш.Идиатуллина), и формы письма на стыке поэзии и графики («Агынстр» С.Литвак).

---

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?

Если говорить о художественном методе, то мейнстримом литературного процесса становится «метамодернизм», резонирующий на эсхатологические настроения, воссоздающий условно-фантастическую модель мира-катастрофы (частной и общей) с помощью нетрадиционного языка мимезиса (Н.Рымарь).

Не случайно 2020 год озаглавлен фэнтези с узнаваемыми «болевыми точками» современности. Даже при нарочитой «зашифрованности» художественного мира, как в романе Ш.Идиатуллина «Последнее время», речь идет о пребывании в мире *post* (изначально деформированном). Эклектика стиля — цена за обогащение фэнтези элементами антиутопии, научной фантастики и даже «антиромана» с его «потокм сознания». Это выделяет книгу Ш.Идиатуллина на фоне других, выстроенных на эсхатологических сюжетах: «Непобедимое солнце» В.Пелевина (фэнтези без примеси «этно»), «Риф» А.Поляринова (конец света логически вытекает из движения цивилизации по заданным паттернам), «Путь Тарбагана» М.Лабыч (эсхатологическая картина дополняется документальной фактурой: взрывом в метро).

Историческая эсхатология видится мне в романе М.Степновой «Сад», который отсылает к «фантастическому реализму» (Ф.Достоевский, Н.Лесков и др.), показывая фантазмагоричность русского либерализма в перспективе времени.

Катастрофичность частной жизни исследует «психоделический» автофикшн — сборник рассказов А.Горбуновой «Конец света, моя любовь», вскрывающий деструктивные импульсы подсознания нарратора.

Таков магистральный вектор развития российской прозы. Что касается драматургии, то здесь так же наблюдается эсхатология, связанная с *covid-драмой* (более подробно — ниже). А вот в поэзии, несмотря на ряд перспективных стратегий российских авторов (тактильность ощущений, близкая неоакмеизму, в сборнике А.Маниченко «Ну или вот о нежности», книга-перформанс «заумной» и графической поэзии С.Литвак «Агынстр», инвариант документальной поэзии, воссоздающей «расколотое “я”» психически больного человека, в проекте М.Малиновской «Каймания», близкое оптике русскоязычной поэтессы из Беларуси Т.Скарынкиной), объектом моей рефлексии становится, по понятным причинам, *белорусская поэзия протеста*, о которой я расскажу отдельно.

2. *Родное «зарубежье»: белорусская литература-2020*. Как страшно проснуться в своей стране и осознать, что она вовсе не твоя и чтобы стать твоей, ей нужно пройти квест-испытание — «кто мы, откуда мы, куда мы?». Вот это «мы» (воплощение непривычной солидарности) и требует от меня, исследователя литературного процесса, сосредоточиться на его протекании в поствыборной Беларуси, озаглавленной культ-протестом. (Подробнее см. Верина У.Ю. «Поэт — человек с чувством близости царства или сада...»: Поэзия Беларуси августа-сентября 2020 г. // *Вакансия поэта-2: материалы двух конференций* / под ред. А.А.Житенёва. — Воронеж: АО «Воронежская областная типография», 2020. — С. 288—320; Лепишева Е. Беларусь-2020: Культ-протест // *Цирк Олимп + TV*. — 2020. — № 34 (67) [[https://www.cirkolimp-tv.ru/articles/936/belarus-2020-kult-protest?fbclid=IwAR3TyTbcJZNfPL8jI7zmBkH9fZ1oB5uhk5yLAlr682XgML\\_4htcrZKFKhA](https://www.cirkolimp-tv.ru/articles/936/belarus-2020-kult-protest?fbclid=IwAR3TyTbcJZNfPL8jI7zmBkH9fZ1oB5uhk5yLAlr682XgML_4htcrZKFKhA)])

Это видеообращения, рок-композиции, статьи, посты, спектакли, флешмобы, дворовые вечера, среди которых особое место занимает *протестная поэзия* — корпус текстов, созданных на волне политических протестов, начиная с августа 2020 года.

Она звучит во дворах и в онлайн-формате на акциях солидарности с репрессированными белорусскими литераторами (например, «Белорусские чтения», организованные А.Голубковой и Т.Бонч-Осмоловской), включена в антологии

---

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

(«Цветы революции», проект В. Коркунова на портале «Полутона» и др.), представлена на интернет-платформах (*#просТЫЯ*слова, *#культпратэст*). Стихи создаются как на белорусском (А. Хаданович, М. Мартысевич, О. Бахаревиц, Н. Кудасова), так и на русском (Д. Строцев, Т. Скарынкина, Д. Балыко) языках, многие авторы (Т. Светашева, О. Маркитантова) выступают как билингвы в знак солидарности с идеей национально-культурного возрождения.

Здесь можно встретить *лирические дневники* с узнаваемыми реалиями Беларуси-2020 (цикл Д. Строцева 8-27.08.2020) и *гражданскую лирику* («Я против пересидента...» Д. Балыко), *сюрреалистические этюды* (П. Любецкий) и *метафизическую лирику*, отражающую «пограничное» мироощущение очевидца трагических событий (циклы К. Бандуриной, О. Маркитантовой).

Их объединяет нацеленность на «открытую коммуникацию» с читателем/слушателем (М. Липовецкий) в проживании шокирующей повседневности.

Социальная повестка находит отражение и в прозе, правда, не тематизирующей протест, но воссоздающей атмосферу несвободного социума. В 2020 году вышли книги О. Бахаревиц «Апошняя кніга пана А.» («Последняя книга пана А.») — серия сказок о всемирной экологической катастрофе, заново поставившей вопросы о самостоянии на пороге смерти, и В. Мартиновича «Рэвалюцыя» — история белоруса-эмигранта в Москве начала 2000-х, вскрывающая механизмы тоталитарной психологии.

3. *Поверх барьеров: творчество в условиях интернет-свободы (несвободы?).* «Литература — всегда вызов обстоятельствам и правилам», — резюмирует О. Бахаревиц в интервью о творческих буднях во время пандемии. Огромные убытки издательств, сорванные встречи, перенесенные на неопределенный срок презентации, онлайн-формат культурных мероприятий — общий кейс участников литературного процесса.

Я же сосредоточусь на его эстетической составляющей — драматургии, которая, как правило, остается за рамками литобзоров. Внимание к «посюстороннему», «поэтика черновика» срабатывают в пьесах нового тематического направления — *covid-драмы* (так я обозначила корпус текстов, посвященных коронавирусу). Лишь немногие из них изданы («Сестра четырёх» Е. Водолазкина в «Редакции Елены Шубиной»), большинство же бытует в интернете. Знаковым событием стал театральный онлайн-фестиваль «Короно-драма», организованный российскими критиками и драматургами, чтобы «осмыслить и зафиксировать происходящее, оформить свои мысли в виде пьес». На первый сезон (весна 2020) было прислано порядка 80 произведений, состоялись видеочитки в театрах «Практика», БДТ, Театр.doc и др. Второй сезон (осень 2020) ознаменован созданием школы драматургического искусства, так что влияние изоляции на поиск новых форматов благоприятно.

Вместе с тем возникает вопрос о влиянии эстетическом. Если говорить о трансляции коллективного опыта, налицо арт-терапевтический эффект пьес. А вот в художественном плане они неоднородны, поскольку выделенные мной черты *covid-драмы* (герой Номо Confusus, человек растерянный — воспользуемся определением психолингвиста Татьяны Черниговской, многоуровневый конфликт, философская рефлексия) характерны не для всех произведений. Из запомнившихся назову ту же драму Е. Водолазкина «Сестра четырёх», цикл С. Давыдова «Порнооптимисты», комедию-хоррор А. Букреевой «Тварь».

Думаю, оценить воздействие пандемии, как и других катаклизмов новейшей истории, можно будет в перспективе времени, но уже сейчас очевидно, что они внесут коррективы в представления о литературе XXI века.

---

1. *Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?*

*Алексей Саломатин, литературный критик (г. Казань)*

## Корона без царя

На излете марта, в самый канун первой из карантинных недель, мне, еще не до конца отошедшему после затяжного бронхита, срочно понадобилось на работу. Город за время моего сидения дома преобразился кардинально — пустынные тротуары и единичные машины отдавали постапокалиптическим Голливудом. Водитель такси оказался редким для человека своей профессии любителем олдскульного тяжеляка. Когда из колонок зазвучал «Paranoid», все происходящее окончательно превратилось в сцену из фильма — не метафорическую даже, а эмблематическую... Вот и стал для меня эмблемой двадцатого года полет по обезлюдившим улицам под пятидесятилетней выдержки шлягер «Black Sabbath».

Как все происходящее скажется на отечественной словесности (раз уж весь год вверх дном, почему бы не начать с ответа на последний вопрос?), пока сказать сложно.

Станет ли пандемия, подобно мировым войнам, новой большой темой для поколения писателей и поэтов или останется очередной травмой, которую вскорости вытеснит следующая, не в последнюю очередь зависит от ее продолжительности и необратимости последствий. К слову, симптоматично: киноязык на изменившийся формат реальности отреагировал почти мгновенно — визуальный ряд онлайн-конференций с их параллельно разворачивающимися микросюжетами (в последнее десятилетие, впрочем, использовавшийся неоднократно) был буквально поставлен на поток. Экранизациями, опережающими выход книг, по которым они поставлены, уже никого не удивить, и осмыслить глубинные сдвиги, приведшие к внешним изменениям, еще предстоит.

Столкновение человека с непредсказуемостью и неотвратимостью фатума — один из старейших сюжетов в мировой литературе. Да и нынешнее орудие фатума, невидимое и неосязаемое, многократно склонялось в самых разных сценариях — от «Пира во время чумы» до «Слепоты», не говоря о бесчисленных масскультовых катастрофах. Но одно дело — читать, а другое — ежедневно носить в себе тютчевское «и это все есть смерть», когда привычное пространство перестало быть дружелюбным, встреча со старым другом может таить угрозу, да и ты сам, не ведая того, можешь представлять опасность для окружающих. Простор обширный и для прозаических нарративов — решенных в ключе хоть герметичного полярного хоррора, хоть всеобщей подозрительности эпохи сексотов, — и для экзистенциальной лирики.

А вот что касается влияния пресловутых «удаленки» и «самоизоляции» на литературный процесс — на мой взгляд, оно если и есть, то не совсем такое, как принято полагать. Творческие вечера, а то и целые фестивали, как показала практика, можно вполне успешно проводить в формате тех самых онлайн-конференций, а само творчество...

Литература — вещь интимная, требующая если не бегства в широкошумные дубровы, то удаления во внутренние палаты. Вот только в наш век всеобъемлющего вай-фая о тиши уединения приходится лишь мечтать. Если и раньше телефонные звонки и рабочие письма настигали в самый неподходящий момент, то дистанционный формат работы негласно легитимизировал круглосуточную присутственную повинность в зоне доступа. Возможность остаться наедине с собой, столь необходимая для человека пишущего, становится непозволительной роскошью.

---

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

На самоизоляции изоляции нет. Есть определенная ирония в том, что именно необходимость сидеть по домам показала: дом как приватное пространство уже во многом иллюзия. Профессор Преображенский новых дней, думается, поменял бы тему и рему в хрестоматийном высказывании: в столовой я буду обедать!

Что же до литературных впечатлений, то одно из самых сильных в этом году произвел на меня роман, увидевший свет без малого тридцать лет назад. С одной стороны, можно посетовать на свою нерасторопность, с другой — не бояться спойлеров в разговоре.

Роман адыгейского писателя Юнуса Чуяко «Сказание о Железном Волке», вышедший по-русски в 1993-м в Майкопе, а в 1994-м — в «Роман-газете», начинается как своеобразный гибрид «Сандро из Чегема» и «Прощания с Матерой» (предисловие к русскому изданию, кстати, написал Валентин Распутин). Уже насквозь городской студент, от лица которого ведется повествование, возвращается в родной аул накануне грандиозного расселения и затопления обжитых земель, чтобы пролить свет на древнюю тайну, лежащую в основе вражды двух родов, к одному из которых он принадлежит. Сразу же он сталкивается с угрозой — подsunутая ему в карман записка «*Будешь копать два скелета — найдут два трупа*» обещает детективную интригу, основная линия стремительно обрастает вставными историями, флэшбэками и легендами, перемежается отчетами русских офицеров XIX века, участвовавших в кавказских походах...

А потом с читателем заводит разговор сам автор, попутно сообщая, что протагонист, глазами которого мы привыкли смотреть на события, — его добрый знакомый (это даже не «Евгений Онегин», а «Год смерти Рикардо Рейса» какой-то — нет, я не перечитывал в этом году Сарамбо), и слегка приподнимая завесу над дальнейшими событиями, для рассказа о которых вновь предоставляет слово герою...

По сложности структуры роман не уступает мировым образцам модернистской прозы. (Распутин, тщетно, но очень настойчиво пытавшийся в предисловии вписать его в реалистический канон, кажется, просто не понял, с чем имеет дело.)

При этом книга, в которой магический реализм соседствует с документальной хроникой, а остросюжетные миниатюры — с дидактическими отступлениями, не превращается в рассудочный эксперимент, оставаясь живой и метафоричной, исполненной подлинного трагизма и поднимающей очень непростые вопросы, а взаимопроникновение временных пластов, монтажные склейки и нарочитое нарушение последовательности в изложении событий (вплоть до выпадения важных эпизодов) отнюдь не служат для маскировки сюжетных дыр. Умению автора сплести и распутывать узлы могли бы позавидовать многие современные прозаики. Все ружья в свой черед стреляют, зачастую заставляя читателя врасплох. Вот и угроза из записки оборачивается пророчеством, голосом того самого фатума, неотвратимого и непредсказуемого — два трупа будут (а я предупреждал о спойлерах), но не те и не потому...

Радость от знакомства со штучной выделкой произведением омрачает одно — автора не стало этим летом. И вновь от глотка свежего воздуха приходится возвращаться к невеселым мыслям — и начинал-то не за здравие, а уж под занавес и вовсе...

Помянуть всех ушедших в этом году нет никакой возможности. Но все отчетливее ощущение, что уже два десятилетия длящийся новый век тянул — в культуре, во всяком случае, — на ресурсах старого. И вот в 20-м XX-й, кажется, окончательно отступает в прошлое. Дальше как-нибудь сами.

Куда мчит нас скоростное такси, куда вывезет...

А счетчик тикает.

---

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?

*Евгений Абдуллаев*

## Просто такой постмодернизм

Опять — двадцать пять.

Может, конечно, коронавирус виноват. Хотя сколько можно всё на него валить?

Это не коронавирус, это мы сами «в бреду горячечном» убеждаем и сами себя, и читателей, и всех-всех-всех, что литература умерла, что серьезная поэзия (проза) никому не нужна, а критики у нас и вовсе нет.

Приглядишься и разберешься, и обнаруживается — за каждым таким радикальным высказыванием, как за саженным транспарантом, прячутся гораздо менее радикальные — и более понятные — мысли. Что нынешняя литература: поэзия, проза и критика — меня, имярека, не устраивают. Не такие они, как мне, имяреку, хотелось бы. Особенно, конечно, критика. Не замечает, не хвалит; или хвалит, но не так, как хотелось бы. Поэтому — умерла.

Или, скажем, более тонкий танатологический диагноз: литература жива, но в ней нет уже никакой иерархии. Не прежней — а вообще никакой.

В прошлом «Барометре» я уже упоминал об ответе Александра Скидана на опрос сайта «Textura» о «поэте десятилетия».

Какое-то одно имя Скидан назвать отказался, пояснив: «...Строгая иерархичность давно распалась вместе с нормативной поэтикой. В разных поэтических поколениях и разных социокультурных стратах одновременно работают (или работали еще совсем недавно) несколько выдающихся авторов, исповедующих совершенно разные поэтики»<sup>1</sup>.

Соглашусь, выбор «поэта десятилетия» — вещь искусственная.

Но что касается строгой иерархичности, которая «давно распалась»...

А была ли она когда-то?

В советское время была официальная иерархия — из литераторов-лауреатов Сталинской, позже — Государственной премий. Рядом еще несколько иерархий, с ней совершенно не совпадавших. Как порой и друг с другом. Или Щипачёв и Мандельштам исповедовали одну и ту же поэтику? Недогонов и Сатуновский? Евушенко и Айги?

Но и в досоветской литературе никакой «строгой иерархичности» не наблюдалось. Тоже были разные иерархии. Была, скажем, Пушкинская премия, самая крупная, официальная, престижная, «иерархичная». Ни Брюсов, ни Блок, ни Белый, ни Сологуб, ни еще с десятков поэтов, по которым мы изучаем сегодня литературу начала прошлого века, не были ею награждены. Впрочем, и внутри самого русского модерна единой иерархии тогда не было. Так же, как и сегодня «в разных поэтических поколениях и разных социокультурных стратах одновременно» работали «несколько выдающихся авторов, исповедующих совершенно разные поэтики». Возьмем хотя бы символистов — и футуристов...

---

<sup>1</sup> Гуманитарные итоги 2010–2020. Поэт десятилетия. Ч. 2 // Сайт «Текстура». 3 октября 2020 г. (<http://textura.club/poet-desyatiletia-ii/>).

Иерархии, единой и строгой, или даже нестрогой — в русской литературе, по крайней мере, с начала девятнадцатого века, не было никогда. Был непрерывный поиск иерархии, выстраивание иерархии, конкуренция различных иерархий.

Единая иерархия была и остается понятием, концептом, не имеющим в истории литературы какого-либо соответствия, но исключительно для нее важным. Вроде «идеального газа», которого, как известно, не существует, но который необходим для понимания свойств газов реальных. Если нет идеи единой иерархичности, *точно* такое вообще все упоминаемые далее Скиданом имена (Юрьев, Рымбу, Суслова...)? Почему именно они? С какой стати читатель должен верить — если «иерархичность давно распалась» — что это «выдающиеся авторы»?<sup>1</sup>

Можно было бы, конечно, за всеми этими разговорами о крушении литературной иерархии (а ведутся они уже давно) увидеть попытку утвердить *свое* представление об иерархичности, *свою* иерархию. В случае Скидана — состоящую из авторов курируемой им серии «Новая поэзия» издательства «НЛО»...

Но не будем идти так далеко.

В конце концов, все упомянутые им персоналии, по крайней мере, относятся к сегменту серьезной (не массовой/развлекательной) и профессиональной (не самодеятельной) литературы. Какое место они в нем занимают — другой вопрос; тут как раз и возникают разночтения. И если бы дело касалось только конкуренции иерархий внутри этого сегмента, то не стоило бы и ломать копыя.

Но разговоры о том, что иерархичность распалась или что нет больше «никакой “литературы” как целого», а есть только отдельные книги (Е. Вежлян<sup>2</sup>), или что у нас, как совсем недавно написал Владимир Березин, «критика сдохла за ненадобностью»<sup>3</sup> — имеют и внешний эффект. Эти разговоры, повторяясь на разные лады, становясь чуть ли не общим местом, — создают довольно жалкий образ современной литературы. Как такого дикого поля, свалки порушенных иерархий, где резвятся какие-то фрики.

А дальше — дальше все логично: свято место пусто не бывает. Раз у вас тут, ребята, никакой иерархии, никакой критики и вообще даже никакой литературы, то мы — к вам. Со своими иерархиями, своей критикой, своей литературой. И идут, уверенно и весело. А мы гостеприимно распахиваем двери.

Вот в «Российской газете» (от 3 ноября 2020 г.) публикуется большое интервью с Дмитрием Кравчуком, основателем и владельцем двух самых крупных сайтов, публикующих самодеятельных литераторов, «Стихи.Ру» и «Проза.Ру».

Замечательное начинается уже с подзаголовка: «Как порталы Стихи.ру и Проза.ру задают тренды в современной литературе».

Теперь понятно, кто у нас тренды формирует?

Они же — и иерархии.

«За двадцать лет нашими авторами стали более миллиона человек, это люди самого разного возраста и места жительства. У меня есть гипотеза, что такое количество пишущих людей в нашей стране было всегда, просто раньше их никто не публиковал, толстые журналы издавали несколько десятков знакомых им авторов».

Итак, с одной стороны — широкие массы, так сказать, самородки, а с другой — какая-то горстка авторов, пробившихся в толстые журналы. Где их, опять же,

<sup>1</sup> Я, впрочем, и не верю — за исключением Олега Юрьева, который действительно был незаурядным поэтом (хотя, читая его, вспоминаю иногда фразу Самойлова о поэтах, которые «берут кусок скуки и оттачивают его до совершенства»).

<sup>2</sup> Литературный 17-й: что запомнилось. Писатели и критики подводят итоги литературного года // Сайт «Colta». 27 декабря 2017 г. (<http://www.colta.ru/articles/literature/16994>).

<sup>3</sup> Интересно, что тезис этот опубликован на сайте «Открытая критика» ([http://rara-rara.ru/menu-texts/teplohod\\_sovremennosti](http://rara-rara.ru/menu-texts/teplohod_sovremennosti)). После чего сайту было логично сразу закрыться. Но, видно, «критика сдохла», а «открытая критика» как-то уцелела.

непонятно по каким соображениям, публикуют. Возможно, просто по знакомству: фразу про «знакомых им авторов» можно понять и так.

Нет, сам Кравчук — очень хороший менеджер и прекрасно понимает, кто есть кто. И к сотрудничеству старается привлекать именно профессиональных литераторов, и иерархический «вес» каждого имени очень даже учитывает.

«На портале Стихи.ру публиковали свои стихи и известные поэты, например, Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский. Я как-то приезжал к Андрею Андреевичу на дачу в Переделкино и зачитывал рецензии на его стихи. Он сам уже мало пользовался компьютером, но ему было любопытно, что пишет в ответ поэтическое сообщество».

Это к вопросу о критике. Которая у нас, в профессиональной литературе, «сдохла», а на «Стихи.ру» вполне, как видите, цветет. Как голос «поэтического сообщества». Мнением которого и классики живо интересуются.

Хотя бы написали сбоку: «На правах рекламы». Нет, все серьезно.

Впрочем, с «Российской газеты» спрос небольшой, там современная литература — это то Сергей Лукьяненко, выступающий в роли гуру, то Николай Зинovieв — «наследник русского пути»... Но для чего это интервью с Кравчуком тут же следом размещает у себя вполне вменяемый сайт «Год литературы», понять затрудняюсь. Такой вот, видно, постмодернизм.

Наступает литература, производимая массами, — наступает и литература, производимая для масс. И снова мы расплываемся в добродушной гостеприимной улыбке.

Другое вполне уважаемое литературное интернет-издание, сайт «Текстура», где печатается серьезная критика, интересные опросы и прочая и прочая.

Материал под названием «Зазеркалье, или Сайты прямых продаж» (10 ноября 2020 г.). Заинтересовало — аналитики по книжному рынку, не считая обзоров Владимира Харитоновна на «Горьком», у нас маловато.

Открыл — и уткнулся, опять же, во вполне рекламный материал о двух коммерческих сайтах: «ПродаМане» и «Автор.Тудей».

О том, какая богатая и насыщенная на этих сайтах литературная жизнь. «...На ПродаМане всюду идет конкурсная движуха: литмобы и собственно конкурсы». Какие там авторы в фаворитах. «Я читаю серию Ирины Котовой “Королевская Кровь”. ...Огромный мир, множество героев, как следствие — множество сюжетных линий, и вовсе не все про любовь и секс».

Замечательно.

И на «Автор.Тудей» тоже своя жесткая иерархия — рейтинг авторов. Первое место в нем, как сообщается в материале, занимает Кирилл Клеванский, автор многотомной саги «Сердце дракона» и еще одной, менее многотомной, «Дело Чёрного Мага».

«Все “настоящие” литераторы могут изойти ядом, ругая тексты Кирилла Клеванского — пишет Евгения Лифантьева («Автор.Тудей»). — ...Но его романы люди не просто читают — за них платят. И весьма неплохо».

Обращаюсь к коллегам: вы исходите ядом? Читаете тексты Клеванского и ругаете их? Сомневаюсь, что вы о них даже слышали. Я, загуглив, несколько фрагментов прочел. Нет, ядом не исхожу. Вполне нормальный масслит.

Разумеется, непроницаемых границ между литературой массовой и немассовой нет. И верхний сегмент массовой литературы вполне может входить и в литературу немассовую («серьезную»). Так что в отношении некоторых авторов вообще сложно сказать, к какой из них их отнести. Рубина (где-то последних двадцати лет) — это масслит или все же нет? Гришковец? Глуховский? Полозкова?

То же самое можно сказать и о «Стихах.Ру», и «Прозе.Ру» — и на них можно встретить интересные, нелюбительские тексты.



Жестких границ нет. Но принципы, по которым работает массовая литература, — иные, чем те, по которым устроена немассовая. Иные требования к качеству, к стилю, ко всему. Иные иерархии.

Понимают ли это на «Текстуре»? Наверняка понимают. Так для чего помещать подобного рода продукцию, да еще с игривым подзаголовком: «Литература умерла — да здравствует литература!» Это вот эта, с «сердцами драконов» и «королевской кровью», да здравствует. А какая умерла — понятно. Сами же ее постоянно и хороним.

И тут даже удивляет то возмущение, которое вызвал осенью список Московской литературной премии Интернационального союза писателей (ИСП). Напомню, что известные литераторы (Крапивин, Водолазкин, Кучерская...) оказались в нем плечом к плечу с самодеятельными писателями — коих ИСП окучивает не хуже «Стихи.Ру».

А что возмущаться? Когда мы заявляем, что никакой единой литературы нет, что никакой иерархии нет, что вкус — это отжившее понятие, — это нормально. Когда публикуем деятелей масслита, которые, оказывается, тренды современной литературе задают, а над «серьезными» авторами лишь снисходительно иронизируют, — это тоже как бы в порядке вещей. А когда видим список, в котором эти самые «серьезные» авторы игриво перемешаны с самодеятельными, — отшатываемся, как от страшного сна. Логика?

Подхожу к завершению. Нет, призывать коллег-литераторов к большей интеллектуальной ответственности не буду. Не первый раз уже пишу на эту тему, знаю, бесполезно. Попробую обратиться к обычному читателю; такой все же где-то остался; иногда на каких-то встречах, книжных ярмарках и просто на улице (или в Сети) его вижу.

Так вот.

У нас сегодня замечательная серьезная литература — яркая, разнообразная, свежая. У нас очень хорошая и сильная критика. Прекрасные толстые журналы — которые печатают не только знакомых им авторов... Почитайте — убедитесь сами. Если же кто-то из литераторов станет говорить вам, что литература умерла, что серьезная поэзия (проза) никому не нужна, а критики у нас и вовсе нет...

Не верьте. Это просто такой постмодернизм.

*Борис Минаев*

# Большой маленький Успенский

Поздней осенью 2019 года в Литературном музее (новое помещение на Зубовском) открылась выставка, посвященная Эдуарду Успенскому.

Несколько залов, много иллюстраций к его детским книгам, прекрасных фотографий, инсталляции и персонажи из мультфильмов, видеосюжеты, даже небольшая коллекция старых пишущих машинок, которую Эдуард Николаевич собирал. На открытие пришли друзья, много и хорошо о нем говорили. Я ходил по выставке и все время боялся признаться сам себе: мне здесь чего-то не хватает. Мне не хватает самого Эдика, Эдуарда Николаевича! Не хватает его неукротимого характера, его злости, его отчаяния, его дикого упрямства. Куда-то все делось...

Не хочу показаться неблагодарным брюзгой, выставка была сделана со вкусом и с любовью, но здесь настоящий живой Успенский оказался как бы в прозрачном загоне, в золоченой рамке — добрый детский писатель, уже при жизни классик, создатель великих советских мультфильмов.

Но каким же он был на самом деле?

Я приехал к Успенскому за несколько месяцев до его смерти. Повод был не очень важный, даже дежурный: поговорить про журнал «Пионер», с которым у него были довольно сложные отношения (интервью для одной книги). Но повод ладно, просто повидаться хотелось.

И вот мы приехали к нему — зима, лежал снег, в доме было полно народа — дети, помощники, его жена Лена — огромное количество книг, картин, фотографий, Успенский был нам очень рад, показывал дом, рассказывал про все на свете, мне подарил двухтомник переводов Заходера...

Мы выпивали, нас кормили салатом оливье, приготовленным на скорую руку, но очень вкусным.

Все было замечательно. Кроме одного: Эдуард Николаевич был уже болен. Он очень грустно выглядел после лучевой терапии, он страдал, и он (как теперь кажется) уже постоянно вглядывался куда-то туда, где все будет совсем по-другому, не так, как здесь...

Я запомнил это все: воздух зимней дачи, огромные окна, яркий свет, рюмки на столе, и его бледное, изменившееся лицо, и по-прежнему огненные глаза, когда он загорался и начинал говорить, и его страстную речь.

Вот это слово — «страстный», оно, конечно, к нему подходит самым лучшим образом. Главная эмоция, которую он передавал при жизни — страсть. Он страстно ненавидел, страстно любил, страстно мечтал, даже шутил и то страстно (и порой страстно не понимал шуток, когда пытались шутить над ним). Иногда эти разнообразные страсти его просто захлестывали. Но, конечно, это тоже было необходимо.

Фрагменты этого интервью я буду цитировать ниже, чтобы вновь почувствовать его интонацию и его голос.

...Так вот, на той выставке я встретил молодого режиссера Романа Супера, который собирался делать об Успенском большой документальный фильм. Прошел год, и фильм вышел. Называется он «Это Эдик», посмотреть, совершенно бесплатно, пока можно на платформе «Премьер». Будет ли на телеканалах, в кинотеатрах, честно говоря, не знаю. Сразу после его выхода началась компания за то, чтобы фильм этот запретить.

Если запретят — будет жаль.

В фильме есть кукла — и она говорит голосом Успенского (в фильме использованы фрагменты его многочисленных радио- и телеинтервью). Кому-то эта кукла показалась ужасной, нелепой, злой, отвратительной — на вкус и цвет товарищей нет.

Мне же она показалась не просто удачной. Возникло мистическое почти ощущение, что я вижу настоящего, живого Успенского. Или даже не так: ожившего Успенского. Успенского, который впрыгнул из темноты обратно в пространство света, к своим персонажам, к куклам из своих мультфильмов и сам стал одной из них. Это было невероятно.

Недоверчиво вглядываешься в экран — Эдуард Николаевич, это вы?

Нет, не может быть...

Поэтому фильм «Это Эдик» Романа Супера и Ивана Проскурякова я не могу судить по каким-то «законам жанра». Биография? Нет. Расследование? Нет. Портрет? Тоже нет. Хотя и то, и другое, и третье.

Такое чувство испытываешь, возможно, в театре, когда тебя охватывает бессознательный, ничем не объяснимый восторг — от самого пространства, освещенной коробочки, от той силы, которая передается тебе со сцены, от актеров. Да, наверное, тут волшебным образом *кино.doc* превратилось в *театр.doc* — более того, в кукольный, условный театр. В театр одной судьбы, одного человека.

...Судьба Успенского — это, конечно, судьба всей послевоенной интеллигенции, судьба всех шестидесятников, судьба всей страны. И в этом сила фильма. Бедные, голодные студенты 50-х с их капустниками, бесконечным весельем (война-то кончилась и можно просто жить!), инженеры на военных заводах и бесконечных стройках, некоторые из них быстро переквалифицировались в актеров, режиссеров, писателей, юмористов, бардов (а другие стали их благодарной аудиторией), прогремевшие, просиявшие своей ранней славой в 60-е, создавшие тот тип культуры, который и ныне, через 60 (!) лет востребован и абсолютно самодостаточен, и с которым молодые творцы как ни тужатся, — ничего не могут поделать, люди, бодавшиеся с советской властью, — уехавшие из страны, ушедшие в подполье, затравленные, но не убитые, поднявшие знамя духовного сопротивления, дождавшиеся 90-х с их внезапно обрушившейся свободой и властью денег, — все это есть в жизни Успенского.

Сила фильма в том, что мы говорим о человеке, который только что был здесь, рядом с нами, осознавая весь его масштаб. Что мы не просто сквозь зубы признаем этот масштаб, но и пытаемся его измерить, что ли. В своем первом эмоциональном отклике на фильм я написал, что Успенский упирается головой в небо, при том что внутренне он совершенно раздерган и противоречив, да, это так. Виктор Чижиков, великий иллюстратор и художник, ушедший от нас совсем недавно, говорит о том, что герои сказок Успенского абсолютно равновелики сказочным архетипам русской национальной сказки, прямо им наследуют — удивительное сопоставление для ерника, насмешника Успенского. Григорий Остер говорит о том, что все произведения, все эти «смешные истории» Успенского содержали в себе эликсир свободы, что именно свобода, в самом высоком и философском ее значении была главной

субстанцией их. И это тоже правда. Лев Гушин, друг Успенского, главный редактор «Огонька» в 90-е годы, говорит о том, что советских детских писателей-классиков: Маршака, Михалкова, Барто, Чуковского, — всех их машина советской пропаганды расставила по местам, каждому выдала «социальный заказ», выдала свою бирку, свою роль, постепенно выученную назубок, а вот с Успенским справиться не сумела — он сломал эти иерархии, на нем эта машина сломалась.

Прекрасная пьеса получается! Вот Успенский ушел к своим персонажам, в этот волшебный мир кукольного театра — и сидит, болтает ножками, слушает рассказы о себе, слушает своих друзей, реагирует, хмыкает, смеется, ворчит.

Однако в пьесе нужен конфликт, сюжет. Начинается разговор о тяжелых вещах в его жизни — деньги, тяжбы, разводы, тяжелые отношения с дочерью. Трагическая, раздерганная внутри личность. Снижает ли это для меня его масштаб? Ничуть. Большой писатель всегда несет в себе какую-то трагедию. Но в отличие от других больших писателей — Успенский был экстравертом, он все выплескивал наружу, все проговаривал. И все его неурядицы с миром, все его драмы стали общим достоянием. Что было, конечно, вдвойне тяжело.

А вот фрагмент нашего последнего разговора.

«Я почему-то всегда чувствовал себя виноватым перед своими друзьями, ощущал какую-то вину. Меня печатают, а Ковалю не печатают. Вот я все время это ощущал. А был у меня мой старый друг, инженер, перед ним, например, я чувствовал свою вину, что у меня есть квартира, я ее на гонорары построил. А он в коммуналке живет, мой друг... Я просто как только начал получать гонорары, за книжки, за публикации, за сценарии, стал их на сберкнижку переводить. И за два года сумел купить квартиру. Вообще у меня была такая черта — я очень быстро вычеркивал друзей. Ну, например, Сережа Иванов вступил в партию, я перестал с ним на некоторое время общаться».

...Еще в этом разговоре Успенский сказал, что заболел из-за того, что его сожгло изнутри это чувство вины. Другими словами сказал, но мысль была такая.

Еще раз оговорю: разбирать этот спектакль.doc об Успенском мне тяжело — слишком остро я ощутил в нем его живого. Но есть вещи, не сказать о которых невозможно.

Фильм делали в основном люди, которым еще и сорока не исполнилось. По возрасту — мои дети. К сожалению или к счастью — Советский Союз они представляют себе довольно поверхностно. И в худших, и в лучших его проявлениях. Для них это размазанная, плывущая в тумане картинка, а из тумана выступают какие-то самые общие параметры. Но иначе, наверное, и быть не может. Чтобы Советский Союз знать, надо было в нем жить и вырасти. Жаль, правда, что туман этот почему-то у них довольно часто оказывается розовым.

В таком вот розовом тумане представлял себе Эдуарда Николаевича Успенского автор фильма Роман Супер, когда взялся делать о нем эту сагу. «Автор нашего детства». Великий сказочник. Создатель всех главных фильмов советской мультипликации. Волшебник с мудрыми глазами.

Когда Роман увидел, верней, услышал от других — что «волшебник советского детства» был фигурой сложной, что были в его жизни тяжелые моменты, что, как и любой большой художник, он нес в себе бремя вины и трагедии, — он страшно удивился: как же так? То есть тот самый советский стереотип (о котором говорит в фильме Лев Гушин), что детский писатель должен, обязан быть лучезарным, насквозь добрым, на вкус и цвет нежным, целиком положительным, он, оказывается, никуда не делся. Он до сих пор живет. Детский писатель, оказывается, не может пить и разводиться. Не может страдать и заставлять страдать других. А если может — то все, мир рухнул.

Эта святая наивность, конечно, несколько размыла прочность всей конструкции... Но все же не до конца. Благодаря самому Успенскому, благодаря его мистическому присутствию в фильме, она выстояла. Другое дело, что Эдуард Николаевич наверняка не раз поперхнулся, когда смотрел этот фильм — оттуда, из своего кукольного рая.

Начать с того, что Ханну Мякеля, который торжественно объявляется «единственным на планете Земля» биографом Успенского — на самом деле, совсем не единственный. Детский поэт Андрей Усачев, один из рассказчиков, справедливо указал создателям фильма, что биография Успенского есть — ее в свое время написала Ольга Ковалевская («Неизвестный Успенский»).

Это ошибка. Ошибки и даже, я бы сказал, некоторые зияющие пустоты в фильме так или иначе присутствуют (наверное, их и не могло не быть, но все же в библиотеку сходить и поинтересоваться книжками об Успенском было можно). Ошибка, или неточность — в том, что якобы Алексей Аджубей, редактор «Известий» и зять Хрущёва, помог выйти первой книжке про крокодила Гену — нет, книжка вышла в 1970-м, а Хрущёв был отправлен в отставку в 1964-м, то есть его рекомендация книжке могла только помешать. Ошибка в том, что мнение Ханну Мякиля: Успенский был при советской власти страшно беден — это все-таки мнение иностранца, плохо знающего наши реалии. Конечно, Успенский много зарабатывал, как и любой человек, писавший для кино, для телевидения, — и его доходы были совершенно несопоставимы с доходами большинства советских граждан. Но главная ошибка — это, конечно, объяснение творческой трагедии Успенского как раз деньгами, которые на него «свалились» в 90-е годы, «испортили» и «загубили».

Успенский много писал в 90-е и создавал новых героев. Дело совершенно в другом.

Нельзя сводить всю последнюю (и довольно драматическую) часть его жизни ни к искушению большими деньгами, ни к тяжбе с «Союзмультфильмом», ни к судебным процессам, ни к скандальному разводу, ни к тяжелой болезни.

Свобода, в целом, оказалась тяжелой штукой. И вместе со всей страной, со всей интеллигенцией Успенский в полной мере это пережил. Основная, на мой взгляд, ошибка авторов в том, что Успенский в фильме понимается как создатель «образов советского детства», между тем как на самом деле, в своей жизни — он советскую власть и советскую детскую литературу ненавидел, с ней и с ее представителями, насколько мог, боролся, был ею ненавидим в ответ в той же мере, претерпел от нее немало, и по сути подвергся запрету на профессию (хотя для кино продолжал работать по какой-то прихоти этой самой большой идеологической машины) — вот обо всем этом в фильме сказано как-то глухо, неясно, неотчетливо, хотя это и есть главное для понимания его трагедии.

Когда советская власть кончилась, Успенскому не над чем стало шутить. Исчез монстр, над которым он издевался, открыто или намеками, с которым боролся, которого он подтачивал изнутри. Монстр умер — и исчез вместе с ним сам смысл существования Эдика, его творчества.

А боролся Успенский с властью не только своими произведениями, за свою жизнь он написал сотни и сотни писем в разные инстанции, разоблачая своих врагов, советских чиновников от идеологии и литературы. Коллекция этих писем — важнейшая часть его творчества, и жаль, что в фильме о ней никто ничего не сказал. Началась эта борьба в конце 70-х, когда по какому-то доносу, в духе самых злобных сталинских компаний, Госкомпечати РСФСР запретил издавать книги Успенского, Остера, Ковалы. Все они попали в стоп-лист «Детгиза», «Малыша» и других детских издательств. Именно в этот момент Успенский начал свой бесконечный холивар — письма в ЦК КПСС, в Министерство культуры, в горком партии. Письма эти были не просто непочтительны. Они были издевательские, наглые, они содержали в себе массу

неприятных для советских чиновников фактов о нарушениях законности. Адресаты и фигуранты этих писем Успенского ненавидели — и боялись.

Об этом страхе говорит в фильме Лев Гушин, но, к сожалению, создатели фильма не спросили его, а почему боялись, за что ненавидели, против кого и против чего он боролся, как они пытались его запрещать и уничтожать, — в итоге тема оказалась брошена, и понятно почему: в образ творца «образов советского детства» она явно не вписывалась.

Объяснить трагедию Успенского легче оказалось «большими деньгами» и погоней за ними.

Гнался ли он за деньгами? Предки его, как я узнал, кстати, из фильма «Это Эдик», происходят из маленьких русских городов: Ельца, Вышнего Волочка. Города-то были купеческие, богатые. Какой-то старорусский, купеческий инстинкт в Успенском точно жил. Деньги он считать умел.

Но и тут создатели фильма пошли за слишком легкой добычей. Юлиана Слащева, бывший директор «Союзмультфильма», одна из главных врагов Успенского в последние годы его жизни, осторожно говорит в фильме о том, что он своими тяжбами «разбудил рынок» авторского права в России, но он его не просто разбудил — он его, по сути, создал. Бесконтрольное, хамское, пиратское использование чужой интеллектуальной собственности — в торговых брендах, логотипах, в музыкальном оформлении, во всем вале культурной продукции — закончилось во многом благодаря судебным тяжбам Успенского с производителями самых разных товарных знаков. Это было важно для страны, беру на себя смелость утверждать. И те ребята, которые делали фильм «Это Эдик», сейчас так же пользуются правилами цивилизованного рынка и зарабатывают деньги, в том числе благодаря Успенскому. Жаль, что об этом никто не сказал в фильме (а авторы не спросили), как и о многом другом.

Но... жизнь ведь невозможно уместить в ту или иную формулу. Она из нее всегда выламывается. Вот старшая дочь Таня, та самая, которую отец отдал в «детский лагерь» к целителю Столбуну, и она из него в ужасе бежала, произносит в фильме замечательную, казалось бы, фразу: «Это был невоспитанный, капризный четырех-пятiletний ребенок в теле взрослого человека». Может быть и так. Но пропущено тут одно лишь важное слово — гениальный ребенок. И все сразу меняется.

Цена гениальности — это всегда вопрос очень тонкий. Что важнее — сохранить свою внутреннюю гармонию или создать то, что рвется из твоей души? Порой и то, и другое одновременно — невозможно, нереально, нельзя. И приходится делать выбор.

И никакие психоаналитические («его в детстве не любила мама»), социальные (кончился «розовый туман» советского детства и наступила жестокая реальность 90-х), удобные и спасительные версии — тут не помогут.

Этот вопрос не решаем в принципе, и никакая «новая этика» его тоже не решит. Гении нужны. Гении нам необходимы.

Без гениев смысл природы был бы непонятен. Реальность без них невозможно структурировать. А загадки жизни — объяснить.

Поэтому страстная «детскость» Успенского, которая в фильме все равно остается главной доминантой, вызывает в конце чувство, сродни театральному. Bravo, Эдуард Николаевич. Я плачу и смеюсь над вашей прекрасной и трагической судьбой. Я благодарен за это ваше последнее произведение.

Занавес.

---

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«**Фаланстер**» (Малый Гнезниковский пер., 12/27)

«**Русский путь**» (Нижняя Радищевская ул., 2. (Дом русского зарубежья)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**  
в любом городе страны.

*Вёрстка: Елена ЖИРНОВА*

*Корректурa: Елена ЛАПШИНА*

*Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ*



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ  
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



**3/2021****Читайте:**

**Нелли Абдуллина.**  
**Роман «Сын обетования»:**

*«В одну из ночей, когда избитая Гюльназ тихонько стонала в бане, омывая свои раны, а Фаррах благостно храпел на перине в избе, Ибрагим вошел на отцовскую половину. Занес нож над его спящим грузным телом, ненавистным телом ставшего чужим человека. Такое счастье от близкой расправы нахлынуло тогда на него! Миг, когда он еще не знает, что испугается себя, бросит кинжал и покинет дом, в памяти длился много дольше, чем в жизни. Жуткий, полный наслаждения миг. Кем он был тогда — дышащий злобой, как похоть? Не отступник, даже не зверь. И ведь он перестал быть собой не в тот миг до убийства, а раньше — в звездную ночь своего совершеннолетия. Нескоро Ибрагим погрузился в темное беспамятство. Его мысли долго бродили по исхоженным тропам памяти, пока кто-то не стал ровно насвистывать ему на ухо: тебя нет, греха нет, Бога нет, ничего нет, тсс-тсс-тсс. Его разбудил разговор приятелей...»*

**Пётр Ротман.**  
**Повесть «Истинное сияние чистого ума»:**

*«И тут Будда заговорил. Голос у него был тот, знакомый, только на этот раз без всякого акцента: “Ты просто хотел сделать свою жизнь занятнее, раскрасить ее, обострить восприятие, — в речи не было и намек на утешение. — Мы здесь тысячи лет. С одной единственной целью. А вы? А? — грозно спросил и грянул, заканчивая затянувшийся разговор: — ИСЧЕЗНОВЕНИЕ, ПОЛНОЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ, — ВОТ РЕЗУЛЬТАТ ИСТИННОГО СИЯНИЯ ЧИСТОГО УМА!” “Но...” , — прохрипел Игорь; но Будда больше не смотрел в его сторону. Он уже всё сказал...»*

